

СИМВОЛЫ



ВРЕМЕНИ

АННА
МАСС



Писательские
дачи



*Н.Л. и В.З.Масс в год свадьбы,
1922 год*



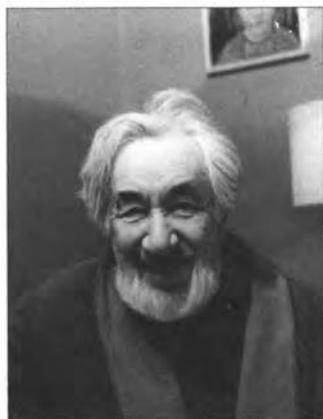
Н.Л. и В.З.Масс с сыном Витей, 1928 год



Виктор Горшков с сыновьями. Коктебель, 1973 год



*Наталья Львовна Масс,
1952 год*



*Владимир Захарович Масс,
1978 год*



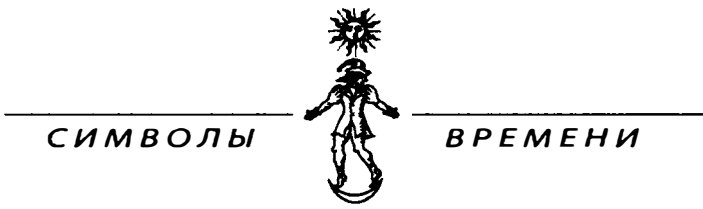
Виктор Масс



Анна Масс, 15 лет



Александр Масс (племянник), 1980 год



СИМВОЛЫ

ВРЕМЕНИ

СИМВОЛЫ

ВРЕМЕНИ

Анна Масс

Писательские
дачи



Рисунки по памяти

Москва
АГРАФ
2012

УДК 821.161.1-31 Масс А.В.
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М 32

Оформление *Людмилы Митич*

Масс, Анна Владимировна.
М 32 Писательские дачи. Рисунки по памяти. — М.: Аграф,
2012. — 448 с., илл. (Серия «Символы времени»). —
ISBN 978-5-7784-0423-6.

Автор книги – дочь известного драматурга Владимира Массы, писательница Анна Масс, автор 17 книг и многих журнальных публикаций.

Ее новое произведение - о поселке писателей «Красная Пахра», в котором Анна Масс живет со времени его основания, о его обитателях, среди которых много известных людей (писателей, поэтов, художников, артистов).

Анна Масс также долгое время работала в геофизических экспедициях в Калмыкии, Забайкалье, Башкирии, Якутии. На страницах книги часто появляются яркие зарисовки жизни геологов. Эта книга «о времени и о себе».

Написана легким, изящным слогом. Будет интересна самому широкому кругу читателей.

ISBN 978-5-7784-0423-6

УДК 821.161.1-31 Масс А.В.
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

©Масс А.В., 2012
©Издательство «Аграф», 2012

ЧАСТЬ 1

Поселок. Начало

Перспектива иметь собственную дачу возникла у моих родителей осенью 1952 года. Были и до этого возможности получить дачный участок, но мама не хотела: существовал дом отдыха театра Вахтангова, Плёсково, где артисты проводили свой отпуск, а их дети — летние каникулы. Отпуск у театра был в августе. Мама обычно снимала дачу рядом с домом отдыха, в деревне Дровнино, у постоянной хозяйки, Пелагеи Петровны, а питались мы по курсовке — брали еду в столовой и носили ее в судках, скрепленных с помощью металлических держалок. В нижнем судке — суп, в среднем — второе, в верхнем — компот или кисель. И никаких забот. К чему обременять себя такой крупной собственностью, как дача? У хозяйки покупали парное молоко и черную смородину. Природа замечательная, отдыхающие все свои, есть с кем и о ком посплетничать.

Маму всегда живо интересовала личная жизнь знакомых, а особенно известных людей. Она любила узнавать, а потом обсуждать, кто на ком и почему женился, кто с кем развелся, обожала анализировать чужую неудавшуюся семейную жизнь, это лишний раз убеждало ее в благополучии своей.

— У Володи Дыховичного сын родился, — сообщал, например, папа.

— Да? И как назвали?

— Иван.

— Иван? Глупо!

— Почему?

— Ну, она же тоже «экс нострис»? Или она русская?

— Я ей в паспорт не заглядывал.

— Все равно глупо — Иван. Хотя, с другой стороны, она очень умно сделала, что родила. Дочка же не его!

— А чья же?

— Здравсьте! Ты что, не знаешь? Да это же все знают! Она же от этого... Ну, как его... Черт, никогда не запоминаю фамилии... Ну, который — «танец нанайских близнецов», или как

это называется? — (Имелся в виду эстрадный артист, исполнявший шуточный эксцентричный номер — борьбу двух найских мальчиков. Сцепившись, они нещадно колотили друг друга, ставили подножки, а в конце концов выяснялось, что это один человек). — Дыховичный же ее подобрал с ребенком!

Но в 1951 году маму вместе с еще несколькими второстепенными артистами уволили из театра в связи с выходом на пенсию. А в феврале 52-го умер ее двадцатисемилетний сын Витя, мой старший брат. Окончил аспирантуру Литературного института, женился на студентке ВГИКа, родился сын. И вдруг — страшный диагноз — лимфогрануломатоз. Три года, пока длилась болезнь, мама делала все возможное, чтобы спасти сына, и ей в эти годы было не до театра. Она и в прежние-то годы была не слишком занята в спектаклях, в основном выходила на сцену «в толпе», да еще взяла годичный отпуск за свой счет, чтобы ухаживать за больным. Так что руководство театра имело основания выпроводить ее на заслуженный отдых после двадцати пяти лет актерской службы, посчитав к тому же, что материально при муже, известном драматурге, она вполне обеспечена. Но маму это увольнение глубоко оскорбило. Особенно болезненно ее ударило, что другие уволенные ухитрились как-то зацепиться, остаться при театре в качестве преподавателей училища, а она оказалась за бортом, в своем неизбывном горе и невозможности заглушить его работой.

Я училась в девятом классе, и брат — он был старше меня на одиннадцать лет — только-только начал воспринимать меня как личность. До этого он относился ко мне хоть и доброжелательно, но довольно безразлично, как к чему-то лишнему в его жизни и даже нарушающему порой его планы своим существованием. А в тот последний его год, когда он почти уже не вставал с постели, сжираемый лимфогрануломатозом, и лишь иногда, когда мог, садился за рояль и играл что-нибудь из своих любимых Шопена, Моцарта, Бетховена, а потом, обессиленный, снова ложился, он наконец-то обратил на меня внимание, я стала ему чем-то интересна, он ждал меня из школы. «Посиди с ним, — говорила мама. — мне надо побыть одной». Она закрывалась в своей комнате и плакала, чтобы через некоторое время выйти снова энергично-собранный и деланно веселой.

А я, не снимая школьной формы, садилась в ногах его кровати, и мы вели захватывающе-интересные, для меня по крайней мере, разговоры, он читал мне Гумилева, Маяковского, Хлебникова, Блока — словно торопился передать мне хоть что-то из того, что сам любил. Он говорил:

— Послушай, как это здорово!

И уже не требовалось других доказательств, что это здорово, хватало того, что он так считает. Я с ходу влюблялась в стихи, не всегда понимая смысл, только потому, что он их любил. Невозможно было поверить, что он, такой молодой, умный, красивый, хоть и страшно исхудавший, умрет, что его не будет на свете.

Но это случилось.

Четырехлетний Сашка остался со своей матерью и ее новым мужем, которым молодая вдова обзавелась сразу после смерти Вити. Конечно, дедушка и бабушка старались, чтобы у Саши было всё необходимое и сверх того. Но как это новое замужество скажется на ребенке? И что в интеллектуальном отношении сможет дать ему эта красивая хищница, его мать? И когда моему отцу предложили вступить в только что созданный дачно-строительный кооператив под названием «Советский писатель», одним из доводов «за» было то, что Саша сможет каждое лето проводить у бабушки и дедушки на даче. Для мамы же это вступление в кооператив неожиданно стало спасительной отдушиной, возможностью если не облегчить горе, то, по крайней мере, переключиться, найти новую сферу деятельности. Она вошла в коллектив писательских жен, ощутив себя в нем полноправным членом, в отличие от прежнего, театрального коллектива, где она, редко занимаемая в репертуаре, подчас испытывала унижительное чувство своей второстепенности. Она стала ходить на все собрания, в ее речи появились новые словечки — «генеральный план», «техническая смета», «ленточный фундамент». Возвращаясь с собраний, подробно и не без юмора рассказывала, кто о чем говорил, кто как выглядел. Например, ей очень понравилось, как артистка Кузьмина, жена знаменитого кинорежиссера Михаила Ромма, пригласила ее попросту сесть с ним на один стул за неизменным свободным стулом: «Вы поместитесь, у него попка худенькая!» Маму это подкупило.

Вообще, судя по тому, что мама стала с интересом воспринимать окружающее и комментировать его в свойственной ей манере, жизнь начала возвращаться к ней.

В тот год я училась в десятом классе 43-й школы в Островском переулке (раньше он назывался Мертвым, а теперь — Пречистенским).

...Пытаюсь представить себе ту девушку-десятиклассницу из 1952 года. У нее толстая, светлая коса, от которой она мечтает избавиться: каждое утро расчесывать и заплетать, гладить ленту, завязывать бант на затылке, мыть по субботам — ужасная морока, а главное: эта коса пошла бы какой-нибудь тургеневской Лизе Калитиной с задумчивым взором, а не ей, с ее нескладностью и близорукостью минус три. Очки она стесняется носить и часто на улице не узнает знакомых, смотрит мимо них, отчего кажется высокомерной.

Учится она довольно плохо по всем предметам, кроме литературы. Читает запоем. Особенно — про войну. Смотрит все фильмы, выходящие на экраны, некоторые по многу раз. Примеряет на себя подвиги и страдания героев. По-детски погружается в вымышленный мир, где она — смелая, ловкая, красивая — совершает подвиги, спасает, или, наоборот, ее спасают, в нее влюбляются... Образ идеального героя, созданный ее воображением — это смесь Сани Григорьева из «Двух капитанов», Давыдова из «Поднятой целины», лейтенанта Глана из Гамсуновского «Пана», наездника Васи Говорухина из фильма «Смелые люди», Мартина Идена — в общем, такой, внешне грубоватый, пусть даже не очень образованный, но мужественный, волевой, благородный и, главное, душевно тонкий.

В этом затянувшемся отрочестве реальный мир для нее куда менее привлекателен, чем вымышленный. В реальном — насморки, контрольные, двойки, ежемесячные недомогания, неуверенность в себе, боязнь чужой насмешки, страх перед будущим. В мечтах — ожидание чего-то необыкновенного, прекрасного, что когда-нибудь непременно случится в ее жизни.

10 сентября 1952 г.

Задают столько уроков, что если их все готовить, ни на что больше времени не останется. Мама твердит — занимайся, занимайся, занимайся, и она права — десятый класс, аттестат

зрелости, мама ломает голову, в какой институт меня засунуть, я тоже об этом думаю, но не могу же только об этом.

Теперь. Если Нинка не врет, то получается, что этим летом чуть ли не все мальчишки из ее дачной компании тщетно искали с ней дружбы. Неужели она такая интересная? По-моему, нет. Я ее, конечно, уважаю за многие положительные черты характера, но внешне она, по-моему, ничего особенного. Почему же она (по ее намекам) нравится мальчишкам, а я нет? Меня, по крайней мере, многие в классе считают остроумной. Однако, за мной еще ни один мальчишка не ухаживал. Мне этим летом в Дубултах очень нравился А.Л., но не могла же я ему чуть ли не на шею кидаться, поддакивать и глядеть ему в глаза как Ёлка Тольке! А чтобы понравится без этого, нужна красивая внешность, каковой у меня нету.

Между прочим, идя сегодня с Нинкой из школы, я наврала ей, что за мной ухаживает парень, которого она один раз видела, и что раньше он мне нравился, а теперь нет, а я ему да, и т.д. Нинка ахала и гадала, где она его видела. Зачем мне понадобилось это вранье? Должно быть, я действительно страдаю от ЭТОГО.

14 сентября 52 г.

Ну да, я виновата, уроки учу халтурно, получила пару по алгебре, не вешаю в шкаф школьную форму и т.д. Но мама создает такую атмосферу, что хоть домой не возвращайся. Сегодня, например, Белоусова на английском рассказала анекдот, дико смешной. Я так хохотала, что Инна выгнала меня из класса. Прихожу домой и такая встреча: «Вызывали?» — «Нет» — «Ну конечно! Раз лицо веселое, значит, не вызывали!» Или это ее постоянное: «Почему Нина все успевает и хорошо учится, а ты!..» Или: «Почему Ёлка всегда такая общительная, приветливая, а ты такая мрачная?»

Веселая — плохо, мрачная — плохо. И все время так.

Ну, всё. Сажусь за уроки.

17 сентября 52 г.

Было комсомольское собрание. Обсуждался поступок Алки Лейн из 10-Б. Она принесла в класс заданное на лето сочинение «Мое понимание смысла жизни», написанное ее двоюродным братом, и сдала как свое. Когда же девчонки это узнали (она сама протрепалась своей лучшей подруге, а та донесла комсоргу) и

стали убеждать ее не врать, она дала ЧЕСТНОЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ, что это ее сочинение.

Но меня поразило не Алкин поступок, хотя дать честное комсомольское, зная, что врешь, — это довольно бессовестно. А поразило то, как к этому отнесся ее класс. Они целое расследование учинили, устроили Алке очную ставку с ее братом, вынудили сознаться, но мало этого — пошли в райком, заявили об Алкином поступке, оттуда пришла инструкторша, хвалила 10-Б за бдительность. А они — рады стараться — клеймили несчастную Алку, как будто она не сочинение сдула, а военную тайну выдала. Что они к ней привязались? И что теперь с ней будет? Могут из комсомола исключить. Хотя вряд ли.

Я подумала: повезло мне, что я не в 10-Б, а в 10-А. Да если бы наши девчонки даже узнали — посмеялись бы только. Ну, может, самые идейные, вроде Нинки, осудили бы, но уж не больше. У нас, в смысле безыдейности, очень хороший класс: все друг у друга сдувают, подсказывают, и хотя время от времени выносят решения — не списывать, не шуметь на английском и т.д., но проходит несколько дней, и всё становится по-прежнему.

После комсомольского собрания мы шли домой с Ёлкой, и она сказала: «Если бы Алка Лейн была не Лейн, а Петрова или Смирнова, то ничего бы ей не было». Это меня поразило. Мне это даже в голову не пришло. Если Ёлка права, то какие же сволочи эти, из 10-Б! Но как-то не верится.

20 сентября 52 г.

Сегодня шли домой втроем: Софка Корнева, Людка Кабанова и я. Остановились на нашем углу и долго стояли, ржали. Людка сказала про меня, что я дико остроумная. Софка сказала, что из всего нашего класса она больше всех обожает меня и Люську Головинну. Людка сказала: «А кто их не обожает». Это было приятно слышать.

22 сентября 52 г.

В пятницу мы с мамой и папой ходили на выставку в Академию художеств, на Кропоткинскую. Когда уже одевались в гардеробе, я увидела Наташку Белоусову с Шуркой Ширвиндтом. И я — вот дура! — не только не поздоровалась с Шуркой, но сделала вид, что не заметила его. Летом на даче у Наташки Захава мы с ним нормально разговаривали, в пинг-понг играли. А тут

дикая скованность напала. Почему?! Он мне даже не очень-то нравится, хотя Захава, например, от него без ума. Сегодня в школе мне Белоусова говорит: «Почему, когда ты с родителями, то ты такая зажатая?»

Вот точное слово — именно зажатая! И именно — когда с родителями. Вернее, с мамой. Когда я хожу с мамой, то постоянно чувствую, что она за мной наблюдает, оценивает каждый мой шаг. И я тут же зажимаюсь. И наоборот, когда я без родителей, вернее, без мамино критического взгляда, то становлюсь самой собой. Правда, с мальчишками на меня все равно нападает жуткая тупость. Я не знаю, как себя вести и о чем говорить. Краснею, потею. И тут мама, увы, ни при чем. Может быть, все дело в раздельном обучении?

26 сентября 52 г.

Вчера нас водили всем классом на экскурсию в музей Николая Островского. Она произвела на меня просто неизгладимое впечатление. Конечно, я читала «Как закалялась сталь», но воспринимала Павку Корчагина как литературного героя. А вчера до меня дошло, что это был живой человек — Николай Островский. И какой человек! Вот образец правильно, прекрасно прожитой жизни. Жизни-борьбы за счастье всех людей. Сколько изувеченных войной вновь возвращались в строй благодаря этой книге Островского.

И вот сравнить эту жизнь с моей. Мне уже шестнадцать с половиной лет, а я не вылезла из каких-то бытовых мелочей, сплетен, неприличных анекдотов и т.д. Все мои хорошие начинания так и остаются начинаниями. Я ничего не довожу до конца. Знания мои чудовищно поверхностны. В разговорах с друзьями я часто с апломбом сужу о многих вещах, и кое-кто в классе считает меня умной. Но ужас в том, что я выражаю не свои взгляды, а повторяю то, что слышу от отца. У меня нет своего мнения. Отец дает мне читать Гамсуна, Цвейга, Леонида Андреева — я читаю и понимаю только, что это совершенно не похоже на то, что мы проходим в школе. Но хорошо это или плохо — я не знаю. Когда отец разжует, у меня появляется мнение. Вернее, его мнение становится моим.

28 сентября 52 г.

С Алкой Лейн всё обошлось. Правда, в школе Любаша на нее орала: «Я с тебя шкуру сдеру!» Но потом вместе с Алкой пошла в

райком комсомола, поговорила с кем надо, позвенела своими орденами, и дело замяли. Она на всех орет, ее даже учителя боятся, но в трудную минуту наша директорша всегда приходит на помощь.

30 сентября 52 г.

В субботу мы со Светкой Чеботаревой ходили в Третьяковку на выставку художников 1952-го года. Нам больше всего понравилась картина Решетникова «Опять двойка». Вернувшись домой, я сказала об этом отцу. В ответ он начал говорить о многообразии художественных манер, привел в пример Левитана, Ван Гога, еще кого-то, показал репродукции, и я тут же согласилась с ним, что «Опять двойка» это примитивный натурализм. Все дело в том, что отец может обосновать свое мнение, а я не могу. Мне не хватает доводов.

Но самое мерзкое в том, что, соглашаясь с отцом и высказывая вслух его точку зрения (чем, наверно, и заслужила репутацию умной), я в глубине души, тайно от него и даже от самой себя, продолжаю любить раскритикованные и осмеянные им произведения. Например, мне нравятся фильм «Тарзан» (про которого он сказал, что это бред сивой кобылы), роман Кетлинской «Мужество», «Честь смолоду» Первенцева, «Белая береза» Бубеннова, мне близки их герои и хочется встретить таких в жизни. А хорошо или плохо в смысле искусства — я как-то не думаю. И «Опять двойка» — ну и что же, что примитивный натурализм, а мне все равно нравится. Потому что смешно и все понятно. Но чтобы самой не прослыть примитивной, я буду завтра в классе восхвалять Ван Гога, о котором никто даже не слышал.

11 января 53 г.

Какая же сволочь Аверина! Когда меня сегодня вызвали по физике и я просила ее подсказать, то она сделала удивленное лицо и показала, что ничего не знает. Однако, когда этот же вопрос задали ей, то она ответила. Вот образец человека, который думает ТОЛЬКО о себе, а на других ей наплевать. И с такой психологией она собирается вступать в жизнь!

14 января 1953 г.

Газеты полны жутких сообщений. Оказывается, в наших больницах действовали врачи убийцы! Они отравили Жданова и Щербакова! Среди отравителей и шпионов — самые знаменитые

профессора. Они арестованы и во всем признались. Профессор Шерешевский, отец нашей англичанки Надежды, тоже арестован. Я его видела на концерте в Доме ученых — никогда бы не подумала. Ужас. Странно, что Любаша не увольняет Надежду.

Всё это очень плохо еще по одной причине...

Вчера на родительском собрании мать Ирки Орестовой села со мной за одну парту и начала рассказывать, как ее соседи по квартире, евреи, хотели отравить ее сына. Мама молча пересела за другую парту. Та догадалась и говорит: «Ах, извините!»

20 января 53 г.

Сегодня шли из школы со Светкой Чеботаревой и встретили брата Наташки Авериной, Мишку. И он начал радостно рассказывать, как у них в 69-й школе избивают мальчишек-жидов.

В нашей школе такого нет. Любаша даже англичанку не уволила. Вообще, мы здесь за нашей директоршей как за каменной стеной, но это пока мы в школе, а потом? Скоро ведь в институт поступать. Куда меня возьмут только!

В те дни

...**С**о всех домов смотрели его портреты в траурном обрамлении. При одном взгляде на эти черные рамки и ленты — невозможно было удержать рыдания. Душу и тело сотрясала чудовищная непостижимость события.

Что теперь будет?! Как же мы будем — без него?! Без Сталина?!

Уроков, конечно, не было. Плачущие учителя ходили по коридорам и не делали нам замечаний. Какие замечания, когда случилось такое!

Я вошла в класс и рухнула на свою парту — вторую в среднем ряду, с моими именем и фамилией, выцарапанными бритвой на внутренней стороне откидной крышки. Хоть за что-то уцепиться в этом кораблекрушении!

Всех созвали на траурную линейку.

Мы выстроились на втором этаже в две шеренги — восьмые, девятые и десятые. Шеренги колыхались от рыданий. У стены стояли заплаканные, не похожие на себя учителя. Над их головами висели портреты писателей-классиков с такими

лицами, словно и они разделяли нашу скорбь. В глазах Чернышевского застыл вопрос: «Что делать?»

Вперед вышел историк Анатолий Данилович. Он был в военной форме, на груди — ордена и медали.

— Товарищи! — произнес он.

Линейка ответила дружным воем.

— Тихо! — скомандовал Анатолий. — Приказываю успокоиться! Смирно!

Окрик подействовал. Стало тихо, если не считать отдельных произвольных всхлипов.

Анатолий заговорил о том, что в эти трагические дни наша главная задача — не распускаться, не раскисать, не дать пессимизму взять над собой верх, а наоборот, собраться с силами, взять себя в руки, относиться к себе и к другим с повышенной требовательностью и бдительностью. Ибо затаившиеся враги именно теперь поднимут головы, постараются воспользоваться нашей растерянностью.

По мере того как он говорил, линейка подтягивалась, выпрямлялась. Жесткие, мобилизующие слова учителя, фронтовика, коммуниста приносили облегчение своей ясно поставленной целью, вселяли уверенность, что жизнь еще не кончена, впереди — борьба с врагами, но им нас не сломить!

На правом фланге произошло какое-то движение, суета. Потом две восьмиклассницы проволокли третью, держа под руки. У третьей моталась голова, косы подметали пол.

Нас отпустили домой.

Дома потрясенная мама ходила из угла в угол, заламывала руки и задавала в пространство все те же вопросы: что делать? Что теперь будет? Тут был, кроме риторического, еще и конкретный смысл: что будет со мной, ее единственной дочкой? В этом году мне заканчивать школу и поступать в институт. В какие двери маме стучаться, чтобы меня с моей фамилией хоть куда-нибудь приняли? Газеты и журналы полны разоблачительных статей о «Пинях из Жмеринки» и всяких Авербах, скрывающихся за русскими псевдонимами. Но это цветочки по сравнению с арестом врачей-отравителей, большинство из которых, как назло, евреи. Ужас! Это же тень на всю нацию! Еще недавно у мамы была надежда, что ОН разберется, кто виноват, а кто невиновен, и восстановит справедли-

вость. Но ОН умер, и волосок, на котором висела мамина надежда, оборвался.

Уроков не было и на следующий день, но потрясение первого дня чуть-чуть ослабело, размылось, вошло в русло и потекло в общем потоке, где кроме горя и растерянности начали оживать обычные чувства и мысли. И среди них — тайное удовольствие от того, что нет уроков, опросов, домашних заданий. И стыдливая мыслишка, что чем активнее мы будем проявлять свое отчаянье, тем дольше продлится передышка. Нет, в принципе, конечно, надо собраться с силами и взять себя в руки, но, может быть, не сегодня, а с понедельника.

В классе, слева от доски, висел плакат, безотказно действующий на слезные железы: вождь поднял на руки девочку с букетом цветов. Мудрый прищур, отеческая улыбка, гроздь салюта, ликующие лица вокруг. «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»

Неужели его нет больше?! И не подбежит к нему девочка с цветами, и не подхватит он ее своими добрыми... отцовскими... И напрасно вы заглядываете в класс, Георгий Нилыч, да еще с журналом под мышкой! Как вы можете в такой день — о какой-то алгебре!.. Разве вы не видите, как мы стр-радаем?!

Плакат этот повесили в классе перед годовщиной Октября. Мы оставались после уроков, клеили бумажные цветы для демонстрации. Пели хором про глобус, который «крутится-вертится, словно шар голубой». Наташка Белоусова рассказала, как в прошлом году ходила с дедушкой на майскую демонстрацию и видела его на трибуне мавзолея.

— А вдруг и мы увидим, — мечтали мы.

— Но если будет дождь, — сказала Рутковская, — то лучше ему не выходить на трибуну. А то простудится.

Все как-то даже сконфузились. Нинка вечно ляпнет. Простудится — он! Неприлично даже представить, что он может сморкаться как обычный человек.

В ту осень чудо произошло — мы его увидели. Он вышел на трибуну как раз в ту минуту, когда наша колонна проходила мимо мавзолея, поднимая вверх бумажные цветы. Он был в фуражке и простой серой шинели, застегнутой под горло. Самый скромный из всех, кто стоял справа и слева от него. Он

неторопливо поднес руку к фуражке, приветствуя нас. О-о, что это была за головокружительная, сумасшедшая, самозабвенная минута, исторгшая из наших глоток вопль ликования! И потом, когда мы возвращались домой вдоль стены Кремля, по набережной, по Лебяжьему, по Волхонке, волоча по асфальту уже ненужные бумажные цветы, при одном лишь воспоминании о скромной фигуре, об этой неторопливой руке, поднесенной к фуражке, нас сотрясало жаркое чувство восторга. Мы пели хором: «...О Сталине мудром, родном и любимом, прекрасную песню слагает народ!» И другую: «Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полёт!..» И третью: «Артиллеристы! Сталин дал приказ!» И четвертую, и пятую — песен хватило до самого дома.

— Мама! — слышу я свой ликующий крик. — Мы видели Сталина!!

И мамино ответное, счастливо-ошеломленное:

— Что ты говоришь!!

Хотя мама могла и подыграть — она была все-таки актрисой. Чувство, которое она испытывала к вождю, было смесью страха, благоговения и веры. Мама говорила: «Он всё может!» — вкладывая в эту фразу, как мне казалось, светлый, позитивный смысл. Она считала, что «он не знает всего», что «ему не говорят», что если ему написать и письмо попадет в его руки — он восстановит справедливость.

Папа, отбивший десятилетнюю ссылку — факт, который от меня тщательно скрывался, хотя что-то иногда проскальзывало в разговорах, — не строил иллюзий. Иногда, в ответ на мамино «ему не говорят», он выходил из себя и выплескивал что-нибудь такое немислимое, не лезущее ни в какие ворота, что я только хохотала, принимая это за неприличную шутку. Мама тут же испуганно и гневно затыкала ему рот фразами, типа: «Тебе что, опять захотелось?» или: «Ты что, с ума сошел? Она же пойдет в школу и всем расскажет!»

Когда пьесы отца по подозрению в космополитизме были сняты со всех театральных репертуаров, мама в ожидании худшего вдруг обратила внимание, что в квартире нет ни одного портрета Сталина.

— Надо немедленно купить и повесить, — сказала она.

Папа тут же завелся и закричал:

— Зачем?!

В ответ мама тоже закричала:

— Затем, что к нам может зайти дворник! Или кто-нибудь! Ты что, наивный? Нельзя, чтобы в доме не было портрета!

Папа заорал:

— Ну, так купи и пришьи его себе на задницу, чтобы дворник видел!!

— Тише!! — шепотом закричала мама, тыча пальцем в мою сторону. — Ты что, с ума сошел?! При ней!

В результате дискуссии папа купил на Арбате плакат с изображением вождя, курящего трубку на фоне гор, и повесил в кабинете. Всем, кто к нам приходил, папа зачем-то объяснял, что его привлекло здесь цветовое решение, оригинальный ракурс и условная художественная манера. Все одобряли папин вкус. Мама подтверждала: «Прекрасный плакат!»

На третий день горе застоялось. Требовался свежий ветер. И, словно подчиняясь некоему драматургическому закону, в класс вбежала Белоусова и закричала, что пока мы тут сидим, как дураки, десятый «Б» пошел к Дому Союзов, где установлен гроб.

Мы тут же помчались в раздевалку. Там нас настигла наша классная руководительница Евгения Ивановна, химичка.

— Девочки, вы куда?

— К Дому Союзов!

— Кто вам разрешил?

— Десятый «Б» пошел — и мы пойдем!

— Я с вами! Я же за вас отвечаю! И давайте организованно, строем, как подобает!

От Островского, где находилась наша 43-я, женская, мы свернули в Староконюшенный, строем прошли мимо 59-й, мужской, мимо громадного серого дома с колоннами, где на первом этаже жила знаменитая Кошке, у которой моя мама шила бюстгальтеры, чем очень гордилась, потому что Кошке шила только дамам известных фамилий. Когда наступило время, мама привела к ней и меня, и сейчас на мне был бюстгальтер из плотного розового мадепалама от знаменитой Кошке (прости, Господи, какие ничтожные мысли лезут в голову в т а к и е минуты!).

На Арбате наш строй распался, мы побежали, кто быстрее, к Арбатской площади, куда текли потоки людей из всех прилегающих улиц и переулков. У многих в руках были его портреты. Увидев толпу на площади, Евгеша закричала, что запрещает нам идти дальше, но никто ее не послушал. Весь наш десятый «А» мгновенно растворился в скопище людей, как горсточка камней, брошенных в гальку громадного пляжа. Рядом со мной осталась только Наташка Захава, и мы схватились за руки.

С этого года Наташка училась в нашем классе, перейдя к нам из своей прежней, 29-й школы. Я была рада, потому что мы дружили с колясочного возраста, наши квартиры были на одном этаже. Но класс отнесся к ней холодно. Отчасти она сама была виновата — сразу начала проявлять свой строптивый, безапелляционный характер. Наталкиваясь на насмешливое противодействие нашего сложившегося коллектива, обижалась, считала, что все не правы, она одна права. Я ее защищала, старалась ей покровительствовать, но ей и это не нравилось, потому что в наших с ней отношениях она всегда командовала, а я подчинялась, а тут мы вроде поменялись ролями.

Но в этом уличном столпотворении она снова стала лидером, а я ведомой.

— Пошли! — сказала она.

Это было похоже на рискованную игру — вот так плыть по улице Калинина в толпе, почти не по своей воле. Иногда можно было поджать ноги как в детской игре «побежали-полетели», и я это один раз тайком сделала, но сразу же спохватилась и опустила ноги. Нас протащило мимо кинотеатра «Художественный», где совсем недавно (но еще в той эпохе) мы, удрав с физкультуры, стояли в очереди на «Тарзана в Нью-Йорке», мимо Военторга, мимо бюста Калинина и уже впереди показалась зеленая верхушка одной из Кремлевских башен, но вдруг толпа остановилась: улица оказалась перегороженной грузовиками. В грузовиках стояли милиционеры. Мы с Наташкой, не разнимая рук, протиснулись к грузовикам. «Давай!» — сказала Наташка. Вслед за какими-то мальчишками мы пролезли на четвереньках под машиной и вылезли с той стороны.

И побежали вместе с другими бегущими по Манежной улице, вдоль длинющего Манежа. А из улицы Герцена медленно вытекала колонна людей, плотная, как тело громадной

змеи, заворачивала вдоль ограды Университета и двигалась в сторону Дома Союзов. (Я восстанавливаю названия и направления из сегодня, а тогда мне было все равно, мимо каких улиц и зданий мы бежим, главное — не потерять Наташку, потому что без нее я даже не знала, в какой стороне находится Дом Союзов — давал себя знать мой врожденный пространственный кретинизм.)

Мы бежали вдоль этой колонны, пытаюсь отыскать щель в человеческом монолите и протыриться внутрь, как мы с ней иногда проделывали во время праздничных демонстраций. Но тут ничего не получалось, потому что вдоль колонны, оберегая ее от вторжения со стороны, стояла цепь милиционеров. Мы все равно бежали вместе с другими, такими же как мы, в тщетных попытках проскользнуть между милиционерами и примкнуть к колонне.

Неожиданно сзади, как морской вал, нахлынула орущая, азартная, возбужденная толпа, может быть, прорвавшая оцепление грузовиков, а может быть, со стороны Волхонки или другой улицы, и нас с Наташкой захлестнуло, подхватило, втянуло в кромешный людской водоворот, как ниточку разорвав наши сплетенные руки. Меня поволокло вперед спиной, развернуло, стиснуло, я вытягивала шею в попытках увидеть Наташку. Потеряв ее, я будто потеряла себя, оробела, растерялась и окончательно потеряла ориентацию. Какими-то вспышками помню: девушка с окровавленным лицом в разбитой стеклянной будке телефона-автомата; два парня в формах студентов геолого-разведочного института, упершись руками в красную стену, спинами удерживают напор толпы, чтобы уберечь кого-то, кто лежит у стены. Я еще подумала: вот бы мне там лежать, под защитой этих красивых, крепких парней-геологов.

Последнее в этой давке, что я запомнила: какая-то женщина в перекосившихся очках, хватается воздух руками и валится на меня, увлекая за собой. Я падаю коленями и ладонями в слякотное месиво, не ощущая никакой физической боли, как бывает во сне. И под пинками чьих-то ног с ужасающей ясностью понимаю, что это не сон, а кошмарная явь, и сейчас меня раздавят как гусеницу.

... Был вечер, шел мокрый снег, горели фонари вдоль тротуара. Мы с Наташкой тащились по Садовому в сторону дома.

Как я тут очутилась? Кто вытащил меня из-под ног толпы? Откуда снова возникла Наташка? Не помню. Будто ножницами вырезали кусок памяти, протяженностью в несколько часов, а потом склеили обрезанные концы, и память покатила дальше, вот с этого места. Кажется, это был угол Садового и Малой Бронной.

Наташка уверяет, что четко все помнит. Она говорит, что нашу толпу оттеснили к Александровскому саду, к гостинице «Москва», с той стороны, где Стереокино, и нас протащило мимо Дома Союзов. Потом, уже около Метрополя, толпа свернула на Неглинную и там растеклась по круто вверх восходящим переулкам. И Наташка по Звонарскому поднялась до Трубной.

— И там я увидела тебя, на горке, в толпе. Внизу стояли грузовики, но их еще не начали опрокидывать. Я тебя схватила за руку и говорю: «Ладно, хватит». Потому что ясно было, что до Дома Союзов нам не добраться.

Вижу, как мы бредем с Наташкой от фонаря к фонарю по пустынному Садовому, едва волоча ноги от усталости. Троллейбусы не ходят. Мое зеленое пальто с цигейковым воротником заляпано грязью, обе галоши потеряны. У Наташки осталась одна галоша, но оборваны все пуговицы и хлястик на пальто. Мои коленки и ладони саднят и кровоточат. А в душе беспричинная легкость и радость. Хоть мы и не достигли цели, не побывали в Доме Союзов, но чувство такое, будто мы вышли на свет из темного туннеля и опять можно смеяться и болтать о пустяках. Мы и болтаем — о новом фильме «Композитор Глинка», о Славке, студенте МАИ, который ухаживает за Наташкиной старшей сестрой Катей, о Шурке Ширвиндте, который стал ужасно корчить из себя с тех пор как поступил в Щукинское, о предстоящих экзаменах, о платьях для выпускного вечера.

И вот она, улица Щукина, подворотня, наш подъезд. Мы вползаем на свой четвертый этаж, цепляясь за ступени руками, потому что ноги уже не идут. Но это пустяки, главное — мы живы, и впереди — много всего.

12 марта 53 г.

Давно не писала.

Вот уже несколько дней прошло, как случилось это страшное горе, но до сих пор рыдания подступают к горлу.

У всех одна мысль: как же мы теперь будем жить?

За это время я внутренне очень переменилась. Стала строже к себе относиться и контролировать свои поступки. Решила взяться за учебу как следует.

19 марта 53 г.

Целую неделю не сдувала, готовила все уроки и тихо сидела на самых шумных уроках — на английском и на логике. Но вот я заболела и два дня не ходила в школу. И теперь не знаю, как будет.

20 марта 53 г.

Сегодня сдула у Ёлки алгебру и геометрию. Вот так заканчиваются все мои хорошие начинания.

20 апреля 53 г.

Оказывается, врачей оклеветали! Никого они не травили и не убивали, а признались, потому что к ним применяли недозволённые действия. Интересно, какие? Может быть, гипнотизировали? Вообще, судя по некоторым газетным статьям, произошли кое-какие положительные изменения, о которых пока боюсь писать, чтобы не сглазить. Во всяком случае, кажется, легче будет поступить в институт. Ёлка, когда мы с ней сегодня гуляли на Девичке, только об этом и говорила.

Поселок, 1953 год

По воскресеньям мы с родителями, взяв с собой маленького Сашку и мою двоюродную младшую сестру Маринку, садились на недавно приобретенную машину марки «победа», и шофер Анатолий Семенович вез нас по старому Калужскому шоссе мимо деревушек Беляево, Коньково, Теплый Стан до военного городка Ватутинки. Сворачивал с шоссе направо и по узкому проселку еще километра через три привозил на то место, где определено было стоять нашей даче и где пока был кусок леса с условными границами нашего участка в виде далеко отстоящих друг от друга колышков. Немного на отшибе, но близко к будущему поселку, уже был построен длинный барак для рабочих, строителей поселка, где они

поселились с женами и детьми. И строительство началось — вырубались просеки, возникали контуры будущих улиц, труднопроезжие, с горбами корней и кое-как засыпанными ямами от выкорчеванных пней, так что наша «победа» если и могла подъехать, то лишь в сухую погоду, а обычно мы доезжали до ворот Госстроя — дома отдыха Строителей, а оттуда шли пешком. Просек было пять, еще без названий, а владельцев больших, каждый почти в полгектара, участков набралось примерно шестьдесят человек. Рядом с нашим был участок поэта Павла Антокольского. С ним и его женой Зоей Константиновной Бажановой мы и в Москве жили рядом, в одном доме, в соседних подъездах. Зоя, как и мама, была актрисой Вахтанговского театра, одной из тех, кого одновременно с мамой выдворили на пенсию. Но Зою оставили преподавать в училище, что создало некоторую напряженность в их обычно дружеских отношениях. К счастью, вскоре Зоя оставила преподавательскую работу, уйдя с головой в строительство дачи, и мама успокоилась.

Через несколько участков от нашего, на той же просеке, получил участок папин соавтор Михаил Абрамович Червинский с женой и двумя детьми — Шуриком и Наташей. Наташа была классе в четвертом или в пятом и не представляла для меня интереса, а вот Шурик, хоть и был младше меня на два года, но когда я увидела его после долгого перерыва, произвел на меня впечатление. Он уже не был тем пухлым толстошеким мальчиком, каким я помнила его с детства, встречая на театральных премьерах в сопровождении родителей. Теперь он представлял собой, скорее, даже юношу, чем подростка. Он был, правда, слегка прыщав, но красив, высок, строен, ироничен, не лез за словом в карман и к месту сыпал цитатами из полузапрещенных «Двенадцати стульев» и «Золотого тельца», что считалось признаком не только высокого остроумия, но и вольнодумства. У него был велосипед. Я попросила дать покататься, и он дал. Не исключено, что мама заметила мой скрытый интерес к Шурику и решила потушить его в зародыше, потому что, посмотрев ему вслед, прокомментировала как бы в сторону: «Боже, как Шурик подурнел! Ой, как он подурнел!» С чем я молча не согласилась.

На нашей улице-просеке, получившей впоследствии название Восточной аллеи, первыми владельцами участков, кроме нас, стали драматурги Виктор Розов, Юлий Чепурин, Алексей Симуков, прозаики Сергей Антонов, Георгий Березко, Борис Костюковский, Владимир Рудный, Григорий Бакланов (хотя нет, Бакланов вступил в кооператив позже, когда строительство уже в основном закончилось и рабочий барак снесли. Замусоренный, каменистый участок, на котором стоял этот барак, и получил Бакланов, превратив его со временем в небольшой плодово-цветочный рай и построив на нем дом, поменьше, чем у других, но достаточный для его дружной семьи). Еще на нашей улице получили участки гроссмейстер Александр Котов, академик Виктор Виноградов, журналист Олег Писаржевский, кинооператор Роман Кармен, сценарист Алексей Каплер, литературовед и переводчик Николай Вильмонт, кинорежиссер Михаил Ромм — в общем, те деятели советской культуры, кто сумели так или иначе вписаться в режим и занять в нем крепкое положение. Цвет советской интеллигенции. Все они теперь назывались «пайщиками», «членами ДСК». Иногда на собраниях их называли «неплательщиками» и даже «злостными неплательщиками», «должниками», «платежеспособными», «неплатежеспособными».

Признаться, все эти именитые взрослые меня мало интересовали. Гораздо важнее для меня было — есть ли у них дети моего возраста, и смогу ли я с ними подружиться. Потому что, если не будет компании, то какой смысл жить на даче?

2 июля 1953 г.

Экзамены прошли более или менее благополучно, на истории только чуть не засыпалась, но потом всё обошлось.

27-го июня был выпускной вечер. Накануне мы с мамой поехали в салон к знаменитому парикмахеру Полю, и он, наконец-то, отстриг мне косу. Но вместо радости получилось огорчение: он накрутил мне перманент, хотя я ему пыталась объяснить, что меня волосы сами вьются. Получилось ужасно! Вульгарная дамская укладка мелким бесом. Всю обратную дорогу и дома я ревели. Мама пыталась убедить меня, что Поль замечательный мастер и раз он сделал так, значит, он лучше знает, как мне идет. Но стоило мне посмотреть на себя в зеркало и увидеть этот

жуткий перманент, как я снова начинала рыдать. В конце концов, мама позвонила Кате Синельниковой и попросила прийти и что-нибудь сделать. Катя пришла, ужаснулась, тут же вымыла мне голову, крепко завязала платком, а когда волосы высохли, отстригла всю химическую завивку, и получилась короткая стрижка под мальчика. Катя работает гримершей в театре Вахтангова, и у нее замечательный вкус.

На следующий день, перед тем как мне идти на выпускной, Катя снова пришла, оглядела мое новое белое платье, приспособила к вырезу бант, чуть-чуть подмазала мне губы и щеки. За мной зашла Ёлка, и мы пошли в школу. Увидев меня, все девчонки взвыли, что со стрижкой мне в тысячу раз лучше. И у меня сразу поднялось настроение.

Все девчонки были в платьях по последней моде – приспущенные плечи, широкий рукав-японка, отложной воротник. У всех платья белые, только у Белоусовой – в синий горошек, а у Авериной – в красный.

Сначала была торжественная часть. Нас выстроили в зале. За столом сидели Любаша, учителя, за их спинами – родители. Любаша выкликала нас по имени-отчеству и вручала аттестаты. Выступали Ирина Ник., Сикорский, Георгий Нильч. Из родителей – мама Авериной и еще чья-то. Из девчонок – Ершова, Резниченко, Караваева.

Затем мы поднесли цветы учителям, особенно много – Ирине и Евгеше Сафрозьян, и нас повели в буфет, где были расставлены столы, а на них угощения и бутылки с лимонадом. Родители произносили прочувствованные тосты. Ирка Орестова прочитала длинное неуклюжее стихотворение своего сочинения.

Ну, танцевали под патефон шерочка с машерочкой, а потом всем нашим классом поднялись на четвертый этаж в наш класс, сели за свои парты, пели «Глобус крутится-вертится...», вспоминали разные случаи, разговаривали о всякой чепухе, хохотали. В общем, как всегда. И было странно, что все это – в последний раз.

В 4 часа пошли на Красную площадь. Уже было светло. Шли посреди улицы, шеренгой, т.к. машин еще не было. Орали песни. Положили цветы на Мавзолей. Если бы я была сентиментальной натурой, то можно было бы пустить слезу, как некоторые.

Сегодня уже сижу, занимаюсь. Документы сдала. Страшно боюсь экзаменов.

Вот бы я поступила! Я была бы счастливейшим человеком в мире!

И чтобы все наши девчонки поступили, и чтобы мы собрались в сентябре и рассказывали бы, как кто поступал и т.д. На большее мои мечты не распространяются.

Документы я подала в МГУ на филологический. Закончи я школу годом раньше, об Университете с моим «пятым пунктом» в паспорте нечего было бы и думать, но теперь был июль 1953-го, и появилась надежда: реабилитировали «врачей-отравителей», с убитого Михоэлса сняли обвинение в том, что он был агентом шпионской сионистской организации «Джойнт». Вообще, повеяло ветром оттепели, и мама решила рискнуть. Сама-то я предпочла бы институт попроще, например, Педагогический, лишь бы главным предметом была литература, но мама сказала, что Педагогический — это «не реноме», а Университет — «реноме».

Экзаменов нужно было сдать пять — сочинение, литературу, историю, географию и английский. Знания мои были, мягко говоря, слабоваты, да и те, которые были, заслонялись диким, оглушительным страхом перед экзаменами. Мама наняла репетиторов по всем сдаваемым предметам. Все эти репетиторы не только преподавали на филфаке, но и должны были входить в состав экзаменационной комиссии, и каждый обещал как-то так устроить, чтобы отвечать на билет я попала именно к нему, а не к другому экзаменатору. Как уж маме удалось таких найти, и сколько она им переплачивала сверх того, что брали обычные репетиторы, — не знаю, но как-то удалось. Была найдена и еще одна лазейка: мой дядя, Константин Осипович Масс, крупная шишка в области спортивного снабжения, дружил с кем-то из Университетских начальников по линии спорта, и этот начальник обещал ходатайствовать за меня по этой линии. Что являлось чистым враньем, так как никаким спортом я не занималась. Конкурс был — двадцать пять человек на место. С таким конкурсом нужно было набрать двадцать пять баллов из двадцати пяти. По истории, географии и английскому я с грехом пополам, а вернее, стараниями слегка перекошенных от стыда и гадливости экзаменаторов-репетиторов, получила пятерки, хотя отвечала на тройки. Но в

сочинении и литературе я была уверена. Из трех тем — «Принципы социалистического реализма по роману Горького “Мать”», «Образы помещиков в поэме Гоголя “Мертвые души”» и «Идеологическая работа Коммунистической партии по вопросам литературы» — я выбрала третью. Эту тему мы прорабатывали в школе, да и с репетиторшей подробно разбирали доклад товарища Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» как образец острого критического анализа с высоких партийных позиций. Переложив содержание доклада, с пафосом заклеив свои слова любимых Зощенко и Ахматову (им-то все равно, а мне лишь бы пятерку получить), добавив идеологически выдержанных мыслей, я сдала сочинение в полной уверенности, что получу пятерку, но получила четверку с минусом. То ли партийная идеология за это время чуть-чуть пошатнулась, и мой пафос выстрелил не совсем в цель, то ли, что вероятнее, я посадила какую-нибудь грамматическую ошибку. С экзаменом по литературе устной тоже получилась накладка: моя репетиторша не смогла прийти из-за внезапной болезни дочки и не предупредила обо мне никого из других членов комиссии. И хотя на первый вопрос — «Изображение партизанского движения по “Разгрому” Фадеева» — я ответила без запинки, а во втором вопросе — поэзия народов СССР — вообще купалась, шпаря наизусть стихи Сулеймана Стальского, Павло Тычины, Петруся Бровки, Джембула и других поэтов братских республик в русских переводах, белоглазой, надутой экзаменаторше мой ответ, а скорее я сама, чем-то не понравились и она поставила мне четверку.

С двадцатью тремя баллами меня все-таки зачислили, не исключено, что по ходатайству спортивного начальника, но не на очный, а на вечерний.

Я была просто убита. Такое напряжение перед стартом, такое отчаянное преодоление страха перед экзаменами, и вот прыжок... И приземление куда-то в «молоко», в сторону от цели, в мутную, ватную среду под туманным названием «вечернее отделение филологического факультета». Все мечты пошли наперекосяк. В слове «вечерница» мне слышалось что-то второсортное, презрительное. Оно звучало как «второгодница». К тому же программа обучения на вечернем была рассчитана не на пять лет, а на шесть! Состаришься, пока закончишь.

Напрасно мама убеждала меня, что главное — поступить, что никто мне не запрещает посещать лекции очного факультета, а потом дядя похлопочет через того же спортивного начальника и меня к концу года, может быть, удастся перевести на очный.

К концу года! Может быть! А сейчас? На вечернем занятии начнутся только с октября. Все нормальные студенты придут первого сентября, счастливые, равноправные, а я? Ну и что же, что смогу посещать лекции? Все равно буду чувствовать себя на обочине в дружном коллективе, его неполноправным членом. И потом, мне же придется куда-то устраиваться на работу, потому что на вечернем нужна справка с места работы, а тогда как я смогу посещать дневные лекции? А я хочу окунуться в дружный молодой студенческий коллектив, чтобы было так же, как в школе, но лучше, потому что — с мальчишками (моя-то школа была женская, и — вот обида — как раз с нового учебного года женские и мужские школы объединили). Хочу, чтобы походы, песни у костра, чтобы ездить вместе со всеми в колхоз на уборку картошки, чтобы вечеринки, тайные встречи, чтобы любовь...

Поселок, 1954 год

В поселке тем временем стучали топоры, шоркали рубанки, звенели пилы: строились летние домики-временки под односкатными крышами, ставились деревенские нужники-скворечники, чтобы писательские семьи летом могли жить с относительными удобствами, в ожидании пока строятся их зимние дачи. Водопровода еще не было, вместо него — железная бочка, лошадь, телега и водовоз дядя Петя. Во временках были печки с дровяными плитами. Дров было много, так как участки представляли собой сплошной смешанный лес с грибами и ягодами — елки в два обхвата, березы, сосны, густой кустарник. Без вырубki было не обойтись. Требовалось получить разрешение на рубку каждого дерева, лесничество в те годы за этим следило. Но, конечно, за всеми не уследишь, и деревья потихоньку вырубались, открывались солнечные полянки, вскапывались первые грядки, высаживались первые

цветы. Писательские жены ходили друг к другу в гости, смотрели, кто как устроился. Каждая старалась похвастать уютom своего скромного временного жилища. Встречаясь, обсуждали, у кого как устроено, что-то перенимали, кого-то критиковали. Мой отец в то первое дачное лето увлекся рисованием. Начал с того, что разрисовал цветами белую известковую печку. Получилось очень нарядно, соседи восхищались.

С этой печки началось. Папа и раньше рисовал, но так, между делом. А тут увлекся. Времянка превратилась в мастерскую: всюду альбомы, кисти, краски, эскизы, натюрморты, портреты, пейзажи. Маме нравилось, что к нам заходят соседи — специально посмотреть на папино искусство, просят подарить картину, и папа охотно дарит, и уже не только у нас, но и во многих соседних времянках (а потом и в построенных дачах) висят яркие, выполненные в условной манере, сочные, радостные папины картины.

Телефонов в поселке еще не было, машины были далеко не у всех, поэтому заходили попросту, спрашивали у машиновладельца, не едет ли он в Москву, и если едет, не найдется ли в машине лишнего места. Хорошим тоном считалось, если сам машиновладелец заходил к соседу и сообщал, что едет и что есть одно или два свободных места. Если свободных мест не было, шли пешком три километра до шоссе, а там садились в автобус, который доезжал до метро «Калужская». Автобусы ездили с большими перерывами и бывали переполнены.

Ну, и мы, дети, тоже потихоньку знакомились. Я сразу сблизилась с пухленькой, общительной и кокетливой Инкой Ермашовой. Она поступила в этом году в Менделеевский. Хвасталась, что ее папа, журналист-международник, долго работал за границей и дочку назвал *ИНО*, что расшифровывается как «Иностранный отдел НКВД», а в метрике она записана «Ина», с одним «н». Особой душевной близости, как, например, со школьной подругой Ёлкой или сестрой Маринкой, у нас не образовалось, но для дачи такие легкие, ни к чему не обязывающие отношения были в самый раз. Благодаря Инкиной общительности мы быстро перезнакомились с остальной дачной молодежью. Заводилами стали Рудные, два брата-студента,

Генька и Ярик, и их сестра Грелька. Они организовали волейбольную площадку за поселком, на лесной поляне. Там, на волейболе, к нам присоединились Севка Россельс, поступивший в этом году в МАИ, скромная, стеснительная Лена Липскерова, студентка Плехановского, Наташа Еголина, Илюша Александров. Из школьников были Шура Червинский и Андрей Ладынин, сын знаменитого кинорежиссера Пырьева и не менее знаменитой киноартистки Марины Ладыниной – худенький высокий блондин с голубыми глазами и нежным румянцем. Он восхищал нас, девочек, начитанностью, оригинальностью взглядов и спокойной небрежностью, с какой он эти взгляды высказывал. И еще тем, что никогда громко не смеялся и не повышал голоса. Он собирался поступать во ВГИК, а пока учился в школе, но не в простой, а в Суриковском художественном училище, ходил с мольбертом и складным стульчиком на берег Десны писать пейзажи.

Наташа Ромм училась в медицинском, Сашка Богословский – в консерватории, Наташа Фиш – на биофаке МГУ.

В дождливую погоду собирались во времянке Рудных или у Фишей, играли в карты, философствовали. Обозначились какие-то «особые» отношения. Севке Россельсу нравилась Инка, но он был стеснителен и старался этого не показать. Инка нравилась и другим мальчикам. Она со всеми кокетничала, но никому пока не отдавала предпочтения. На меня «положил глаз» Генька Рудный, простодушный увалень, добрый, покладистый, но какой-то очень уж простоватый. Другие любили рассуждать о высоких материях, оспаривать истины, в общем, пускать пыль в глаза, а он больше помалкивал. Никто его не принимал всерьез, над ним подсмеивались, а он не обижался. Его робкие попытки ухаживать за мной я со смехом отвергала. Меня даже обижало, что я нравлюсь такому примитивному мальчику. Что же, другим я, значит, не интересна, если мне достался такой?

Но вообще это первое дачное лето было прекрасным.

Всей компанией ходили в село Пучково осматривать старинную церковь, гордый силуэт которой увидел за много километров и показал нам Андрей Ладынин. Вблизи церковь оказалась мертвым кирпичным остовом без крыши, загаженным внутри и поросшим травой. Рядом – заброшенное клад-

бише. Грустное зрелище. Но сам поход был веселый — долгий, кружной, с привалами на берегу Десны, купанием, переходом через всякий «тарзаний» мостик. В какой-то деревне сыграли в волейбол с местными и позорно проигрались.

Часто ходили в дом отдыха Госстроя играть в пинг-понг, валялись на пляже, ходили в клуб — там через день показывали кино, иногда очень хорошее, например, американский фильм «Великолепная семерка» или французский — «Газовый свет». Возвращались в темноте, подсвечивая дорогу фонариком. Чувственность окружала нас почти осязаемым туманом, но отношения были целомудренными, то, что называется — «товарищескими».

Дому отдыха Госстроя, где мы постоянно паслись, принадлежала большая ухоженная территория с красивым, в классическом стиле двухэтажным белокаменным зданием с колоннами на высоком берегу Десны. От дома к реке вела широкая каменная лестница в три пролета, внизу была лодочная станция. Вдоль берега шла прогулочная дорожка, отделенная от реки низкой белой балюстрадой. Здесь, на территории дома отдыха, среди цветников, фигурных скамеек, ротонд и спортивных площадок напрашивалось снимать фильмы про богатую дворянскую жизнь. Однако, прошел слух, что снимать будут не про дворянскую, тлетворную, а про нашу, счастливую, по пьесе пайщика нашего кооператива Алексея Дмитриевича Симукова «Девыцы-красавицы», о простых заводских девчатах. Роскошь обстановки должна была создать у зрителя убедительное представление о жизни советских рабочих. Слух оказался ложным, хотя сама пьеса шла по всему Советскому Союзу, так что ее автор был пайщиком «платежеспособным». В этом смысле драматургам везло больше, чем прозаикам, чьи гонорары были не столь постоянны, так что многим строительству оказалось не по средствам. Так, отпала, не осилив строительства, писательница Любовь Кабо, передав участок важному чиновнику из министерства культуры Владимиру Кеменову. Через год свой недостроенный дом вынужден был продать Владимир Рудный, так что Грелька с Яриком и Генькой выпали из компании. Сам Рудный еще несколько лет жил в поселке один, писал роман, снимая времянку у писателя

Волкова, но потом и Волков оказался «неплатежеспособным», и его участок приобрел Генрих Боровик.

Дело в том, что денег на строительство понадобилось гораздо больше, чем предполагалось вначале. Прорабы проворывались один за другим, и никто не знал, как этому противостоять. В конце концов, писатели стали строить каждый сам, кто во что горазд, без начальников, но поскольку опыта ни у кого не было, стройматериалы доставать было очень трудно, рабочих не хватало — строительство шло медленно и через пень-колоду. Часто со скандалами. Кому-то повезло достать «левый» кирпич, у кого-то сперли «левые» доски. Какой-то счастливец, еще не осилив фундамент, уже приобрел по большому благу чешский голубой унитаз, и все ходили на него любоваться и завидовать. У кого-то уже заканчивалась кирпичная кладка, а у кого-то еще только рыли яму под фундамент. Нескольким пайщикам (моему отцу в их числе) удалось достать роскошный дубовый паркет. Паркет оказался ворованным, похитителей судили, а отца и других невольных «скупщиков краденного» вызывали в суд, к счастью, только как свидетелей, но волнений было много. Паркет, однако, не изъяли, так что и по сей день полы у нас в доме покрыты ворованным паркетом.

В самом конце лета устроили прощальный костер рядом с волейбольной площадкой. Наташа Ромм принесла бутылку вина, все чуть-чуть окосели и раскрепостились. Вдруг, в темноте, меня обнял Сашка Богословский. Это было захватывающее мгновение. Оно и продолжалось мгновение, потому что рядом затрещали кусты и вылез Илюша с охапкой хвороста, но острое чувство, которое я испытала при этом объятии, не покидало меня весь вечер. Генька смешно ухаживал за мной, все острили по этому поводу. Сашка помалкивал. Между нами была тайна. Мне хотелось, чтобы эта ночь никогда не кончалась.

В третьем часу за Наташей пришел Михаил Ильич Ромм, освещая тропинку фонарем, и сказал, что пора по домам. Условились приезжать зимой всей компанией по воскресеньям кататься на лыжах. Брать с собой термосы и какую-нибудь еду и греться в одной из времянок.

Вира

Поскольку у вечерников занятия начинались только с октября, мама достала мне путевку на две первые сентябрьские недели в дом отдыха Госстроя. Ему, кроме здания с колоннами, принадлежало несколько финских деревянных домов с мансардами. Меня как раз и поселили в таком, в комнатке под крышей. Соседкой моей оказалась девушка по имени Вира (она подчеркнула при знакомстве, что не Вера, а именно Вира — так ее называли родители в честь героини романа Сейфуллиной «Виринея»). Она была студенткой четвертого курса МАИ, но ей пришлось взять академический отпуск, потому что она весь предыдущий год болела. Очень худенькая, хорошенькая, с длинной шейкой, челкой до бровей — на таких девушек я всегда мечтала быть похожей. Мы сразу подружились. Катались вдвоем на лодке, ходили в далекие прогулки. Молодежи в Доме отдыха, кроме нас, не было, а взрослые нас не интересовали. Кроме того, у Виры был жених, Жора. Он учился в военной Академии имени Жуковского. Вира подробно рассказывала, а я с жадностью слушала, как она с ним познакомилась — на вечере в ее институте, и как он сначала ей не понравился, и она долго отвергала его ухаживания, а потом она заболела, и он приходил к ней, сидел у ее постели, приносил ей книги и цветы, и она поняла, какой он надежный человек. И как он сделал ей предложение, а она не может решить, выходить ей за него или нет, потому что не знает, любит ли она его по-настоящему, и все время в мучительных раздумьях.

Мы говорили о поэзии, ей очень нравился Блок, а я открыла ей Гумилева и Северянина, но все разговоры о высоком невольно сводились к одному: выходить или не выходить ей замуж за Жору? Тем более, что между ними «ничего еще не было».

Что я могла ей сказать по этому поводу? Какой у меня-то был опыт? Генька не в счет. Правда, полгода назад на последних школьных зимних каникулах в доме отдыха Вороново я пережила свой первый небольшой роман. Были лыжные прогулки вдвоем, скромные объятия в темном кинозале и во время танцев, гуляния по заснеженному парку, его застенчивое признание в любви. Но в Москве мне стало с ним скучно. Исчезла таинственность, растаял романтический флер, и мне с ним как-

то не о чем стало говорить. Он оказался слишком далек от созданного моим воображением прекрасного гибрида из любимых героев книг и фильмов. Так что опыт свой я, в основном, черпала из Мопассана, Шолохова, Куприна, из зарубежных фильмов «до 16-ти лет», да из рассказов подруг, по большей части тоже почерпнутых ими со стороны.

Жених Виры приезжал к ней через день, по вечерам. Внешне он был, на мой вкус, так себе: мешковат, жидкие белесые волосы с начинающимися залысинами. Но — сразу видно — интеллигентный, добрый, с юмором и, что сразу меня к нему расположило, — ко мне отнесся дружески, включал в общий разговор и ни разу не дал понять, что я тут третий лишний. Конечно, я и сама это понимала и уходила — в главное здание, где была библиотека с читальным залом, к реке, погулять вдоль балюстрады. Когда я, постучавшись, возвращалась в комнату, Жора обычно сидел на Вириной постели, а Вира готовила ему на электроплитке яичницу с помидорами. Горела только настольная лампочка. Вира накрывала столик домашней скатеркой, раскладывала приборы — вилка слева от тарелки, нож справа, нарезанные из белой бумаги салфетки в стаканчике. Жора с аппетитом ел, Вира о чем-то щебетала, и эта теплая семейная сцена ужасно мне нравилась, я прикидывала на себя — мне хотелось, чтобы и у меня когда-нибудь вот так же: небольшая комната, настольная лампочка, любимый человек и яичница с помидорами.

Путевка кончилась, я вернулась в Москву, так и не узнав, какое решение приняла Вира. Позвонить я ей не могла, у нее не было телефона. Но я часто думала: вышла она за Жору или не вышла? У меня осталось чувство, словно мне не дали дочитать интересную книжку.

Дочитала я ее через три года, в декабре 1956-го, когда в Москву приехал на гастроли Ив Монтан.

Певец Парижа

Имя это возникло у нас осенью 1954-го. Советским крестным отцом Ива Монтана был вернувшийся с парижских гастролей Сергей Владимирович Образцов, художественный руководитель театра кукол. В свойственной ему

проникновенной манере, с какой он рассказывал о жизни пингвинов и о своей любви к домашним животным, он рассказал по радио о молодом французском певце «в простой коричневой рубашке, расстегнутой на груди», «с руками молотобойца и душой поэта». И буквально влюбил нас в него. Передача называлась: «Певец Парижа». Рассказ перемежался песенками в вольном прозаическом переводе про парижские бульвары и девушку на качелях, про парижского гамена, про влюбленных, расстающихся на берегу моря. «Руки молотобойца и душа поэта» были нам, советской молодежи, социально близки, мелодии песенок легко запоминались, в приятном голосе певца было что-то волнующее, как сейчас бы сказали — эротическое, но тогда это слово еще не вошло в наш лексикон и казалось даже каким-то неприличным.

Передачу «по многочисленным просьбам радиослушателей» вскоре повторили, а потом повторяли еще несколько раз.

Началась погоня за песенками Монтана. В магазинах пластинок, естественно, не было, поэтому тут же заработал черный рынок. Из-под полы продавались диски «на костях» — из тонкой прозрачной пластмассы, на которой делались рентгеновские снимки. Если посмотреть на свет — видны были изображения костей и человеческих внутренних органов. Предприимчивые бизнесмены тайно торговали такими пластинками, но и их-то, торговцев, еще надо было найти. На наше с Маринкой счастье одним из подобного рода мелких предпринимателей оказался Илюша Александров из нашей дачной компании. Он учился в МГУ на биофаке и вечно чем-то подторговывал, потому что ему всегда нужны были деньги, а родители не давали. Илюшкина тяга к спекуляциям очень огорчала и даже пугала его маму, известную детскую поэтессу Зинаиду Александрову. Она-то была человеком идейным, партийным, законопослушным, в молодости написала знаменитую песню про гибель Чапаева («В уральских степях непогода и мрак, лисицей во тьме пробирается враг. Чапаев не слышит, чапаевцы спят, дозор боевой неприятелем снят. Урал, Урал-река, ни звука, ни огонька», музыка Милютин). И вот, у такой патристичной дамы сынок занимается черт знает чем. Илюшин отчим, писатель Арон Эрлих, извлекал, правда, из пагубных пристрастий Илюши некоторую пользу: в его книжках о моло-

дежи Илюша и его дружки с их аморальным поведением служили ему прототипами отрицательных героев. Но и доброго отчима пугала незаконная деятельность пасынка. Ароша, как называли его друзья, много лет был заклеямен как скрытый враг и безродный космополит. Только-только времена изменились к лучшему, начали выходить книжки, написанные им в годы опалы, — и вот из-за спекулянтской деятельности Илюши восстановленная писательская репутация снова подвергалась опасности.

Но нам-то с Маринкой на эти тонкости было наплевать. Мы приобрели у Илюши — по десять рублей за штуку — две рентгеновские пластинки и, прикинув к диску моего проигрывателя марки «Юность-1», сквозь треск и шипение некачественной продукции слушали любимый голос и записывали русскими буквами французские слова, вернее, бессмысленную имитацию слов, что-то вроде: «Ди карт постАль ангвазЕ анкюлЁр. Два полЮция, два у я флёр. ПардУ!» И тому подобное. И нагло распевали эту белиберду якобы по-французски.

Любовь к Монтану вспухала как дрожжевое тесто. Маринка достала его фотографию: мужественная улыбка одной стороной рта, морщинка от нее на молодом, жутко обаятельном лице. А тут еще вышел фильм «Плата за страх». Его сначала показывали только на закрытых просмотрах узкому кругу зрителей. Широкий зритель увидел фильм три месяца спустя, на Неделе французского фильма, и потом он уже шел широким экраном, где мы смотрели его второй, третий, четвертый раз. А в первый — летом 1955-го — нам сказочно повезло! — Маринкина мама достала нам пропуск в ЦДРИ.

Фильм нас с Маринкой буквально потряс. К такого рода искусству мы, воспитанные на лакировочных советских фильмах и на сладеньких, со счастливым концом, трофейных, не были подготовлены. Долгое время мы ни о чем другом не могли говорить, сцену за сценой переживая события фильма, обсуждая каждую деталь, повторяя реплики героев. Фильм был о том, как где-то в Южной Америке на одной из нефтяных разработок загорелась нефть, и потушить ее можно только силой мощного взрыва. И вот четверо безработных из заброшенного поселка везут на двух грузовиках к месту пожара канистры со взрывчатым веществом — нитроглицерином. Путь смертельно

опасен, одно неосторожное движение, резкий толчок — и нитроглицерин может взорваться. Но водителям обещано крупное вознаграждение — по две тысячи долларов, и они идут на риск. Один из водителей — Марио, француз (его играет Ив Монтан), мечтает вернуться домой, в Париж. Он хранит как драгоценность билет парижского метро. На долгом, невероятно напряженном пути, где опасные препятствия — разбитая дорога, камень, упавший с горы и перегородивший путь, — сменяют друг друга, первый грузовик взрывается, и двое водителей погибают: седой красавец, немец-антифашист Бимба, и добродушный толстяк Луиджи. Третий, умный, циничный гангстер Джо, гибнет, захлебнувшись в разлившейся нефтяной жиже. Его напарник Марио плачет над трупом («Ты был прав, Джо! Не надо было ввязываться в эту авантюру!...»), а потом едет дальше и доводит грузовик до цели. С щедрой денежной наградой, шальной от счастья, Марио пускается в обратный путь. Он крутит баранку с лихостью победителя, в ушах его звучит вальс Штрауса, он счастлив — все опасности позади, скоро он вернется в Париж... И вдруг он слишком резко крутанул руль, грузовик срывается с обрыва, кувыркаясь, падает в пропасть, загорается... И последний кадр: мертвый Марио, а на его раскрытой ладони — билет парижского метро.

О-о-о!

Но апогей всенародной или, правильной сказать, всемогущей влюбленности в Ива Монтана наступил зимой 1956-го, когда он приехал в Москву на гастроли. Вот уж тут из искры, возженной Сергеем Образцовым, разгорелось настоящее пламя. Его принимали по-царски. Да что там по-царски! Английскую королеву не принимали так, как принимали в тот год Ива Монтана.

И опять нам с Маринкой повезло: мой отец достал через Союз писателей целых четыре билета в Лужники, на Малую арену, и они с мамой взяли нас с Маринкой. Перед началом мы встретили Шурика Червинского с его родителями. У Червинских места оказались хуже, чем у нас, и нас с Маринкой сослали на их места, где-то в восьмом ряду трибун. Зато мы сидели рядом с Шуриком и чувствовали себя без взрослых гораздо вольготнее. Далековато, но ничьи головы не загораживали сцену. Мы рассматривали в бинокль нарядную возбуж-

денную публику. «Смотри! Смотри! — закричала Маринка. — Вон Симона!» И правда, жена Монтана, тоже знаменитая и любимая нами артистка Симона Синьоре сидела в первом ряду партера. Вот это да!! Живая Симона Синьоре! Я водила биноклем по громадному зрительному залу, стараясь отыскать еще каких-нибудь знаменитостей среди пятнадцати тысяч зрителей. И вдруг увидела Виру и Жору!

Они стояли внизу, в партере, высматривая свои места. Окликнуть — не услышат. Спуститься к ним — пока пробьешься сквозь толпу, они куда-нибудь денутся. Но в бинокль их было видно так, словно они были рядом, и я разглядывала их с каким-то отрадным, ликующим чувством. Потому что сразу поняла, что Вира за Жору вышла. Жора уже не выглядел мешковатым, он построил, на нем был хороший серый костюм и черная водолазка, а Вира, наоборот, немножко пополнела, но осталась стройной и хорошенькой, и по тому, как Жора оберегал ее от праздничной толкотни, как придерживал ее за талию, и как она смотрела на него снизу вверх, спрашивая о чем-то, а он, наклонясь, отвечал, ощущалась такая прочная, дружеская, любовная, семейная взаимосвязь, что и дурак бы догадался: вот муж и жена, и они любят друг друга. Я ужасно обрадовалась! Книжка, которую я три года тому назад не дочитала, оказалась со счастливым концом!

О концерте Ива Монтана можно сказать: это был фурор. Высокая, пластичная, подвижная фигура певца в кругу яркого прожектора, его огромная тень на стене кулис, его оркестранты силуэтами за тюлевым занавесом — все это производило магический эффект. После каждой песни зал ревел и неистовствовал. Вряд ли у себя на родине Монтан имел десятую долю такого сумасшедшего успеха, такого всеобщего обожания.

Он дал концерт и в Центральном доме литераторов, где писатели и их жены едва не передавили друг друга в подобострастном раже и его самого едва не задавили после концерта, ринувшись на сцену в жажде автографа. Поэт Владимир Поляков написал про эту подхалимскую писательскую истерику язвительную поэму, в которой были такие слова:

Куплетист Владимир Масс
Пришел с женой в недобрый час.
«С женой не пустим вас, для жен

Вход нынче строго воспрещен.
Освободите вход, а ну!»
И контролер толкнул жену.
Жена ответить не успела,
На лед жена, споткнувшись, села,
И закричав «О, боже мой!»,
Пошла, расстроившись, домой.

Кончалась поэма так:

Монтан гремит на всю Европу.
Спасибо, что приехал он.
Но целовать за это в ж...,
Как говорится, «милль пардон».

Поэма ходила по рукам, писатели обижались и утверждали, что Поляков всё наврал. Может, кое-что и наврал, например, про моих родителей, которые на том концерте вообще не были. Но суть события поэт передал верно.

Официальная пресса писала о Монтане, исходя восторженными воплями. Кто-то из журналистов уже переименовал его в Ивана и даже в Ваню. Ну, наш же человек, простой французский парень, из народа (позже стали говорить, что еврей, но тогда еще не докопались). Борец за мир и член французской коммунистической партии!

...А он не оправдал доверия и, вернувшись с гастролей, «клеветал на СССР», проехался насчет отсутствия продуктов в магазинах, бюрократических порядков в гостинице, а прекрасная Симона Синьоре издевалась над нашими тряпками. В 1968-ом Монтан осудил наше вторжение в Прагу и вышел из компартии. Но до этого ренегатства было еще далеко, а тогда нас, его искренних поклонников, по правде говоря, задело то, что смеялся над нами: сами-то мы свои порядки почему зря критиковали, но он-то мог бы и промолчать. Мы к нему всей душой, а он!

Все равно мы его любили, но бурная страсть постепенно перешла в более спокойное чувство. Уже можно было купить в магазине долгоиграющую пластинку с записями его песен, и отпала нужда в погоне за рентгеновскими дисками. Песни были переведены на русский язык поэтами Болотиным и Сикорской, по-русски зазвучала лирическая песня о том, как «нас жизни вихрь разлучает, и я брожу один в тоске, и волна безжа-

лостно стирает влюбленных следы на песке», и о том, как «я люблю в вечерний час кольцо Больших Бульваров обойти хотя бы раз!» И про парижского гамена, и про то, как солдат возвращается с войны и не находит ни дома, ни жены, и многие другие.

О Болотине и Сикорской

Самуил Борисович Болотин и Татьяна Сергеевна Сикорская тоже были «пайщиками» нашего дачного поселка, жили в доме номер три по Малой аллее. Они были мастерами песенных переводов, это благодаря им зазвучали по-русски такие любимые и популярные «Мы летим, ковыляя во мгле...», «Путь далекий до Типперери...», «Зашел я в чудный кабачок», «Голубка», всех не перечислишь. Пожилые супруги, внешне довольно невзрачные, в каких-то всегда затрапезных куртках, шароварах, подвернутых резиновых сапогах. Когда однажды по просьбе кого-то из друзей-соседей они согласились дать концерт для нас, дачников, и мы собрались на их недостроенной даче, и они встали рядышком, он с гитарой, высокий, сутулый, она — маленькая, худая и морщинистая, я вначале подумала, что они очень похожи на кота Базилио и лису Алису из «Золотого ключика». Но когда они запели — просто, ничуть не рисуясь, слабыми, но какими-то очень слаженными голосами, они вдруг перестали казаться смешными и невзрачными, и я тогда впервые, пожалуй, осознала относительность понятия «красивый-некрасивый». Сын Татьяны Сергеевны, поэт Вадим Сикорский, был красавец «весь из себя», породистый, с наглыми стальными глазами, но мне его самодовольная красота претила, а его старики, когда пели, вдруг стали красивыми.

Книжку Ива Монтана «Солнцем полна голова», о том как он, мальчик из бедной рабочей семьи, пришел к славе, читали с большим интересом, но уже без особого придыхания. И на Неделе французского фильма, осенью 1955-го, не меньшим успехом, чем «Плата за страх», пользовались «Большие маневры» с Жераром Филиппом и «Жюльетта» с Жаном Марэ.

Поэт Островский и композитор Мокроусов сочинили «Песню о далеком друге»:

Задумчивый голос Монтана
Звучит на короткой волне,
И ветви каштанов, Парижских каштанов,
В окно заглянули ко мне...

Песню эту пел Марк Бернес, и она нравилась, как нравилось всё, что он пел, и вдруг подумалось, что Монтан Монтаном, но и в своем отечестве есть пророки: Бернес, Утесов, Клавдия Шульженко.

Но что бы там ни было — спасибо Монтану. Он подарил нам праздник.

Не по мне

Зимой и в самом деле приезжали на дачу, предварительно созвонившись, — чаще всех Наташа Ромм, Севка, Инка, Генька и я — с лыжами, бутербродами и даже с вином. Располагались во времянке у Роммов. На лыжах ходили всего один раз, в двухчасовой поход к той разрушенной церкви у села Пучково, но так устали, что больше подобных прогулок не устраивали. Растапливали печку, пили вино, один раз даже сварили глинтвейн. Заводили патефон, танцевали в тесноте под единственную не треснутую пластинку танго «Брызги шампанского» и фокстрот «Кукарача» и никуда не трогались до вечера, даже гулять не ходили. И без того было хорошо. При свечах рассуждали на разные животрепещущие темы, например — что такое любовь и что такое страсть и чем они отличаются друг от друга. Никто из нас этого пока не знал, но каждый старался затмить другого эрудицией. Откуда что бралось. Апеллировали к Леонардо да Винчи, Моэму, Пушкину, перемежая свои интеллектуальные споры выходами на улицу по малой нужде. Там стояли сказочные ели в снегу, высились сугробы, голубоватые в ранних сумерках, и стоял почти готовый кирпичный дом Роммов, уже под крышей, но еще без отопления и электричества.

Но такие вылазки на дачу были редкостью: все, кроме ме-

ня, жили активной студенческой жизнью. Наташа — в медицинском, Генька — в Политехническом, все были заняты учебой и общественными делами, и только я болталась, тяготясь обилием пустого времени.

Хоть и посещала некоторые дневные лекции и вечерние занятия, сидела в университетской читалке, готовилась к зачетам, но не оставляло чувство, что это всё — не моё, что я в этот вечерний филфак вляпалась как в какую-то вязкую трясиину. И хочется вылезти, но уж раз влезла — придется хлюпать дальше, хотя бы ради мамы, которая столько сил и унижений, не говоря уже о деньгах, вложила, чтобы впихнуть меня сюда, и так гордится, что дочь ее — студентка Университета! Она произносила это с приподнятой интонацией:

— Пойми, ты попала в Московский Университет! Ты должна этим гордиться! Тебе многие завидуют!

Знакома меня с кем-нибудь в театре или в гостях, обязательно подчеркивала:

— Студентка Университета!

Но что-то не испытывала я никакой гордости. А то, что испытывала, можно выразить словами: не то! Не по мне!

Нет, некоторые лекции были очень интересными — древнерусская литература, фольклор, античная литература. Но сидя среди студентов-очников в просторной, высоким амфитеатром, Коммунистической аудитории и записывая эти лекции, я продолжала ощущать себя тут, среди «настоящих студентов», бедной родственницей. Могла бы вообще не ходить, никто бы не заметил.

А такие предметы как старославянский, латынь, диалектология — сразу же стали для меня вроде школьной математики — неприступными горами, на которые мне лезть ну совершенно не хотелось. Все эти «носовые», «сонорные», «редуцированные», «фрикативные» — зачем мне это? Никогда я не пойму, что такое «аккомодация»! И то, что по всем этим предметам предстояло сдавать зачеты и экзамены, писать курсовые — заранее наводило тоску и страх. Плюс еще — основы марксизма-ленинизма с их апрельскими тезисами, съездами РСДРП, бундовцами, оппортунистами, троцкистами... Мало того что адская скука, да еще и о преподавателе марксизма говорили, что

он зверствует на экзаменах, что к нему по пять раз ходят передавать.

Нет, какая там гордость.

Вроде бы и новые подружки появились, такие же, как и я, аутсайдеры, не добравшие одного-двух баллов. Ходили стойкой в буфет, стреляли глазками в студентов, хихикали в читалке, а в душе моей шевелилось: не то! Не по мне! И жизнь не по мне, и новые друзья — не друзья, а так, встретились — разошлись. Может, я сама была отчасти виновата — принимала высокомерный вид, чтобы не показать свою потерянность в этих старинных стенах на Моховой.

На работу — ради справки — меня устроила тоже мама через свою знакомую, Зою Лазаревну Шварцман, с которой они в юности, в Киеве, занимались в театральной студии Соловцова и потом всю жизнь поддерживали отношения. Зоя Лазаревна работала заместителем директора библиотеки иностранной литературы на улице Разина. Директором была Маргарита Ивановна Рудомино. Меня взяли в справочный отдел на четверть ставки. Я могла ходить через день, могла приходить к обеду или уходить после обеда. Сотрудницы справочного отдела были симпатичные интеллигентные женщины, ко мне относились снисходительно, работой не загружали, да я ничего толком и не умела. Переписывала набело готовые справки, искала в каталогах нужные им карточки. Часто ошибалась, и им приходилось передельывать. Мне бы у них учиться профессии и вообще пользоваться счастливой возможностью работать в такой замечательной библиотеке — Маргарита Ивановна собрала под своей крышей по настоящему образованных, незаурядных людей, тут устраивались встречи с приезжавшими в СССР *прогрессивными* западными писателями, например, со Стефаном Геймом из ГДР, с Кауфманом из Австралии, с Джеком Линдсеем из Англии. А какие читатели приходили сюда поработать в читальном зале или получить справку в нашем отделе, назвать хотя бы Льва Копелева. Мне бы, открыв рот, слушать, впитывать, постигать, учиться, а я не постигала, не слушала, не впитывала и не училась. Потому что и эта работа была — *не мой выбор*. Кто я для всех этих интеллигентных, увлеченных своим делом людей? Никто. Принятая по блату жалкая неумеха, которую они, эти люди, терпят по доброте душевной.

Под парусом

Неожиданно в моей тусклой университетской жизни появилась отдушина: одна из новых приятельниц, Милка Гаврилова, увидела в вестибюле объявление о начале занятий в парусной секции и предложила записаться. Занятия проводились по воскресеньям в одной из аудиторий. Вел их инструктор-яхтсмен, крепыш и весельчак Шура Чумаков. На первом же занятии он пообещал, что мы будем ездить на станцию Хлебниково, где расположена спортивная база, а с весны, если сдадим экзамены, начнем смолить яхты, а потом ходить на них по водохранилищу. Но сначала нужно освоить теорию.

До чего же это была интересная теория! Словно я попала в мир «Детей капитана Гранта» и героев Станюковича. Рангоуты, шкоты, крепеж морских узлов, остойчивость судна, грот-мачта, фок-мачта, кубрик, ют, корма! По такелажу я получила пятерку, по сигнализации — пятерку с плюсом, а Милка — тройку.

Да уж, это не занудный старославянский с его кириллицей-глаголицей, юсом малым, юсом большим и прочими отжившими понятиями, от которых тянет могильным холодом. Это совсем другое дело — поворот оверштаг! Шкоты на левую! «Пират, веселей поворачивай парус, йо-хо-хо, веселись как черт!» Если это всего лишь теория, то какова же будет практика!

В феврале, как и обещал Шура, мы ездили на станцию Хлебниково, и он катал нас на буере по огромному ледяному пространству водохранилища. Маленькая яхта на коньках под мачтой с белым треугольным парусом брала всего одного пассажира и, управляемая нашим инструктором, неслась, набирая скорость, делала резкие повороты, ледяные брызги секли лицо, ветер свистел, парус трещал, уверенные движения рулевого, его обветренное напряженное лицо делали его похожим на Джеклондонского героя Клондайка. «Не бойсь! — доносилось до меня сквозь ветер. — Крепче держись!»

Сердце замирает, восторг, страх — вот это жизнь!

А потом возвращение на электричке в Москву всей компанией, и Вова Маслов, блондин с голубыми глазами, похожий на Бимбу из «Платы за страх», садится рядом с хорошенькой Милкой, а рядом со мной — умный очкарик, тоже Вова, с фа-

культета журналистики. И Шура Чумаков говорит мне: «У тебя дело пойдет! Другие девчонки, бывает, визжат в первый раз на буере, а ты — молоток!» Но главное, мы — одна компания, говорим о том, как будем весной смолить яхты, а летом на них ходить.

Дома — «крупный разговор» с мамой:

— Меня это не устраивает! Уезжаешь на целый день, черт знает куда! Ни черта не занимаешься! Тебя отчислят! И вообще, что это за компания для тебя?!

— Очень хорошая компания! Ты же их не знаешь, а говоришь...

— Да, говорю! Потому что ты мне ничего не рассказываешь! А я должна всё о тебе знать! Что это за поездки?! Вместо того, чтобы заниматься! Я от всего тебя освободила, чтобы ты только училась! Ты прекрасно знаешь, что кроме как от тебя и от папы мне не откуда ждать радости! А ты никакой радости мне не доставляешь! Имеешь все возможности, и при этом великолепные возможности учиться, а вместо этого бездельничаешь и действуешь мне на нервы!

— Я учусь...

— Вижу, как ты учишься! Живешь на всем готовом, как барыня! Ни черта не делаешь! Мне приходится краснеть за тебя перед знакомыми!

Мама права: живу на всем готовом. Домработница Ксения убирает, стирает, гладит, ходит в магазин, готовит, подает на стол. Домашняя портниха шьет мне наряды. А я живу как барыня, ничего не умею — ни суп сварить, ни картошку поджарить...

— Свою комнату ты превратила в помойку! — кричит мама. — Постель не убрана, стул посреди комнаты! Кладешь вещи, куда попало! Что это такое, я тебя спрашиваю?! — мама в сердцах сбрасывает со стула на пол груды скопившейся одежды. — Ты — девушка! А если ты выйдешь замуж? Хорошо, если вы будете жить у нас, а если ты будешь жить со свекровью?!

Действительно, ужас — жить со свекровью. Единственное утешение — кто же меня такую возьмет замуж?

Когда мамин воспитательный монолог становится слишком громким, на пороге комнаты возникает папа и примиря-

ющей репликой пытается залить пожар. Но это только еще больше воспламеняет маму.

— Уйди!!! — кричит она так, что звенят оконные стекла. — Не вмешивайся! Я ее воспитываю! (с ударением на «я»).

Папа уходит. А мама, выпустив не по цели последний залп, успокаивается.

— Пойми, — говорит она обессилено, — я живу только для тебя! Я хочу тобой гордиться! А как я могу тобой гордиться, если ты меня так огорчаешь. Дай мне честное слово, что постараешься больше меня не огорчать.

Я даю честное слово, что постараюсь.

Но кроме кнута были и пряники: приглашительные билеты в Дом литераторов на капустник «Литературной газеты», в театр «Эрмитаж» на спектакль Аркадия Райкина, на концерт Эдди Рознера. И почему-то эти приглашения обычно совпадали с моими воскресными занятиями в парусной секции.

— Не хочешь — не ходи! — пожимала плечами мама. — Пожалуйста! Мое дело предложить! Но имей в виду, что эта твоя, как ее, секция — от тебя никуда не уйдет, подумаешь, один раз пропустишь, а ЭТО (она возводила глаза к потолку) ты больше не увидишь. Другие много дали бы, чтобы быть на твоём месте.

В самом деле: когда еще я увижу, например, живого Вертинского?

И я пропускала занятие. Надевала черное бархатное платье с круглым белым воротником, сшитое по маминому вкусу домашней портнихой, мама критически меня осматривала, что-то поправляла, и мы выезжали «в свет».

«И чужая светится звезда!..»

Песни Вертинского я знала со времен пионерского лагеря, потому что у Ани Горюновой, вернее у ее папы, дома были патефонные пластинки с песнями Вертинского. Но слушала я их не с пластинок (папа не разрешал), а в исполнении самой Ани Горюновой. Она пела про остров, где растет голубой тюльпан, про ангела, который спрыгнул с потухшей елки, про бананово-лимонный Сингапур. Песни в Анином исполнении

мне очень нравились, хотя в них было много непонятого, и смешили все эти «пальцы пахнут ладаном», «лиловый негр», «Божий рай». Какой там еще «Божий рай»! Но интимная, доверчиво открытая печаль, непонятная еще тоска одиночества задевали за живое, и мы, пионерки старшего отряда, возвратившись с линейки после спуска флага в свою палату, пели: «Что за ветер в степи молдаванской, как поет под ногами земля!» Хотели даже спеть эту песню хором на вечере самодеятельности, а что, почти маршевая, строевая, особенно припев. Но Ольга Николаевна, воспитательница, сказала, что слова не годятся: «распятый Христос», «гимназистки»... При чем тут гимназистки?

Шофер Анатолий Семенович останавливает машину у высокого здания на Пушкинской площади, мы с мамой и папой поднимаемся в лифте на пятый этаж. У входа в фойе проверяет билеты, а иных с улыбкой пропускает так, невысокая энергичная администраторша Адриенна Сергеевна Шеер. Моего отца и нас с мамой она тоже, поздоровавшись и улыбнувшись, пропускает так.

По продолговатому узкому фойе Всероссийского театрального общества ходят знаменитости — грузный, простоватый на вид Михаил Жаров с молоденькой женой, элегантный Михаил Царев, старушка Турчанинова, а вон молодые, но уже известные Геннадий Дудник и Евгений Вестник, а вон студенты и недавние выпускники театральных ВУЗов — Миша Державин, Роллан Быков, красавец с прической под Тарзана Шура Ширвиндт. Все пришли послушать Вертинского. За публикой, стоя у входа в зрительный зал, благожелательно наблюдает директор ВТО, высокий, очень красивый, спокойный, внимательный Александр Моисеевич Эскин. Пожимает руки знакомым. Наиболее «своих» (и нас тоже, ведь папа тут свой) приглашает раздеться в директорской раздевалке. Вообще-то, тут все свои, шумно радуются встрече, останавливаются поговорить.

Стариков больше, чем молодых. Родители почтительно здороваются с сильно нарумяненной сутулой старухой с рыжей нелепой косичкой и откровенно нарисованными дугами бровей. Шею маскирует газовый шарфик, но он не скрывает жил и дряблых мешочков под подбородком. Она кивает с неподвижным лицом.

— Знаешь, кто это? — шепчет мне мама. — Лиля Брик!

Эта накрашенная мумия — Лиля Брик?! Возлюбленная Маяковского?!

— Ах, как она была хороша в молодости! — шепотом говорит мама. — Как она была прелестна!

Мы садимся на свои места. Свет в зале гаснет, сцена освещается. Выходит и садится за рояль аккомпаниатор. Вслед за ним на сцене появляется пожилой, высокий мужчина в черном фраке и белой манишке с галстуком-бабочкой. Гладко прилизанные бесцветные волосы с залысинами, водянистые глаза, бледные обвисшие щеки, большие уши. Зал аплодирует. Мама шепчет:

— Как постарел! Какой он был очаровательный в костюме Пьеро! В каком это было году, не помнишь, Володя? В девятнадцатом? Или в двадцатом?

Меня разбирает смех: паноптикум какой-то. Сплошные музейные экспонаты.

Спереди оборачиваются. Мама делает мне строгие глаза и извиняющимся жестом дает понять обернувшимся, что не произнесет больше ни звука.

Вертинский кланяется, кивает аккомпаниатору. Тот ударяет по клавишам:

Обтянут шелком тронный зал,
По всей стране сегодня
Король дает свой первый бал
По милости Господней...

Что это?! Какой у него надтреснутый, дребезжащий голос, странно слабый для такого знаменитого певца. Женственные движения рук, пощелкивание тонкими белыми пальцами, раскатистая картавость — все это активно мне не нравится, кажется манерным, неестественным, почти комичным. Вот он взял последнюю ноту и долго, мучительно тянул, у меня даже мурашки пошли по спине, словно он резал ножом по тарелке.

Зал сдержанно аплодирует. Неужели кому-то это может нравиться? Ей-богу, у Ани Горюновой и то лучше получалось.

А он все тем же высоким, напряженным голосом поет про остров, где растет голубой тюльпан, про желтого ангела, про чужие города, в которых чужая плещется вода и чужая светится звезда...

И вот, в тот момент, когда он произносит, нет, резко выкрикивает это магическое — ЗВЭЗДА! — и вскидывает руку с растопыренными звездой пальцами — что-то происходит со мной. Этот высокий голос, мучительно форсирующий звук на последней ноте, уже не отталкивает, он завораживает. Перестают казаться манерными движения рук и грассирование. Старое, бледное лицо становится значительным и красивым. Я не могу понять, не могу объяснить, только чувствую — до спазма в груди, до слез, — что этот старый человек на сцене — великий артист. То, что казалось манерностью, — никакая не манерность, это образ, маска, за которой настоящая любовь, настоящая грусть, настоящее страдание.

И сдержанные аплодисменты зала — не от равнодушия, а от того, что искушенная актерская публика всё понимает и не хочет вульгарными криками восторга спугнуть то трагическое, печальное, хрупкое, что дарит он ей. Во всяком случае, я так чувствую. Но, наверно, и другие тоже, судя по глубокой, почтительной тишине, а потом, когда зажигается свет в зале, по растроганному выражению лиц. Все дружно поднимаются со своих мест и очень долго хлопают стоя, а он кланяется, прижав руку к белой манишке.

Клоун в тельняшке

И опять мама соблазняет меня:

— Не будь душой! Тебе предоставляется такая возможность! В самом деле: Марсель Морсо, знаменитый французский мим. Фильм о нем в Доме кино. Папа уже заказал билеты.

И воскресное занятие опять проходит без меня.

Впечатление ошеломляющее! У артиста белое лицо-маска с опущенными углами яркого рта и скорбными черными глазами. Тельняшка, белые брюки, белый жилет и шляпа с розой. Бедный, но независимый парижский щеголь. Печальный клоун по имени Бип. Он показывает: вот человек идет по дороге, вот он бежит, поднимается по лестнице, спускается с лестницы, идет против ветра, перетягивает канат. Самое поразительное, что при этом он остается на одном месте. Каждая сценка — короткий, подробный рассказ без слов. Как точно, только мимикой и движением, он передает характер своего персонажа!

Он показывает смешные сценки-пантомимы: «Бип и шмель», «Бип трагик», «Бип в светском обществе». Пластичность почти акробатическая, вернее балетная, и всё понятно без единого слова.

— Ну вот, — говорит мама в ответ на мой восторг. — А ты не хотела идти.

В буфете, куда мы заходим после окончания фильма, к нам подходят поделиться впечатлением папины знакомые: поэт Евгений Долматовский, композитор Никита Богословский.

— Ну, как вам? А вы были на премьере Розова?.. Что скажете? А вы читали статью Безыменского в «Советской культуре»?

Кто я среди этих знаменитостей, занявших прочное положение в жизни, или среди творческой молодежи, уже заявившей о себе?

Мама представляет меня:

— Это наша дочка. Студентка Университета!

— Здст... Оч прият... Владимир Захарович, а что слышно с вашей «Белой акацией»?

Кто я? Никто! Пустое место. Писательская дочка.

Лондон Зиновия Гердта

Но ведь и вправду глупо отказываться от таких возможностей. Например, пойти в ЦДРИ, послушать, как Зиновий Гердт рассказывает о поездке в Лондон с труппой кукольного театра. Они только что вернулись оттуда с гастролей. Лондон для меня — это Диккенс и Голсуорси (туманы, каминь, чопорные леди в длинных платьях и джентльмены в смокингах), смешная книжка «Трое в одной лодке», произведения советских авторов типа недавно опубликованного в «Огоньке» очерка Анатолия Софронова — про тяжелую жизнь простого английского народа, про нищих художников, рисующих на тротуарах (эти нищие художники словно пушкинские цыганы кочуют из очерка в очерк о «тамошней» жизни, изрисовывая тротуары всего мира своими цветными мелками), про безработных, роющихся в мусорных баках. В общем, про социальные контрасты капиталистического ада.

А Зиновий Гердт целый вечер рассказывает нам про Лондон, и ни слова о социальных контрастах!

Гердт уже известен как замечательный исполнитель роли конферансье в кукольном спектакле «Необыкновенный концерт». Настоящая его известность началась чуть позже, с французского фильма «Фанфан-тюльпан», который вышел у нас в 1955 году, и где Гердт всего лишь дублировал закадровый голос. Тембр и интонации этого голоса так «ложились» на фильм, что моментально запомнились и всех очаровали. Имя «Зиновий Гердт» сразу стало у всех на слуху. Еще не сыгравший в кино ни одной роли, Гердт стал популярен благодаря своему голосу.

...Оказывается, лондонские туманы — это миф! За всё время пребывания их театра в Лондоне, за сорок пять дней, не было ни одного тумана. Наоборот, стояла прекрасная солнечная погода. Оказывается, англичане вовсе не чопорны, а наоборот, приветливы и общительны. А полисмены в Лондоне добры и отзывчивы: один раз Гердт заблудился, и добрый полисмен, увидев его хромоту, довез его на своем мотоцикле до отеля да еще подарил карту Лондона! А здания в Лондоне — даже в центре! — оказывается, низкие, двух- трехэтажные, но зато в них делают подземные этажи! Представьте себе: театр, в котором они играли, на первый взгляд, чуть ли не одноэтажный, но когда они вошли, им пришлось спуститься чуть ли не на пять этажей, и они оказались в грандиозном помещении с огромным зрительным залом и огромной сценой, на которой они пытались так поместить ширму, чтобы ее хоть можно было заметить из зала! Англичане не только добры и отзывчивы, они обладают чувством юмора, ценят шутку: на спектакле «Необыкновенный концерт» от их хохота кресла трещали. Особенно их смешил английский акцент Гердта. (Он английского не знает, но поспорил с Образцовым на бутылку коньяка, что сыграет свою роль на английском, и сыграл. Ну, а уж за акцент он не отвечает, главное, что его понимали.)

Англичанина сразу можно отличить от жителя континента по скромной одежде. У них, у англичан, даже такое своего рода щегольство — ходить в заплатанных, но при этом тщательно отглаженных брюках, или в старых, но до блеска начищенных ботинках. Конечно, есть там, как и у нас, так называемые «стиляги» — развязные молодые люди с коками, в ярких ру-

башках. Но они представляют жалкое зрелище, на них рисуют карикатуры в журналах, их презирают за то, что они подражают американцам. А американцев там так не любят, что американское командование запретило своим военным появляться на улицах в военной форме.

На лотках там продают невероятно вкусные горячие батонны, вроде наших, по рубль тридцать, но потоньше. Их нашпиговывают ветчиной, сыром, всякими специями и зеленью. И всюду можно увидеть лондонца, на ходу жующего эти батонны.

А знаменитый Гайд-парк, оказывается, находится прямо в центре города, и там можно совершенно свободно валяться на траве, никто не запрещает! Деревья в этом парке растут без всякой системы, как в лесу. В обеденный перерыв служащие и рабочие приходят сюда и обедают прямо на траве под деревьями. А еще в этом парке происходят так называемые митинги. Это очень смешно, потому что оратором может быть каждый, кто немного возвышается над толпой, и они для этого приносят скамеечки, становятся на них и спорят. Причем, спорят они об удивительно бесспорных, с нашей точки зрения, вещах, ну, там, о женском равноправии, о религии. А один раз они с артистом Самодуром наблюдали: стоит человек на скамеечке и говорит об идеях Зигмунда Фрейда, а вокруг никого нет. Сам себе говорит, представляете? А неподалеку стоит полицейский и ждет, не скажет ли он что-нибудь неприличное, после чего его можно будет оштрафовать. Вообще, люди там ведут себя очень непосредственно. Например, они видели в том же Гайд-парке, как одна старушка запускала бумажного змея.

А уличное движение там тоже очень смешное: мало того, что руль в их автомобилях находится справа, а не слева, как у наших, там еще, оказывается, сохранились машины самого первого выпуска, чуть ли не 1913 года, причем в прекрасном состоянии. Англичане вообще любят, чтобы старое выглядело как новое. И к этим ископаемым машинам отношение самое уважительное, хотя и чуть-чуть ироническое: все другие машины, вплоть до самых роскошных, притормаживают и уступают им дорогу. А все вместе уступают дорогу пешеходам.

...Зал слушает, развесив уши. Рассказчик всех очаровывает юмором, непринужденностью, неповторимым тембром голоса.

Его забавные, живые байки так отличаются от обрыдшей пропагандистской болтологии, с такой благожелательностью, без всякой политики рисуют людей чуждого нам «лагеря», что кажутся даже немножко крамольными.

Может, он что и присочинял, но вряд ли в зале сидел кто-нибудь, кто мог или захотел бы его уличить. Реальность и вымысел парили в талантливом изображении артиста как бумажный змей в руках той старушки из Гайд-парка.

Много лет спустя и я сидела на траве в Гайд-парке, гуляла по Пикадили... Но тот Лондон, который подарил мне Зиновий Ефимович, стоит отдельно. Он до сих пор, как в рассказе Драгунского: живой и светится.

На майские всей компанией поехали в Хлебниково смолить яхты. Лодки, лежащие на берегу, кверху килем, запах горячего вара, яркое солнце и дивное настроение. Журналист Вова учил меня правильно держать кисть и промазывать щели, попытывался, почему я стала редко ходить на занятия, и предлагал пойти в субботу на спектакль «Такая любовь» в клуб МГУ. Густой черный вар пачкал руки. Милка с Вовой Масловым, зачерпнув воду прямо из водохранилища, варили на примусе пшеничную кашу и спорили, сколько банок тушенки туда класть. После обеда мы с Милкой мыли с берега миски, оттирая их песочком и подставляя лица горячему солнцу, и снова помогали что-то такое делать с яхтами, а ребята подтрунивали над нашими обгоревшими носами. И я не была сбоку припека, и в своей ковбойке и сатиновых шароварах чувствовала себя гораздо свободнее, чем в дорогих вычурных платьях от домашней портнихи. Это было здорово! Совсем другое качество жизни!

А потом наступила летняя сессия, пришлось приналечь, чтобы наверстать не доученное и не дочитанное. Просиживала в читалке и в Ленинской библиотеке. К собственному удивлению, почти все сдала, даже марксизм, хоть и с грехом пополам, завалила только старославянский, а по советской литературе получила даже «отлично». Требования на нашем вечернем были шадящие. Готовящемуся рядом со мной вечернику по имени Веса достался билет про ранние поэмы Маяковского.

Он обернулся ко мне: «Какие у него ранние?» — «Ну, “Облако в штанах”». — «Во, дает! — удивился Вася. — В каких еще штанах?» Знатоком ранних поэмов Маяковского получил «хор».

Старославянский я, однако, так и не смогла пересдать.

Милка Гаврилова все экзамены сдала на «отлично».

От мамы я хвост по старославянскому скрыла. Мама с облегчением вздохнула и достала мне путевку в Коктебель, в Дом творчества писателей. Напрасно я отбивалась: мы же с компанией договорились — в Хлебниково, ходить на яхтах!

— Глупости! — сказала мама. — Что значит договорились? Что они без тебя не обойдутся, что ли? Тебе нужно общаться с людьми своего круга. Ты сама увидишь, насколько это интереснее. Мне таких трудов стоило достать путевку! Коктебель! Да они все тебе будут завидовать!

Может, мама права? А вдруг?! Вдруг именно там, у моря, где ажурная пена, меня ожидает та самая встреча!..

Лёка

В первый же день на пляже я так сожгла спину и ноги, что несколько дней могла лежать только на животе, а потом с меня начала клочьями облезать кожа. Не могла выйти на солнце, валялась на кровати и читала.

Поселили меня в длинном деревянном строении так называемого Ленинградского корпуса, с комнатками-каютами, выходящими на узкую палубу-галерею, где по вечерам собирались и спорили на разные темы пожилые писатели. Моей соседкой по комнате оказалась киевлянка, студентка последнего курса биофака, чем-то похожая на Виру, даже имя было столь же необычное — Лёка. Они внешне были одного типа — Лёка тоже миловидная, с тонкой, гибкой фигуркой, волосы стянуты сзади резинкой наподобие конского хвоста. Только в отличие от Виры, у которой «ничего еще не было», у Лёки давно уже всё было, и она, от души хохоча над моей неосведомленностью, с удовольствием рассказывала мне про «это», не утруждая себя эвфемизмами. Так же, как к Вире, к ней часто приезжал молодой человек, правда, не жених, а просто знакомый, тоже киевский студент, Боря Сергуненко. Он проводил

лето у родственников в Феодосии. Боря входил в нашу комнату, дочерна загорелый, с фигурой как у Тарзана, непринужденно заваливался на одну из наших кроватей, курил, острил, подтрунивал над моим неудачным опытом загорания под южным солнцем, приставал с вопросами, от которых я конфузилась, например, выпытывал, целовалась ли я уже с кем-нибудь. Он говорил, что собирается стать писателем и копит рассказы женщин об их первом поцелуе.

А я еще ни с кем не целовалась, если не считать игру в бутылочку, в феврале, на дне рождения у Наташи Абрамовой. Наташа пригласила своего приятеля, Толю Агамирова, и убеждала всех, что он очень похож на Ива Монтана. И правда, было сходство: худой, красивый, в обтягивающем свитере под горло и улыбка одной стороной рта. Раскрученная им бутылка дважды указывала горлышком на меня, и мы уходили целоваться в соседнюю комнату. Я дико смущалась, но делала вид, что мне не впервой.

А больше я ни с кем пока не целовалась, но мне стыдно было признаться в этом Боре, и я что-то мямлила, строила из себя «загадочную женщину». Он мне очень нравился, и я изо всех сил старалась этого не показать. Да если бы он и догадался — что с того?

Покурив и потрепавшись, он делал знак Лёке, и они уходили погулять в горы, взяв зачем-то с собой байковое одеяло. А я шла на пляж, где ко мне подсаживался один из отдыхающих, вроде бы писатель, вроде бы «нашего круга», как сказала бы мама, но совершенно мне не симпатичный. Я спасалась от него в море (он к тому же и плавать не умел, тоже мне Мартин Иден).

Если Боря не приезжал, мы с Лёкой совершали путешествия вдвоем или взяв в спутницы немолодую украинскую поэтессу. Ходили на могилу Волошина, в Лягушачью бухту, съездили в Судак и — с экскурсией — в Новый Свет. Вечером ходили с Лёкой на танцы в соседний дом отдыха Медсантруд.

Возвращались в свой Ленинградский корпус ночью и долго еще не спали. Лёка развлекала меня рассказами о своих многочисленных романах. Рассказы были почему-то все очень смешными, мы обе хохотали так, что нам в стены с двух сторон стучали возмущенные писатели. Зато утром мы с ней дрыхли чуть ли не до обеда.

В общем, это было довольно пустое времяпрепровождение, если не считать, что я нахваталась от Лёки теоретических познаний в той области, которую не изучают на филфаке, да научилась курить. Лёка и раньше курила, и мы с ней нахально дымили папиросами «Дукат» под осуждающими взглядами соседей.

То, о чем я мечтала, когда сюда ехала — встреча, любовь, — не произошло. Мои романтические фантазии грустно осели на дно души, как взбаламученный кофе оседает на дно чашки.

А когда путевка кончилась и я вернулась в Москву, узнала: Милку Гаврилову как отличницу перевели на очный, журналиста Вову посылают по обмену студентами в Болгарию, а меня из парусной секции отчислили за прогулы.

2 сентября 1955 г.

Сегодня позвонил Сашка Богословский и пригласил в кино. Мы пошли в «Ударник» на «Мадам Икс». Картина скучная, Сашка еще скучнее. На даче он не казался таким занудным. В кино брал мою руку и мял своими липкими руками. Противно. На обратном пути, не переставая, хвастался и всячески набивал себе цену. Неужели я не встречу человека, который бы мне понравился и которому бы я тоже понравилась? Я бы могла влюбиться в такого человека, как Боря Сергуненко, но вряд ли мы с ним когда-нибудь встретимся, он уже и забыл меня давным-давно. И вообще, если я немного и нравилась ему, то только как забавная собеседница, не более.

10 сентября 55 г.

Опять звонил мне этот кретин Сашка, долго убеждал, что хочет меня видеть, что я ему нравлюсь, и тому подобное. Еле от него отвязалась. Сказала маме — если еще позвонит, говорить, что меня нет дома.

Теперь о другом. Мама нашла те два моих дурацких стихотворения про Коктебель (которые, между прочим, лежали в моем дневнике, а дневник — в письменном столе, так что у меня есть подозрение, что она и дневник мой читает) и теперь твердит, чтобы я писала стихи, что папа их покажет Павлику Антокольскому, и если они Павлику понравятся, он их рекомендует в какой-нибудь журнал, и вообще, пока жив Павлик, надо пользоваться.

Еще чего! Пользоваться! Вообще не собираюсь писать стихов. Вот если бы мне с самого начала попытаться во ВГИК на сценарный! Наташка Абрамова там учится и говорит, что у них страшно интересно, им там заграничные фильмы все время показывают, и вообще. Но чтобы туда поступить, надо писать не стихи, а рассказы или сценарии. Но о чем? Я же ничего не знаю! У меня нет никакого жизненного опыта.

13 сентября 55 г.

Сегодня столкнулась в метро со Светкой Чеботаревой. Я ее проводила до Зубовской. Светка говорит, что у них в МИИТе потрясающе интересная жизнь, литературное объединение, театральная студия, и вообще, никакого сравнения со школой.

А мне, наоборот, кажется, что это были самые счастливые годы и что с ними у меня закончилась вся радость жизни. Бывало, придешь из школы, только сядешь обедать — телефон. В день раз по десять звонят, и я звоню: обсудить что-нибудь, договориться пойти куда-нибудь, уроки узнать... А теперь — мало кто звонит. Да мне никто и не нужен. Чем встречаться с теми, кто не нравится, лучше уж ни с кем.

Заперлась в ванной и долго редела. Такая тоска напала. Только было успокоилась и села учить английский, как вдруг, без звонка, является Сашка Богословский. Сидел часа два. Хвастался и изо всех сил старался показать, какой он умный. Он обычно надоедает через пятнадцать минут, а после двух часов его уже хочется повесить или самой повеситься. Ну почему, почему мне так не везет?!

17 сентября 55 г.

Только что ушла Маринка. Она стала ужасной воображалой. Когда она приходит, то первым делом садится у зеркала, начинает делать всякие выражения, а потом изрекает:

— А все-таки я лучше тебя!

Это меня злит. Тем более, что это правда. За ней бегают мальчишки из ее класса, и это делает ее уверенной в себе. А я в себе страшно не уверена. Все больше убеждаюсь в том, что моя жизнь не удалась, что в ней больше ничего хорошего не будет. Это, может, звучит странно в мои годы, но именно в мои годы живут полной жизнью, с этих лет начинаются события и все такое, а у меня как будто все интересное позади. И дальше бу-

дет тусклая жизнь без событий, потрясений, и постепенное, уже начавшееся увядание. Как у Бунина, я как раз сейчас его читаю. Жизнь его героев мне близка своей пустотой и ненужностью для них самих. Годы проходят в повседневной скуке, а когда они опомнятся — молодость ушла, прожита жизнь пустоцвета. И они это сами понимают, и им от этого очень грустно, а уже поздно что-либо изменить.

18 сентября 55 г.

Прочитала у Шопенгауэра в «Афоризмах житейской мудрости»: «Человек, имеющий много в себе самом, подобен теплой, светлой, уютной комнате в Рождественскую ночь, когда за окном метет пурга». И подумала: может, это про меня?

А что? Если много имеешь в себе самой, то и одной не скучно. Можно читать, размышлять, погружаться в собственный мир...

Да, но посмотрела бы я на него, как бы он со своим богатым внутренним миром просидел в Рождественскую ночь хоть в какой уютной комнате, если там нет никого, кроме него, и часы бьют двенадцать, и он поднимает бокал и пьет в полном одиночестве, а вокруг одни только пыльные фолианты с мудрыми мыслями, от которых уже тошнит.

А вы знаете, что человек должен смеяться? Конечно, знаете! Вы же сами сказали в своих «Афоризмах»: «Смех — это разменная монета счастья».

Попробуйте засмейтесь, когда вы один. Вам страшно станет.

Мне вот, например, вдруг стало жутко от мысли, что я сейчас засмеюсь над чем-то. Одна, в темной комнате, в кругу от настольной лампы, вдруг засмеюсь нечеловеческим смехом. Это с ума можно сойти.

И потом: что значит «много иметь в себе самом»? Много знать? Много чувствовать? Обладать богатым воображением? Но если даже в Рождественскую ночь вы сидите один, то зачем это всё?

Нет, одиночество не обогащает, а обедняет. По себе это чувствую. Наступает медленное засасывание в теплое, вязкое болото, апатия, праздно копание в собственных переживаниях.

Кому я интересна, если самой себе уже опротивела? Кому я нужна, если у меня нет друзей?

20 сентября 55 г.

Пошла сегодня в школу — просто так, вспомнить старое. Сидела в маринкином классе на психологии и физике, заходила к Марье Николаевне в кабинет биологии. Вроде всё то и не то. «Не то» — это что девочки и мальчишки учатся теперь вместе. Непривычно и в то же время — нормально. Как жаль, что нам не пришлось. А главное «не то» — что нет Любаши. Вместо нее какой-то лысый дядечка добродушного вида. А наша прежняя знаменитая на всю Москву директорша Любовь Георгиевна Богдасарова умерла летом. Я была на даче и не знала.

Господи, как же мы ее боялись! Звона ее ключей, ее зычного «Я с тебя шкуру сдеру»! Но не это в ней было главное. Мы даже не понимали, кем она была для нас. В ее крохотной квартирке при школе на первом этаже всегда жила какая-нибудь девочка, которую она опекала, а потом помогала поступить в институт. У Кирки Орловой отец и мать были арестованы, и ее воспитывала бабушка. А когда бабушка умерла и Кирку должны были определить в детский дом, Любаша взяла ее к себе. И та у нее жила, пока за ней не приехала тетка и не оформила опеку. Иногда у Любаши по несколько учениц жили одновременно. Она не боялась, что ее обвинят в укрывательстве детей врагов народа. Она вообще никого не боялась. Была депутатом Моссовета, награждена орденом Ленина и еще разными орденами, школа считалась лучшей в районе, но все равно, не всякий бы так. Многие её бывшие ученики занимают высокие посты, и она, если надо было кому-то помочь, запросто к ним обращалась. А то, что она орала на нас страшным голосом — ну, орала, подумаешь.

24 сентября 55 г.

Сегодня отец окончательно меня добил, заявив, что он во мне совершенно разочаровался. Что я влachu жалкое, тепличное существование. Дело даже не в том, что я учусь из рук вон плохо, это бы ладно, если бы я чем-то по-настоящему увлекалась. А у меня минутные увлечения — сегодня рисую, и Ёлка умиляется, завтра пишу стихи, и мама умиляется, а по-настоящему это всё — от безделья рукоделье, ерунда, бессмысленная трата времени. Потому что если уж рисовать — то чтобы во всей Москве не осталось кистей и красок, а если писать стихи, то — со страстью, с

утра до вечера, рвать, переделывать. Пусть коряво, но писать, работать! Творчество — это серьезное дело, а не так: начирикала два стишка и успокоилась.

Открыл Америку. Я и без него знаю, что ни к чему не способна. Кто был по-настоящему талантлив — это мой брат Витя. Насколько он талантлив, настолько я бездарна. Какая несправедливость, что он умер, а я живу, тупая, «чирикающая» жалкие стишки. Не живу, а влачу жалкое, тепличное существование.

Нередко теперь уже одна, без родителей, наврав маме, что иду на вечерние занятия в Университет, шла по папиному пригластительному билету на какой-нибудь закрытый просмотр в какой-нибудь из творческих клубов. В ЦДРИ на Эстрадный театр Владимира Полякова, в ЦДЛ на Ансамбль верстки и правки «Литературной газеты», душой которого был Зиновий Паперный. Меня пропускали, и я дефилировала среди избранной публики с чувством тоже некой избранности, но избранности нечестной, фальшивой. Все равно я была никто, сбоку припека. Не Золушка, прошедшая во дворец под видом принцессы, а одна из ее сводных сестер, глупых и спесивых.

Вокруг кипела интересная жизнь — выставка Пикассо, «Клоп» в театре Сатиры, фестиваль индийских фильмов. *Оттуда*, из-за приоткрывшегося «железного занавеса», приезжали джазовые ансамбли, певцы, пианисты. Приехал английский театр Питера Брука, и, простояв день в очереди, я купила билеты на «Гамлета». Спектакль ошарашил. Особенно поразил Пол Скоффилд, исполнитель роли Гамлета, его голос, пластика.

Все равно оставалось чувство, что это — лишь иллюзия настоящей жизни. Потому что настоящая жизнь — это соучастие, а я всего лишь зритель. Нет какого-то стержня, стимула, точки приложения собственных сил, и всё, что я вижу, хоть и задевает, но — по касательной. А я хочу быть внутри. Пусть не в центре, даже лучше, если не в центре, потому что по характеру я — не ведущая, а ведомая, но только бы — внутри круга. Как стать участником, как попасть внутрь с моей зажатостью, неверием в себя?

Отец прав: я влачила тепличное существование. Мечтала о смелых, решительных поступках, а в жизни всего боялась. Отчасти эту боязнь нагнетала мама:

— Как?! Ты хочешь идти пешком три километра до автобуса?! На ночь глядя? Я тебя не пушу! Мало ли что! Ну и что же, что не одна! А с кем? С Инной и Севой? Нашла защитников! Я спрошу у Саши Дыховичной, у них, кажется, есть место в машине.

(Наш шофер, Анатолий Семенович, обслуживал нас через день.)

И я покорно еду в машине, а Инка и Севка идут пешком под дождем, и я им зверски завидую! Я хочу с ними! Хочу преодолевать трудности! Испытать себя на прочность! «В жизни всегда есть место подвигам, и те, кто не находят их для себя, те просто лентяи или трусы, или не понимают жизни...»

1 октября 55 г.

Сегодня, когда я в полдесятого вечера возвращалась от Ёлки, ко мне подошел пижонского вида тип и сказал, что он идет за мной от остановки, что я ему очень понравилась, и начал долго и красиво распространяться о том, что не важно, где познакомились, а важно, каков человек, и что если девушка видит, что человек интеллигентный, то отчего бы ей с ним и не познакомиться. Что он пять лет назад окончил институт Востоковедения, любит музыку, играет на фортепьяно («немного хуже Цфасмана»), знает хинди и английский, живет в Малом Лёвшинском, дом 12 и пригласил в пятницу в гости на вечеринку (!!!). Если же я одна стесняюсь, то чтобы взяла с собой подругу, по возможности такую же симпатичную, как я (!!!).

Проводил до ворот. Попросил телефон. Я дала. Конечно, куда я к нему не пойду, еще чего, к первому встречному идти на квартиру. Хотя надо сказать, что он вел себя не нахально, и вообще.

Пришли родители, и когда я им для смеха рассказала про этот инцидент, мама закатила мне страшнейший скандал. Утверждает, что он вор и договорился с Федькой-рецидивистом ограбить нашу квартиру. Что ему понравилась не я, а мой костюмчик с погончиками. Он сразу увидел, что я наивная дурочка из обеспеченной семьи, и решил пожить у нас. С какой стати порядочный человек будет знакомиться поздно вечером на улице? «Надеюсь, ты не дала ему наш телефон?» А когда я призналась,

что дала, — вообще впала в истерику. Как будто это не телефон, а ключ от квартиры.

Все-таки я дура. Развесила уши.

4 октября 55 г.

Умеет мама нагнетать ужас. Первая хватает телефонную трубку и всем, кто меня спрашивает, даже если женский голос, отвечает, что — не туда попали. Мне запрещено ходить по Малому Лёвшинскому. Выходя на улицу, вжимаю голову в плечи и оглядываюсь на ходу: вдруг он меня подстерегает?

Коварного ночного соблазнителя я больше не встречала. А с испытанием на прочность получилось так: на летние каникулы студентов многих ВУЗов по призыву партии отправляли на целину. Шурку Червинского, к этому времени студента архитектурного института, партия тоже призвала. Сам он не очень-то стремился, а его мама вообще была в ужасе. А моя мама (вероятно, в пику Шуркиной маме) сказала: «Что за глупости! Всего на два месяца! Со студентами! Это же так интересно! Если бы у Анечки была такая возможность, я бы ее с радостью отпустила».

Права старуха Изергиль — в жизни всегда есть место подвигам! Я помчалась в деканат и записалась добровольцем на целину.

Что началось! В квартире густо запахло валерьянкой. На меня были спущены все родные и знакомые, не забыт был и дядя Константин Осипович, тот, который дружил с Университетским начальником по линии спорта. Все принялись убеждать меня, что целина это не место для девушки, что я надорвусь, заболею, умру, что меня искалечат, а то и что похуже, и вообще, мало ли что. Я орала: «Но ты же сама сказала, что с радостью отпустишь! Другие же едут, и я поеду! Ничего со мной не случится!»

— Хорошо, поезжай! — опасно тихим голосом сказала мама. — Но знай, что когда ты вернешься, меня уже не будет. Я умру. Ты этого хочешь? Тогда поезжай.

Странно: в Коктебель она меня одну отпустила, даже сама уговаривала. Конечно, Коктебель не целина, но тоже — мало ли что? Я могла там в море утонуть в конце концов. Может, мама надеялась, что я охмурю какого-нибудь писательского

сыночка из «нашего круга»? Жаль, что и тут я не оправдала ее надежд.

С целиной кончилось прозаически: оказалось, что вечерников вообще не берут. И так слишком много желающих. Когда, недели через две после моего героического порыва, меня вызвали в партбюро филфака и предложили поехать в колхоз — полоть, у меня уже иссяк весь энтузиазм. Так что я представила справку с места работы и уехала на дачу.

Поселок, 1956 год

Поселок строился. По сторонам улиц протянулись глубокие траншеи и земляные отвалы — прокладывался водопровод. На участках рыли отстойные колодцы. К 1956 году несколько домов было построено, и в них можно было жить не только летом, но и зимой. При каждом доме была котельная. Топили углем. Доставать уголь (как и все остальное) было большой проблемой, но, объединившись, как-то справлялись и с этим, запасаясь впрок. У наиболее преуспевающих членов ДСК появился обслуживающий персонал — истопники, домработницы.

Дома строились по трем архитектурным проектам. Они назывались Большой, Средний и Малый, но внешне, да и по размерам, мало отличались друг от друга. Все дома были двухэтажные, под двускатными крышами, с крыльцом, балконом и террасой. Некоторые — с солярием. Кто хотел — с камином. Архитектурное сходство не бросалось в глаза, во-первых, потому что каждый дом имел свое расположение на участке, свой ракурс по отношению к улице, а во-вторых, сразу по завершении строительства владельцы начали что-то перестраивать, приспособлять по своему вкусу. Например, академик Виноградов подпер свою террасу двумя колоннами. (Все дружно, заочно, конечно, осудили его за дурной вкус.) Антокольский пристроил к дому вторую маленькую террасу-тамбур и застеклил ее цветными витражами. Ермашов предпочел обычной застекленной террасе огромную открытую веранду с полом из дикого камня. У кого-то крыша была черепичная,

у кого-то шиферная, кто-то оштукатурил стены под шубу, а кто-то оставил кирпич не оштукатуренным. В общем, каждый дом чем-то отличался от другого, а в целом это были роскошные по тем временам дома, просто хоромы. Жители военного городка «Ватутинки», поселка Троицкое и отдыхающие из Гостроевского дома отдыха, прогуливаясь вдоль заборов из сетки-рабицы или низкого штакетника, оглядывали писательские дома с нескрываемым чувством классового антагонизма. В самом деле: люди еще ютились в коммуналках, массовое строительство хрущевских пятиэтажек еще только-только начиналось, а тут для одной семьи — целый дом! На оскорбленных лицах ясно читалось: вот они, гады писатели! Пишут для народа, а сами живут как помещики!

Как-то я шла к речке, а позади, по тропинке, шел маленький мальчик, из отдыхающих. Молодой папа держал его за ручку и рассказывал сказку. Я услышала конец:

— ... И за это царь щедро наградил Иванушку.

— Комнату дал?! — радостно предположил мальчик.

Тут еще такая щепетильная деталь: как-то так получилось, что многие члены ДСК принадлежали к той группе населения Советского Союза, которая — как бы помягче выразиться — до революции составляла в столицах определенную небольшую процентную норму, а здесь, в поселке, эту норму явно превышала. Получилась такая крохотная автономия, или, если с натяжкой, поселок представлял собой нечто вроде известной провинции огромной древнеримской империи, и даже со своим прокуратором — комендантшей Валентиной Федоровной Цеханович, которая строго следила за порядком, ведала всеми административными делами и собирала квартальные взносы. Жители же с утра творили, а потом выходили за калитки и неторопливо прогуливались по аллеям. Цезарь Самойлович — с Исааком Израилевичем, Михаил Львович — с Ароном Исаевичем, Евгений Абрамович — с Самуилом Борисовичем, ну и так далее. Останавливались вальяжными группами на перекрестках, обсуждали новости, похихатывали, всем своим видом выражая довольство жизнью и свое в ней прочно завоеванное положение. У простого народа это вызывало негативную реакцию. Проходя мимо, иной отдыхающий из дома отдыха не мог удержаться, чтобы не произнести —

пусть в сторону, пусть негромко — что-нибудь такое про морды нелюбимой им национальности, дополняя грубый эпитет высказыванием в том смысле, что данные морды везде пролезут без мыла, а русский иван как сидел без порток, так и сидит.

Иногда неприязнь прорывалась призывом:

— Взорвать бы их всех к черту!

Не знаю, чего было больше у желающих взорвать нас всех к черту — жажды справедливости или обыкновенной зависти.

Но и зависть тоже можно понять.

Постепенно это как-то сгладилось. Население окрестных деревень — Жуковки, Батакова, Фоминского — мало-помалу ощутило выгоду от нового соседа. Наладилась частная торговля. Деревенские поставляли «писателям» молоко, сметану, ягоды, овощи, речную рыбу, свежее мясо. Появились свои, постоянные поставщики — тетя Маруся, Фекла Петровна, Валя с хутора, пасечник дядя Ваня. Этот дядя Ваня из Жуковки, чтобы не путаться и не забивать себе голову напоминанием сложных для простого человека имен и отчеств, всех поселковых обитателей мужского пола именовал одинаково: Лазарь Моисеевич.

Сеть торговли и обслуживания расширялась. Для благоустройства участков потребовались рабочие руки. Откуда ни возьмись возник специалист по садовым работам Иван Анисимович, вслед за ним — красавец-богатырь Коля из военного городка, еще кое-кто из местных. Они вырубали деревья, планировали участки, вскапывали огороды, производили посадку и обрезку яблонь. Кроме того, постоянно требовалось что-то отремонтировать, перестроить, пристроить — и тут тоже находились мастера из местных. Самым лучшим был Яков Маркович, ставший на многие годы постоянным строителем и своим человеком в поселке. Он был внешне очень обаятелен. Художник Орест Георгиевич Верейский, иллюстрируя книжку «Поднятая целина», рисовал с него Давыдова.

В общем, образовался некий симбиоз поселка с окружающей средой, и праздно гуляющие ненавистники хоть и продолжали злопыхать по поводу гадов-помещиков и их национальной принадлежности, но уже не находили явного отклика у окрестных жителей, которые, может, тоже не испытывали горячей любви к богатому соседу, но свою выгоду понимали.

Наконец-то был готов и наш дом. Первый этаж представлял собой большую, сдвоенную, с широким квадратным проемом посередине, с окном почти во всю стену гостиную. Остальные помещения первого этажа были чем-то вроде приложения к этой главной комнате: коридор с лестницей на второй этаж, кухня, ванная, туалет, котельная и комнатка для прислуги, где поселили меня, втиснув туда столик, стул, небольшой комодик и мою старую полуторную кровать с резными спинками. Когда с нами на даче жила Маринка, мы спали с ней на этой кровати вальетом. Комнатка была угловая, утаенная, и этим очень нам с Маринкой нравилась. На втором этаже — две небольшие комнаты: спальня родителей и кабинет отца. Их тоже обставили старой мебелью, прикупив в комиссионке большой письменный стол, который занял треть отцовского кабинета. Столяр сделал книжные стеллажи. Когда на каникулах жил внук Саша, то ночевал в кабинете на тахте. Вот, собственно, и вся дачная жилплощадь. Еще летняя застекленная терраса, узенькая, с маленьким окошком комнатка-кладовка, где поселилась домработница Нюра, и солярий над террасой. Подобная планировка была у всех обладателей «среднего варианта», но некоторые дачники, например Фиши, сразу перегородили стенкой сдвоенную гостиную, уменьшив ее вдвое, зато сделав из второй половины еще одну жилую комнату. Но маме хотелось, чтобы гостиная была именно такая, просторная.

От камина мама отказалась из опасения пожара. Солярий оказался сооружением непрактичным: в солнечную погоду — слишком жарко, а в дождливую заливало террасу сквозь непрочную кровлю, доски скоро прогнили. Впоследствии родители призвали Якова Марковича, и вместо ненужного солярия была построена большая, удобная комната.

Гостиную мама обставила новой полированной югославской мебелью, купленной по большому блату и чуть ли не два года загромаждавшей нашу московскую квартиру, пока наконец не пришло время перевезти ее на дачу. В одной половине гостиной встал раздвижной стол, вокруг него — тяжелые стулья с мягкими темно-бордовыми сиденьями. По углам расположились такого же цвета два мягких кресла, у стены — сервант. На дубовый неправедным путем добытый паркет улегся большой ковер с преобладанием темно-бордового цвета. Вторая половина

гостиной была решена в зеленом колорите: зеленые шторы, два мягких зеленых кресла, между ними у окна овальный резной столик, у стены — узкий зеленый диван с высокой спинкой. Ковер в этой части гостиной — бежево-белый с вкраплением зеленого. Две деревянные люстры ручной работы: над столом — квадратная, во второй половине — круглая. Умельца, который делал такие люстры, рекомендовал наш сосед, художник Орест Верейский, и с его легкой руки многие дачники обзавелись этими грубоватыми, но очень подходящими для дачного интерьера люстрами.

Ну и, конечно, для уюта всякие мелочи — пепельницы, вазочки, салфеточки — мама это умела. А главным украшением были папины картины.

Дом был готов к приему гостей.

Ароша Эрлих и Зиночка

Четыре участка сходились углами — наш, Нагибиных, Антокольских и Александровой с Эрлихом. На месте стыка была калитка, через которую все друг к другу ходили по соседски. С Нагибиными, правда, вначале не заладилось: Ксения Алексеевна, мама писателя, зашла к нам в первый раз запросто, по дачному, в сарафане, в тапочках — а моя мама не разобралась, кто это, приняла по одежке, говорила свысока, небрежно, как она обычно разговаривала с людьми «не нашего круга». Поняв, кто это, сменила, конечно, тон, но было уже поздно: Ксения Алексеевна полыхнула молчаливым презрением, повернулась и ушла.

Мама была несколько сконфужена, но, оправдывая себя, осуждала соседку: «Пришла черт знает в каком виде — откуда я знала, кто она такая? Я думала, это домработница. И что я такого сказала! Подумаешь, барыня!» Барыня или не барыня, но больше Нагибинская мама к нам ни ногой. Сам Нагибин иногда принимал участие в наших застольях.

Чаще всех к нашему вечернему столу приходили Арон Исаевич Эрлих с женой Зинаидой Николаевной Александровой — Ароша и Зиночка, как очень скоро стали называть их мои родители. Ароша, тщедушный, с серыми навывкате глазами под

нависшими бровями, впалыми щеками, несколько искривленным ртом и большим вислым носом, напоминал усталого, доброго, всегда немножко голодного крокодила. Ему было едва за шестьдесят, но мне он казался стареньким и каким-то сникшим. С моим отцом они были ровесники, но отец смотрелся куда крепче, активнее, энергичнее. В Ароше чувствовалась некая скованность, робость, нежелание обострять разговор, особенно, когда отец начинал свои крамольные речи, до которых был охотник. По мере таких речей отец распался, ему хотелось завести собеседника, вызвать на ответный горячий разговор, а Ароша кротко помалкивал, пил чай с сушками и ловко давил грецкие орехи один о другой, зажимая в левом кулаке. Правая рука была сухая и почти не действовала. Отец над Арошей подтрунивал, упрекал в том, что он всего боится, иногда доводил до того, что тот обижался и уходил. Тут на отца набрасывались мама и Зиночка, он шел мириться, и Ароша возвращался и снова давил грецкие орехи в левом кулаке.

Эти орехи были непременно принадлежностью наших застолий. Ими доверху наполняли большую черную керамическую вазу, которую ставили в центре стола. Прилагались щипцы, передаваемые по кругу. Разговоры сопровождался треском скорлупы. Разумеется, подавались и другие яства, была и водка, и закуска к ней, и очень вкусная самодельная черносмородиновая наливка в фигурном графине, но гости, приходя, обычно провозглашали: «Мы к вам на орехи!»

Конечно, отец бывал несправедливо резок с милым, побитым жизнью Арошей: много лет его гнобили как «еврейского буржуазного националиста», потом как «безродного космополита», кто-то пустил идиотский слух, что он служил в белой армии — это он-то, с его национальностью, да еще сухорукий с детства. И попробуй докажи, что это не так. Да еще не известно, что хуже — белогвардеец или буржуазный националист. Попробуй сохрани при этом достоинство и философическое чувство юмора. И теперь, когда все было позади, он хотел только одного: чтобы его оставили в покое, не трогали, дали спокойно писать книжки.

Эта возможность, наконец-то, наступила. Он чувствовал себя на взлете и вовсе не считал себя старым и сникшим. Даже обижался, когда подчеркивали его возраст. С шутливым огорчением рассказал о том, как встретил на днях знакомую

девушку — Сашеньку Ильф, хотел поддержать ее под локоток при переходе через лужу, а вместо этого она сама взяла его под руку, чтобы его поддержать!

— Представляете? — недоумевал он. — Она — меня! Неужели я выгляжу таким немощным?

Теперь у него одна за другой выходили книжки — «Жизнь впереди», «Молодые люди», «Многие годы». Что ни год, то новая. Он дарил их друзьям, и друзья от души за него радовались и поднимали за его успехи рюмки с водкой и черносмородиновой наливкой.

Книжки были о целомудренной любви и дружбе подростков. Герои были хорошие и очень хорошие, но попадались и плохие — бездейные стилиаги, в которых легко угадывались прототипы — пасынок Илюшка и его друг Валька Разумов, который часто приезжал на дачу и крутился в нашей компании. Стилиагам требовались деньги на узкие брюки и коктейль-холл, и они доходили в своем ужасном поведении до того, что спекулировали пластинками «на костях», а однажды украли ценные книги из родительской библиотеки. Под конец гадкие юнцы вставали на путь исправления, чего нельзя было сказать об их прототипах.

Все острые углы в книжках были аккуратно округлены. Точно соблюдались пропорции отрицательного-положительного, типичного-нетипичного. Ни шага влево, ни шага вправо. Он хотел идти со всеми в ногу, в едином строю. О нем теперь можно было сказать словами Зошенко: «Испуганный писатель — уже не писатель».

Однажды, когда за нашим столом, как обычно, собрались гости, он принес старый довоенный журнал «30 дней» и прочитал вслух свой ранний рассказ, который был там напечатан. Рассказ назывался «Женитьба молодого Оборота». Контраст с его нынешними писаниями был ошеломляющий. Все равно как если бы сверкающий гранями, поющий хрусталь бакара поставить рядом с граненым стеклянным стаканом. Трудно было поверить, что этот дерзкий, ироничный, блистающий полнокровными образами, смелыми находками, бабелевским юмором рассказ написан тем же самым автором. Это был не просто другой писатель, это был другой человек, из другой жизни, из относительно вольных двадцатых годов, когда он

работал в «Гудке» с Ильфом, Олешей, Булгаковым — он любил вспоминать о тех временах, мечтал написать книжку о своей молодости, рассказывал у нас за чаем всякие эпизоды, и в такие моменты казалось, что из нынешней скукоженной оболочки проблескивает уверенный в себе, молодой человек, красавец и ловелас. У него было когда-то множество друзей среди талантливых писателей, газетчиков, деятелей разгромленного антифашистского комитета, артистов запрещенного еврейского театра. Почти всех постигла трагическая судьба. А его случайно пронесло через все рифы и выбросило на берег живого, но с оробевшей душой.

Счастье, что рядом с ним была чудесная Зиночка, Зинка-корзинка, уютная, кругленькая, миловидная, уравновешенная, аккуратная и надежная. Написав в молодости знаменитую песню о гибели Чапаева («До красных отрядов, река, до беги, скажи, что любимый Чапаев погиб. Пусть конница мчится, пусть пули свистят! Пусть красные белым за все отомстят! Урал, Урал-река, бурлива и широка»), она отошла от боевой политической тематики и обрела себя в качестве поэта для самых маленьких. И в этом жанре очень преуспела. Детские книжки ее издавались огромными тиражами, стихи включались во все детские сборники и даже в школьные хрестоматии. И по справедливости: Зиночкины стихи были просты, познавательны, понятны и интересны малышам. («Это — куры, это — утки. Черный Шарик спит у будки. Мы его не позовем, убежим гулять вдвоем» — а что, разве плохо?) К тому же отвечали всем требованиям нашей педагогики и идеологии. Они были крепким материальным фундаментом семейной жизни в те годы, когда Ароша ничего не зарабатывал. Собственно, дача строилась на гонорары от неприхотливых Зиночкиных «Я рубашку сшила Мишке, я сошью ему штанишки». Но достраивалась дача уже на гонорары от Арошиных книжек, чем он очень гордился.

«Неблагоденное» замужество в годы борьбы с буржуазным национализмом и космополитизмом Зиночке почему-то не повредило, а Ароше, может быть, в какой-то мере послужило охранной грамотой. У самой-то у нее социальное происхождение было безупречное: из Ивановских ткачей, и сама

бывшая ткачиха, рабфаковка и комсомолка. В ней, при всей ее интеллигентности, оставалось что-то симпатично простонародное. Ничего кичливого, ничего барского. Их Настя, в отличие от нашей Нюры, была не столько домработницей, сколько членом семьи, доверенным лицом, помощницей. Зиночку и Арошу она обожала, с Илюшкой вечно воевала, но, пожалуй, Настя была единственная, с кем он иногда считался.

Зиночка замечательно пекла пироги и часто приносила их к нашим застольям. С мамой они очень подружились. Любили сидеть вдвоем на крылечке и шушукаться.

Нередко Ароша и Зиночка приводили к нам «на орехи» гостивших летом у них во времянке литературоведа Сергея Александровича Макашина и его жену Таисью Михайловну, Зиночкину подругу юности. Иногда с ними приходила их дочка Таня, тоже студентка филфака, на курс младше меня, мальчишеского вида, беленькая и независимая. Года два спустя мы с ней оказались вместе в фольклорной экспедиции в Карелии и подружились.

Сергей Александрович, моложавый, очень красивый блондин, был автором книг о жизни и творчестве Салтыкова-Щедрина, Некрасова, Белинского. Девятнадцатый век он знал, казалось, так, словно там родился и жил постоянно, хотя и двадцатый познал на своей шкуре — воевал в Великую отечественную, был ранен, побывал в окружении, пробивался через немецкий тыл, видел стоящие на запасных путях немецкие эшелоны с желтыми крестами, обозначающими ядовитые газы. О чем бы он ни рассказывал за нашим столом — о войне или о жизненных перипетиях Михаила Евграфовича, Николая Алексеевича или Виссариона Григорьевича — это всегда было так интересно, что угихал даже треск ореховой скорлупы.

В такие вечера на лице Ароши Эрлиха было написано: как хорошо! Дружеское застолье, интеллигентная атмосфера, друг, которого он привел и «угощает» им присутствующих. Только что напечатана положительная рецензия на вышедшую книгу и одобрена новая рукопись. Ароша стеснительно протягивал левую руку за конфетой, кусочком пирога, чашкой чая... И правда, хорошо.

В конце зимы шестьдесят третьего года позвонила рыдающая Настя. Из ее несвязного рассказа узнали: сидели за столом

в московской квартире, обедали, вдруг Арон Исаевич встал как-то неловко, опрокинул стул и повалился на пол. Приехавший врач «скорой помощи» констатировал смерть. Инфаркт.

Проститься к Донскому крематорию приехало много народу. Стояли у похоронного автобуса, притоптывая и сморкаясь — день был холодный, промозглый. Ждать пришлось долго. Из открытых ворот крематория медленно, одна за другой, выходили скорбные процессии, а им навстречу вступали под своды новые. За автобусом, в котором стоял гроб с телом Ароши, уже выстроилось несколько таких же автобусов и толпились люди с такими же скорбными лицами и так же притоптывали и сморкались. Это было как перрон вокзала, только те, кого сегодня провожали, уезжали навсегда.

Зиночка держалась спокойно, а Настя плакала, не переставая, тихонько, с подвывом.

Шоферы похоронных автобусов, деликатно понижая голос, буднично переговаривались:

— Она фаршу полкило купила. Я говорю: если покупать фарш — то сразу килограмма два. На всю ораву полкило — никто ж и не почувствует.

Подошла служительница в синем халате, сказала так же буднично:

— Давайте, несите.

Гроб внесли под своды крематория и сняли крышку. Кто-то тихо воскликнул:

— Смотрите: лицо Данте!

Правда: благородное аскетическое лицо, нос с горбинкой... А главное: с лица Ароши сошло наконец въевшееся выражение затаенной боязни удара из-за угла, оно разгладилось и приобрело выражение наконец-то обретенного душевного покоя.

Дачу Зиночка года через два продала писательнице Ирине Радунской.

Модест и Риточка Табачниковы

Не всегда беседы за нашим столом проходили на высоком интеллектуальном уровне. Всё зависело от контингента. Мои родители умели поддерживать любую беседу, лишь бы, как говорится, человек был хороший. Приходил, например,

известный композитор, автор многих популярных песенок, в том числе и на слова Масса и Червинского, Модест Ефимович Табачников со своей женой Риточкой, и тогда разговоры бывали, примерно, такие:

Табачников: А вот еще чудный анекдот: муж приезжает из командировки. А у жены... *(переходит на шепот, потому что я не к месту здесь околачиваюсь, ищу на полках какую-то книгу)*.

Отец: Хх-а-а-а!!! Чудесно! Как тонко! А вот я вам расскажу: приходит больной к врачу: доктор, что мне делать, у меня... *(переходит на шепот)*.

Табачников: Га-га-га!!! Потрясающе! Как тонко!

В другой, зеленой, половине гостиной разговаривают мама и Риточка:

Мама: Когда я ее только что взяла, она была просто шелковая, а теперь!

Риточка: Ах, моя дог-г-огая! Они все такие! И у меня то же самое! Сначала — тише воды, ниже тг-г-авы! А теперь — пг-г-осто неудобоваг-г-имая!

Обе (вздыхая, почти хором): Как они быстро портятся!

Речь шла о домработницах.

А еще была любимая тема:

— Я достала Модичке чудный отг-г-ез на костюмчик, знаете, такой ког-г-ичневый, в кг-г-апочку, шег-г-стяной, пг-г-осто пг-г-елесть! И всего за... *(Называлась какая-то запредельная сумма.)*

Каждое Риточкино грассирующее «р» звучало так, словно их не одно, а, по крайней мере, пять в каждом слове. Казалось, в горле у нее перекачивается горошина и наполняет окружающее пространство звонкими переливами.

— Что вы говорите?! — завидовала мама. — Где вам удалось? Я ищу Владимиру Захаровичу отрез на демисезонное пальтишко, но разве в наших магазинах достанешь что-нибудь приличное?

— Дог-г-огая моя, вы не чег-г-ез те каналы ищите! У меня есть канал... Мне пг-г-иносит одна женщина — она связана с ансамблем «Бег-г-ёзка». Они как г-г-аз только что вег-г-нулись из Италии. Она мне на днях должна пг-г-ивезти итальянские вещи *(Риточка произносила уважительно: «вэщчи»)*.

— Ах, Риточка, у меня к вам огромная просьба: Анечке необходимы туфельки. Тридцать седьмой размер. Я нигде не могу.. Если вдруг... Умоляю! Я вам буду так!..

В другой, бордовой, половине гостиной:

— Еврейку спрашивают: «Зачем вы сделали своему сыну обрезание?» А она отвечает: «Ну, во-первых, это красиво!»

— Хх-а-а!!! «Во-первых»! Как тонко!

В целом получался вполне мелодичный квартет.

А через некоторое время мы с мамой поднимаемся в лифте на пятый этаж известного дома Нирензее в Большом Гнездиновском переулке.

— Мои дог-г-огие! — звонким переливом своего грассирующего «р» встречает нас Риточка, и они с мамой обнимаются и целуются как самые нежные подруги после долгой разлуки.

Тесная квартирка набита антикварной мебелью, бронзой, хрусталем, севрскими фарфоровыми фигурными подсвечниками, настольными старинными лампами под кружевными абажурами, огромными китайскими вазами — до такой степени, что можно открывать филиал антикварного магазина, того, что на Арбате, дом семь, ближе к Арбатской площади. За круглым столом карельской березы, давясь и делая рвотные движения горлом, сидит над котлетой с макаронами двенадцатилетний Женька Табачников, бледный, длинный и вялый, сам как макаронина с его тарелки.

— Ешь, негодяй! — покончив с объятьями, кричит Риточка. — Посмотг-г-и на себя в зег-г-кало, на кого ты похож! У тебя уже совег-г-шенно нет пг-г-офиля! Ты умг-г-ешь голодной смег-г-тью, я тебе гаг-г-антиг-гую!

Женька натывает на вилку кусок котлеты и смотрит на ее отражение в серебряной сахарнице, как Персей на Медузу Горгону.

На кушетке с гнугыми подлокотниками стоят изящные черные туфельки с узкими перемычками и модными острыми носами.

— Помег-г-яй, моя дог-г-огая, — и Риточка снова оборачивается к Женьке: — Что ты сидишь в позе «замг-г-и»?! Положи в г-г-от котлету! Кошмаг-г-ный г-г-ебенок! Совег-г-шенно ничего не ест! Ну, я вас спг-г-ашиваю!

Туфельки мне точно по ноге.

— Носи их, моя дог-г-огая! — напутствует меня Риточка, довольна щебетавшись с мамой, наоравшись на сына и провожая нас до дверей. — Хог-г-ошая вэщч любит, когда ее носят.

Так, благодаря Риточке, я стала обладательницей элегантных, легких, удобных итальянских туфелек. Я носила их бережно и благоговейно, много лет («хорошая вещь любит, когда ее носят»). Дважды отдавала в починку. С годами они, конечно, стоптались, потеряли прежний лоск, но все равно видно было, что — не нашего производства. Обращали на себя внимание.

Шурка Червинский и Андрюшка Менакер

В июне пятьдесят шестого в поселке произошел первый пожар: во время грозы молния попала в почти уже достроенный дом Червинских. От дома остался один кирпичный остов.

Отдыхающие из дома отдыха толпами ходили смотреть на пепелище. В их глазах читалось живое человеческое злорадство.

Шурик рассказывал:

— Мы с Наташей сели на камень у ворот, обхватили головы руками и мерно раскачивались. А мимо ходили отдыхающие и с надеждой спрашивали: «А дети не сгорели?»

«С надеждой!» Мы смеялись. Шурик был дико остроумный. Он даже когда говорил серьезно, все равно казалось, что острит.

Сразу после пожара состоялось заседание правления. Постановили срочно на всех дачах сделать громоотводы и наладить снабжение огнетушителями.

Червинские тут же принялись восстанавливать дачу и, как ни странно, довольно быстро восстановили. Уже к концу следующего лета семья перебралась во вновь отстроенный дом. Времянка долго еще служила пристанищем для гостей и для наших молодежных «балдений».

Шуркин приятель, на три года младше его, — Андрюша Менакер, упитанный, белобрысый мальчик с круглыми голубыми глазами под белесыми ресницами, и раньше приезжал в

гости к Червинским со своими родителями, но не воспринимался нами всерьез. И по возрасту маловат, и очень уж выпендривался, все время что-то изображал на публику — то громко пел, нарочно перевирая мелодию, то, вскарабкавшись на дерево, делал вид, что вот-вот упадет, болтал ногами, орал, якобы от страха, чтобы только всех посмешить. Андрюшины родители, знаменитые эстрадные артисты — Мария Владимировна Миронова и Александр Семенович Менакер — приобрели небольшой участок, граничащий с поселком. Формально они не считались членами кооператива, но фактически ими были, поскольку принадлежали к той же прослойке творческой интеллигенции, что и полноправные члены ДСК. С моим отцом и Червинским их связывала не только совместная творческая работа, но и многолетняя дружба. Именно с легкой руки Александра Семеновича образовалось творческое содружество — Масс и Червинский. В 1943 году, когда отец, отбыв десятилетнюю ссылку, получил разрешение снова жить в Москве, а Червинский только что вернулся из госпиталя, демобилизованный после тяжелого ранения, Александр Семенович их познакомил.

Сделавшись нашими соседями по поселку, Мария Владимировна и Александр Семенович стали частыми гостями за нашим вечерним столом, а родители — частыми гостями на их даче, построенной не по общему типу (поскольку, не будучи членами кооператива, они могли не подчиняться обязательному архитектурному плану), а так, как им хотелось и как позволили средства. Получился небольшой, очень уютный одноэтажный домик с просторной открытой верандой, на которой стояли шезлонги и соломенные кресла, редко пустовавшие: хозяева были гостеприимны и пользовались всеобщей симпатией.

Летом пятьдесят седьмого, в августе, домик Мироновой и Менакера еще только строился и Андрюша жил во времянке у Червинских. Он перешел в десятый класс. Актерский его талант уже щедро проявлялся. Особенно в дуэте с Шуркой. Шурка был очень артистичен, изобретателен, и вдвоем у них получалось необыкновенно смешное дуракаваляние. Оба просто купались в пародийном изображении друзей, знакомых, разных сценок, которые они наблюдали на улицах, на экране,

в метро, или сами сочиняли. Юмор их расцветал в присутствии зрителей, их всегда хватало, а уж более благодарных, чем мы с Маринкой, пожалуй, не было. Будущего Андрея Миронова до его будущей актерской славы отделяло еще несколько лет, а сейчас была безоглядная, мальчишеская, озорная, импровизационная свобода и на глазах раскрывающийся талант.

Маринка в тот год перешла на второй курс биофака МГУ. В июле она принимала участие в первом знаменитом Международном фестивале молодежи и студентов — работала гидом и переводчиком. В ней еще кипели восторженные впечатления от этого праздника. А у меня в то лето завязался роман со студентом МИСИ Димой, которого теперь услали на военные сборы. Я ждала его возвращения, предвкушая продолжение романа, но это ничуть не мешало мне предаваться инфантильному счастью дачной жизни. Каждый вечер, ложась спать валетом на полутораспальной старинной кровати в комнатке «для прислуги», мы с Маринкой подробно «обсасывали» все детали прошедшего дня и предвкушали завтрашний день. Каждое утро обещало что-то еще более захватывающее, чем вчера.

20 августа 1957 г.

Сегодня приходим с Маринкой с пляжа, а нам говорят, что заходили Шурка и какой-то рыжий. Мы долго думали, кто же этот рыжий. Потом догадались: прошлым летом Шурка возил на велосипеде рыжего мальчишку Женьку Житницкого из Гостроевского поселка и говорил, что бабушка этого мальчика гонит самогон, и всё приставал к нему, чтобы он узнал у своей бабушки рецепт табуреточной.

После обеда мы пошли к Червинским во времянку. Там были Андрюшка Менакер и его брат Кирка из Ленинграда, сын Менакера от первой жены. Красивый! В прошлом году балетное училище окончил. Они валялись в трусах на раскладушках и очень смешно переругивались — кому разогреть голубцы. Оба намекали, чтобы этим делом занялась Галя Дыховичная, которая тоже тут присутствовала, но она делала вид, что намеков не понимает. Тогда Андрей, повязав вокруг пояса фартучек с кружевами, начал разогревать голубцы на электроплитке, а Кирка завернулся в простыню, надел чалму из полотенца и стал изображать дипломатического представителя Саудовской Аравии. В это время приехал на велосипеде рыжий Житницкий из Гостроя.

Вместо звонка к велосипеду была приделана труба, которая гудела громко и очень неприлично. Кирка обрадовался, схватил эту трубу и начал воспроизводить всевозможные звуки и танцевать «саудовский» танец живота, а потом они втроем устроили саудовский джаз-оркестр. Рыжий, надев на руки ботинки, имитировал барабан, Кирка — трубу, а Андрей — все остальные джазовые музыкальные инструменты. В это время пришла Наташа Червинская и сказала: «Мальчики, вас приглашают к нам обедать».

Мальчики взвыли от восторга, хотели так, в трусах, и бежать, но потом застеснялись, надели брюки и, взяв кастрюлю с подгоревшими голубцами, чинно отправились на званый обед. Перед уходом сказали, что зайдут за нами, и мы пойдем в кино. Сегодня в клубе идет старая картина про шпионов «Высокая награда» с Абрикосовым и Массальским.

Галя Дыховичная, очень красивая девочка, часто присутствовала на наших «балдениях». В смысле красоты Галя была, конечно, вне конкуренции, но по части юмора явно не тянула. В то время как остальные катались от смеха, она только удивленно поднимала красивые брови. Вот ее младший брат Ваня, которого она часто приводила с собой, кудрявый и губастый мальчик, похожий на Пушкина-лицеиста с гравюры Гейтмана, — тот от души веселился.

Картина — примитив страшный. Во время сеанса ребята громко комментировали, рыдали в трогательных местах, бурно аплодировали, когда очередной шпион бывал настигнут. Нас чуть не выгнали.

С нами были еще Андрей Ладынин, Инка Ермашова и Севка Россельс. У Андрея Ладынина вид очень клевый: узкие светлые брюки и синий пиджак. И ВГИКовский значок на лацкане.

Обратно шли все вместе, Севка говорил, что хорошо бы устроить завтра костер. На что Ладынин неопределенно хмыкал и поглядывал на Инку. А она — на него. На перекрестке постояли, потом Ладынин ушел с Инкой (!!!), а нас проводил Кирка Менакер.

21 августа 57 г.

До обеда играли в пинг-понг в доме отдыха, а потом пошли к Червинским во времянку. Шурка с Андреем пародировали жену безработного из итальянского фильма:

— О, Паскуале, Паскуале! Зачем ты продал мою последнюю рубашку! В чем мы завтра пошлем нашего сына в школу! О, Паскуале, Паскуале!

Еще показывали, как в советских детективах ловят шпиона:

— Иванов!.. Петров!.. Он же — Джексон!!!

И еще очень смешно — как косой читает книгу.

Потом Андрей изображал Ладынина, как он на всё, что ему ни скажешь, улыбается идиотской улыбкой:

— Андрей, ты сегодня в кино идешь?

— Иду... — удивленно поднятые брови и совершенно Ладынинская интонация.

Про все фильмы он говорит:

— Ужасная картина! — но на вопрос, идет ли он в кино, каждый раз недоуменно пожмает плечами и, словно сам себе удивляясь, отвечает:

— Иду...

23 августа 57г.

К вечеру за нами зашел Шурка и сказал, что его послали, чтобы вместе стоять в очереди за билетами. Сегодня шла мексиканская картина «Моя бедная, любимая мать», и ожидалось столпотворение.

По дороге Шурка рассказывал про фестивальную самодеятельность своего архитектурного института. Какие они диафильмы сделали: один — про любовь скульптора к созданной им абстрактной женщине, как она ожила, и что из этого вышло, а другой — о любви лошади и устрицы. Но оба фильма осудили на комсомольском бюро за безыдейность и не допустили к показу. Еще прочитал стихотворение своего сочинения, по типу как у Ильфа и Петрова, про Гаврилу: «Служил Гаврила машинистом, котлы Гаврила разжигал, но вот — война, пришли нацисты, Гаврила с поезда сбежал. Он много дней в лесу скрывался и назывался партизан, но как-то утром догадался, решил улучшить он профплан. Он напечатал предложенье и спрятал в банке под кустом, и в ту же ночь его в сраженье прихлопнуло стальным свинцом. Окончилась война-холера, уж платят пенсию вдове, но как-то летом пионеры нашли ту баночку в траве. Они достали предложенье, его внедрили в тот же миг, и плана перевыполненье завод немедленно достиг... А на Гаврилиной могиле рыдала бедная

вдова, но это всё теперь Гавриле, как говорится, трын-трава». Примерно так. Смешно и сразу запомнилось.

Перед фильмом показали документальную короткометражку про аборт: «Зачем я это сделала?»

Как только мы после сеанса вышли на улицу, Андрюшка Менакер задумчиво произнес со слезами в голосе:

— Одного только я не могу понять: зачем я это сделал? Ведь это такое счастье — быть матерью!

И они начали пародировать короткометражку. Кирка сочувственно спрашивал у Шурки: «Ну, а ты как живешь?» А тот отвечал, как в фильме: «Да всё лечусь!»

А уж как они издевались над «Моей бедной, любимой матерью»! Мы с Маринкой просто писались от смеха.

25 августа 57 г.

Сегодня с утра — проливной дождь. Часов в шесть за нами зашла Инка, и мы, утопая в грязи, пошли к Червинским во времянку. Там были Андрей Менакер с рыжим и Шурка. Рыжий восторженно рассказывал, какого потрясающего щенка приобрели Дыховичные. Ливень не прекращался, гром гремел, молния сверкала, а во времянке было тепло, печка топилась. Мы потушили электричество и зажгли свечку. Андрей синим фонарем осветил себе снизу лицо. Шурка начал громко щелкать зубами, якобы от страха. Андрей, вернее его страшная синяя оскаленная пасть, начала метаться по комнате и выть. Неожиданно послышались скрипучие тяжелые шаги по крыше. Это рыжий влез на чердак и стал изображать звуки из фильма «Газовый свет». Шурка сказал сдавленным голосом: «Я с-сейчас п-пойду и п-посмотрю...» Он вышел на террасу, и вдруг оттуда раздался его душевраздирающий вопль. Мы с Маринкой тоже завизжали — от неожиданности.

Так здорово было! Без вина, флирта и пошлостей — просто весело и всё. Ужасно не хотелось уходить, но в пол-одиннадцатого пришлось, а то, когда мы хоть на десять минут опаздываем, моя мама устраивает нам грандиозный скандал. Рыжий пошел провожать Инку, а нас провожали Шурка и Андрей.

Вот идем. Темень. Дорога после дождя скользкая, с двумя глинистыми колеями, полными воды. Хватаемся за кусты и штакетины заборов, чтобы не шлепнуться. У Андрея фонарь, которым он светит почему-то не под ноги, а себе под подбородок. На полпути — дача Вильмонтов. На балконе, как в театре на галерке,

стоят толстая Катька Вильмонт с подругой. Шурка остановился напротив балкона, уцепился за ствол дерева и тихо сказал:

— Дальше я не могу... А вы идите... Идите! Вы — сильные, вы дойдете!

— Нет! — закричал Андрей. — Мы не бросим тебя! Ты сможешь! Слышишь? Ты должен дойти, товарищ!

— Поздно, друг... Силы покидают меня...

— Мужайся, родной! Лезь ко мне на спину, я понесу тебя!

— Спасибо, дружище... Поздно... Я умираю... Помнишь, в третьем классе ты попросил у меня дать тебе списать контрольную по арифметике, а я не дал! Прости! Теперь я бы дал. Прощай! Поцелуй за меня Марию... Письмо маме лежит в заднем кармане...

И, не закончив, никнет. Андрей подходит к нему, складывает пальцы револьвером, произносит:

— Кх-х! Кх-х!

Шурка обвисает на столбе. Андрей, рыдая, идет дальше. Девчонки на балконе от смеха просто визжали.

Несколько лет спустя выпускник Щукинского училища Андрей Миронов дебютировал в главной роли в спектакле театра Сатиры «Доходное место». Спектакль скоро запретили — слишком оказался смелым по тем временам. Мы с Маринкой успели посмотреть — Андрей по старому знакомству пригласил нас на премьеру. Играл он Жадова с блеском. И все же — или это нам так казалось — ему чуть-чуть не хватало озорства, экспромта, свободной импровизации тех наших вечеринок. Было такое ощущение, словно ему самому хочется выскочить на свободу, но сдерживают тесноватые рамки роли.

В дальнейшем все это у него совместилось, талант взял своё.

Притча о растоптанной розе

...Мы целый день гуляли в Парке культуры имени Горького, катались на карусели и на Чертовом колесе, ели горячие шпикачки в кафе под полотняным навесом. Распускалась сирень, от Москвы-реки дул весенний, но довольно пронзительный ветер. В аллеях, подальше от реки и аттракционов, было теплее, малолюднее, пахло майской огогретой землей. И в

какой-то момент я окончательно решила: сегодня. Родители на даче, квартира пустая. Когда-нибудь э т о все равно должно произойти. У Ёлки это уже произошло, а она на полгода моложе меня. Мама как чувствует — последнее время твердит, что я «сплю и вижу» как бы лишиться *самого дорогого, что у меня есть*.

— И вовсе нет! — отрицала я. — А если бы даже да! Подумаешь, самое дорогое! Это в ваше время!

— Нет, не подумаешь! — волновалась мама. — Не подумаешь!

Она рассказала мне притчу о розе, которая пленяла все взоры своей красотой, а потом кто-то сорвал ее, понюхал и бросил на тротуар. И хотя она все еще свежа и красива, но вряд ли прекрасный принц, которого эта роза трепетно ждала, поднимет ее, побывавшую в чужих руках, с тротуара.

— Чушь на постном масле, — заявила я, хотя старомодная аллегория отозвалась во мне едва слышной тревогой.

— Ну, смотри, тебе жить, — сказала мама. — Главное, чтобы ты его любила.

Вот это и тревожило. Люблю ли я его? Как понять? Я к нему и с п ы т ы в а ю. Но любовь ли это? А может быть, как раз после э т о г о полюблю? Ёлка говорит, что у нее с Лёнкой именно так и было. Странно. И жутко интересно.

То, что я к нему испытываю, и то, что вот уже несколько месяцев происходит между нами, — не похоже на мои прежние полудетские умозрительные влюбленности или на участвовавшие в последний год ухаживания мальчишек с приглашениями в театр, прогулками и робкими касаниями или уж, самое крайнее, — поцелуями, как с Димкой летом в Гаграх. Но осенью в Москве Димка стал мне неинтересен, потому что в моей жизни появился он, Игорь.

Мы познакомились с ним на вечере поэзии в моей библиотеке. Приглашенные студенты Литературного института читали стихи. Одного из студентов представили торжественнее, чем двух других: его стихи были опубликованы в недавно вышедшем и сразу ставшем знаменитым альманахе «День поэзии-1956 год». Конечно, альманах стал знаменит не из-за его стихов, а потому что в те годы интерес к поэзии был огромен, а тут были собраны многие набирающие известность молодые поэты, и старые, забытые, и те, кого долгие годы замалчивали.

Тем более почетно было попасть в такую компанию. На мягкой морковного цвета обложке альманаха были отпечатаны факсимильные росписи всех ныне здравствующих авторов и среди них – его роспись, молодого поэта Игоря Ш.

Свое выступление он начал с короткой справки о себе: вырос в Одессе, до поступления в Литературный институт три года «ходил мотористом» на одном из китобойных кораблей флотилии «Слава», бывал в «кругосветках». Потом он читал свои стихи из цикла «Стоянка в Кейптауне».

О, нахлыв детского восторга перед всем морским! «В Кейптаунском порту, с пробоиной в борту...», «Ты ж одессит, Мишка, а это значит...», «Белый бриг, наполненный дарами, приво-дил суровый капитан...» О!

Он был невысок, коренаст, с рыжеватыми, чем-то примазанными, чтобы плотно лежали, волосами, с близко к носу посаженными мелковатыми глазами. Но ореол моряка и поэта, стильная курточка со значком мастера спорта делали его в моих глазах неотразимым, как героя романа Джека Лондона.

После выступлений были танцы, он пригласил меня и не отпускал весь вечер. Он сразу взял со мной тон насмешливого превосходства. Я таяла в его сильных мужских объятиях. Когда вечер кончился, он проводил меня до самого дома и пригласил на завтра в ЦДЛ на обсуждение новой поэмы Кирсанова. По дороге, чтобы сделать ему приятное, я сказала, что он похож на Мартина Идена. Он, однако, не воспринял это лестное для него сравнение, так как не читал романа. Кроме того, месяца через два после нашего знакомства выяснилось, что он вообще никакой не моряк и не «ходил мотористом» ни в какой Кейптаун. Мир тесен, мать Михаила Абрамовича Червинского, папиного соавтора, жила в Одессе на Малой Арнаутской улице, в одном доме с его родителями. И она рассказала, что «Гарику», чтобы избавить его от службы в армии, родители добыли по блату справку о том, что он служил матросом на китобое, и сплывили его на два года во Фрунзе к тете, где он учился в сельхозтехникуме и писал стихи, а потом он с этой справкой и со стихами приехал в Москву и поступил в Литературный институт. А родители тем временем поменяли квартиру в Одессе на комнату в Москве и теперь хотят женить сына на порядочной девушке из хорошей семьи.

Мне давно казалось, что он частенько привирает, хотя, надо признать, он довольно ловко играл свою роль бывалого морячка, ходил вразвалочку, щеголял морскими словечками и действительно писал стихи на китобойную тему, уснащая их живыми деталями китобойного быта. Как я после узнала, информацию он брал из брошюры адмирала Соляника: подчеркивал в ней разные случаи и подробности из жизни китов и китобоев, зарифмовывал их, заливал сиропом из любви к родным берегам и тоски по любимым женщинам, добавлял чуточку юмора — и получался «поэт со своим голосом», как о нем отозвался не кто-нибудь, а сам Михаил Светлов. Он тогда уже пробовал писать тексты песен, искал знакомств с популярными композиторами, решив, что этот жанр ему больше всего подходит.

Конечно, открывшаяся истина очень огорчила меня, нарушив гармонию созданного образа, содрал с него романтическую позолоту, но, видно, пришло время любви, и чтобы сохранить хотя бы ее иллюзию, я прогоняла мысль о вульгарном карьеризме, оправдывая его измышления затянувшимся мальчишеством, детской склонностью к фантазиям. И сама будто вступила в игру, где можно верить в самолет из стульев и любить куклу-урода.

Чувственность оглушала, но не ослепляла, я замечала и его убогое косноязычие, когда он, горячась и чуть ли не вступая в драку, пытался доказать что-нибудь более подкованному собеседнику, и то, что свое невежество он выдавал чуть ли не за кредо («Понимаешь, рыжая, чем больше читаешь, тем больше теряешь собственный свежий взгляд»). Меня озадачивали (но чем-то и нравились) его уличные манеры одесской шпаны, его вульгарные шуточки... Нет, он был далеко не Мартин Иден. А вот я, интеллигенточка из состоятельной семьи, пожалуй, была чем-то похожа на Руфь Морз, хотя бы тем, что меня, как и ее, одновременно тянуло к нему и отталкивало. Что-то было для меня извращенно-притягательное в хамовато-покровительственном его обращении со мной, в том, что он мог в ответ на какую-нибудь мою насмешку, вспыхнув, дать мне оплеуху, в его любовном натиске, которому я не слишком противилась. Он, однако, при всей своей активности не так уж и добивался полной близости. Он хотел на мне жениться, чтобы

по-честному «войти в семью». Но вот как раз замуж меня не тянуло. Мне нравились любовные коллизии, рискованные объятия, примирения после ссор — вся эта любовная мура. А замужество — не мура, это я осознавала своим инфантильным умом. Женятся, когда любят и верят и не могут друг без друга, а я никак не могла решить, люблю или нет, нужен ли он мне, и уж точно — не верила, хотя очень хотелось верить. Поэтому я тянула, говорила то «да», то «нет». Он настаивал, произносил с надрывом: «Я так больше не могу, рыжая!» В общем, давил на психику. Нужно было на что-то решаться...

Вдруг он увидел на аллее своего приятеля, идущего нам навстречу, и быстрым движением прикрыл ладонью значок мастера спорта. И пока разговаривал с приятелем, продолжал прикрывать значок. А в какой-то момент разговора медленно опустил руку, взглядом прося того не задавать вопросов по поводу значка. Такая понятная и простительная просьба — не мешать выхвалиться перед девушкой. Приятель едва заметно усмехнулся, еще одна иллюзия с тихим звоном разбилась, я выпила до капли и эту рюмку стыда за своего спугника. Но я уже решилась. Странно было идти по аллее и знать, что сегодня, и уже скоро, э т о случится и что он об этом еще не догадывается.

Мы пришли в нашу пустую квартиру. Еще не стемнело, и я задернула шторы в кабинете, где стояла широкая тахта. Шторы отдувало ветром, и было видно и слышно как со своего балкона Катя Синельникова переговаривается с Цецилией Львовной Мансуровой, как внизу, во дворе, домработница Антокольских Варя оповещает дом: «В угловом баранину дают!» Это был мой с детства мир, мои соседи, воздух моей жизни, а он тут был инороден как собака, забежавшая в чужой двор.

...Кажется, он почувствовал интуицией опытного мужчины, что сегодня — не так, как раньше, когда любовная игра доходила до предела дозволенного и дальше хода не было. Я тряслась от страха так, что зубы стучали.

Он отнесся к моему страху с пониманием, даже с одобрением, так как это мое поведение лишний раз свидетельствовало о том, что самое дорогое, что у меня есть, всё еще при мне. А это было важно в свете его предстоящей женитьбы на порядочной девушке.

Поскольку я по причине своей порядочности не в силах

была проявить никакой инициативы, он сам позаботился растегнуть на мне и стянуть с меня всё, что требуется, а потом, очевидно, желая психологически облегчить мне переход в новое состояние, дружески посоветовал:

— Ты зажмурься и представь себе, что ты партизанка на допросе.

Образ тут же всосался воображением, и я, уже не трясущаяся, а одеревеневшая от деловито-бесстыдных телодвижений моего соучастника, так не похожих на его прежние нежно-страстные объятия, от его хлопотливо-откровенного копошения, а потом грубого вторжения в меня омерзительного предмета, пригвождаемая этим предметом к окровавленной простыне ритмичными толчками, не в силах убежать от этой жути, убежала в образ мученицы-партизанки и, сжав зубы, потерпела пытку. Надо, однако, отметить, что при всем своем страхе и омерзении я как бы со стороны, с некоей циничной отрешенностью отмечала все комические и непростойные детали, чтобы назавтра «обсосать» их с Маринкой.

Что и произошло вечером следующего дня, и моя двоюродная младшая сестра жадно внимала моему подробному рассказу, который как-то сам собой из драматического низвелся до комедийного, и вскоре мы обе заходились в приступах истерического смеха, отнюдь при этом не подвергая сомнению всю серьезность случившегося со мной. А когда мною была упомянута несчастная роза, попавшая в плен и приколоченная к тротуару пневматическим молотом, Маринка от хохота едва не обмочила трусы и рухнула с тахты, на которой мы с ней катались и где вчера имело место столь значительное в моей жизни событие.

Иосиф Дик

Этот писатель наотрез отказался строить дачу по общепринятому проекту. Заявил, что будет строить, как ему нравится, а на общие решения ему плевать. И никто из членов правления против этого не решился возразить. Только плечами пожали.

Ему вообще многое прощали. О нем говорили со снисходительной жалостью как о капризном больном. Хотя он был здоровый, сильный, хорошо сложенный тридцатипятилетний

мужчина, с выразительным смуглым лицом и густой вьющейся шевелюрой.

Это был детский писатель — Иосиф Дик. У него не было кистей обеих рук.

На своем участке он поставил деревянный засыпной одноэтажный дом. Купил его у родственников какого-то покойного генерала.

Безрукий писатель на людях был шумен, задирист, у него было много женщин, включая жен, которые его бросали, а может, он сам их выгонял, у него были дети от трех жен, его окружали друзья, вернее собутыльники, такие же выпивохи, как он. Такие же, да не такие. Все были как все, а он был калека. Он привык к тому, что люди пугаются, впервые увидев его обезображенные руки, и научился демонстративно подчеркивать свое увечье. При знакомстве — первым протягивал свой обрубок, и человек, впервые вынужденный пожать его, внутренне содрогался от необходимости прикоснуться к тому, чего страшно касаться. Но не пожать — значило поставить себя в очень неловкое положение, оскорбить ни в чем не повинного, и, обмирая от чувства, похожего на гадливость и страх, кривя лицо в фальшиво-приветливой улыбке, человек пожимал эту теплую, красную, натруженную, изувеченную плоть.

Это был точно рассчитанный психологический ход. Прививка от ужаса прикосновения. В следующий раз человек уже не обмирал и первым протягивал руку. И ничего.

Калекой он стал на фронте, в 41-м, и было ему тогда девятнадцать лет. И нужно было заново научиться жить. Пользоваться ложкой и вилкой, одеваться, раздеваться, зажигать спичку, подносить ее к папиросе, мыться, чистить зубы и совершать еще множество действий, которые обычный человек совершает, не задумываясь, а у него они выросли в проблему. Он всему этому научился. На концах культи у него были небольшие кожистые расщепы, с помощью которых он мог совершать несложные хватательные действия. Вроде как слон кончиком хобота. Протезов не носил, но у него было множество приспособлений, чтобы обходиться без чужой помощи. Надев на культю железную насадку с пером на конце, он писал четким почерком, обмакивая перо в чернила. Печатал на машинке. В ресторане Дома литераторов ему подавали тарелку с заранее мелко

нарезанными мясом, котлетой, картошкой и он управлялся, зажав вилку между расщепами и низко наклоняясь к тарелке. Водил машину. Руль у него был обтянут толстым поролоном с отверстиями, куда он всовывал свои обрубки и лихо гонял на своей «победе», а позже — «волге». ГАИшники на Калужском шоссе узнавали его машину и отдавали ему честь.

И все же страшно себе представить, через какие мучения, унижения, физические страдания пришлось ему пройти, какая это была ломка всей его прежней натуры, прежде чем он смог приспособиться к новой жизни и стать таким, каким стал. Выработать ту манеру поведения, которая у многих вызывала неприязнь. Может быть, он считал, что лучше так, чем вызывать у окружающих чувство жалости. Подняв вверх на всеобщее обозрение свои обрубки, он входил в любое учреждение, где граждане томились в очередях, — и пёр без очереди. Люди шарахались и молча пропускали его. Начальники мгновенно подписывали нужную бумагу. Это вызывающее поведение было не только способом добиться своего, но и средством оградить себя от праздного любопытства, человеческой бестактности и оскорбительной жалости.

Мы стояли возле клуба — Инка, Севка Россельс с младшим братом Феликсом, Андрей Ладынин, кто-то еще из компании. Ждали, когда начнут пускать в зал на какую-то комедию. Из-под крыши клуба, из рупора лилась легкая праздничная музыка. И настроение было легкое, приподнятое, бездумное, летнее. Из рупора неслось:

...Раз пчела в теплый день весной,
Свой пчелиный покинув рой,
Полетела цветы искать
И нектар собирать...

Неподалеку, в другой компании, стоял красивый Валерка из дома отдыха. Он нравился Инке. Она строила ему глазки, а Севка старался встать между ними. Мы с Ладыниным понимающе переглядывались и хихикали.

Неожиданно к нашей компании подошел Дик. Блуждающий взгляд светлых глаз на красном, словно воспаленном, лице выдавал его пьяное состояние. На нем была легкая клетчатая рубашка с короткими рукавами, тренировочные штаны и

белые парусиновые туфли. Собравшаяся публика бросала на него любопытно-сочувственные взгляды.

Он подошел к нам вплотную, дохнул водкой и заговорил о чем-то — сквозь музыку было не разобрать о чем, к тому же и язык у него слегка заплетался. На взгляды окружающих он не обращал внимания — привык. Жестикулируя своими культиями, он что-то спрашивал и сам же отвечал. На лице его были шрамы, издали не заметные, а вблизи очень заметные. Один пересекал правое веко, отчего глаз смотрел как-то странно, а другой, тонкий и белый, пересекал губы. Шрамы его не уродовали, но эти ужасные обрубки! Уж хоть бы спрятал под длинными рукавами, но нет, он ими двигал, тряс, чуть ли не касался нас ими. Видно было, что ему хочется выразить что-то для него важное, а может, просто пообщаться с нами в отсутствии кого-нибудь более близкого. Но нам-то с ним общаться не хотелось. Он нам со своей пьяной настырностью и шокирующей внешностью был ни к чему — здесь, среди молодой, нормальной публики, льющейся музыки, заигрываний, переглядываний.

Он это понял. Замолчал, внимательно и угрюмо оглядел каждого из нас, вдруг матерно выругался, как плюнул, и ушел.

Андрей Ладынин сказал в своей меланхолической манере:

— Да-а, ничего себе! Как он такой живет! Вообще, зачем ему такому жить? Я бы на его месте застрелился.

Подумал и добавил так же спокойно:

— Хотя как он застрелится, у него же рук нет.

Если это была шутка, то она не прозвучала. Никто не улыбнулся. Всем стало неловко.

Но тут открылись двери клуба и публику начали запускать в зал. Из рупора гремело:

В этом зале всех счастливей, всех красивей ты!

Как идут тебе сегодня эти первые цветы!

И неловкость сама собой испарилась, забылась, к нам вернулось то легкое, глуповатое, счастливое состояние, когда ничего не висит над душой, летние каникулы в разгаре и тебе девятнадцать лет.

В 1947 году он у нас выступал в школе, в пятом классе. У него тогда вышла первая книжка — «Золотая рыбка».

Учительница сказала:

— Девочки, к нам придет писатель. У него нет обеих рук. Он был тяжело ранен на фронте. Пожалуйста, не задавайте ему по этому поводу никаких вопросов.

За ним поехала наша пионервожатая, восьмиклассница Ира Немакова.

...И вот дверь класса открылась, и в сопровождении Иры вошел безрукий писатель. Светлые глаза на смуглом лице. Шапка каштановых кудрявых волос. Если бы не пустые от локтя рукава пиджака, он был бы прямо как герой фильма. Но эти пустые рукава! Все взгляды невольно к ним приковались. Видно было, что он чувствует эти взгляды и напряжен. Не очень знает, как себя вести. И еще казалось, что отсутствие рук мешает ему держать равновесие — походка была не уверенная. Ира заботливо поддерживала его за пустой рукав.

Прасковья Филипповна пригласила его сесть за свой учительский стол, а сама ушла на заднюю парту. Ира подтащила еще один стул и поставила рядом с учительским. Помогла писателю снять портфель — он у него висел через плечо на ремешке. Сама открыла портфель, достала из него книжку. Ира была красивая девочка, брюнетка с синими глазами. Правда, немного толстая. Она сидела сбоку, следила глазами за текстом и переворачивала страницы. Иногда она поднимала глаза и смотрела на писателя с таким обожанием, что опаздывала перевернуть страницу. Щеки ее горели.

Он читал рассказ из своей только что вышедшей книжки. Рассказ был смешной и трогательный. Мальчику подарили золотую рыбку, и он решил, что она — та самая, из сказки Пушкина. Он подходил к аквариуму и просил ее выполнить разные желания, и она выполняла. Одно из желаний было — чтобы ему купили двухколесный велосипед. И на следующий день велосипед ему купили. Самым заветным желанием было — поехать к морю. Но злой колдун — кот Васька — подстерег рыбку, и... Рыдающего мальчика утешает отец: рыбка жива! Она же волшебница! Ей надоело жить в аквариуме, и она теперь снова в море. Вот летом мы все поедem к морю, и ты обязательно встретишь там свою золотую рыбку.

Рассказ всем ужасно понравился. Смеялись, хлопали. И сам он как-то растроганно улыбался и уже не был напряженным как вначале.

После звонка Прасковья Филипповна подошла и поблагодарила писателя за интересное выступление. Мы снова дружно похлопали. Он попрощался с нами и, сопровождаемый Ирой Немаковой, вышел из класса.

Пока мы оставались в детстве, его книжки нам нравились. Они были живые, с юмором — «В дебрях Кара-Бумбы», «Зеленые огоньки», «Коза на вертолете». Он уловил то, к чему стремится мальчишеская да и девчоночья душа, — жажду приключений, независимости от взрослых. Он писал о дружбе, верности, преодолении опасностей. Может быть и его душа, вопреки всему, оставалась в чем-то ребячьей и жаждала того же. Было в его рассказах что-то от романтики Джека Лондона, Брет-Гарта, Луи Буссенара. Правда, уж очень выпирало советское: непереносимое мудрое идейное руководство в лице какого-нибудь взрослого, который ненавязчиво прививал юным пионерам моральный кодекс и тому подобное. Взрослый мог быть симпатичным и не таким уж прямолинейным, вроде молодого геолога из повести «В дебрях Кара-Бумбы», но все равно воспринимался как надоевший штамп. Хотя, в сущности, так оно и было в нашей школьной жизни: вечно нас окружали старшие пионервожаты, председатели совета дружины, секретари комсомольской организации, не говоря уже об учителях, так что ощущения неправды не возникало. Зато образы «беспартийных» мальчишек и девчонок были яркими, озорными, смелыми или трусливыми, умными и не очень, похожими на нас, и было интересно представлять себя в условиях, придуманных писателем. Бывали даже стихийные обсуждения его книг на тему: а как бы ты вела себя в подобных обстоятельствах? Смогла бы или не смогла? Струсил бы или не струсил?

Но мы выросли и постепенно теряли интерес к этим книжкам. Они оставались там, в прошедшем времени. А он продолжал оставаться верен пионерской теме. Придумал еженедельный музыкальный радио-спектакль «Девчонки и мальчишки» по мотивам своих рассказов. Написал сценарий приключенческого фильма про то, как в первые дни Отечественной войны пионерский лагерь оказался на оккупированной территории и как пионер Мишка и танкист дядя Вася совершили смелый рейд на танке в тыл врага и освободили пионеров.

Книжки его издавались и переиздавались, имя его было на слуху, но в Союзе писателей, вернее в детской секции Союза, он был чужаком. Там царила атмосфера комплиментарности, фальшивых улыбок, раболепия перед партийным начальством, а он любому мог сказать в лицо то, что о нем думает, в партию не вступал, перед начальством не лебезил. С ним старались не связываться. В то же время использовали его как приманку для публики, как какую-нибудь женщину о двух головах в балагане. Им даже своеобразно гордились — вот какие у нас есть! Возили на выступления с писательскими бригадами. Это всегда обеспечивало успех. Выступал он много, ездил по стране не только на всякие торжества типа «Книжкиной недели», но и от Бюро пропаганды — это была возможность неплохо заработать.

О его выступлении у нас в классе я ему напомнила летом 1957 года, когда мы с ним случайно встретились в Гаграх, в Доме творчества писателей, куда мама достала мне курсовку. Питалась я в столовой Дома творчества, а жила рядом, в частном доме. Делила комнату с двумя строгими учительницами из Ленинграда.

В первый же день мы столкнулись с Диком у главного корпуса.

— Анюта! Какими судьбами! — и, обернувшись к окружающим: — Это моя симпатичная соседка по дачному поселку, прошу любить и жаловать!

Через минуту, сама не заметив как, я оказалась в сфере его притяжения, смеялась его шуткам, он о чем-то мне рассказывал, с кем-то знакомил, потащил в холл, где отдыхающие, игравшие в пинг-понг, тут же уступили нам ракетки, и трижды обыграл меня под возгласы болельщиков, хотя на даче я здорово натренировалась. Ракетку он сам пристегивал ремешком к культе, крепко затягивал зубами и мастерски бил слева и справа, посылал шарик точно на край стола, гасил, отбивал, а когда шарик летел мимо — ловил его, прижимая к груди. За игрой сообщил, что он тут уже две недели, что приехал сюда на своей машине и завтра рано утром на машине же возвращается в Москву. И что сегодня хотел бы провести вечер со мной, как я на это?

Оглушенная его наступательной энергией, я ответила, что согласна, и после ужина села к нему в машину, и мы поехали в Старые Гагры, в кафе на берегу моря. Горели фонари, эвкалипты источали субтропический влажный охмурающий запах. Тихонько шуршало море, набегая на гальку. За соседними столиками мужчины и дамы сидели в красивых позах и пили вино, словно играли роли из фильмов про богатую прежнюю жизнь.

Нам принесли бутылку вина. Он налил мне полный стакан, и я храбро отпила половину. Я не знала, как себя вести, на всякий случай тоже пыталась изображать даму, курила, закидывала ногу на ногу. Но это была не моя роль, я робела, стеснялась, краснела. Он смотрел на меня недвусмысленным оценивающим мужским взглядом. И, чтобы разрядить или хотя бы ослабить этот пугающий меня эротический посыл, я ему как раз и напомнила про то, давнее, детское, как он когда-то выступал у нас в школе и как нам понравилось. Он тут же вспомнил:

— Ну, как же! Ирочка!

Спросил, где она и как. Я что-то лепетала.

В это время от соседнего столика к нам подошел какой-то не очень трезвый мужик и, соболезнующе глядя на моего спутника, спросил:

— Где ж тебя так изуродовало, браток?

Он, видно, хотел выразить сочувствие, вызвать на проникновенный разговор, может быть, подсесть к нашему столику.

У Дика выражение лица стало такое, как если человеку грубо указали на его место, ткнули носом, что он не как все. Под скулами вспухли желваки. Но ответил вежливо — назвал место, где это случилось. Я не запомнила какое.

Тот постоял немного и отошел.

И как флаг, упруго трепещущий под ветром, обвисает, когда стихает ветер, так сник тот накал, который возник между нами. Мы о чем-то еще поговорили, я допила свой стакан, а он — все остальное вино, что оставалось в бутылке, после чего мы снова сели в машину, и он довез меня до дверей моего дома.

— Подожди, — сказал он, когда я хотела открыть дверцу. — Посидим немного.

Голова у меня кружилась, и было хорошо, раскрепощено.

— Анюта, у тебя есть кто-нибудь? — спросил он.

А у меня к тому времени уже был «кто-нибудь», и я, как моя

недолгая подруга Вира, мучилась вопросом — выходить за него или не выходить? Но у Виры с Жорой тогда «ничего еще не было», а у меня с моим уже «было», в этом и была сложность. Потому что по понятиям моей целомудренной мамы, которая догадывалась о наших отношениях, я должна была загладить «грех» замужеством. Но выходить мне за него не хотелось, а «так» — по его словам, ему надоело. Он жаждал законного брака. Каждый раз, когда мы с ним ссорились, я испытывала облегчение, слегка подпорченное чувством вины, и надежду, что мы, наконец, навсегда расстались. Но потом наступало примирение, и тягостные отношения продолжались. Вот и сюда, в Гагры, я приехала вроде бы рассорившись, но знала, что он не оставит меня в покое и что по возвращении я снова поддамся на его уговоры. Это была непонятная мне самой дурацкая зависимость, которую я по неопытности принимала за любовь.

Мне захотелось рассказать об этом Дику, может быть, услышать совет опытного человека, но как рассказать? Я конфузилась и молчала. Вероятно, он что-то прочитал на моем лице, потому что улыбнулся и сказал:

— Всё понятно.

Может, и правда, что-то понял. Помолчав, он вдруг сказал: — Анюта! А ты могла бы поцеловать меня?

И мы поцеловались — крепко, доверчиво, без слюнявой похоти — не знаю, как еще определить, но это был какой-то обоюдно чистосердечный поцелуй, навсегда определивший мое отношение к этому человеку.

Потом он сказал:

— Ты, Анюта, необыкновенно обаятельная девчонка. Ты просто силы своей не знаешь. Тебе надо поверить в себя, и всё у тебя пойдет. Ну, счастливо тебе. Иди спать.

И я пошла, спотыкаясь и пошатываясь, к своим строгим ленинградским учительницам, которые подняли головы с подушек и что-то возмущенно прошипели по моему адресу.

Осенью мы с ним встретились в Москве, возле Дома Литераторов. Из главного подъезда на улицу Герцена вывалилась шумная пьяная компания. Самый шумный и пьяный — он. Белые глаза на багровом лице, распахнутое пальто, вытертый,

бесформенный портфель через плечо на ремне. Я хотела проشمыгнуть незамеченной, но он с криком: «Анюта!» встал на моем пути, расставил свои несчастные руки, поймал, крепко сжал и мокро поцеловал в губы. Кто-то из собутыльников поощрительно заржал. Я вырвалась.

— Ничего, Анюта, не обижайся! — заорал он. — От этого еще никто не забеременел!

Трудно было с этим не согласиться, да я, если честно, и не обиделась.

— Представляешь, — дыша мне в лицо водочным перегаром, заговорил он возбужденно. — Этот подлец (он назвал известную писательскую фамилию) сказал про меня, что я — «уходящая натура»! Я — «уходящая натура»! Да сам он кто!.. Сволочь такая!..

— Идем! — тянули его спутники.

Уходя, он продолжал выкрикивать что-то в адрес подлеца, и в этих выкриках звучала обида мальчика, которого взрослый сукин сын ударил ниже пояса.

Это и в самом деле был удар ниже пояса. И было это тем более обидно и не справедливо, что он в то время писал свою лучшую вещь, выстраданную всей жизнью, — повесть об отце, румынском революционере, писателе, участнике гражданской войны, коммунисте Ионе Дическу. О том, как этот человек зажегся идеями интернационализма и приехал в Советский Союз строить новый справедливый мир. И как в 1937-ом он был арестован и расстрелян. Мать тоже была арестована и погибла в лагере.

Этой темы еще недавно не существовало в Советской печати, и даже теперь не было надежды на публикацию, хотя наступил период Хрущевской оттепели, и о событиях такого рода говорили открыто, люди возвращались из лагерей, приоткрывалась страшная правда эпохи. Но еще не прилетела первая ласточка — «Один день Ивана Денисовича», после которой успело выйти еще несколько вещей на такую тему. Дик со своей повестью об отце — не успел. Ручеек гласности быстро перекрыли, оттепель сменилась похолоданием.

Книжка «Встреча с отцом» вышла только в 1985-ом, после смерти писателя.

Если бы отец, так веривший в справедливый мир, мог предугадать судьбу сына, который в пятнадцать лет оказался отверженным, а в девятнадцать потерял на войне обе руки!

Если бы да кабы...

Эти руки, отданные юношей-фронтовиком за Родину, — стали платой за расстрелянного отца, за возможность учиться в Литературном институте, за иные-прочие льготы, которые давала ему его страшная инвалидность. Но какой дорогой платой!

Еще раз мы с ним встретились жарким летним днем 1959 года, снова на улице Герцена. Он собирался садиться в машину и, увидев меня, спросил:

— Тебе куда? Садись, подброшу.

Я сказала, что вообще-то собираюсь на дачу.

— Так ведь и я на дачу! — обрадовался он. — Мне только надо домой заехать на минутку, а потом напрямик туда. Поехали?

И мы поехали. Он жил в писательском доме на Ломоносовском проспекте, рядом с кинотеатром «Прогресс».

— Зайдем, выпьем чего-нибудь холодного, а то в горле пересохло.

С той нашей встречи в Гаграх прошло два года. За эти два года я успела «сходить замуж», развестись, переползти на четвертый курс, поработать на целине со студентами биофака и написать об этой целинной эпопее очерк, который был напечатан в только что вышедшем шестом номере «Нового мира». Этот номер журнала с несколькими тоненькими оттисками мне как раз сегодня вручили в редакции, и, сидя рядом с Диком в машине, я не могла этим событием не похвастаться.

Он шумно поздравил, даже остановил машину, чтобы полистать оттиск.

— Подаришь?

— Подарю.

Мы подъехали к его дому, и пока я шла к его подъезду, а он запирали машину, тетки, сидевшие на лавочке у подъезда, понимающе качали головами и ощупывали меня презрительными взглядами.

Ключ от квартиры висел у Дика на шее, на длинном шнурке. Он открыл дверь, и я очутилась в просторной, залитой солнцем, комнате, то ли гостиной, то ли кабинете, чисто убранной,

с цветами на круглом столе, книжными стеллажами, креслом у телевизора, письменным столом с аккуратно разложенными предметами — все говорило о женской руке. Я спросила, женат ли он.

— На данный момент — нет, — ответил он. — Лифтерша убирает через день, ну и готовит заодно. Есть хочешь?

— Нет, только пить.

— Сейчас. А ты пока надпиши журналчик.

Он ушел, а я села на подоконник и надписала на обложке оттиска: «Дик! Спасибо Вам за то хорошее, что Вы для меня сделали, сами об этом не догадываясь».

Он вернулся с запотевшей бутылкой вина под мышкой и двумя стаканами, которые удерживал в расщепках своих культипок. Поставил рядом со мной на подоконник, прочитал надпись.

— Ты меня заинтриговала, Анята. Что я для тебя такое сделал?

Я попыталась объяснить, но, кажется, у меня это не очень получилось. А я и правда была ему благодарна. За те слова, которые он мне сказал в Гаграх, когда мы сидели в машине: «Ты своей силы не знаешь. Поверь в себя, и всё у тебя пойдет». Я запомнила эти слова, и мне с ними стало как-то легче в жизни.

Не знаю, стоит ли описывать последующее. Дело в том, что вернулся он раздетым, в одних трусах, и вид его не оставлял сомнений в его намерении.

Нет, не было никаких домогательств, настырности, грубых притязаний. Открытый взгляд, не требующий слов: да — да. Нет — нет. Под таким взглядом глупо манерничать, изображать возмущение, корчить из себя недотрогу. Он вовсе не был мне неприятен — крепкий, еще молодой мужик с мощным торсом, ну, может, излишне мясист. Руки? Ну, в конце концов, на это можно и глаза закрыть.

Но как раз в те дни я была по уши влюблена в одного молодого человека из Ленинграда. В чем я виновата и откровенно призналась Дику, объяснив ему, что — ну, никак.

Он отнесся к этому без обиды. Нет — значит, нет. Вольному воля. Мое дело предложить.

Мы посидели на подоконнике, выпили вина, легко и дружески потрепались. Я попросила подарить книжку, и он надписал и подарил — «Золотую рыбку», ту самую, любимую мною в детстве и много раз переиздававшуюся. Потом он вышел из комнаты, вернулся в брюках и в рубашке, и вскоре мы

снова прошли мимо теток, смеривших меня взглядами, полными такого брезгливого отвращения, что я чуть было не начала оправдываться — ну, не виновата я, не было ничего, и нечего на меня так люто смотреть.

В семидесятые годы мои родители прочно обосновались на даче. Отец что-то писал, а больше — рисовал для души. Он привык работать с соавтором, а Михаила Абрамовича Червинского к тому времени уже не было в живых. Оперетты их, однако, шли и давали возможность держать домработницу, шофера и вообще ни в чем себе не отказывать. Все же отец тосковал по живой творческой работе, и когда к нему обратился кинорежиссер Олег Николаевский с предложением сделать фильм по мотивам оперетты «Трембита» — с радостью согласился. Режиссер поселился у нас на даче, и началась работа над сценарием. Работали в первую половину дня, а потом Николаевский был предоставлен сам себе. Оказалось, что он дружен с Иосифом Диком — поставил по его сценарию детский фильм «Смелого пуля боится» — про отважного пионера Мишку и танкиста дядю Васю, спасших отряд пионеров от фашистов. Вечерами Николаевский начал пропадать у Дика на даче и возвращался обычно сильно под мухой, а утром с трудом включался в работу к неудовольствию моего отца.

Дик к тому времени был женат, и у него росла дочка. Жена, молодая, хрупкая, но с пронзительным голосом, часто скандалила в конторе — то у них на даче искрит проводка, то течет кран, то еще что-нибудь. Писательские жены-интеллектуалки в свой круг ее не принимали.

Однажды отец послал меня к Дикю — предупредить Николаевского, что ему откуда-то звонили и просили срочно перезвонить. У Дика не было телефона. Или был, но не работал.

Я впервые попала к нему на участок. Среди елей, сосен, берез и густого подлеска — старый дощатый дом темно-синего цвета, осевший на один бок, с замшелой черепичной крышей — настоящая избушка бабы Яги, только курьих ног не хватало. Крапива в человеческий рост, лопухи у самого крыльца. О том, что в доме кто-то живет, говорили только узкая тропинка от калитки к крыльцу да сидячая детская коляска.

Я постучала и услышала: «Входи, кто там!»

Вошла и закашлялась от табачного дыма. Захламленная

комната, скомканное не то одеяло, не то какая-то тряпка на тахте, окурки на полу. Дик с багровым отечным лицом, в расстегнутой до пупа рубашке сидел на стуле. Напротив, в кресле, — Николаевский — усатый здоровяк лет сорока. Перед ними на задрызганном столе — водка, стаканы, миска с солеными помидорами, толстые ломти черного хлеба.

Николаевский, увидев меня, несколько смутился, а Дик заорал:

— А! Анюта! Садись с нами!

Он вытащил двумя культиями из миски помидор и, капая рассолом на стол, протянул мне. Я взяла.

Из соседней комнаты, а может кухни, доносился раздраженный женский голос. Ему отвечал капризный детский. Потом женский сменился криком, а детский — плачем.

— Оставь ребенка в покое, стерва! — заорал Дик.

И понес какую-то муть о бабах, которым нужны только деньги и которые все — стервы и проститутки.

— Ладно тебе, — укоризненно сказал Николаевский, который с моим отцом любил поговорить за обедом о режиссерских методах Мейерхольда и о поэтах серебряного века.

— Налей ей водки! — пьяно приказал Дик. — Выпей, Анюта!

Пить я отказалась, передала Николаевскому отцовское поручение и ушла, запутавшись в тамбуре в паутине.

Возле крыльца под елкой рос белый гриб. Ёж высунулся из зарослей крапивы, фыркнул и скрылся.

Я швырнула соленый помидор в крапиву и ушла.

Говорили, что он тяжело болен, что у него отказывают почки. Да это и видно было по опухшему лицу, по мешкам под глазами. Говорили, что жена от него ушла, и кто-то ее оправдывал — как вообще можно жить с таким человеком, а кто-то осуждал — бросать мужа в таком состоянии — не благородно.

Ухаживала за ним его старшая дочь от первого брака, простоватая женщина лет под сорок. Приехала откуда-то из провинции и была с ним рядом до последнего дня. Умер он в 1984 году в больнице. И завещал дачу этой дочери.

Сразу после его смерти объявилась жена и стала требовать дачу себе. Она — законная, и у нее должны быть все права наследства, а эта дочь — вообще неизвестно откуда взялась, нашла удобный момент и подсуетилась!

Скандалные разбирательства между наследниками после смерти дачевладельца не были редкостью в нашем поселке. Правление в тот патриархальный период своего существования имело полномочия решать некоторые подобные вопросы по справедливости. Жене объяснили, что завещание законно, заверено нотариусом и оспорить его можно только через суд, и вряд ли суд вынесет иное решение. К тому же у жены остались квартира, машина, авторское право...

— Ну и что! Он уже ничего не соображал, когда подписывал! А она воспользовалась! Ну, если не всю, то хотя бы половину дачи! У моей дочери слабое здоровье, ей нужен свежий воздух!

Старшая дочь сидела и ничего не требовала. Собрание единогласно решило вопрос в ее пользу.

Старшей дочери дача была без надобности. Ей нужны были деньги. Она сразу же продала дачу и вернулась к себе в провинцию.

Дачу купили режиссер Владимир Андреев и его жена артистка Наталья Селезнева. Снесли старую развалюху, привели в порядок участок, построили кирпичный двухэтажный дом, поставили новый сплошной забор.

Теперь, может быть, только я одна и помню ту темно-синюю хибару среди крапивы и лопухов, белый гриб у крыльца и сердитого ёжика. Книжки Дика можно найти разве что в букинистических. Имя его почти забыто.

Подаренную мне когда-то «Золотую рыбку» я берегу. Вижу, как, надев на обрубок руки железную насадку с ученическим пером и окуная перо в чернильницу, он надписывает мне эту книжку четким, разборчивым почерком: «Милой Анюте, которая мне очень нравится».

За что я его не любила

Мама на этот раз не уговаривала и не запрещала. Твердила — решай сама!

Легко сказать. Я привыкла к тому, что она всё решает за меня, и вдруг, в таком серьезном деле как замужество — решай сама. Ведь тут судьба решается! А мама говорила — это ТВОЯ судьба, и именно поэтому ни я, ни папа не имеем права вмешиваться.

Разум подсказывал — не надо, не делай этого, опомнишься — поздно будет.

А любопытство жгло, словно азартный чертик пихал в спину, — рискни! Интересно же! А вдруг всё будет хорошо?

Вот так идешь, не подготовившись, сдавать экзамен и надеешься: а вдруг сдам? Вдруг повезет? Вдруг счастливый билет?

Мы расписались. Он переехал к нам, потому что другого варианта не было: у нас — отдельная трехкомнатная квартира, а его родители с младшей дочкой ютились в полуподвальной комнате коммуналки. О том, чтобы поселиться отдельно, снять комнату — речи не было.

Утром я уходила на работу в свою библиотеку, оттуда — на вечерние занятия в Университет. Старалась подольше не возвращаться домой. Представляла себе, как в моей, нет, теперь уже НАШЕЙ, комнате, сидит и курит за столом или валяется и курит на тахте — тот, кто из-за моего глупого безволия сделался ненужным, назойливым придатком моей жизни. И зачем-то я должна терпеть его хозяйские объятия, его прокуренное дыхание. Я шла нарочно кружными переулками, чтобы подольше не возвращаться, и ревела. Эту свою подавленность, состояние тихой истерики надо было скрывать от мамы, а разве от нее скроешь? Она всё чувствовала, огорчалась, но боялась вмешиваться.

Если к моему возвращению его не было дома, я обреченно ждала, что все равно скоро придет, агрессивно мрачный или наоборот — возбужденно довольный, пахнувший водкой и жареным ресторанным мясом, скажет: «Тиснул стишок!» и будет обнимать меня, а меня от него тошнит, и от его стишков, которые он «тискает» в газетах ко всем праздничным датам, — тоже...

Он соглашался, что эти стишки — халтура, но ему важен был сам факт публикации, имя в печати. Важнее, чем небольшие гонорары. Хотя и гонорары тоже не лишнее. Прибавка к тем деньгам, которые давал ему его отец, бухгалтер какого-то крупного предприятия.

Мы почти никуда не ходили вместе. У него были свои приятели, с которыми он предпочитал встречаться без меня. К моим друзьям он заранее был настроен враждебно, считал их бездельниками, белоручками, вел себя с ними насмешливо, презрительно, старался поддеть. Они удивлялись моему выбору, но из чувства такта ничего мне не говорили. Мне их молчание было понятно и обидно.

Я стыдилась его непредсказуемых вспышек гнева или обиды, которые могли произойти в театре, в гостях, на улице, у всех на глазах, непонятно из-за чего. Ему казалось, что я веду себя на людях как-то не так, слишком независимо, что ли. Не так, как по его понятиям должна вести себя жена при муже. Он все время норовил подмять меня под свои представления о жизни, а я из последних сил держалась за свои. Мы постоянно ссорились, а потом нудно выясняли отношения.

Ох, эти разрушительные выяснения отношений – сдавленным шепотом, чтобы не слышали родители, со страстным желанием высказать «правду-матку», уязвить пообиднее – единственная страсть, которая еще горела между нами. И то уже не столько горела, сколько тлела, дымила, шипела и плевалась искрами. Кажется, с тех самых пор я ненавижу выяснять отношения с кем бы то ни было.

За что я его не любила? Глупый вопрос. Человека любят не за что-нибудь, а просто любят. Или не любят.

Был ли он плохим человеком? Вовсе нет. Он был добрым, широким, общительным, обаятельным, когда хотел. В том, что он стремился сделать карьеру со всей энергией провинциала, приехавшего завоевывать столицу – не откуда-нибудь, а из Одессы, и старался подогнать свое поведение к существующим возможностям – не было ничего предосудительного, если бы не цинизм, с которым он лез вверх по плечам тех, кто их дружески ему подставлял.

Он умел войти в доверие к нужным людям, выпить с кем надо. Использовал любую возможность, чтобы пролезть в литературную «обойму». У кого-то эта холуйская расторопность вызывала уважение. Но не у меня, мечтающей о рыцаре без страха и упрека. Меня выводила из себя его трусливая хитроватость, которую он прятал за показной мужественной прямоотой. То, что он не считал зазорным прочесть тайком чужое письмо, извлечь пользу из случайно подслушанного разговора. То, как он пробивается, а вернее протискивается, протыривается, втирается – в это самое общество избранных.

Недавно, читая автобиографический роман Владимира Войновича, я наткнулась на такие строки:

«Мой тогдашний приятель Игорь Ш., женившись на дочери известного эстрадного автора, пригласил меня как-то к себе и показал блокнот тестя, где тот записывал ежемесячно свои

заработки. Самый маленький был 25 тысяч, самый большой — 63 тысячи рублей. На эти деньги можно было покупать каждый месяц по несколько автомобилей...»

Не знаю, сколько автомобилей можно было купить на отцовские заработки, но точно знаю, что листки, приходящие из ВУОАППа (тогдашнее название теперешнего РАО), сложенные в виде тетрадок, отец держал всегда в одном из ящиков своего письменного стола (никогда не на столе, уж за этим мама следила). Так что мой тогдашний муж без зазрения совести рылся в отцовском письменном столе, что меня не удивляет, потому что он и в моем столе рылся и читал мои письма и дневник.

И все же, имела ли я право осуждать или презирать его? Мне с детства всё подавалось на блюдечке с голубой каемкой, а он сам должен был добиваться того, чего хотел. Он и добивался. Был полон честолюбивых планов. Мог бы воскликнуть словами Эжена де Растиньяка: «Посмотрим, чья возьмет!» — если бы знал, кто такой Эжен де Растиньяк. Бальзака он не читал, про Куинджи думал, что это итальянский киноартист, а про симфоническую музыку говорил, что ее могут слушать только идиоты и бездельники. Это была его позиция: для поэта неважно — знать, а важно — чувствовать. Образованность только мешает поэту — лишает его непосредственности. Когда однажды за семейным обедом он принялся горячо и косноязычно доказывать эту свою точку зрения моему отцу — тот промолчал, что было на него не похоже. Отец, когда сталкивался с воинствующим невежеством, возражал яростно, до крика. Но воинствующее невежество моего избранника, по-видимому, лишило его дара речи. А может, он промолчал потому, что не хотел позорить его в моих глазах. Лишний раз не хотел меня огорчать.

А вот мама со своими амбициями насчет «нашего» и «не нашего» круга, как ни странно, относилась к нему неплохо. Может быть, потому что она сама в свое время рискнула приехать из провинции в Москву, чтобы стать артисткой, и знала, как нелегко пробиться в общество избранных. Мама чувствовала в нем эту пробивную энергию, которую в людях уважала, даже если они были «не нашего круга». Сегодня — не нашего, а завтра — нашего. Нужно подождать. Нередко они курили вдвоем, уединившись в ванной, чтобы дым уходил в отдушину, и подолгу дружески беседовали.

Его поэтическими кумирами были Багрицкий, Светлов, Смеляков. В редкие дружелюбные минуты он делился со мной любимыми строками. Произносил, смакуя:

... Отойдем в сторонку,
Сядем на диван.
Вспомним, потолкуем,
Сядем, моя Люба.
Сядем, посмеемся,
Любка Фейгельман...

Или:

Белый конь поднимет ногу,
Опустит другую,
Словно пробует дорогу,
Дорогу степную...

Где-то тут, среди любимых им стихов, он искал собственную интонацию, пытался понять, в чем секрет обаяния этих строк, доискаться до их тайны, чтобы с их помощью поймать, обрести свой собственный голос – в этом был он, а не в том внешнем, что бросалось в глаза. Он говорил: «Подожди, рыжая, я буду здорово писать, вот увидишь!»

И правда, с годами он нашел свою интонацию, песни на его слова на музыку Колмановского, Островского, Тухманова зазвучали с эстрады и стали очень популярными.

Но у меня не было никакого желания ждать. Да и не верила я ему. И что там у него в глубине души – не пыталась рассмотреть, ослепленная своей нелюбовью.

О том, что и я его раздражаю и что он не очень-то уютно чувствует себя в нашей семье, я не думала. До его чувств мне дела не было.

Однажды он пришел в хорошем настроении и заявил:

– Тиснул стишок в «Комсомолку». К женскому дню.

Я процедила что-то вроде:

– Всякие пошлости говоришь о женщинах, а в стихах врешь и не стыдишься.

– На искренности далеко не уедешь, – ответил он. – Не бойся, рыжая, я себя не продешевлю.

Или он сказал – «дешево себя не продам» – не помню. Да это одно и то же.

Все его подобные «кредо» были мне давно известны, но почему-то именно эта, вполне обычная для него фраза, стала последней каплей.

— Уходи, — сказала я. — Не могу больше.

Должно быть, по моему тону он понял, что я и вправду не могу больше. А может, и ему осточертела вся эта канитель. На этот раз обошлось без выяснения отношений. Он собрал вещи и ушел навсегда из моей жизни. А я, словно выкарабкавшись из глубокой помойной ямы с осклизлыми стенками, отдышавшись и отмывшись, почувствовала себя свободной и счастливой.

С этим летящим чувством освобождения, кое-как сдав летнюю сессию, я уехала в июле 1958 года на целину в Северный Казахстан, почти на три месяца, со студентами биофака МГУ, где училась Маринка. На этот раз меня взяли, и мама не удерживала, а Маринкины родители были очень рады, что мы едем вместе. Они думали, что я как старшая буду за ней присматривать и оберегать от свойственных ее характеру авантюр. В чем ошибались, потому что Маринка обладала характером куда более сильным, чем у меня, и в моей опеке не нуждалась. Наоборот, я со своей стеснительностью и неуверенностью в себе с удовольствием подчинялась ее веселой рисковости и жизнеутверждающей энергии.

Мне выдали комсомольскую путевку — голубенький билет-книжечку с алым комсомольским значком на обложке. В путевке за подписью секретаря горкома комсомола Костикова говорилось, что я, такая-то, изъявила добровольное желание и направляюсь на уборку урожая в районах целинных и залежных земель. И приводилась выписка из резолюции XIII съезда ВЛКСМ: «Съезд считает, что забота об укреплении и развитии хозяйства в районах целинных земель и впредь должна быть главным делом всего комсомола».

Накачанная энтузиазмом, я изо всех сил старалась доказать всем и особенно самой себе, что я не какая-то там робкая белоручка, раскисающая от трудностей, и что я достойна оказанного мне доверия.

Но главное: я влилась в настоящий студенческий коллектив, молодой, глуповато веселый, дружный, как раз такой, о каком так долго мечтала. Меня приняли доброжелательно, и я с благодарностью впитывала долгожданную атмосферу.

Это был наконец-то мой выбор.

Жизнь моя с опозданием на несколько лет повернула ТУДА.

ЧАСТЬ II

На целине

Отправляя меня на целину, мама взяла с меня честное слово, что я буду писать домой как можно чаще и подробнее. «Иначе я буду сходить с ума, ты же знаешь»!

Я знала, поэтому писала часто и подробно. Еще и дневник вела, урывками. И письма, и дневник были веселые и глуповатые. Во мне, отчасти под влиянием Маринки (которую, как зря надеялись мои дядя и тетя, я как старшая буду опекать и не давать в обиду), отчасти под влиянием общей инфантильной студенческой атмосферы, возродилась — не девушка даже, а девчонка, какой я была в восьмом, девятом классе. Я взалхлеб наворачивала недобранное, упущенное, мне хотелось поскорее вытеснить из памяти неудачный опыт недолгой «взрослой» жизни, и целина как нельзя лучше помогала мне в этом. Бытовые неудобства — теснота вагончика с двухэтажными нарами, на которых мы размещались по четверо, впритык друг к другу, невозможность как следует вымыться по утрам и после работы (воду привозили на волах в бочке, ее хватало на питье и умывание, баня — раз в неделю по четвергам) и прочие спартанские условия — не нарушали упоения жизнью, наоборот, придавали ей дополнительный колорит: в конце концов, мы не на курорт ехали, а именно чтобы преодолевать трудности и совершать трудовые подвиги!

Совхоз Возвышенский Булаевского района Казахской ССР.

5 августа 1958 г.

Здравствуйте, дорогие родители!

Вот уже пошла третья неделя как мы тут работаем. Обжились. Местные жители относятся к нам хорошо, только их шокирует, что девушки ходят в брюках. Что ж, говорят, вы нас за дикарей считаете, что при нас не стесняетесь ходить в таком виде? На танцплощадку нас в брюках не пускают. Так что все-таки надо было взять юбку.

Вообще-то местные не правы: мы их не считаем за дикарей.

Наоборот, народ тут вполне культурный, зажиточный, по две-три коровы на семью. И добрый: если пойдешь в деревню купить молока, сметаны, яиц, то хозяйки никогда не отказывают, а денег не берут. Мы вначале уговаривали их взять деньги, а теперь привыкли и только так предлагаем, для вида, а сами и денег с собой не берем.

Я сейчас работаю на разгрузке силоса. Мы разгружаем грузовики с рубленой кукурузой и подсолнухом и трамбуем силосные ямы. Сегодня мы вчетвером разгрузили больше ста грузовиков, выполнив две с половиной нормы. Представляю, как вы гордитесь мной, читая эти строки. Я и сама собой горжусь.

Перед этим нашу бригаду возили в поле скирдовать сено, но эта работа была не столь вдохновенной, сколь разгрузка и трамбовка силоса. В первые два дня колхозники учили нас складывать скирды, но потом колхозников перевели на другую работу, и мы оказались предоставлены самим себе. Сначала мы честно старались, однако, отсутствие руководящей роли старших товарищей пагубно сказалось на нашей работе: вместо плотных, стройных, высоких сооружений в форме трапеций, какими должны быть скирды, у нас получались рыхлые кривобокие кучи, которые заваливались при первом порыве ветра, а то и без всякого порыва. Когда мы поняли бессмысленность своих стараний, то начали халтурить. Работали только двое мальчишек китайцев, но у них от непосильного труда животы разболелись, и их перевели на кухню мыть посуду. А мы, девушки, как только привозивший нас грузовик уезжал, раздевались чуть ли не догола, ложились в сено, подстелив ковбойки и шаровары, загорали, пели хором песни и обсуждали лагерные романы. Иногда кто-нибудь из наиболее сознательных (не скрою, что иногда это была я) взывал:

— Девчонки! Ну, неудобно же! Пойдемте работать! Хватит валяться, как не стыдно!

В ответ раздавалось:

— Тебе стыдно — ты и иди. На таком солнце работать вредно.

Поэтому я рада, что меня перевели на силос. Эта работа не требует особой квалификации, а физических сил у меня хватает.

Но моя мечта, дорогие родители, — работать на комбайне. Вот уже несколько дней я умоляю нашего бригадира Диму Жужикова назначить меня на комбайн.

Хоть бы меня перевели на комбайн! Прямо не могу, до чего хочу!

Пишу вам, лежа на нарах. Девчонки вопят, что надо гасить свет, а то налетают комары. Комары тут большие, рыжие и очень кусачие.

При всем том, что физически я устаю, но мне еще и еще хочется испытать себя на прочность. Нервы мои, такие тоненькие и слабые в Москве, тут окрепли и стали похожи на просмоленные канаты.

Да здравствуют мои нервы!

Лампочку выкручивают. Заканчиваю.

Ура моей физической мощи! Да здравствует урожай!

Мы с Маринкой стрижем овец

Утром примчалась радостная Маринка:

— Кричи ура! Я упросила бригадира послать нас с тобой на стрижку овец!

У конторы нас уже ожидал грузовик. Мы с Маринкой забрались в кузов, и машина понеслась по грейдеру. По обе стороны простирались необозримые поля пшеницы. Мы стояли, держась за кабину. Ветер бил нам в лицо. Мы орали: «Во флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса!»

— Здорово, правда? — радовалась Маринка. — Вот это романтика! Давай играть как будто мы ковбои и едем на ранчо!

Машина подъехала к овечьему загону. Мы спрыгнули, и из-под наших ног брызнула навозная жижа. К нам подошел зоотехник:

— Девчата, вы бегаєте быстро?

— Н-ну, вообще ничего... А что?

— Придется побегать за овцами.

Запах давал себя чувствовать. Овцы блеяли, чихали и кашляли. Шофер опустил задний борт грузовика, и началась работа. Испуганные овцы носились по загону. Мы ловили овец и волочили их к грузовику за шиворот, за рога, за передние ноги. Овцы орали и упирались. Наши собственные ноги чавкали в навозе. Подтащив овцу к грузовику, мы с Маринкой с трудом приподнимали ее и передавали стоящему в кузове помощнику зоотехника Ваське. Некоторые овцы прямо в воздухе справляли нужду на наши головы и плечи.

— Ну-ка, поймайте ту, с черным хвостом, — командовал зоотехник дядя Миша.

Мы носились по загону, чернохвостая лавировала у нас между руками. Догнать — еще не всё, главное — схватить, а она сильная, ее ухватишь, а она вырывается. Одна овца, подскочив сзади, толкнула меня под колени, и я шлепнулась на четвереньки в жидкий навоз. На грузовике весело заржал Васька.

Маринка, красная, вспотевшая, ругалась по-немецки и по-английски, должно быть, чтобы показать деревенским свою столичную образованность:

— У-у, доннерветер! Упираешься, фул, трэш, бастард, тебе говорят!

По лицу ее крупными каплями катился овечий помет.

Наконец, машина наполнилась овцами. Некоторые изящными прыжками перемахивали через борт, и снова начиналась погоня.

— Ну как, девчата, запарились? — спросил дядя Миша.

Маринка стерла со лба кусочек помета, заменив его другим, отлипшим от руки, и с деланной бодростью ответила:

— Нет, что вы!.. Хи-хи... Немножко, правда, устали... Но это потому что не привыкли.

— Скоро привыкнете, — утешил зоотехник. — С месяц тут поработаете — научитесь. Ну ладно, садитесь в кабину.

Мы подъехали к большому сараю. Овец согнали с грузовика. Нам поручили отвести их на водопой, а потом загнать в сарай. А сами уехали.

Легко сказать — отвести на водопой. Более глупых животных трудно себе представить (хотя, возможно, овцы думают о нас то же самое). Они то сбивались в кучу, то поворачивали не в ту сторону, то вдруг бежали по кругу как сумасшедшие, то останавливались, и надо было орать на них и пинать ногами, чтобы заставить двигаться. Мимо нас проехал грузовик с нашими студентами, которые возвращались со скирдовки сена. Когда они увидели, как мы, злые, грязные, потные, со слипшимися волосами, гоним овец, они от смеха попадали на дно кузова, задрав ноги. Маринка проводила их завистливым взглядом и философски заметила:

— Я давно подозревала, что Горький ошибался. И вот еще

одно, пусть мелкое, подтверждение того, что человек не создан для счастья, как птица для полета.

На лугу паслось стадо коров. Было время дойки. Доярки закричали нам, чтобы мы обошли стадо стороной. Но овцы поперлись именно в самую середину стада. Они толкали ведра, молоко выплескивалось, доярки ругались, коровы мычали и лягались.

Все-таки мы подвели овец к водопою — небольшому пруду, похожему на большую лужу с истоптанными копытами берегами. Одна овца так и застряла в стаде. Она испуганно блеяла и носилась между ведрами, а я гонялась за ней, пытаюсь выгнать из стада, но тщетно.

Пить овцы наотрез отказались. Сколько мы на них не орали, они пить не хотели. Зря мы только мучились. Так, не напоенных, мы их погнали обратно к сараю и, как ни странно, пригнали.

Теперь предстояло загнать их в сарай. Но эта задача оказалась для нас с Маринкой невыполнимой. Мы только с мрачным юмором наблюдали за действиями подъехавших дяди Миши, Васьки и двух деревенских. Они лупили овец палками, кидали в них камнями, орали: «Р-р-ре! Р-р-ре!» Был вызван на подмогу агроном Хасым Абдулыч на вороном скакуне. Он бил палкой о консервную банку из-под селедки иваси и ругался матом. Может быть, это убедило овец. Через какое-то время все они были в сарае, а нам разрешили сходить пообедать, а потом снова прийти, помогать стричь овец.

Обедать за общий стол нас не пустили, потому что от нас разило овцами, а мыться не имело смысла — через час все равно идти обратно. Мы стыдливо пообедали в сторонке.

В сарае на высоких лавках уже орудовали овечьи цирюльницы. Овец стригли большими электрическими машинками, похожими на чугунные утюги. В нашу с Маринкой задачу входило держать овцу, чтобы она не дергалась, отводить, стриженную, в загон, подтаскивать следующую и собирать в мешки шерсть. Овцы во время стрижки гадят, потеют, а к ним надо тесно прижиматься, чтобы они не дрыгались. Меня приставили к парикмахерше тете Паше. Тетя Паша стрижет ужасно: овцы после ее стрижки сходят с лавок все изрезанные.

Я должна мазать их раны какой-то густой черной мазью, похожей на деготь, которую тут называют «каролин».

Тетю Пашу мучения животных ничуть не смущают:

— Эх, мошонку-то я ему чуть не отхватила! Ну, ничаво, присохнет! Смажь-ка его каролином, а то черви заведутся!

Наконец, к моей радости, перегорела машинка для стрижки, а там скоро и рабочий день кончился.

Вот уже три дня мы ходим стричь овец. Овчарня так напоминает гестапо с его камерой пыток, что подходя утром к месту нашей работы, мы с Маринкой вытягиваем правую руку и кричим: «Хайль!»

Еще не доходя до сарая, мы слышим душераздирающее бляенье, крики мучителей и мерное жужжание орудий пыток.

Овцу хватают за заднюю ногу и выволакивают из дощатого загона, за которым остальные ее товарищи с ужасом дожидаются своей участи. Овца жалобно кричит, упирается, но дюжие руки швыряют ее на окровавленную лавку, стягивают ноги узлом и прикручивают голову к лавке. Стригущая машинка ревет, и овечье руно, грязное, свалывшееся, совсем не похожее на то, золотое, из мифа об аргонавтах, но все равно доброкачественное, густое, медленно сходит с пытаемой под мат и возгласы пытателей. Так и кажется, что между ними происходит такой диалог:

— А, сука, сопротивляешься! Говори имена членов организации!

— Ме-е-е-е!!!

— Врешь, скажешь! Ну-ка, Иоська, наточи нож поострее, а то совсем затупился... Ну вот, теперь как бритва. Называй, гадина, адреса явок!

— Ме-е-е-е!!! — не сдается юная героиня.

С лавки их снимают за передние и задние ноги. Головы их безжизненно свисают. У загона их раскачивают и бросают к друзьям.

Маринка эти дни работает вместе с симпатичной женщиной тетей Катей. Тетя Катя овец жалеет, режет их сравнительно редко, не в пример моей тупейной художнице тете Паше. Рядом с тетей Катей стоит ведро, хитро прикрытое какой-то тряпкой. Когда попадается шерсть почище и помягче, тетя Катя скатывает ее и кладет в ведро, приговаривая:

— Вот и на варежки будет!

К концу дня у тети Кати в ведре уже и на кофту будет, и на шапочку, и на носочки.

У моей тети Паши сегодня было плохое настроение: ее старшего сына посадили на пятнадцать суток за драку. Обиду свою она срывала на овцах. Ее обуяла какая-то веселая злость. Когда я, страдая, говорила:

— Ой, тетя Паша, вы прямо по ране стрижете! — она бодро отвечала:

— А что ж! Можно по ране, можно и по баране! Ничаво, присохнет! А ну, держи ему голову, а то я сейчас ему роги отчижаю!

Маринка полезла в загон за очередной овцой, но вдруг остановилась, почесала одной грязной ногой другую и задумчиво обратилась ко мне:

— Знаешь, может, это звучит несколько парадоксально, но овцы почему-то никогда не играли доминирующей роли в моем сознании.

Она пародировала одного нашего знакомого, который любит выражаться витиевато. Искры юмора в ней, значит, еще тлели. Но о романтике она почему-то больше не вспоминала.

10 августа 1958 г.

Дорогие родители!

Скоро начнется уборка. Все бригадиры, завхоз, агроном, десятники, управляющий твердят нам: «Скоро! Скоро!»

А пока мы работаем на току. Мы разгружаем машины с пыреем, просеиваем его через сетку, разбрасываем его для просушки, а потом ныряем в него, закапываемся, и его запах сладко отзывается в наших носоглотках.

Работа эта не сгибает наши плечи усталостью, наоборот, она взбадривает нас, будит, мобилизует и зовет.

Сегодня мы работали только до трех часов, потому что пошел дождь, и теперь мы сидим в вагончике, щели которого завешены призывными лозунгами и плакатами. Жаль, что наш пырей, заботливо разбросанный по току, отсыреет. Ведь каждый центнер этого душистого злака стоит шестьсот рублей! Государству-то убыток какой!

*Звучит гонг на ужин. Да здравствуют макароны с тушенкой!
Даёшь целину! Юным героям-целинникам слава!*

*Но — осторожно! «Открытые выступающие концы валов
трансмиссий могут нанести серьезные ранения!» «Впрягай в ра-
боту всё живое тягло!» «Коль будут тетери, то будут и поте-
ри!» «Догоним Америку по мясу и молоку!» «Даешь урожай сам-
миллиард!»*

*Эти плакаты не только прикрывают щели нашего вагончика,
но и стимулируют наш трудовой энтузиазм.*

Бегу ужинать!

Ура!

Мы с Маринкой работаем сигнальщицами

Позавчера бригадир Жужиков вошел к нам в ва-
гончик:

— Нужны два человека для работы на самолетах. Кто хочет?

В тот же момент он скрылся под кучей налетевших на него
девчонок:

— Меня!! Дима, меня!

— Я хочу! Меня назначьте!!

Но громче всех кричала Маринка:

— Нас с Анькой! Нас возьмите! Мы овец героически стриг-
ли! Мы на скирдовке сена надрывались! Берите нас!!

Напор и решительность победили.

— Ладно, — сказал Дима. — Но предупреждаю: вставать на-
до в четыре утра.

— Да хоть в три! — гордые своей победой, согласились мы с
Маринкой.

Я несколько раз просыпалась — боялась проспать. А когда
окончательно проснулась, было уже восемь часов. Машина
еще не пришла. Все разошлись на работу. В лагере остались
только мы и еще трое мальчишек, тоже назначенных на само-
лет. Мы играли в подкидного и ждали обеда.

Но когда наступил обед и мы поднесли ко ртам первую
ложку супа, раздался крик:

— Кто на самолет? Быстрее, машина пришла!

Не окончив обеда, мы забрались в кузов грузовика, устрои-

лись на бумажных мешках с дустом и поехали за сорок километров на Центральную усадьбу.

Там на большом ровном поле грузовик остановился. На поле стояло два маленьких зеленых самолета ЯК-12 и ПО-2. Они прилетели из Петропавловска, чтобы опылять пшеницу.

— Давай попросим летчиков, чтобы они нас покатали, — сказала Маринка.

Мы подошли к тому самолету, что поближе. Из кабины высовывались ноги в стоптанных тапочках.

— Дядя, — решительно обратилась к ногам Маринка. — А вы нас покатаете?

Ноги одна за другой исчезли в кабине. Ответа не последовало.

— Вот хам, — вполголоса констатировала Маринка.

Мы решили подъехать с просьбой к другому летчику, который как раз подвел свой самолетик вплотную к первому. Летчик, молодой казах, был в темных очках, с темным галстуком на шелковой белой рубашке.

— Какой интеллигентный! — восхитилась Маринка. — Уж этот-то покатает!

Летчик вылез из кабины и спрыгнул на землю, оказавшись очень небольшого роста.

Маринка ссутулилась, согнула колени, чтобы оказаться с ним вровень, и начала канючить:

— Вы нас не прокатите? Прокатите нас, пожалуйста, мы еще никогда не летали, ну прокатите, ну я вас очень прошу!

На что летчик, с лица которого медленно сползала приветливая улыбка, сухо ответил:

— После работы подойдите, там поговорим.

И ушел.

— Ладно, — сказала ему в спину Маринка. — Ты, может, думаешь, что я к тебе после работы не подойду? Подойду! А не прокатишь, я тебе так насигналю, что ты надолго запомнишь!

Я забыла сказать, что нас на эту работу назначили сигнальщиками. Мы должны были стоять с флажками по краям поля и указывать самолетам, где надо опылять. Но оказалось, что сигнальщики в этот день не нужны, и нам велели помогать нашим мальчишкам грузить в самолеты дуст.

Мешки были уже скинуты с грузовиков. При падении многие полопались, и ядовитый порошок частично просыпался на

землю. Мальчишкам заранее выдали комбинезоны и противогазы. Нам ничего не выдали.

Когда мы с Маринкой были уже с ног до головы в дусте и от наших фигур при каждом движении отделялось белое облачко, принесли противогазы, и мы стали учиться их натягивать. Когда научились, летчики сказали, что темнеет и опылять поздно.

Нас отвезли домой, предупредив, что завтра за нами заедут в четыре утра.

Разбудили опять в восемь. На улице было холодно и ветрено.

Завернувшись в одеяла, мы сели в грузовик и нас отвезли на аэродром. Там мы узнали, что погода нелетная, и нас отвезли обратно.

После обеда – снова привезли на аэродром. Оба самолета были там, но не было летчиков: сегодня на Центральной банный день, и они пошли попариться. Спасаясь от холода, мы часа два играли с механиками в салочки.

Наконец появились летчики. Мы уже знали, что казаха зовут Боря, а второго, в тапочках, – Миша.

Сегодня Миша был не в тапочках, а в черных, начищенных туфлях и в комбинезоне. Он был очень симпатичный – мужественная улыбка и большие серые глаза. Рост, правда, тоже подгулял.

– Миша, – подойдя к нему, умоляюще сказала Маринка. – Неужели вы нас и сегодня не покатаете?

– Не положено, – сказал Миша и прошел мимо.

– Значит, так, девчонки, – подошел к нам Петька, студент из Омска, который тут за старшего, – сейчас шофер отвезет вас на третье поле. Вот вам флажки. Задача такая: вот третье поле, – он нарисовал на земле квадрат, – шофер знает, где. Аня станет по эту сторону, Марина – по ту. Как увидите самолет – машите флажками. Самолет пролетит – сразу отмеряйте тридцать шагов и ждите следующего залёта. Самолеты будут ориентироваться по вам.

Мы сели в кабину грузовика к пожилому рябоватому шоферу дяде Саше, и он повез нас куда-то через рытвины и колдобины. Шоферу хотелось поговорить, но язык у него воро-

чался с трудом, каждая фраза стоила ему значительных усилий. Зато уж если эта фраза была произнесена, то второй и третий раз она проходила легко как по маслу:

— Машина — не самолет, по кочкам не проедет! — часто повторял он.

Почему-то его несло именно по кочкам. Если дорога разветвлялась, дядя Саша притормаживал, словно в нерешительности, а потом сворачивал на ту, которая похуже.

Вскоре нам стало ясно, что дядя Саша не знает, где третье поле.

— Куды ж ехать-то? — говорил он, и было заметно, что мысли у него тоже проворачиваются с трудом. — Машина не самолет, по кочкам не проедет. Где оно, третье-то поле? Это, что ли? Кто ж его знает? Или не это? А, ладно, тут и станем. Пускай на грузовик ориентируются. А то куды ж я поеду? Машина не самолет, по кочкам не проедет.

Самолеты летали один за другим. Мимо нас, на призрачное третье поле. Где-то там разворачивались, за ними протягивался длинный белый хвост медленно оседающего дуста и — мимо нас — летели обратно. А мы со своими флажками сидели в кабине и злились.

— Ищут вас, — ухмылялся шофер. — Ишь, по диагонали полетел. Пусть ищет, хи-хи! Надо было сначала вас расставить, а уж потом летать. Да уж и поздно опылять его, поле-то. Скоро жать надо. Да и куды ж я вас повезу? Машина не самолет, по кочкам не проедет!

Мы боялись возвращаться. Представляли себе ярость и ругань летчиков, вынужденных опылять без ориентиров. На всякий случай, решили держаться агрессивно. Что мы, виноваты, что шофер попался такой тупой?

Машина подъехала к аэродрому. К нам подбежали Петька и два механика.

— Что это такое! — закричали мы с Маринкой хором. — Надо было сначала нас расставить, а потом уже опылять! Где оно, третье поле? Самолеты ваши по диагонали летают! Машина не самолет, по кочкам не проедет!

Нас не ругали. Смеялись.

Вскоре приземлились самолеты, и Миша, неотразимый в своем шлеме и комбинезоне с молниями, подошел к нам.

- Так значит, я по диагонали летаю, а?
- Нет... Это первый раз только... И второй...
- И третий, ха-ха-ха!

На следующий день нас подняли в семь утра. В восемь мы были уже на аэродроме. День был холодный, но солнечный. Погода летная. Баки наполнены дустом. Летчики готовы к работе. Нас никуда не посылали. Поняли, должно быть, что без толку. Самолеты летали сами по себе, а мы сидели в кабине грузовика, закутавшись в одеяла, и маялись от безделья.

К нам подошел механик Толя:

– Девчонки! Идите к Мишке, он сегодня вас, наверно, возьмет.

Мы помчались к самолету, а там, в кабине, уже сидит, ухмыляясь, шофер дядя Саша. Его первого Миша взял.

Мы, изнемогая от нетерпения, страждущими глазами провожали самолет.

– Давай, ты лети первая, – благородно предложила Маринка. – А потом я.

Через полчаса самолет сел. Шофер вылез, глупо хихикая.

– Ну как? – замирая, спросили мы.

– Болтает немного, а так ничего.

– Миша, – трепетно сказала я. – Теперь меня.

– Нет, – сказал Миша. – Болтанка началась. Опасно.

– Как! Ну, Миша! Ну, пожалуйста! Мы три дня только об этом мечтаем! Appetit пропал!

– Ха-ха-ха! А полетите – совсем пропадет! Говорю – болтанка! Сам лечу – за штаны держусь.

Самолет взревел, разбежался и поднялся в воздух, а я, оглушенная воздушной волной, обданная вонючим потоком дуста, побрела к Маринке, ожидавшей в сторонке.

А тут еще механики, которые, сидя на земле, с интересом наблюдали все этапы нашей борьбы за полет. Мало того, что они хохотали, они еще начали издеваться!

– Эх, вы! Где же ваши женские чары? Молодые девчонки, а подействовать на парня не можете! Таланта, видно, не хватает!

Я искоса посмотрела на Маринку и поняла, что теперь Мише от нее не отвертеться. И точно: как только самолет приземлился, Маринка вспрыгнула на ступеньку и рванула дверцу кабины. Но та не поддавалась.

— А ну, Миша, открывайте! Шофера возили, ну, и нас везите! Но Миша, закрытый стеклянным колпаком, чувствовал себя в безопасности.

— Ха-ха-ха! Да у него подготовка специальная! И то он вон какой бледный!

— Ну и у нас подготовка! Открывайте, хватит издеваться!

— Ха-ха-ха! — веселился Миша. — Я ж говорю, болтанка! А угроблю самолет — мне ж за вас отвечать!

— Пусть погибну, а полечу! — орала Маринка. — Открывай!

Стоя на крыле самолета, она то пыталась влезть в кабину через полуоткрытое окно, то тянула руку внутрь, чтобы открыть дверцу, а Миша вежливо водворял ее руку на прежнее место. Темп борьбы все убыстрялся по мере того, как самолет загружался дустом. Наконец бак был полон.

— От винта! — крикнул Миша.

Механики еле ее отодрали, и машина улетела.

Но и у Миши сердце не каменное. Уж не знаю, какие чары на него подействовали, но в следующий рейс он взял Маринку, а в следующий — меня.

Мамочка!!! Папочка!!!

Только что вернулась из рейса!!! Живая! Чувство полета — божественно, неопишимо, особенно, когда летишь первый раз в жизни, да еще на таком хрупком аппарате и ощущаешь телом все его крены, нырки, повороты. Миша за штурвалом своего ЯК-12 прекрасен в своем шлеме, комбинезоне с ремешками и молниями как Чкалов, Коккинаки, Нестеров, Уткин, Саня Григорьев! Минут тридцать катал! Вирази делал! Мертвые петли! Бочки! Иммельманы!! Мы опыляли пшеницу и опылили ее! Так и передайте всем друзьям и знакомым! Подробно передайте!

Ваша отважная дочь-сигнальщица.

К нашему огорчению, мы узнали, что работа с дустом подошла к концу. Потупив головы, шли мы к грузовику, чтобы уехать домой и никогда уже больше не увидеть Мишу, Борю, Петьку, механиков.

Но счастье все-таки ненадолго улыбнулось нам еще раз: Петька узнал, что на Центральную усадьбу приехали кинооператоры из Москвы и хотят снять процесс опыления полей самолетами.

Кинооператоров было трое. Пока старший брал у нас интервью, двое других сидели в сторонке на травке. Маринка была в берете, с фотоаппаратом через плечо. Но нижняя ее половина... Шаровары были все в дырах и в пятнах — память о работе с овцами. Я была вся в соломе, потому что, пока ехали, я заснула прямо в грузовике, зарывшись в солому. Волосы торчали дыбом, и из них тоже сыпалась солома. От нас воняло ду-стом. Кинооператор говорил с нами серьезно, расспрашивал о жизни на целине, а потом засмеялся и сказал:

— Вы не обижайтесь. Уж очень вы какие-то смешные. Ну, пойдемте, я вас с мальчиками познакомлю.

И мы познакомились с мальчиками из ВГИКА, Вовой и Сашей. На них были модные широкие пиджаки и узкие брюки. Вот они-то выглядели с головы до ног стилистами. А зато мы летали на ЯК-12, и они нам завидовали!

Нам дали сигнальные флаги, и мы старательно указывали самолетам куда лететь и где опылять. Самолетов, правда, не было. Их потом снимали отдельно.

25 августа 1958 г.

Дорогие родители!

Поздравьте! Я добилась, чего хотела, — буду работать на комбайне!

В это затесалась, правда, легкая печаль: половину наших студентов увезут на госфонд за пятьдесят километров, в том числе и Маринку, которую назначили работать на току. А я с другой половиной остаюсь здесь.

Но зато я буду работать на комбайне! На комбайне!!

...Ура!!! Только что получила наряд. С этой минуты я — копильщица!

Ходила знакомиться с комбайнерами. Старший — Захар Дехонт, немец, лет тридцати, здоровенный, огромного роста. Штурвальный — его брат Яшка, восемнадцати лет, а тракторист — рыжий мальчишка Андрей, тоже немец. Они сейчас налаживают комбайн, а работать начнем после обеда.

И уже скоро, очень скоро наш корабль степей ринется в бой за стопроцентный урожай зерновых, и поле, этот необозримый океан хлебов, примет его в свои просторы.

Я буду стоять на мостике своего соломокопнителя с вилами в руках, как бог Посейдон, утрамбовывать солому и нажимать рычаги. Карданный вал будет греметь над моей головой, штурвал будет качаться за кормой.

— Ура! — крикну я. — На абордаж посевных культур!

И миллионы тонн пшеницы, как домашняя собака, покорно лягут у наших ног. Я нажму на рычаг — и копны соломы рядами выстроятся на скошенной стерне, а из рукава комбайна золотой струей польется в бункер зерно сорта Мельтурум-52, достигшее молочно-восковой спелости.

Ну, ладно, заканчиваю. Надо еще пойти к бригадиру, посоветоваться насчет амортизации заднее-стенных валов, заменить на хедере левую трансмиссию и проверить стремительность домкрата.

До свидания! Вдохновляю вас на свой нелегкий подвиг.

Работа и быт

Вот уже вторую неделю работаю копнильщицей на комбайне.

Работаем до часу, до двух ночи, а в шесть утра — подъем. Комбайнер мне попался такой, что сам ни минуты не отдыхает и мне не дает. Если бы урожай зависел от него одного, то весь хлеб был бы уже убран. Но, к сожалению, дело зависит не только от него.

Во-первых, часто идет дождь, а в дождь нельзя убирать. Во-вторых, не хватает машин, куда ссыпают зерно, чтобы везти на элеватор. На поле работают пять комбайнов, а их обслуживают всего две машины. Бункер полон доверху, комбайн останавливается и подолгу ждет. А управляющий все машины отправил на силос, хотя пшеница осыпается.

Зато как только комбайн останавливается ждать машину, я ложусь на свой мостик, кладу под голову ватник и тут же засыпаю.

Сегодня нас подняли под проливным дождем. Около часу мы стояли у конторы, а потом нам сказали, что комбайны работать не будут, а нас через час повезут копать картошку. Велели не расходиться и ждать машину. Поэтому пишу, сидя на крылечке конторы, а рядом только и слышно: «Ой, как спать

хочется!! «Ой, хоть бы часок поспать!» Потому что вместе со мной ждут те девчонки, которые, как я, работают копнильщицами.

Все мы яростно чешемся, потому что в наши тела набилась труха от соломы. Баня в четверг, а сегодня еще только понедельник.

...Машина пришла, прерываю.

...Я или надорвалась, копая картошку, или простудилась — поясница болит при каждом движении. Хорошо, что комбайны не работают. Вместо комбайна нас с Майкой Сухорученко послали сегодня на подборку валков.

Валок — это ряд скошенной пшеницы. Комбайн косит — и пшеница падает ровным рядом. Иногда этот ряд выходит за пределы поля и ложится на дорогу. Вот его и надо подобрать вилами, чтобы по нему не ездили машины, и отбросить на поле. Это легкая работа.

Нас туда отвез на телеге бригадир Колька Дерibasов. Сказал, что заедет за нами. Мы на это не надеялись, знали, что не заедет.

Прошли вдоль всего поля, выбрали валок. Было уже около трех, есть очень хотелось. До дому — километров шесть. Опять дождь заморосил. Дорогу сразу же развезло. Идем, утопая и поскользываясь. Вдруг сзади грузовик — ЯТ 05-83 (их у нас в отделе пять, мы их все по номерам знаем, а шоферов — по именам). Шофер Николай останавливается, мы с Майкой забираемся в кузов (в кабине сидела женщина с маленьким ребенком) и едем домой. По дороге еще больше промокли. Подъехали прямо к столовой, пообедали, а потом собрали шмотки и пошли в баню, сегодня как раз четверг. Всё на нас было мокрое, вплоть до трусов.

Вошли в баню, а там окна не замазаны, из щелей дует. Кое-как помылись. Одевались прямо тут, в моечной: в предбаннике было холодно, как на улице, а пол покрыт грязью. После бани — по ветру и дождю — в вагончик. Мокрые головы завязали мокрыми платками, кое-как домчались.

Заболею или не заболею, вот в чем вопрос.

5 сентября 1958 г.

Дорогие родители!

Мы только что вернулись с поля, где копали и грузили на

тракторную тележку кормовую свеклу. А что же еще остается делать герою-целиннику, если его комбайн не работает вот уже три дня?

— Почему? — взволнованно спросите вы, и я вам отвечу:

— Потому что вот уже три дня хлещет проливной дождь, и убирать хлеб нельзя. Допустимый процент влажности — 17%, а сейчас зерно пропитано влагой на 25%. С таким процентным содержанием на элеватор и не суйся — не примут.

И вот я, отважная копнильщица, три дня уже не видела своего комбайнера Захара. И не знаю, увижу ли я его завтра, ибо на завтра тоже обещают дождь.

Этот удар судьбы я приняла философски: упала на свои нары и заснула. И проспала со вчерашнего ужина и почти до сегодняшнего обеда.

Но когда мы уже предвкушали обед, пришел бригадир и призвал нас накопать свеклы.

И мы, бригада из трех комсомолок и пяти комсомольцев, поехали на тракторной тележке, сквозь дождь и ветер, сквозь тернии и преграды — выполнять свой комсомольский долг. (Мне приятно думать, какую титаническую гордость мною испытаете вы, когда дойдете до этих строчек. Да! Гордитесь мною! Я это заслужила!)

Лопат нам не дали. Мы сначала пытались вытаскивать свеклу руками, но из этого ничего не вышло: хрупкая ботва моментально отрывается. Оказалось, что наиболее рациональный способ за неимением лопат — это пинать наполовину вылезшие из земли корнеплоды ногами. Тогда с трех-четырех пинков они выскакивают из земли. Мы брали эти огромные, тяжелые, облепленные мокрой землей плоды и швыряли их на тракторную тележку.

Вскоре все мы были в грязи, на подошвах — толстый слой глины, только вчера выданные рукавицы набухли от грязи.

В результате наших общих усилий тракторная тележка была наполнена, мы влезли в нее и отправились в обратный путь. В дороге мы так замерзли, что не могли двинуть ни рукой, ни ногой. Трактор ползет на первой скорости, в лицо — ветер с дождем, под ногами — холодная, мокрая свекла, ватники набухли.

Пришли в столовую продрогшие, голодные, грязные, но там постепенно оттаяли: сразу дали нам горячего борща с мясом, и

через некоторое время наши лица стали цвета той свеклы, которую мы копали.

Через несколько дней наших мальчишек переселят в здание клуба, наш вагончик тоже увезут, а нас или расселят по хатам, или поселят в клубе с мальчишками.

Но жить с ними в одном клубе — все-таки лучше, чем ходить с ними в один сортир. Он у нас общий — трехстенный скворечник метрах в двухстах от вагончиков, открытый всем взорам. Двери там нет, поэтому ходить туда надо по двое: спутница должна сторожить. Шагов за двадцать мы начинаем громко петь, и часто в ответ на наше пение из скворечника выбегает какой-нибудь мальчишка, торопливо застегиваясь на ходу.

Сидеть над отверстием надо, балансируя на двух бревнах, круглых и скользких. Художественное оформление стен и пола достойно кисти художника-сюрреалиста. Вообще, уборная эта долго будет сиять в моей памяти как олицетворение нашего замечательного быта.

И, однако, уныние ни разу не закралось в наши души. Наоборот! Энтузиазм, бодрость, радостная готовность как можно лучше справиться генеральную линию партии и комсомола — вот что горит синим пламенем в наших сердцах.

До свидания, товарищи! Ура!

Наши спальные вагончики один за другим перевозят на госфонд. Позавчера мы вернулись с работы в час ночи, а домик наш увезли. Все вещи вывалили на улицу, и они целый день мокли под дождем, перемешанные в общей куче.

Остался один, последний, куда нас набилось двадцать девчонок. Рюкзаки и чемоданы из-за дождя нельзя держать на улице, и всё это лежит здесь же, под ногами. На ночь мы не раздеваемся, потому что, во-первых, холодно, во-вторых, одежду положить некуда — в такой сутолоке потом ничего не найдешь. Сапоги кладем на ночь под голову, чтобы утром не искать. Печки нет, сыро, холодно, одеяла влажные. В этом крысятнике мы будем жить еще дней пять, а потом нас обещают расселить по хатам.

Из-за непрерывного дождя и тесноты мы чувствуем себя в нашем вагончике как размокшие сигареты в коробке. Плакаты с призывами пропитались водой и отвалились. С потолка

на одеяла и подушки капает вода. По ночам то и дело слышится: «Ой, мамочка!» Значит, кому-то затекло под одеяло.

Почву развезло, сапоги тонут в грязи, а выходить из дома необходимо, хотя бы два раза в день. Вернешься — насквозь промокшая, а обсушиться негде. У всех лязгают зубы.

Но вообще, мы относимся к этому потопу с юмором. Не сердимся, если кто-нибудь неожиданно спускает с верхних нар ноги в сапогах с налипшими комьями глины и становится кому-нибудь на голову. По вечерам зажигаем свечу (электричество нам отрезали), поем хором что-нибудь бодрое — «Мы ползем по Уругваю...» или задумчивое, под настроение — «Тихо дремлет сад заброшенный, низко стелется туман, ходит холод гость непрошенный, нет любви, один обман...» Хотя любовь, как ни странно, есть — в Светку Новикову влюбился шофер Саша Гречановский (грузовик ЯТ 06-67), удивительно начитанный парень. Кучу стихов знает наизусть. Светка его держит на расстоянии. Вчера устроили день рождения Тани Липской. Купили вина и варенья. Пришел Саша Гречановский, принес конфет и сидел с нами в вагончике. Курили, пели, рассказывали анекдоты, изображали всякие сценки из фильмов, пародировали знаменитых артистов и, честное слово, было весело. Может быть, спасало чувство, что всем одинаково плохо? Не знаю. Да и какая разница.

В разгар веселья пришла Люся Резепова, наш комсомольский секретарь, и сказала, что местные согласились нас приютить — по двое в хате.

Меня и Майку Сухорученко определили к Иоганну Беккеру.

Нас расселили по хатам

Пошли мы с Майкой знакомиться с нашими хозяевами. Смотрим, у ворот белого саманного домика стоит толстая тетка и на нас с недоверием смотрит. Мы поздоровались, сказали — вот, нас к вам направили, мы ваши жильцы.

— Жильцы, значит, — сказала тетка. — А долго вы жить-то будете?

— До конца сентября, не дольше, — успокоила я тетку.

— Да нет, что ты, гораздо дольше! — поправила меня честная Майка. — Наверно, до середины октября!

— Так-так, — сказала тетка. — Это что ж, вы так без вещей и приехали? У меня ведь кроватей на вас нету.

— Что вы, у нас есть вещи, это мы просто так пришли, познакомиться.

Тетка смерила нас взглядом от намокших платков до сапог, на которых грязь торчала во все стороны, не помещаясь на подошвах, и велела принести вещи.

Мы в два приема всё перетасили и сложили у двери. Тетка велела нам вымыть сапоги в специальном корыте, затем снять их при входе, и только после этого разрешила войти.

Мы, как Гензель и Гретель после долгого блуждания по лесу, вошли в этот сказочный домик, где пол был блестящий и коричневый как плитка шоколада, стены — белые как сахар, потолок и подоконники — ярко зеленые, а окошки за крахмальными подсиненными марлевыми занавесками — чисто-чисто промытые. Мы, грязные, отсыревшие, отвыкшие от света и тепла, вдруг очутились в комнате, где под потолком горела яркая лампа под розовым абажуром, в печке потрескивали дрова, у кровати на коврике спал котенок, на столе стояла крынка молока.

Хозяйка, с чистым румяным лицом, в белоснежном платочке и белоснежном фартуке, ее мать, худая старуха в черном платке, двое беленьких вымытых мальчиков — очень гармонировали с обстановкой. Но мы, в ватниках, в рваных и грязных штанах, с всклокоченными волосами, наверно, представляли собой нечто отвратительное.

Поэтому мы, стараясь занимать как можно меньше места, постелили в уголку, на полу, свои набитые слежавшимся сеном матрасы, стараясь не афишировать нестиранное постельное белье, и ушли к ребятам в клуб. Там было привычно грязно, накурено, мы ничем не отличались от остальных и сразу почувствовали себя в своей компании.

Мы уже третий день живем у Беккеров. Хозяйка, тетя Анна, оказалась добрая и разговорчивая, угощает нас сметаной, супом, домашним хлебом. Мы отогрелись. Сегодня, когда мы собирались идти на обед, она поставила перед нами огромную

миску с галушками в потрясающе вкусном соусе. И крынку молока. Мы объелись так, что не только на обед, но и на ужин не пошли.

Особенно нравится угощать нас бабушке, хозяйкиной матери: на наши стоны и вопли, что мы объелись, лопаемся, она отвечает: «Нихт ферштейн!» — и хохочет.

У других наших девчонок — не так. У Светки Новиковой, например, в доме грязь, на кухне — куры и поросенок, хозяин, Николай Дерibasов, приходит домой пьяный, Светка спит на одной кровати с хозяйской дочерью, которая лягается.

А у наших: в коровнике лампочка под потолком, каждую коровью лепешку любовно подбирают, сушат и складывают в пирамидки, корову перед дойкой моют теплой водичкой. В отдельном загоне — овцы, пять взрослых и три ягненка, чистенькие, ровно постриженные — не то, что те, колхозные страдалицы. А туалет, хоть с виду обычный деревенский скворечник, но внутри по чистоте — прямо медицинская операционная. Даже кувшин с водой на отдельной полочке.

Хозяин приходит с работы — он комбайнер, — хозяйка ставит посреди кухни на табуретку таз с теплой водой, Иоганн раздевается до пояса и моется с мылом, тетя Анна обливает его из ковшика, подает чистое полотенце и чистую рубашку, выливает воду из таза в ведро, протирает пол. И только после этого они все садятся за стол обедать. Перед едой они молятся.

Светка Новикова спросила у Дерibasова: почему вот у Беккеров в доме такая чистота, а у вас такая грязь? Дерibasов задумался и ответил:

— Так то ж немцы!

В смысле: что с них, с чудаков, взять!

Пишу, лежа на своем матрасе. Длинный, худой Иоганн, сидя у печки на табуретке, латает Майкин сапог, который она вчера проколола вилами. В соседней комнате готовит уроки хозяйский сын Альберт, третьеклассник. Анна сучит нитку из овечьей кудели. Хозяева тихонько переговариваются по-немецки. Между прочим, их старшая дочь замужем за моим комбайнером Захаром. Ей двадцать пять лет, а у нее уже четверо детей.

На стенах висят иконы. Церкви тут нет, но немцы каждое воскресенье устраивают службу у кого-нибудь дома. Их дети не вступают ни в пионеры, ни в комсомол.

10 сентября 1958 г.

Дорогие родители!

С утра пять градусов мороза! Комбайн остановился — Захар что-то чинит на мостике, а я залезла в копну соломы — хоть ветер не задувает, но всё равно не могу согреться.

Энтузиазм, где ты? Ау!

Больше не могу писать, ооченела.

Поле огромное. До обеда сделали кругов семь. Я согрелась. Но от постоянного махания вилами очень руки устают. Час поработаешь и думаешь — пусть лучше холодно, только бы отдохнуть. Есть мне хотелось дико, позавтракать не успела. А обед все не везут и не везут. У меня уже голова кружится. А комбайн не останавливается.

Но вот остановился. Было уже часов шесть вечера. А начали в семь утра. Мои комбайнеры, в толстых тулупах, в валенках с галошами, в ушанках, открывают свои сумки, достают пироги, бутылки с молоком и принимаются за еду.

А на мне резиновые сапоги, которые пропускают холод, как если бы я босиком стояла на снегу, ситцевый платочек и одна варежка. Другую я потеряла.

Сижу, скрюченная, на лафете и дрожу.

Вдруг подъехал на вороном коне агроном Хасым Абдулыч и велел мне, пока комбайн стоит, подобрать валок. Я не выдержала и со слезами завопила:

— Вы сытый, вы и убирайте! А я не могу! Я есть хочу!

Он смутился и ускакал.

Тут спустился с мостика комбайна Яшка и протянул мне кусок пирога. Я жадно съела его, облив слезами, и стало немного легче.

Потом узнала: обеда в этот день не было — на кухне треснула плита. Те, кто оставался в лагере — повара, больные, — купили в деревне хлеба, молока, яиц, сметаны и нажрались. А те, кто работает на комбайнах, остались голодными.

Стемнело, а работать ночью — мучение: не видно, куда суешь вилы, полон ли копнитель, пора ли нажимать на педаль и выбрасывать копну. Прицеп трясется, я то и дело ударяюсь животом о железную стенку, у меня живот — сплошной синяк. Когда комбайн, дойдя до конца поля, поворачивает, надо спрыгнуть с него на ходу, чтобы перейти на наветренную сто-

рону, а ступенька высоко, ватник цепляется, от него отлетают последние пуговицы, в глаз того гляди воткнется какой-нибудь рычаг — в темноте не видно. Не успеешь выбросить одну копну, как копнитель снова полон соломой, ее надо разгребать, трамбовать, следить, чтобы она не забилась в барабан.

Но в темноте не уследишь, и поэтому солома в барабан забилась. Хорошо еще, что у моих комбайнеров спокойные нервы. Они не ругались, а без лишних слов принялись за починку. Чинили минут двадцать, а я притоптывала ногами на своем прицепе и выла от холода и усталости.

В какие-то моменты мелькала мысль: ты же хотела испытать себя на прочность, вот и давай, испытывай! Посмотри, как величественна степь, освещенная луной, наполненная блуждающими огнями фар и рокотом комбайнов. И на себя посмотри, скрюченную, плачущую от холода. Скажи спасибо, что никто не видит тебя в темноте.

Поломку устранили, комбайн снова тронулся, я снова разгребала и трамбовала солому, но как-то душевно оцепенела, потеряла чувство времени.

Подошла машина забрать зерно, и когда Яшка крикнул: «Анька! Поезжай домой!» и я села в кабину, то вначале даже не почувствовала разницы между холодом и теплом кабины.

Шофер Николай довез меня до перевалки, оттуда я в темноте добралась до своего дома и постучала в окно. Анна в длинной ночной рубашке открыла и ушла на свою кровать, а я, как была, сняв только сапоги и ватник, шлепнулась на матрас рядом с Майкой и укрылась с головой одеялом. В доме было тепло, я скоро согрелась, но уснула не сразу. Как закрою глаза, так вижу, как из рукава всё сыплется и сыплется солома, а я ее раскидываю, раскидываю...

И такая работа вот уже две недели.

А сегодня мы с Майкой проснулись, посмотрели в окно — а там всё бело. Снегу — как в январе. Зима настоящая. Комбайны не работают.

Мы валялись до девяти, потом вышли на улицу. Зрелище сказочное: дома в снегу, белый дым из труб поднимается в голубое небо. Только снег очень жжет сквозь резиновые сапоги.

До обеда мы работали на току, а теперь лежим на матрасах,

отдыхаем. Хозяйка накормила нас супом из фруктов и еще дала по куску жареной курицы. Рассказала, какие красивые занавески были у нее в прежнем доме, в Саратовской области, откуда их выслали. Тюлевые, с зубчиками. В здешних магазинах нет тюля, и достать негде, приходится занавешивать окошки марлей, а она так мечтает о тюлевых с зубчиками.

30 сентября 1958 г.

Дорогие родители!

Сажу в клубе, вернее, в бывшем клубе, который переоборудовали в общежитие для мальчишек. Сейчас проходили двое и угостили меня луковицей и хлебом. Вот, ем хлеб с луком и пишу. Ухозяев слишком чинно, боишься что-нибудь не то сделать, а тут можно с ногами на постель забраться, и вообще, со своими свободнее.

Спешу сообщить вам новость: всех девчонок-копнильщиц сняли с комбайнов, а им на смену прислали ребят с четвертого отделения. А то некоторые девчонки начали от переутомления в обморок падать.

Теперь мы работаем на току, разгружаем машины с зерном. По сравнению с комбайном эта работа — просто рай. Сегодня мы работали в ночную смену, с восьми вечера до восьми утра. Вначале было много машин, но к концу ночи их стало меньше: многие комбайнеры не выдержали пяти бессонных суток и уехали домой. Мы с Майкой, Таней Липской и Галкой Гуже в перерывах между разгрузками прятались от ветра в кабине сломанного грузовика и вспоминали работу на комбайне. Как плакали от усталости и не надеялись живыми вернуться домой.

К концу ночи машин стало совсем мало, а мороз усилился. И мы прямо промеж буртов устроили для сугреву танцы. Наиболее согревающими оказались давно ушедшие из моды краковяк и полька.

Завтраком Иван Васькин развел маленький костер и жарил в плите пшеницу. Она вкусная, как жаренные семечки.

Мы здесь живем от четверга до четверга, от бани до бани. Еще нам осталось две бани: второго и девятого. Хотя, может быть, задержат и до двадцатого октября. От нашего штаба всего можно ждать.

Урожай в этом году огромный. На госфонде собирают по

25 центнеров с гектара при норме пятнадцать. А у нас — семнадцать при норме десять.

Сейчас погода установилась сухая, и поэтому гонка идет страшная. Комбайнеры даже домой не приходят, спят прямо в поле, в соломе, посменно, по два часа в сутки. Шоферы тоже измучились: у них ведь нет сменщиков. Некоторые просят девочек, которые разгружают их машины, садиться с ними в кабину и сопровождать от тока до комбайна и обратно и при этом толкать их и громко петь, чтобы не дать заснуть.

Сегодня должны закончить пятое и девятое поля. Не начатыми остались четвертое и седьмое. Каждый день решает судьбу урожая и нашего пребывания на целине.

Завтра наших китайцев отправляют в Москву. Они ходят такие радостные и сияющие, что завидно смотреть. Ну, ничего. Будет и для нас светлое мгновение, когда мы сядем в поезд, и он, родимый, тронется. И я снова буду разговаривать о книгах, обсуждать новые фильмы, ходить в театр и не употреблять таких осточертевших слов как горталка, волокуша, бурты, зернопульт, плица, хедер, лафет и самое осточертевшее — соломокопнитель.

А еще, дорогая мама, большая просьба: пришли, пожалуйста, метров десять тюля с зубчиками для нашей хозяйки.

На Централку за посылкой

Несколько дней назад родители вдруг прислали мне телеграмму: «Выслали авиапочтой теплые вещи». И вот я уже два раза ездила за этой посылкой, и всё зря: то не пришла, то почта закрыта. А погода жуткая: мокрый снег, холод. Пока получишь эту чертову посылку, можно три раза простудиться или перевернуться на машине.

Сегодня я отоспалась после ночной смены и пошла в клуб к мальчишкам. С ними теперь живет Светка Новикова, удравшая от своих пьяниц-хозяев. Здесь же был и шофер Саша Гречановский, влюбленный в Светку. Он принес ей конфет и селедку. Мы разделали селедку на китайском журнале, затопили железную печурку, заедали селедку конфетами и наслаждались. Тепло, в трубе так и гудит, а за окном ветер воет.

Было бы совсем уютно, если бы мальчишье общежитие не напоминало бандитский притон. На грязных нарах, с ногами, в залепленных глиной сапогах, лежат вповалку мальчишки и девочки и режутся в карты. Окурки швыряют через весь барак по направлению к печке, вероятно, пытаясь попасть в дверцу, но попадая обычно в стоящую рядом аптечку. На полу — слой грязи вперемешку с соломой и обрывками газет. Всё это прилипает к сапогам. На скомканных постелях, прямо на одеялах, лежат какие-то объедки и огрызки, и при виде их аппетит отнюдь не разыгрывается. У самой двери, под несколькими одеялами, в ватнике и ушанке простуженный Генка Михайлов обращается к каждому входящему: «С-слушай, устрой что-нибудь в-выпить!»

Пока мы грелись у печки и ели селедку, снег подтаял и на улице опять образовалась непролазная грязь. Я пожаловалась Светке, что вот мне надо на Централку за посылкой, а кто же согласится по такой погоде?

Светка сказала, что она бы тоже съездила на Централку, и попросила Сашу Гречановского нас отвезти. И он согласился. Мы со Светкой сели в кабину. Ну и натерпелись же мы! Несколько раз машину заносило так, что она поворачивалась на сто восемьдесят градусов. Мы то и дело стучались головами о потолок, так подбрасывало на ухабах.

Тем не менее доехали. Договорились с Сашей, что мы получим посылку и подойдем к току, где он будет нас ждать.

Посылка оказалась довольно увесистой. Добрели до тока. Саши там не оказалось. Целый час мы стояли, открытые всем ветрам, синие от холода, и не знали, что делать. Искать попутку — бесполезно, потому что нормальный шофер никогда не поведет машину в такую погоду. Пешком идти сорок километров по грязи — не дойдешь.

Но мы знали, что Саша — человек слова, раз сказал, что приедет, значит, приедет.

И он подъехал, и привез замечательное известие: на десятое октября всем студентам уже заказаны билеты в Москву.

На десятое!!! А сегодня уже пятое!!!

Однако, надо было еще добраться живыми до лагеря. Машина так угрожающе кренилась, ее так заносило, что я уже начала сочинять посмертную записку: «Прошу в моей смерти винить родителей, выславших мне авиапочтой теплые вещи».

Саша подвез нас к дому Беккеров и уехал. После пережитого страха и холода особенно приятно было очутиться в теплом, чистом доме. Я вскрыла посылку. В ней оказались шерстяной лыжный костюм, меховая ушанка, ботинки на меху, шерстяные чулки и носки, варежки и шарф. Я тут же переделалась.

Еще в посылке оказалось три коробки конфет и рулон тюля с зубчиками. Мама не поскупилась, прислала метров пятнадцать.

Тетя Анна была счастлива. Раскладывала материю на постели, укачивала на руках, смотрела на свет, ахала, восхищалась зубчиками, порывалась отдать деньги, но я, конечно, не взяла.

Одну коробку конфет я отдала ей, другую мы со Светкой тут же почти всю слопали, а третью оставили на потом, когда Маринка приедет с госфонда. Тетя Анна накормила нас куриным супом с домашней лапшой, так что в столовую мы не пошли.

Иоганн перевесил лампочку поближе ко мне, чтобы мне было светлее писать.

Говорят, снег уже не растает до весны. На неубранных полях желтая стерня перемежается с заснеженными валками, которые теперь уже не уберут.

Как жалко, что столько пшеницы осталось под снегом. Но это не наша вина! Мы ли не старались, не надрывали здоровье. У кого-то радикулит, кто-то весь чирьями покрылся, у одной кровотечение не кончается третью неделю.

Примчалась Майка, сообщила, что теперь уже точно: мы едем десятого, в четыре вечера. Завтра с госфонда привезут наших.

Повесть молодого автора

Впечатления о целинной поездке я, вернувшись в Москву, изложила в виде бодрой повести страниц восемьдесят на машинке под названием «Здравствуй, ветер попутный!» Мажорный стиль моего опуса соответствовал названию.

Отец дал почитать рукопись соседу по «Красной Пахре» Арону Исаевичу Эрлиху. Тот позвонил своему приятелю, Борису Генриховичу Заксу, ответственному секретарю редакции журнала «Новый мир», и рекомендовал ему «повесть о целине

молодого автора». Тема целины была в те дни актуальна. Закс сказал, чтобы молодой автор принес рукопись в редакцию.

Редакция «Нового мира» тогда располагалась в небольшом особняке на улице Чехова, рядом с Пушкинской площадью. Я открыла наружную дверь столь скромного вида, что ее и подъездом нельзя было назвать. Прямо от двери без всякой, как мне показалось, прихожей круто вверх вела деревянная лестница на второй этаж. Там, наверху, была большая комната, а в ней за письменными столами сидели редакторы. Фигуры и лица расплывались в тумане моей близорукости минус три с половиной (очки лежали в кармане).

Я чувствовала себя как душа, представшая перед апостолом и его ангелами: откроют врата или не откроют? Почти теряя сознание от смущения и робости, я пробормотала что-то нечленораздельное, являя сидящим образец испуганной идиотки.

(О, эта унижительная робость перед теми, от кого что-то зависит в моей жизни, как же она меня мучила, изнуряла, преследовала, отравляла мне жизнь! Из какого зерна пустил корни этот ядовитый сорняк неуверенности, неумения постоять за себя, трусливая готовность отступить в самый решительный момент. Как я завидовала тем, кто умеет легко входить в контакт с «нужными» людьми, расположить их, поддержать с ними непринужденный, дружеский тон и взять своё. Я этому признаться, так и не научилась.)

Однако, все три редактора встретили меня очень приветливо, улыбочиво, радушно. Борис Генрихович Закс оказался среднего роста стройным красивым брюнетом лет сорока. Двое других (я потом узнала) — Алексей Иванович Кондратович, похожий на плакатного вожака-комсомольца, и мужиковатый краснолицый Евгений Николаевич Герасимов — о чем-то меня расспрашивали, видно, хотели расшевелить, вывести из ступора, но ничего у них не получилось. Я отдала рукопись и ушла — как с третьего этажа прыгнула и не разбилась. Главный страх — приход в редакцию — был преодолен, а дальше — будь что будет.

Как ни странно, рукопись, в общем, одобрили. Скорее всего, из-за актуальности темы. У меня сохранился довольно кислый, хотя, вроде, и положительный, отзыв заместителя главного редактора — трудно разборчивым почерком на четвертушке бумаги:

«Студенческий характер и уровень заметок очевиден. Но я думаю, что их, сократив и отредактировав, следует напечатать. Они не только не хуже, но правдивее, живее и оптимистичнее многих произведений о молодежи на целине.

10.1.59 г. А.Дементьев.»

А ниже, на том же листочке, синим карандашом, резюме самого Твардовского:

«Начать с гл.б. А до этого — уровень даже не студенческий — гимназический.

А.Т.»

Любовь Рафаиловна

Убрав «гимназический» стиль и довести заметки до надлежащего уровня редакция попросила писательницу Любовь Рафаиловну Кабо. Она была «своим» автором «Нового мира». Недавно была напечатана ее повесть «В трудном походе», по тем временам смелая, дискуссионная, поднимавшая острые школьные проблемы. Я ее читала, и она мне очень понравилась.

Писательница сама мне позвонила и сказала, что заниматься моей рукописью мы будем вместе, потому что работа сложная, и что редактировать будем у нее дома, так ей удобнее. Она жила на Каланчевской улице, в двухэтажном доме-бараке, недалеко от метро «Комсомольская».

Любовь Рафаиловна оказалась резковатой и не слишком приветливой. Ей было чуть за сорок. Полная, но складная фигура, неулыбчивый рот, тяжелый подбородок, крупный нос, небольшие глаза — лицо в своей неправильности, как ни странно, казалось красивым — выражением строгости, независимости, воли. Быстрый, оценивающий взгляд, решительные манеры, командирские учительские интонации.

Она сильно хромала, у нее был протез. Это не мешало ей сохранять грубоватую женственность. Я невольно представила себе ее — молодой, в военной форме, поднимающую, допустим, бойцов в атаку и падающую под разрывом снаряда. Я смотрела на нее с чувством робости и благоговения.

В ее отношении ко мне, напротив, сквозило явное пренебрежение. Может, отчасти потому, что она побывала недолгой пайщицей нашего писательского кооператива на Красной Пахре, насмотрелась на писательских жен с их спесью и высокомерием и причислила меня к их компании. Ее глаз-алмаз сразу ухватил во мне то, что я сама в себе старалась изжить, — избалованную девицу из обеспеченной семьи. Ну, съездила на целину. Не потому что жизнь заставила, а так, для собственного развлечения. Каприз богатенькой писательской дочки. Папаша — известный эстражник, из тех, которые ловко приспособились к власти. А как еще в наше время можно стать богатым? Она и ее друзья не приспособляются и гордо несут свою бедность.

Бедность этой семьи была явная, хотя этому, кажется, не предавалось значения. Квартира представляла собой длинную, на весь этаж, коридорную коммуналку с кухней и уборной в самом конце коридора. Семья жила в единственной комнате, поделенной тонкими перегородками и шкафами на крохотные закутки. Мы работали в закутке-кабинете. Сюда были втиснуты стол, расшатанный стул и узкая тахта. На столе — лампа под стеклянным зеленым абажуром. Вместо пишущей машинки — простая чернильница-невыливайка, школьные перьевые ручки и карандаши — в стакане. Все остальное — книги, журналы, рукописи, тетради — размещалось на полке, на подоконнике, на тахте. Вдвоем в кабинетике можно было поместиться, лишь касаясь друг друга коленями.

Еще был закуток-столовая без окна, где осторожно звякала тарелками и крышками от кастрюль худенькая старушка-мама, спавшая, видимо, тут же, на застеленной серым байковым одеялом раскладушке, и еще один закуток, где обитал сын писательницы, школьник-старшеклассник.

Иногда, приходя, я заставала у Любови Рафаиловны парней и девушек — она была учительницей литературы, и хотя на момент нашей встречи уже не преподавала в школе — бывшие ученики к ней тянулись. С ними она была оживлена, ласкова, полна доброй заинтересованности, а проводив их и обратившись ко мне, сразу гасла, становилась деловитой, насмешливой и безапелляционной. С моей «гимназической» повестью она обращалась примерно так, как тетя Паша на целине обращалась с овцами: резала, кромсала, безжалостно искореняя

всё, как мне казалось, живое, а ей казалось — лишнее. Прежде всего, ее стригущая машинка прошла по названию: нельзя здороваться с попутным ветром, это безграмотно по смыслу. Со встречным — еще так-сяк. Хотя, что за чушь собачья вообще — здороваться с ветром?

Напрасно я пыталась объяснить, что название — это строчка из студенческой песни, которую мы пели на целине:

И жду я заветной минуты,
Чтоб снова рюкзак затянуть.
Здравствуй, ветер попутный!
Солнце, доброе утро!
Вот и снова уходим мы в путь.

Я объясняла, что песня эта мне особенно близка, потому что написала ее выпускница биофака Ляля Розанова, а я с ней училась в одной школе, она была у нас секретарем комсомольской организации, принимала меня в комсомол...

Мой жалкий лепет пропускался мимо ушей. При чем тут какая-то Ляля, какая-то песня? Всё это розовые сопли.

Название «отчикивалось», как овечье ухо.

Процесс работы превратился для меня в пытку. Резались по живому или полностью вычеркивались целые главы, выскабливалось всё, как мне казалось, колоритное, смешное, непосредственное. В такие минуты я ненавидела свою редакторшу. Но, ненавидя, все равно благоговела перед ней. Образ женщины-командира, под пулями ведущей за собой бойцов, витал над ней, окружал нимбом ее голову с короткой небрежной челкой.

Через много лет я узнала, что Любовь Рафаиловна никогда не была на фронте. Несчастье случилось с ней незадолго до войны, здесь же, на Каланчевской улице. Перебегая через дорогу, она попала под машину. Она была тогда студенткой педагогического института.

Какой силой воли надо было обладать, чтобы, став калекой в расцвете юности, не впасть в уныние, не потерять надежду на счастье! Что ей тогда дало силы?

На это она сама отвечает словами своей героини Женьки в автобиографическом романе «Ровесники Октября»:

«Просто Женька очень любила жизнь, вот и всё. Она и под машину-то угодила потому только, что в обычной своей манере пыталась всунуть в один коротенький день — два. Не хотела,

не умела она чувствовать себя несчастной!.. «Так я, оказывается, устроена, — писала она в своем дневнике. — Мне легче жить трудно, чем легко. Всё наше поколение таково».

Любовь Рафаиловна была из поколения идейных комсомольцев, ровесница Октября, дитя Революции. Она с юности верила в идею коммунизма и мечтала приносить пользу Родине. Срочно потребовались учителя в только что присоединенные районы Западной Белоруссии и Западной Украины — она перевелась на заочный и поехала в Молдавское село преподавать русский язык и литературу. Там вышла замуж за местного парня, там же ее застала война, и вместе с мужем она пробиралась на восток. Об этом она потом написала потрясающей силы рассказ, где любовь переплелась со смертью и ужасами бегства.

После долгих скитаний они оказались в Туве, в городе Ойрот-Тура, куда был эвакуирован ее педагогический институт. В этом институте преподавал ее отец, профессор экономической географии, здесь же находились ее мать и младший брат-школьник.

Мужа призвали, он ушел на фронт и не вернулся, а она родила сына Сережу. Преподавала литературу в местной школе. Организовала школьную театральную студию. Ученики ее обожали. Там же, в эвакуации, она начала писать свой первый роман о днях учительства в Молдавии. Роман этот — «За Днестром» — в 1950 году был напечатан в «Новом мире», а потом вышел отдельной книгой.

Всё, что Любовь Кабо написала за свою жизнь — статьи, очерки, повести, романы и особенно самый выстраданный, самый заветный ее роман «Ровесники Октября», — это ее жизнь, ее эпоха. Всё — предельно искренно, эмоционально, с тревожной попыткой разобраться, понять — как могло произойти с ее поколением то, что произошло.

Она умерла в 2007-ом, в возрасте 90 лет. Ореол героизма, окружавший эту женщину, для меня никогда не тускнел.

Но работать мне с ней было мучительно. В ее характере было — отстаивать в борьбе свою позицию, не сходить со своей точки зрения. Она любила скрещивать клинок с сильным противником, спорить так, чтобы искры летели. Таких противников она уважала. А я была податливой и вялой как манная каша, с которой она меня однажды, в сердцах, сравнила. Нет, порой я

пыгалась что-то такое отстаивать, но отступала под натиском убеждений. Не умела я перечить человеку, которого считала в сто раз умнее и опытнее себя. А в ней это мое непротивление вызывало антипатию. Ну, не нравилась я ей, вот и всё.

Иногда я готова была заорать: «Хватит! Не могу больше!», схватить в охапку свое измученное детище, убежать и больше никогда не приходить сюда, на Каланчевскую. Но я только жалобно блеяла, потому что была схвачена, как та овца, и прикручена к лавке не подвластным мне страстным желанием — хоть в каком виде, но только увидеть свое произведение напечатанным типографским шрифтом на страницах журнала.

Раза два мы так засиживались за работой, что меня оставляли обедать. Возвращался из школы Сережа, очень симпатичный, серьезный юноша-подросток, сильно выросший из своей школьной формы. Приходил небольшого роста бородастый мужчина с утомленным лицом. Похоже, он тут был своим, близким человеком — братом или другом. Садился в ветхое кресло, клал вытянутые ноги на табуретку и сидел так, отдыхая, пока Любовь Рафаиловна меня терзала.

Потом все садились за кухонный стол, и бабушка разливала жидковатый суп — понемногу в каждую тарелку, чтобы всем хватило. На второе подавалась картошка с котлетами. Сереже — целая, остальным — по половинке, разрезанной вдоль.

Мне было стыдно их объедать. Мучило чувство вины за то, что дома меня ждал сытный обед и паюсная икра, от которой я воротила нос, потому что предпочитала зернистую. За то, что живу в отдельной трехкомнатной квартире, обставленной мебелью красного дерева, а они обитают в тесноте и скудости.

За столом при мне почти не разговаривали, обменивались взглядами или говорили обиняками. Хозяйке и гостю явно хотелось обсудить что-то важное, но они не хотели при мне. Ждали, когда уйду. Черт ее знает, еще настучит или проболтается по дурости.

Мне были знакомы по своим родителям и их друзьям эти умолчания, взгляды и обиняки в присутствии случайного человека, когда им хотелось поговорить то о книге, тайно привезенной кем-то из-за границы, то о рукописи, передаваемой из рук в руки на одну ночь, то о каких-нибудь политических событиях.

Я шла к метро, и комок обиды подступал к горлу от сознания, что люди, к которым я испытываю огромное уважение, мне не доверяют. Для Любви Рафаиловны я лишь средство немножко заработать. Купить Сереже новую школьную форму. Наверно, все с облегчением вздохнули, когда я наконец уперлась, и заговорили открыто и взхлеб о том, что их волновало и чего мне знать не надо. Не таясь от Сережи, потому что он-то свой, а я – чужая. И еще меня мучила обида за свою какую-никакую, но все-таки любимую рукопись.

Через месяц – к явному облегчению нас обеих – мы закончили редактуру. От полнокровной «гимназической» повести остался похудевший на десять глав, стерилизованный остов, жующий идею – о необходимости прививать школьникам и студентам трудовые навыки. В таком виде бывшая повесть и была через несколько месяцев напечатана в журнале в виде очерка под нейтральным названием «На целине».

Любовь Рафаиловну я увидела много лет спустя, в конце семидесятых, на творческой встрече в Доме литераторов. О предстоящем вечере узнала случайно и пришла подарить писательнице свою только что вышедшую книжку, ну и просто напомнить ей о себе. Происходила встреча в небольшой аудитории, в так называемой «каминной». Любовь Рафаиловна, конечно, изменилась, располнела, отяжелела, челка стала седой, но выражение строгости и достоинства на значительном, красиво некрасивом лице осталось прежним. Она рассказывала – уже не помню, о чем, но интересно, живо, ярко. Потом выступали присутствующие, очень тепло, без официоза – видно, собрались только свои, близкие.

По окончании я сунулась со своей книжкой:

– Вы меня не узнаете, Любовь Рафаиловна? Я... Вот... Разрешите вам...

Она быстро на меня взглянула, будто оттолкнула взглядом, и ответила:

– А, да. Знаю. Мелькаете.

И, демонстративно забыв обо мне, отвернулась к своему собеседнику.

Я шла по улице, и опять комок подступал к горлу, и книж-

ка с надписью «Моему первому редактору...» грубо отброшенным подарком телепалась у меня в сумке.

И чего я полезла? С чего взяла, что она расцветет улыбкой мне навстречу?

Насильно мил не будешь.

«Горячо и холодно»

После целины моя жизнь стала чем-то напоминать детскую игру «горячо и холодно». Поездка на целину была — «горячо», потому что так рисково, насыщено, активно и энергично, как в те три целинных месяца, мне еще никогда не жилось. «Горячо» было с почетом вернуться домой, встретиться с подругами, пройтись по улицам хорошо одетой, ловя одобрительные мужские взгляды. «Еще горячее» было то, что мои целинные впечатления, хоть и подстриженные, с подпиленными острыми углами и сбрызнутые лаком, были напечатаны в «Новом мире».

Но «горячо» как-то незаметно сменилось на «холодно»: учиться было по-прежнему не интересно, пыталась что-то сочинять по совету родителей, которые твердили, что «надо ковать железо, пока горячо», вымучивала какие-то рассказы, но сама видела: ерунда. О чем писать? Я не знала жизни. Мне казалось, что я зря проматываю время, упускаю что-то очень важное в своей судьбе.

Между тем, жизнь вокруг была очень интересная. Поднимались пласты, под которыми еще недавно от нас были спрятаны такие сокровища, как Ахматова и Гумилев, Цветаева и Мандельштам, Пикассо и Леже, Шагал и Малевич. Тайком передавались из рук в руки крамольные стихи Наума Коржавина и Бориса Слуцкого. Подруга дала на неделю — тоже тайком — «Доктора Живаго», изданного на русском в Италии. Для меня эта книга стала потрясением. Стройное, столбовое, возвращенное школой, книгами, песнями, фильмами понятие революции как символа справедливости — обернулось другой стороной медали. И на этой другой стороне возникали совсем другие картины. Незыблемое колебалось, однако держалось крепко, на сваях вбитых с детства догм и собственного невежества. Уже

мы знали из знаменитого доклада Хрущева про культ личности Сталина, но комиссары в пыльных шлемах все еще склонялись молча над нами, внушая веру в справедливость революции. И молодая, прекрасная поэтесса Белла сказала свою знаменитую фразу: «Революция — не умерла. Революция — больна. И мы призваны вылечить ее».

Мы пытались понять, разобраться. Искали ответа в стихах своих сверстников — Евтушенко, Рождественского, Вознесенского, в повестях Гладилина и Аксенова — но и они, наши молодые кумиры, тоже еще только искали ответа. Мы пели — словно пили из чистого родника — песни Визбора, Якушевой, Окуджавы, которые добывали в некачественных записях, переписывали на неподъемные магнитофоны, у кого они имелись. Все бурно обсуждалось, с восторгом принималось или вызывало горячее неприятие.

Много еще оставалось иллюзий, с которыми расставаться было больно и трудно, да, по правде говоря, не хотелось, потому что с ними жизнь казалась понятнее, возвышеннее, романтичнее. А молодая душа так жаждала романтики.

Мне хотелось если не повторения целины, то чего-нибудь подобного. Потому что — странная закономерность: чем проще и неприхотливее был окружающий быт, тем лучше я себя чувствовала физически и морально и тем легче складывались мои отношения с людьми.

Фольклорные странички

И вдруг — как это часто случается, когда ждешь и интуитивно ищешь чего-то — жизнь распорядилась: я встретила в Университете Таню Макашину, которая училась на очном, курсом младше меня, и она привела меня на семинар Эрны Васильевны Померанцевой по русскому фольклору. Эрна Васильевна — доктор наук, лет шестидесяти, крупная, простая в общении — руководила во время каникул студенческими экспедициями по собиранию русского народного творчества. В этом году желающим предстояла летняя поездка в Архангельскую область и Карелию — искать и записывать старые обрядовые песни, былины, сказки, заговоры, в общем всё, что сохранилось в памяти

старых людей. Я тут же записалась в семинар. Наконец-то появилось увлечение чем-то, напрямую относящимся к моей учебе. Я не пропускала ни одного занятия. Во-первых, это оказалось очень интересно: Эрна Васильевна приводила к нам «носителей» — так называли знатоков народных песен, деревенских людей, которые пели нам, а мы слушали, учились записывать, а потом разбирали диалектические особенности говора — калужского, рязанского, вологодского, и мне нравилось изучать словесные конструкции, падежные окончания и прочие, прежде пугавшие грамматические сложности, которые оказались совсем не сложными. А во-вторых — и это главное — впереди была экспедиция! Будет сформировано несколько студенческих групп, и я вольюсь в одну из них — вот это в самом деле «горячо»! Особенно радовали обещанные долгие пешие переходы и прочие «трудности».

В середине июня 1959 года галдящей, взбалмошной студенческой стайкой — шесть девушек и двое юношей, сопровождаемые Эрной Васильевной и ее помощницей Екатериной Александровной, женщиной лет пятидесяти, работавшей на кафедре фольклора то ли лаборанткой, то ли секретаршей, — мы приехали на поезде в город Каргополь, откуда должны были через день-другой отправиться по деревням за сбором материала. Мы еще не очень притерлись, исподволь присматривались друг к другу. Мне все по-своему нравились — энергичная, шумная толстушка и хохотушка Наташа Карцева, серьезная, четкая Татьяна Макашина, хорошенькая, уверенная в себе Майечка Полидва, застенчивая Лена Кузовлева, поэтичная Марина Соломина. Мальчики — серьезный, интеллигентный очкарик Женя Костромин и обаятельный Юра Новиков, опытный собиратель фольклора, опора Эрны Васильевны, — никому из девушек пока не отдавали предпочтения, и это невольно вызывало в женской части нашей группы тайный дух соперничества.

Приехали мы рано утром, остановились в двухэтажном, бревенчатом Доме крестьянина, с двумя большими комнатами, коек на десять каждая, с дровяной печью, с длинным, стоящим отдельно сортиром-баракком, с грубо намалеванными

белыми буквами «М» и «Ж» на торцах. Побросали вещи и вместе с Эрной Васильевной отправились осматривать город.

Деревянный, с дощатыми тротуарами, с улицами, носящими пышные названия — Театральная, Ленинградская, Энтузиастов, он показался нам после Москвы похожим на большую деревню.

Церкви, хоть и обветшалые, бездействующие, все равно были красивы, особенно издали, на фоне синего неба. Эрна Васильевна отыскала знакомую смотрительницу Христо-Рождественского собора, построенного еще при Иване Грозном, аккуратную старушку-краеведа Клавдию Петровну, и та повела нас к старинному храму, из последних, казалось, сил вздымающему в небо темные, покосившиеся купола. На дверях висел амбарный замок. Старушка отперла, и мы вошли.

Сейчас же в воздух поднялись десятки, а может сотни, галок. Их крики и хлопанье крыльев подхватило эхо. Многоярусные пирамидальные стены терялись в высоте. Под ногами — хаос из поломанных, покрытых птичьим пометом скульптур, колонн, решеток с декоративными узорами из позолоченного дерева. Резная словно кружево дверь алтаря валяется у стены. Иконостас зияет пустыми ячейками. В резной золоченой миске лежит деревянная ступня, выполненная с чудесной тонкостью. Может быть, она принадлежала деревянному ангелу, чьи останки валяются в общей куче возле алтаря. Под куполом — вытянутая рука, в сжатых пальцах которой — цепь от люстры («От паникадила», — поправила Клавдия Петровна).

— А что делать? — сетовала старушка. — На реставрацию денег не дают. Помощников нет, а мне одной — где за всем уследить?

Рассказала: строили храм с 1552 по 1562-ой. Хранился здесь прижизненный портрет царя Иоанна Грозного, писанный на холсте маслом. Утащили его в тридцатом году, когда храм закрыли. Чудотворную икону Божией Матери забрали в двадцать девятом по распоряжению правительства в пользу голодающих Поволжья. С этого и началось. Когда церковь закрыли, колокола, медь, серебро увезли на подводах, иконы — которые не растащили, сожгли на паперти. Тогда же исчез и портрет. А уж потом сколько раз грабили храм — не сосчитать. Последний раз, год назад, местный бандит по имени Зевс Ка-

саткин взломал ломом дверь. Не столько награбил (грабить-то уже нечего), сколько порушил. Сейчас он в тюрьме сидит, да толку-то что?

В тот день мы побывали еще в Благовещенской церкви, где расположился краеведческий музей.

Торопливые каракули в записной книжке:

«Каргополь — расположен на реке Онеге. Название означает — «Воронье поле» (карга — ворона). Рядом с городом — озеро Лача. Это название связано с одним из самых ярких и загадочных памятников древнерусской литературы начала XIII века — здесь было написано «Моление Даниила Заточника». Автор произведения, сосланный на озеро Лача, повествует о своей горестной судьбе, одиночестве, отверженности, обращаясь к некоему князю, предположительно Переяславскому Ярославу Всеволодовичу. Вокруг этого послания и его автора до сих пор в науке идут дискуссии. Существуют разные гипотезы — о самом авторе, его социальном положении, о точном времени написания «Моления».

В одном из скитов Каргопольского уезда жил Федор Конь — знаменитый зодчий, государев мастер при царе Федоре Иоанновиче и Борисе Годунове. Он был выслан на Соловки, оттуда бежал в Каргополь. Строил (по предположениям) храм Воскресения Христова.

При Иване Грозном Каргополь был основным северным выходом к Белому морю. По Онеге сплавливали лес и возили товары. Каргополь был одним из шестнадцати городов, отданных Иваном опричникам. Был вотчиной Малюты Скуратова. С Каргополем связано имя Болотникова. После гибели Лжедмитрия 1-го Болотников объявил себя «воеводой царевича Дмитрия» и начал военные действия против правительства Василия Шуйского. К армии Болотникова примкнули крестьяне, стрельцы, казаки, мелкий посадский люд. В 1607 году при попытке взять Тулу армия Болотникова была разбита, Болотников взят в плен, привезен в Каргополь и тут ослеплен и утоплен в Онеге.

После того как был построен Санкт-Петербург, Каргополь утратил прежнее значение, остался в стороне от основных торговых путей и начал приходить в упадок. В 1763 году в результате пожара Каргополь полностью сгорел (остались лишь каменные памятники). Восстановлен уже в другой планировке».

Обилие впечатлений только разжигало наше любопытство, но Эрна Васильевна утомилась и ушла в дом крестьянина, разрешив нам бродить по городу хоть всю ночь. Тем более, что стояли белые ночи, и это чудо природы, впервые многими из нас увиденное, приводило нас в восторг. Время было позднее, но светло как днем. Одержимые студенческим энтузиазмом, мы изощрялись в шутках, горланили хором: «Пират, забудь про чудеса, забудь про отчий дом!..» Нас распирало от чувства свободы.

Вдруг путь нам преградила высоченная бревенчатая стена. Бревна — стоямя, плотно прижаты друг к другу и заострены наверху, а над ними — колючая проволока.

— Что бы это значило? — удивился Женя Костромин и обратился к проходящей женщине: — Извините, вы не скажете, что за этим забором?

— Тюрьма, деточка, — ответила она.

Мы восприняли это как еще одну забавную особенность местного колорита. Ничего себе — в центре города! Не в этой ли тюрьме сидит бандит Зевс Касаткин, ограбивший церковь?

— Откуда вы такие? — спросила женщина.

— Мы студенты из Москвы! — гордо отвечали мы.

— Вы, деточки, идите отсюда, — тихо сказала женщина. — Не надо тут шуметь. Грех.

На острове смерти «Каргопольлаг»

«Пятиметровая острая бревенчатая стена с колючей проволокой окружала пересыльную тюрьму в центре Каргополя.

..Лагерь был основан по приказу НКВД в августе 1937 года, а уже в сентябре в город etapом из Няндомы и Лепши пригнали первую тысячу заключенных. По воспоминаниям очевидцев, шли колонны по шесть человек в ряд в сопровождении стрелков с собаками. Отстававших расстреливали. По прибытии размещали в бараках, а потом гнали на лесоповал. Паутину колючей проволоки лагерь раскинул не только в Каргопольском, но и по 33 лагпунктам в Няндомском, Плесецком, Коношском районах.

Первая зона появилась близ станции Ерцево. В 1938 году были открыты головные участки железнодорожной линии, ведущей от станции в западном направлении. Эта местность быстро стала лагерным районом. Расстояние от Ерцево до Каргополя

довольно значительное. Однако, именно Каргополь был центром лагерного управления.

...Это Управление Каргопольлага до 1940 года располагалось на месте Успенского женского монастыря, на Красной горке. Обитель просуществовала здесь до 1927 года, а затем монахини были вывезены в неизвестном направлении. Как вспоминает старшее поколение каргопольцев, новые хозяева Красной горки перво-наперво сровняли с землей монастырское кладбище и разбили парк отдыха с волейбольной и танцевальной площадками. Платные концерты здесь давали сами заключенные. Несмотря на громкую музыку во время танцев, все равно были слышны звуки выстрелов: поблизости расстреливали зеков.

Протяженность железнодорожных линий Ерцевской железной дороги возрастала год за годом. От главной магистрали отходили ветки, ведущие в глубину лесных массивов. Вдоль магистрали и на ветках выростали бесчисленные лагерные пункты этой «страны под названием Каргопольлаг».

Трудно представить меру горя и издевательств, что претерпели безвинные люди в лагпунктах, в так называемых командировках и подкомандировках. С ними обращались как со скотом. От голода, болезней, издевательств люди гибли тысячами. Только в 1943 году умер каждый шестой заключенный. Узниками Каргопольлага были около трехсот тысяч человек.

...Среди заключенных Каргопольлага были рабочие и крестьяне, врачи и музыканты, политики с мировым именем. Здесь «плел корзины» и «умер от тоски» бывший соратник Ленина, секретарь компартии Швейцарии Фриц Платен, которого сослали на Север в 1937 году.

В Каргопольлаге поэт Даниил Аль написал:

*Тяжко быть пленным в своей же стране,
в лесном океане на самом дне...*

(Из интернета)

Даниил Аль был не только поэт, но и философ, историк, драматург. Прошел всю войну. Его отправили в лагерь в 1949 году за то, что в его диссертации, посвященной Ивану Грозному и опричнине и отданной на отзыв кому-то из писателей, этот кто-то из писателей обнаружил опасные аллюзии и написал отзыв-донос, в котором говорилось, что автор покушается

на сталинскую политику. Вероятно, по этому поводу Даниил Аль написал еще и такие строки:

Сколько надо нанять,
Чтобы нас охранять?
Это мало – свирепых карателей,
Палачей, стукачей, надзирателей.
Чтобы нас охранять,
Надо многих нанять,
И прежде всего – писателей.

Прошел через Каргопольлаг и Владимир Рафаилович Кабо, младший брат писательницы Любви Кабо, моего первого редактора. Может быть, это именно он, небольшого роста, бородатый, молодой, но очень усталый, приходил в комнату на Каланчевской и сидел в ветхом кресле, пока мы работали. Судя по недавней фотографии из австралийского альманаха «Австралийская мозаика», на которой он изображен уже патриархом, с седой бородой, но отнюдь не усталым, а наоборот, с живыми, веселыми и добрыми глазами, — это, пожалуй, он и был.

Замечательный ученый-этнограф, историк первобытного общества, первобытной культуры и религии, специалист по истории и культуре аборигенов Австралии, Владимир Рафаилович Кабо с юности мечтал побывать в Австралии. После освобождения из лагеря много лет безуспешно добивался разрешения хотя бы ненадолго съездить в страну, изучению которой он посвятил свою жизнь. И только в конце восьмидесятых, когда он уже перестал надеяться, произошло это чудо. Он уехал в Австралию с женой и маленьким сыном и счастливо прожил там до самой смерти в 2009 году, в возрасте восьмидесяти четырех лет. Много и плодотворно там работал, исколесил всю Австралию, побывал в других странах. Написал автобиографическую книгу «Дорога в Австралию». В этой книге есть страницы, посвященные «Каргопольлагу», где он, в то время студент Московского университета, провел пять лет — с 1949 по 1954-ой. Вот отрывок из этих воспоминаний:

«...Лесоповал — вот главное, чем занимались невольные обитатели Каргопольлага. На десятки, быть может, сотни километров от Ерцева тянулись в разных направлениях, через леса и топи, нити железных дорог, а к ним, как бусины, были привязаны ОЛПы — отдельные лагпункты — обнесенные высокими забо-

рами жилые зоны с бараками для заключенных внутри. Вокруг каждого такого ОЛПа разбросаны были делянки, где пилили, валяли и разделявали лес, где заготовленный лес трелевали к железной дороге и там грузили на платформы. Это был тяжелый физический труд, все больше ручной. Это и было типичным советским лагерем, и сотни таких лагерей, подобно сыпи, были разбросаны по всему лицу советской страны. Трудились в них рабы, труд их был рабским, и социально-экономическая система страны в значительной мере покоилась на рабском труде — на труде рабов-заключенных. Это было рабовладельческое общество, чем-то напоминающее рабовладельческие империи древнего Востока. Другими экономическими основами системы были труд крепостных крестьян — колхозников — и труд полусвободных рабочих, прикрепленных полицейской пропиской к своему городу или рабочему поселку.

Комендантский лагпункт Каргопольлага напоминал Афины времен Перикла. Здесь собрались самые блестящие умы советской столицы — их перевезли сюда, в Ерцево, где в них, очевидно, ощущался недостаток: ранее эти места славились только комарами. Я встречаю здесь Зорю Мелетинского, с которым познакомился еще в Прохоровке на Днепре в 1938 году. Я был еще школьником, а он — студентом ИФЛИ и даже мужем подруги моей сестры. Теперь Зоря — сложившийся ученый: в Москве, у профессора Сергея Александровича Токарева, хранится его рукопись — «Герой волшебной сказки». Токарев сохранил рукопись заключенного автора, и благодаря этому она не была уничтожена госбезопасностью. Много лет спустя она будет опубликована, а потом одна за другой выйдут и другие книги Елеазара Моисеевича Мелетинского, посвященные теории и истории эпоса и мифа. Они станут эпохой в развитии науки, а имя их автора — известным во многих странах мира, но это будет еще не скоро. А пока он заведует складом белья в больнице для заключенных и живет в тесной камерке, набитой кипами постельного белья от пола до потолка. Мы уходим с ним за бараки, ложимся на траву, недалеко от запретной зоны, что тянется вдоль забора, и там, на солнечном припеке, он рассказывает мне о новых направлениях в науке — о структурной лингвистике, о семиотике; он всегда был чуток ко всему новому в науке. Родители шлют ему из Москвы последние журналы по языкознанию и этнографии. И потом, когда я пишу

корни на 16-ом ОЛПе и мне тоже начнут присылать книги, а Зора останется в Ерцево, — мы будем обмениваться новыми книгами, связь между нами сохранится.

Я встречаю здесь Изю Фильштинского, арабиста, моего университетского преподавателя. Здесь я знакомлюсь с таким же, как я, студентом Московского университета Славой Стороженко, в будущем — выдающимся экономистом и общественным деятелем. А кто этот человек с высоким лбом мудреца, там, на скамейке, в садике с цветущими маками, около бездействующего фонтана, недалеко от столовой для заключенных? Это — Григорий Померани, будущий автор блестящих философских и публицистических эссе — в одном из них он сам вспоминает об этих беседах у фонтана. Сейчас, в небольшой группе заключенных, он развивает свои мысли о мире и истории, они станут основой его будущих сочинений. Но ведь и философия древней Греции тоже рождалась в таких вот непринужденных беседах.

Моя мама сказала однажды, уже после моего возвращения, — мы были вместе в Покровском соборе на Красной площади: «Средневековье породило людей, идущих впереди своего времени, но оно же беспощадно и жестоко расправлялось с этими людьми». Вспоминая тех, с кем судьба свела меня в тюрьме и лагере, я думал: не живем ли мы в эпоху нового средневековья — но только в неизмеримо более страшном его варианте?»

Вот что это была за бревенчатая стена, в которую мы уперлись, гуляя по ночному Каргополю. Но ничего этого мы не знали, а если что и знали, то подсознательно отторгали от себя, распираемые восторгом тупого романтического невежества, впуская в свой мир только то, что не могло нарушить наш восторженный настрой, чтобы ничто не мешало нам радоваться жизни.

Голодные и полные впечатлений, упоенные красотой белой ночи, мы вернулись в Дом крестьянина. Хозяйка предложила нам «цюю покрепцяе да погорецяе», а на вопрос кого-то из нас, знает ли она старинные песни, ответила: «Вот бабушка моя порато много писен знат. Она бы вам спела, да у нее в Поч-озеро уехано, дак».

Женя Костромин тут же занес в толстую тетрадь услышанное, а потом прочитал нам небольшую лекцию о северном диа-

лекте — глубоко «о» в области гласных, отсутствии редукции в заударных и о страдательных конструкциях типа «у нее уехано».

...Ночью я проснулась от странного шума. В большой обшей комнате с десятком кроватей что-то шелестело, я спросонья подумала, что это дождь за окном. Женщина с грудным ребенком, лежащая по соседству, сказала дрожащим голосом:

— Ой, девочка, там крысы!

Я бросила башмаком в сторону рюкзака у стены, и оттуда одна за другой выскочили четыре крысы. Три с писком скрылись в щели, а четвертая, показавшаяся мне огромной, сделала два угрожающих прыжка в мою сторону и только потом повернулась и неторопливо ушла в щель. На полу остался изодраный пакет с недогрызенным печеньем.

На следующий день мы отправились в глубь Архангельской области — на Лёкшм-озеро. Ехали на грузовике. Дорога вся в рытвинах и колдобинах. Мы орём хором: «Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза!» По обеим сторонам — глухой лес. На дороге — солнце, а за первым рядом деревьев — сразу же вековая тень. И вдруг — лес расступается, глаза слепит живое серебро — озеро или речка. Поля усеяны большими белыми валунами-моренами и огорожены косыми плетеными заборами-огородами. За деревьями стоят полуразрушенные церкви, а иногда — маленькие часовни.

Вот и Лёкшм-озеро — огромное, ярко-синее, в белых бурунах. Противоположный берег едва виден. На самой середине — лесистый островок, круглый и аккуратный, словно воздушный пирог на блестящем блюде. Черные просмоленные лодки привязаны к дощатым мосткам у берега. На откосе — баньки. По озеру раскинуты белые поплавки рыбацких сетей.

Мы остановились в деревне Хвалинской, у Осипа Матвеевича Макарова и его жены Анны Васильевны, в высоком из почерневших бревен доме с маленькими окнами под самой крышей. Жилые комнаты — на втором этаже. Скотина — внизу. Слышно бляенье овец, похрюкивание свиньи, коровье мычание. Тянет навозным запашком. Но комнаты чистые, пол белый, скобленный. По стенам — крашенные лавки. Рядом с иконами — плакаты: «Слава Советскому народу!», «За три рубля можно выиграть стандартный жилой дом!»

Хозяйка тут же поставила самовар и начала жарить на плите свежесловленных окуней. Эрна Васильевна села набрасывать план работы, Екатерина Александровна, взявшая на себя роль завхоза, выкладывала на стол колбасу и прочие городские продукты, а мы пошли пройтись по деревне.

Это была когда-то, видно, большая деревня, но теперь многие, крепкие на вид, дома стояли с забитыми крест-накрест окнами и дверями.

На окраине – стройная деревянная церковь, за ней – кладбище. Мы фотографировали друг друга на фоне церкви.

Подошел старичок с двумя маленькими белоголовыми девочками. Все трое вежливо поздоровались. Смотрели, как мы фотографируемся. На вопрос – старинная ли церковь – старичок охотно рассказал (а Женя Костромин записал в тетрадь, с которой не расставался):

– Не вельми старинная. Это церковь Спаса. Построил ее Алексей Иванович Новожилов, без единого гвоздя. Годов сто тому уж будет. Говорят, в Спасов день он забрался на колокольню, выстал на крест и на три стороны поклонился. Ну, люди ему денёг надавали, подарков. Он сам из наших мест, Лёкшмозерский. Я уж этого не помню, манить не стану. А самого мастера-от помню, я тогда еще мальчонкой был. А теперь уж мне восемьдесят восемь годов.

Внутри церкви полно диких голубей. Всё загажено, и не только птицами. На бревнах вырезаны надписи: «Коля. 1937»; «Здесь были Сережа и Алексей. 1940».

– Закрыли ее в тридцатом году, – объяснил старик. – А с тех пор в ней чего только не было. И пересыльная тюрьма, и картошку в ней хранили, и клуб молодежный одно время был. Дак теперь и крыша вся сгнила начисто, и молодежи никого не осталось.

Веселой гурьбой вернулись в дом и сели пить чай из тульского старинного самовара. Хозяйка подала к хрустящим окунькам необыкновенно вкусные рассыпчатые лепешки, которые она называла колобками, и ватрушки с творогом. За чаем объяснила, что окошки в здешних домах высоко над землей потому, что зимой дом заваливает снегом. Всё хозяйство при доме. И скотина, и сеновал, и кладовые.

Когда убрали со стола, Анна Васильевна открыла большой

кованый сундук и показала нам «досюльные» наряды времен своей молодости – сарафаны, казачки, расшитые покрывала, шали. Еще показала книгу в обгоревшем по краям кожаном переплете с металлической застежкой, бережно завернутую в белый чистый платок с бахромой.

– Когда церковь-от разоряли, – объяснила она, – молодежь согнали – книги жечь церковные, дак. Батюшка увидел – а там и его внук, пионер, книги жег – пришел домой, повернулся к стене и помер. А которы книги не сгорели, люди потом из кострища достали да тайком унесли. Вот и я это Евангелие берегу, дак.

Всё было интересно, необычно – и особый говор, и «досюльные» расшитые сарафаны, и старинное Евангелие, и мычание коровы внизу, и непривычная, очень вкусная снедь. Всё вокруг – крепкие заколоченные дома, мертвая, но так искусно срубленная без единого гвоздя церковь, что и сейчас еще поражала красотой, – говорило о высокой, с традициями, деревенской культуре, о когда-то прочном, умном укладе, разоренном и погубленном.

С утра мы разделились на пары и отправились по домам записывать песни, старины и стихи (баллады здесь называют «старинами», а былины – «стихами»). Вся деревня уже знала, что приехали «люди с Москвы, записывать писни для науки». Нам с Леной Кузовлевой поручили обойти три избы. Для нас с ней это был первый такой опыт, мы немного робели.

Но в первой же избе нас приветливо встретила старушка Пелагея Ивановна Макарова (в этой деревне все Макаровы), усадила за стол, напоила «цаем» с брусничным пирогом, а на нашу просьбу спеть – задумалась, а потом, не ломаясь, запела. Голос у нее был высокий, сильный. Мы с Леной записывали, как нас учили: она первую строчку, я – вторую. Записали свадебные – про белую лебедушку, которая попала в стаю гусей, про злую свекровь – мы только успевали записывать. Лена восхищалась:

– Как вы много песен знаете!

– Да... Писня – не молитва, ей недолго учиться.

Потом снова пили «цай», Пелагея рассказывала: восемьдесят лет, муж на лесоповале погиб, сыновья на войне убиты, дочь умерла.

— Все в земле, одна я поверх земли. Нога не ходит, рука не водит, язык не вертится — стара стала. Спасибо, хоть песни мои в Москву пойдут, людям.

В следующей избе нам не повезло. Хозяйка, Клавдия Макаровна, заявила, что ничего нам не скажет, а то ее потом заберут. Напрасно мы убеждали ее, что песни нужны «для науки» и никто ее не заберет, кому она нужна — старуха только мотала головой и твердила: «нищяго не малтаю».

Зато в третьей избе мы напали на золотую жилу. Николай Емельяныч был подвыпивши, усадил нас за стол, сам сел на лавку возле печки, начал с частушек, потом оказалось, что он знает почти забытые в этих местах былины о Микуле, об Илье Муромце, о Егории Храбром. Потом принялся рассказывать байки про леших.

— А вы сами-то, дедушка, верите в леших? — спросила Лена.

— Кто его знат, — ответил он. — Вы-то, молодые, конечно, не верите. А другой раз по лесу бродишь и не можешь выйти. Блудишь — кто, как не леший, водит?

Он и сам был похож на лешего — хитрого, с седой, венником бородой.

Мы записывали чуть ли не до двенадцати часов ночи. Юра и Женя, когда мы им рассказали про былины, взвыли от зависти и заявили, что завтра сами пойдут к старику — может, он еще какие былины знает.

За три дня обошли Лёкшм-озерские деревни, переписали набело собранный материал и разделились: Эрна Васильевна с Наташей, Таней и Мариной пошли за пятнадцать километров на Тамбич-озеро, а мы с Леной, Маечка, Юра, Женя и Екатерина Александровна стали готовиться к тридцатикилометровому переходу — на Колод-озеро.

Кажется, начались долгожданные «трудности». До сих пор мне не приходилось ходить пешком на такие большие расстояния. Я побаивалась. С детства почему-то считалось, что у меня плоскостопие. Когда мне было лет двенадцать, мама заказала мне супинаторы, которые я, походив несколько дней, тайком от мамы вытащила из туфель, а то очень давили. А вдруг теперь это плоскостопие даст о себе знать, и я отстану, опозорюсь?

Хозяйка, глядя, как мы навьючиваем на плечи рюкзаки, ахала и приговаривала:

— Как же вы пройдете-то с такой кладью? Дорога-от вельми расторбана!

Шли, подвернув шаровары, закатав рукава ковбоек, подкладывая руки под лямки рюкзаков, чтобы не резало плечи. Впереди, помахая веточкой, Юра, легко, словно гуляя, хоть и с самым тяжелым рюкзаком. За Юрой — Майечка, тоже легко, пружинисто — туристка и не в первый раз в таких экспедициях.

А за Майечкой, шаг в шаг, я. Повторяю все ее движения. Она вскинет рюкзак повыше — и я. Она сойдет с колеи на мокрую траву — и я. Мне кажется — так легче.

Юра шутит:

— Майечка, а ты могла бы сделать сейчас стойку на руках, не снимая рюкзака?

Женя Костромин не воспринимает иронии:

— Как же она может сделать стойку? Во-первых, рюкзак перетянет...

Каждые полтора часа — пятнадцатиминутный привал. И снова — с холма на холм, обливаясь потом, отмахиваясь от комаров, под шутливые подбадривания нашего ведущего. Но мне не до улыбок. Все силы уходят на то, чтобы не показать усталость. На спусках еще ничего, но подъемы выматывают.

За спиной — пыхтение Лены. Для нее это тоже первый такой переход. Кажется, и ей нелегко. Женя замыкает шествие.

Единственная, кто нарушает это наше преодоление трудностей, — Екатерина Александровна: вместо ковбойки и брюк — старомодная полосатая кофта с высокими плечиками, длинная юбка, босоножки и белая панамка. За плечами — тощий рюкзак, в одной руке ветка — отгонять комаров, в другой — холщевая сумка. И никаких признаков усталости. Шагает и шагает, внимательно глядя на обочины. Иногда нагибается — гриб нашла. К концу пути у нее уже полная сумка грибов — отборных белых и подосиновиков. Даже обидно: ведь переход же! Трудности же! А Екатерина Александровна со своей сумкой — словно с базара возвращается.

К концу третьего часа пути я чуть не валилась с ног. Дыхание перехватывало. Во рту пересохло. Фляжка давно опустела.

А Юра не снижает темп, и Майечка от него не отстает. Если что и поддерживало меня, то только страх оказаться хуже всех.

Вдруг — родник. Он лился с камня на камень, сильный, свежий, от него, казалось, исходил холод. Трава вокруг была в серебристых брызгах, словно в инее. Как он журчал! Какие уютные разлапистые ели его окружали!

Но до привала оставалось еще полчаса, и наш несгибаемый ведущий прошел мимо родника, и почему-то никто ему не возразил. Он еще заметил с ехидством:

— Как звенит-то, а? Ну ладно, пошли дальше.

Большой привал сделали возле какого-то болотца. Вода была коричневая, с щепками и травинками, но все равно это было наслаждение — напиток хотя бы такой, а потом сидеть, вытянув ноги, и целый час отдыхать от тяжелого рюкзака. Разожгли костер, нарезали хлеб, разделили взятый из деревни омлет, разогрели прямо в банке тушенку. Еловые ветки трещали и стреляли искрами, теплый воздух над костром струился, и фигуры моих спугников тоже струились как мираж.

А все-таки до сих пор жалко, что не сделали привал возле того родника.

Последние километров восемь шли, не отдыхая. И — вот странно — эти последние километры дались мне гораздо легче. Дыхание не сбивалось, шаг стал упругим. Словно я попала в нужный ритм, и появилась уверенность, что теперь-то — дойду и никакое плоскостопие мне не помешает. Да, может, его и не было никогда.

Полусгнивший столб с надписью на двух языках сообщил нам, что мы перешли границу Архангельской области и вступили на территорию Карело-Финской АССР.

И вот вдаль показалось — то ли небо, то ли вода, то ли все вместе, слившееся в одну громадную голубизну. Колод-озеро! Оно лежало спокойное, громадное, все покрытое зелеными островками. По озеру двигались черные силуэты лодок — рыбаки ставили сети.

В деревне Погост, в первом же доме, куда зашли Юра с Екатериной Александровной договориться о постое, нас приветливо впустила хозяйка, Ирина Константиновна Богданова, лет сорока, дородная, красивая, с косой вокруг головы.

(Я еще не знала, что жизнь свела меня с героиней моей бу-

душей книжки «На Колодозере», женщиной потрясающей судьбы.)

Хозяйка тут же поставила самовар, затопила плиту. Екатерина Александровна принялась резать и жарить грибы, а мы, покидав рюкзаки, побежали на озеро. Песчаный берег, серые валуны на берегу, чистейшая, прогретая солнцем вода, которая мгновенно смыла усталость, и счастливое чувство – прошла! И не хуже других!

По берегам Колод-озера разбросано шесть деревень. Мы тянули жребий, кому какая деревня. Нам с Леной досталось Заозерье, километрах в трех от Погоста.

Сразу же нам не повезло: хозяйка красила пол и не захотела с нами разговаривать. К тому же оказалось, что у нее в прошлом году уже побывали студенты из Петрозаводска.

– Три дня у меня Сережка сидел! Всё вымотал!

В следующей избе старушка тоже отказалась петь.

– Раньше много писен знала, а нонь все забыла.

– Ну, не может быть, чтобы все! Ну, вот нищие у вас раньше ходили, вот что они пели?

– Калики-то перехожие? А много пели, божатки! Бывало-ча, и про Лазаря пели, и про Михаила-от Архангела...

– Ну, спойте про Лазаря.

– Про Лазаря? Ой, беда-то бедная, всё забыла!

– А свадебные? – упрасивали мы. – Ведь справляли же у вас свадьбы! Пели! Причётывали! Неужели вы все причёты забыли?

– Э-э, подружки божоны, молода была – баско причетывала, а нонь ницяго не помню!

– Да вы и сейчас еще не старая!

– Какое не старая – восемьдесят на Троицу стукнуло!

– Ну и что? Нам один старичок пел, ему уже девяносто, а он всё помнит!

Это мы будим в старушке дух соревнования. Возраст легендарного старичка увеличивается в зависимости от возраста упирающейся «носительницы». Иногда помогает.

Но упрямая старушка все-таки нам ничего не спела, даже рассердилась под конец:

– Котора фрянка манить буду, коли ницяго не малтаю!

На местном диалекте: какого черта врать буду..

Так и ушли ни с чем.

Сели на бревна возле какой-то избы. Моросил дождь. Хотелось есть.

Оставался еще Андрей Июдич Кузнецов. Его адрес дала нам наша хозяйка, он был ей то ли деверь, то ли свояк. Нам показали его избу.

Июдич с женой обедали. Нас посадили за стол и принялись угощать. Мы ели «рыбник» — крупную плотву, целиком запеченную в пирог. С пирога срезают поджаристую крышку и едят, подцепляя рыбу вилкой прямо с блюда и заедая хрустящими кусочками крышки. Необыкновенно вкусно! К чаю хозяйка подала целое блюдо теплых, рассыпчатых колобков.

Андрей Июдич, пообедав, ушел на работу — он кузнец. Сказал, чтобы мы пришли к нему в семь часов вечера — он нам будет петь и рассказывать.

Повеселевшие, наевшиеся, мы на всякий случай зашли в соседнюю избу, и тут нам подфартило: хозяйка, правда, петь не захотела («кабы вы мне, сугревушки, бутылочку поставили, я бы вам спела, а так — хоть черту свисни мои песни»). Зато мы записали от ее внука разные считалочки. Детский фольклор нам тоже нужен.

До семи часов мы гуляли у озера, рвали васильки, плели веночки. Лена рассказывала о своем женихе Димке. Он учится в МАИ. Они дружат с седьмого класса и должны пожениться, как только оба защитят диплом. Вообще-то, он настаивает расписаться раньше, сразу по ее возвращении, но последнее время ей кажется, что она к нему охладела. Как-то ей с ним стало не о чем говорить. Она пытается привить ему любовь к классической музыке, к живописи, к литературе, а ему это ничего не интересно. Кроме того, у них совершенно разные взгляды на многие вещи. Но всё у них уже решено, обговорено с его родителями и ее мамой: первое время они будут жить у его родителей, те обещают помочь с первым взносом на кооператив. Так что обратного хода нет. Ее мама правильно говорит: нечего искать журавля в небе. Главное, чтобы человек был надежный.

Лена как-то обреченно потупилась, и ее милое, наивное

лицо со светлыми глазами и смешной родинкой на кончике носа стало печальным.

— А у вас уже — было? — спросила я.

— Что было? — не поняла она.

— Ну.. *Это!*

— Нет, что ты! — покраснев, ответила она.

Я вспомнила, что, когда уезжали, рядом с ней на вокзале стоял коренастый парень с густыми насупленными бровями и беспокойным, ревнивым взглядом небольших острых глаз.

— Это он тебя провожал?

— Он, — ответила Лена и вопросительно на меня взглянула, молча спрашивая — как он тебе?

Что мне ей ответить? Что не надо безвольно подчиняться обстоятельствам, что еще не поздно отказаться от заведомо нелюбимого жениха? Но какое я имела право навязывать ей свой опыт?

— По-моему, нормальный, — сказала я.

В семь часов мы пришли к Июдичу, но дома не застали: он ушел к соседке резать барана.

Снова мы пили чай с наливками и сочными, хозяйка, Настасья Ильинична, маленькая, подвижная, очень добрая, рассказывала: шестьдесят семь лет, сыновья разъехались, «доць» умерла, внук с ними живет. После чая мы помогли ей перемыть посуду, и она спела нам массу песен. Голос у нее низкий (тут обычно поют высокими голосами), грудной, не очень сильный, но выразительный. Пела масленичные, обрядовые, жестокие романсы. Комната вся в вязанных круглых ковриках, на полу — полосатые дорожки. По стенам лавки, на столе самовар. Иконы, фотографии родственников в рамках из серебряной фольги. Белобрысенький внук Саша возится на лежанке с кошкой. За окнами — белая ночь: нежный апельсиновый закат и струящееся синее озеро. А женщина за столом сидит, подперев голову, и поет. Голос мягкий, печальный, с характерным северным выговором:

Скоро-скоро ль придется расстаться,
Да не скоро придется забыть.
Скоро ль горькие слезы польются
На мою ли на белую грудь...

Андрея Июдича мы так и не дождались. Он зашел на минутку и снова ушел — выпивать по поводу того, что зарезал барана.

Мы не жалели об этом.

Через два дня группа наша снова разделилась: Майечка, Марина и Юра отправились за четырнадцать километров на Пелус-озеро, а мы с Леной, Женей и Екатериной Александровной — в другую сторону за пятнадцать километров, на Салм-озеро. Удивительно, как легко дались мне эти пятнадцать километров. Может, я уже привыкла к рюкзаку. А может, поверила в свои возможности. К тому же мы шли вечером, солнце не пекло, и комары нас не кусали, потому что мы намазались диметилфталатом.

Деревня Татарская гора, куда мы пришли, стоит на самом берегу озера. Екатерина Александровна тут же принялась помогать хозяйке ставить самовар (к слову сказать, еще ни разу нам тут не встретились неприветливые хозяйки), а мы, как всегда, — на озеро, купаться. А потом — самовар, простокваша («простокиша»), топленое молоко, картошка в мундире, соленые рыжики. На стенах — плакаты, все почему-то в повелительном наклонении: «Стреляй метко!», «Будь бдителен!», «Стой на страже!»

Екатерина Александровна осталась ночевать в избе, а мы с Леной и Женей устроились на сеновале, подстелив одеяла, утопая в душистом сене. Смотрели в большое полукруглое окно и радовались быстрой смене впечатлений. Только позавчера катались вдвоем на лодке по Колод-озеру, пытаясь догнать малиновые отсветы белой ночи, огибали островки, слушали, как шуршат хвощи. От ударов веслами вода завихрялась в сложный, как на «досюльных» полотенцах, орнамент. Лена сидела на корме и, казалось, впитывала в себя все, что видела.

А сегодня мы уже далеко от той лодки и от тех хвощей. А впереди нас ждут новые места...

— Смысл жизни, — философствовал Женя под звуки коровьего мычания и похрюкивание поросенка за стеной, — в вечной свежести восприятия. Смена впечатлений — вот источник...

— А продолжение рода? — смущенно возражала Лена.

— Ну, это само собой, я говорю о смысле жизни в его духовном значении...

Потом почему-то заговорили о Сибелиусе, Лена сказала, что обожает «Грустный вальс», Женя начал объяснять, почему это произведение — с его точки зрения — гениально. Лена благоговейно слушала. Я вскоре начала засыпать, а они еще долго шептались.

Хозяйка наша, Паладя Петровна, принимает горячее участие в нашей работе. Сама она знает массу песен, причётов, рассказала нам с начала до конца весь свадебный обряд. Всем гостям она объясняет:

— Ёны люди с Москвы. Им нужно мортильял. Ну вот, им кто писню споёт, кто соврёт что, а ёны — всё в тетрадь!

Гости удивляются:

— Да неужто наши песни в Москву пойдут? Хрущеву?

Гости идут один за другим. Еще бы! Новые люди, да еще «с Москвы»! Подолгу сидят, «бесёдуя» с нами. Особенно такие бесёды хороши за «цаем».

Чаепитие — священнодейственный обряд. Куски рафинада раскалывают щипцами на крохотные кусочки. Пьют вприкуску. В чай добавляют топленое молоко с коричневой пенкой. Оно налито в глиняную латку, в которую опущена деревянная ложка. Пьют из блюдец, неторопливо, с чувством. Пустую чашку молча протягивают хозяйке, и она наливает следующую. Когда выпита последняя чашка, ее ставят на блюдце кверху дном, а сверху кладут осколочек сахара.

Мне очень нравится этот неторопливый ритуал, и вообще, мне всё нравится в этих местах. И то, что избы доверчиво не запирают, а когда уходят, приставляют к двери палку — батожок. И то, что здороваются со встречными, даже с незнакомыми, а вот мы, городские, часто не догадываемся это сделать. Может, мне еще и потому туг всё по душе, что в простодушии, гостеприимстве, доверчивости, доброте местных жителей много от выросившей меня няни Шуры, калужской крестьянки, самого любимого человека моей жизни.

— Ешь, Женюшка! — угощает Паладя. — Поправляйся! Вот как женишься — тут уж не до угощений. Будешь петь тогда:

Я у тещи был в гостях
На переменной пище:
Утром – чай, днем – чаёк,
Вечером – чаище!

Лена тут же схватила карандаш и записала частушку.

Хозяйки и гости были поражены:

– Уж записала! Ах, батюшки! Уж успела! А я и не думала ни-
цыго, только вымолвила прибатурку, а у ей – готово! Записала!
Ловко!

Здесь, у Паладьи, мы услышали и записали и про Бову-ко-
ролевича, и про Лазаря, и про Михаила-архангела. Беремен-
ная Маруся рассказала, как заговаривать против змеиного
укуса и против грыжи.

Забавная эта Маруся. Она так рассуждает:

– Нонче хату уберу, завтра сено пограблю, да в баенку схо-
жу, а послезавтра – родить буду!

...Час назад мы с Леной вернулись из деревни Костина го-
ра, в двух километрах от нашей деревни. Три часа провели у
«носительницы» Марии Николаевны Костиной, она работает
в колхозе дояркой. Записали три сказки, несколько жестоких
романсов. Когда мы уже уходили, вернулся с рыбалки ее муж,
Василий Кузьмич, и закричал с порога:

– Ты, Марья, не баско поешь! Вот я вам скажу бывальщину!

И рассказал нам с десяток рыбацких бывальщин, и еще мы
записали рыбацкую молитву:

«Господи, благослови.

*Я еду, раб Божий Василий, на свои тони. Сетки мои и смет-
ки мои, рыба-матушка, меня не обойди, людей не пугайся и не
стороняйся, в мои сетки пихайся. У меня ловушечка нОва, ржи-
ца позимОва, пшеница ярОва. Есть что пить, есть, веселиться,
да рыбу ловить стремиться*

Отныне дОвеки, вовеки нОвеки

Аминь».

Сейчас Лена с Женей сидят на бревнышке перед домом,
почти касаясь друг друга головами, и что-то горячо обсуждают.
Явно не устное народное творчество. А я – в доме за столом,

заваленном тетрадами, переписываю собранный материал. В соседней комнате, отделенной ситцевой занавеской, тихо «беседуют» Екатерина Александровна и хозяйка. Только что прошел сильный дождь. Теперь солнце, и над Салм-озером — радуга. Вода волшебного, зеленовато-сиреневого цвета. В ней купаются и кричат чайки.

Завтра мы уходим на Кен-озеро. Там, в деревне Рыжково, мы должны воссоединиться с обеими группами. До Кен-озера — тридцать километров, но мы идем без рюкзаков, их заберет Екатерина Александровна, которая наняла подводу.

Все-таки странная эта Екатерина Александровна. Со своим длинным, унылым лицом, плоской фигурой, пучком серых волос на затылке, дотошная, скучная до оскомины — типичная старая дева, которой не повезло в жизни. Всё, о чем она с нами говорит, — незначительно и приземленно. Например, обсуждали прошлогоднюю поездку в Суздаль, восхищались Суздальской архитектурой, а Екатерина Александровна вспомнила только, что потеряла в Суздале зонтик.

— Главное, я прекрасно помню, где я его оставила, но было уже поздно возвращаться — ждал автобус.

Любит рассказывать про свою кошку Мотьку, оставленную под присмотр соседки.

— Когда Мотька говорит «мяу» — значит, она чем-то недовольна. А когда она говорит «мурр» — я уж знаю, ей хочется, чтобы я ее приласкала.

Так-то она хорошая тетка, хозяйственная, ловко управляет с чугунами, ухватом, кочергой. Не допускает, чтобы мы ходили голодными или перекусившими хлебом с молоком. Придешь после работы или после купания, а она стоит у печи, ворочает ухватом, сковородником, готовит уху невероятной вкусноты или жарит омлет. Сразу располагает к себе деревенских бабок. Без особых усилий собирает в одной деревне материала больше, чем мы в нескольких. А главное — она ничем не стесняет нашу свободу, следит только, чтобы мы были сыты и не промочили ноги. Такая добрая нянюшка, ничем, казалось, не способная удивить.

И все же удивила.

В пасмурный теплый вечер мы с Леной и Женей пошли

купаться. Озеро было покрыто рябью и тускло поблескивало, как рыба чешуя.

– Что-то неохота лезть, – сказал Женя.

– А там уже кто-то плавает, – заметила Лена.

– Где?

– Вон!

Пловец был далеко. Приближаясь к берегу, он резал воду ровно, как по линейке. Нырнул, подолгу не появлялся, выныривал, снова плыл все тем же безукоризненным кролем, переворачивался на спину, бил по воде ногами, взбивая белую пену.

– Неужели кто-то из аборигенов? – удивился Женя.

– Ну да! Дед Федосей! – поддержала я.

– По-моему, это Екатерина Александровна, – сказала Лена.

Да, это была она. Достигнув отмели, встала по пояс в воде, сняла резиновую купальную шапочку, пощупала жидкий пучок на затылке. На ходу, все еще глубоко дыша, улыбнулась нам, и – куда девались ее постность и унылость? Даже ямочки на щеках появились. Мы вдруг словно увидели ее такой, какой она была когда-то в молодости, без этой затаенной горечи в опущенных кончиках губ.

Но сказала в обычной своей скучной манере:

– Дно хорошее, песчаное.

– Как вы здорово плаваете, Екатерина Александровна! – восхитилась Лена.

– Я ведь выросла на Волге, – ответила она.

Подняла прижатые камнем полотенце, халат и ушла за большую белую морену переодеваться.

А через полчаса с обычным своим тихим старанием томила в печке грибы в молоке на ужин и рассказывала, что готовить грибы таким способом ее научила какая-то монашка и что в избе, где они ночевали, было чрезвычайно много клопов.

...Радуга над озером давно исчезла, вода приобрела серый с проблесками вечерний цвет. Период белых ночей заканчивался. Смутный, сумеречный свет, глядящий в маленькое окно, был еще не ночной, однако карандашные строки в тетради почти не различимы, впору зажигать керосиновую лампу. Но я не зажигала. Хотелось проникнуться ощущением этих сумерек – последних признаков уходящих белых ночей.

За занавеской Екатерина Александровна полусшепотом о чем-то рассказывала хозяйке. Речь шла о каком-то лагере под городом Канском, о дочке Танюше, которой было всего семнадцать лет, о муже, ученом, который откуда-то не вернулся, о враче по фамилии Зеков или Зекин, который ее спас в лагере от смерти, о каких-то запросах, поисках, отказах...

Хозяйка ахала и вздыхала. А в моем изуродованном советской идеологией воображении, как в перевернутой реальности, представлялся какой-то пионерский лагерь под Канском, где дочка Танюша работала пионервожатой, и к ней на родительский день приехала Екатерина Александровна и заболела, и ее спас доктор Зеков или Зекин. А ученый муж пропал без вести на войне, и вот теперь она его ищет, шлет запросы.

Я решила, что Екатерина Александровна всё это придумала, что она купается в собственных фантазиях, как тогда купалась в озере. Это показалось мне забавным, и, вернувшись в Москву, я написала рассказ про старую деву, которая от душевного одиночества придумала себе мужа и дочку, а у самой нет никого, кроме капризной кошки Муськи.

Мне до сих пор стыдно за тот рассказ.

Сейчас даже не верится, что я могла так ничего не понять. Хотя о многом уже знала. Видно, вбитые с детства догмы все еще действовали, и я продолжала воспринимать действительность сквозь развевающиеся красные знамена Октября.

Только полгода спустя я поняла, о чем говорила с хозяйкой Екатерина Александровна.

Мы тогда возвращались в Москву из зимней фольклорной экспедиции, снова в сопровождении Эрны Васильевны и Екатерины Александровны. Ждали поезда на вокзале в городе Иваново. В зал ожидания вошли трое военных с повязками на рукавах и направились к нам. Может, группа непривычно по тем временам одетых горластых девчат в брюках и шапках-ушанках, юноша китаец, оберегающий громадный магнитофон, — показалась им подозрительной. Эрна Васильевна протянула свой паспорт, объяснила, кто мы такие. Старший вернул паспорт, козырнул, и патруль удалился, а мы еще веселее загорланили. И вдруг Екатерина Александровна побледнела и схватилась за сердце. Эрна Васильевна торопливо достала из сумочки валидол и протянула ей таблетку. Та положила ее в

рот и, пробормотав: «Ничего, ничего...», поднялась и вышла из здания вокзала.

Эрна Васильевна, глядя ее вслед, с сочувствием произнесла:

— Она десять лет отсидела, бедная. Мужа расстреляли, дочка единственная погибла в лагере.

Словно приоткрылась бездна, и оттуда дохнуло черным горем.

Господи, какая же я дура.

Между Леной и Женей на моих глазах зарождается чувство. Лена явно борется с собой, но чувство побеждает. С каждым днем оно принимает все более отчетливые формы. Лена смотрит на Женю с восторгом — необычность его взглядов, парадоксальность суждений ее поражают и даже порой возмущают, но он умеет так четко и убедительно обосновать свою мысль, что ей его не переспорить. Да просто ее тянет к нему. А он, кажется, покорен ее восхищением, и все больше его колючий взгляд смягчается, когда он смотрит на Лену. Худенький, невысокий, с шапкой всегда всклокоченных волос, он за время наших путешествий загорел, окреп, самоутвердился, и неказистость куда-то девалась. Клетчатая шейная косынка ему очень идет, придает стилижный вид, и юмор откуда-то появился.

Мы продолжаем держаться втроем — Лена льнет ко мне, словно ища у меня спасения от нахлынувшего чувства. Я вижу, как шатается фундаментальное, тщательно спроектированное здание ее будущей судьбы из-за мальчика, у которого ни кола, ни двора, койка в студенческом общежитии, мама в Алма-Ате и весьма призрачная перспектива аспирантуры.

Идти было хорошо: рюкзаки уехали накануне с Екатериной Александровной на подводе, а мы втроем налегке дошли до деревни Тамбич-лахта. Оттуда надо было переправиться через озеро на лодке. Лодочник оказался вдребезги пьян. Его жена привела нас в избу, где он отходил от запоя, посадила за стол, накормила рыбником, напоила чаем с топленым молоком, калитками и колобками. Все время, пока мы объедались, пьяный лодочник «бесёдовал» с нами:

— Я-то уж никуда не похужу — шестьдесят лет. А вот Андрю-

ха, сын мой, он лихой! У него — эт-та... Молодой! Засватаем кого из вас! Оставайся, девка!

Тыкал пальцем в бок то Лену, то меня и кричал:

— Ты чего отворотилась, едят тебя мухи с комарами! Оставайся! Живем небогато, нуждой непорато, а всё у нас есть! И дичь всегда на столе, и рыба! Андрюха — парень хороший, у него — эт-та... Молодой!

В конце концов, хозяйка отволокла его в соседнюю комнату, а вскоре пришел Андрюха, застенчивый парнишка лет семнадцати, и перевез нас через озеро. Дальше мы дошли до деревни Ершово — это уже на Кен-озере, а оттуда на рыбацьем карбасе с двумя тетками, перевозящими бидоны с молоком, добрались до Рыжкова..

— Богатый у вас колхоз? — спросила я у теток.

— И-и, подружка, где там богатый! Двадцать лет в колхозе состоим, богатства не видим.

— А как ваш колхоз называется?

— Колхоз-то? Красный... Красный... Марья, не помнишь ли?

Все же колодозерские деревни гораздо многолюднее, живее, чем те, в которых мы побывали. Много молодежи, строятся дома, на мысу, как лебедь, стоит белая церковь. Тетки сказали, что в ней клуб.

Мы думали, что обе наши группы уже в Рыжково, приготовились к объятиям, распитию бутылки шампанского, но никаких следов их присутствия не нашли. Рюкзаков наших тоже не было: Екатерина Александровна доехала на подводе до Минино и там осталась собирать материал, о чем нам тут же сообщили местные. Удивительно, как быстро тут распространяются новости.

Мы устроились на высоком сеновале. На него надо взбираться по приставной лестнице. Внутри просторно. Сено откинуто к задней стене, досчатый пол чисто подметен. Спать еще не хотелось, и я сказала, что хорошо бы дать знать Екатерине Александровне, что мы добрались, а то она будет волноваться. Заодно и рюкзаки заберем. Женя завопил, что это идиотство — идти еще куда-то после тридцатикилометрового перехода, что рюкзаки можно забрать и завтра. Однако, Лена сказала, что она тоже хочет пойти, и Женя тут же согласился.

От Рыжкова до Минина — всего километр. Екатерина

Александровна очень нам обрадовалась, накормила и уложила спать. Нас с Леной на свою кровать, а Женю на лежанку.

Утром хозяйкина дочка Тамара спросила:

– На Поч-озеро у колдуньи не были еще?

Женя встрепенулся:

– У кого?!

– У тети Паши Кузнецовой. К ней из всех деревень ходят, она многих лечит, заговоры знает, привороты.

– Вот это да! – загорелся Женя. – Сегодня же пойдем! Как до нее добраться?

Тамара объяснила: полем до росстани, потом по лесной тропе напрямик километров семь до бережка, а там и километра не будет до деревни Потеряево, где живет Пелагея Максимовна Кузнецова, колдунья.

Женьке явно хотелось идти вдвоем с Леной. Может, я бы и сама с ними не пошла – охота была чувствовать себя третьей лишней. Но Лена категорически заявила, что если идти, то только втроем. Она держалась за меня как за последнюю опору, не дающую ей утонуть в любовном омуте.

Да и потом интересно увидеть колдунью. Хотя и не верила я в ее реальность. В сказках – да, а теперь-то какие колдуньи?

Отправились после обеда.

...Вот и росстань. Отсюда, как в сказке, расходятся три дороги: правая – к чуть видимому за соснами озеру; прямо – к вырубке с торчащими пнями. Их потом выкорчуют и землю вспашут под рожь. Третья – в лес. Туда и свернули, как было сказано. И сразу стало теплее: мы точно окунулись в душистое парное молоко.

Я-то совершенно не ориентируюсь в пространстве и положила на своих спутников. А их понесло не напрямик, как советовала Тамара, а налево, по узкой тропинке. Тропинка некоторое время петляла, а потом исчезла. Мы забирали то влево, то вправо – тропы не было. Под ногами – заросли черники, вокруг – гнилая, влажная чашоба. Женя споткнулся, ухватился за ствол, и дерево рухнуло. Мы блуждали в поисках тропы, чтобы вывела нас хоть куда-нибудь. Путь пересекали завалы толстых трухлявых стволов. Поставишь ногу – а она

проваливается в древесную труху. Комары кружатся над нами сплошным серым облаком.

— Да что же это такое! — в сердцах сказал Женя, размазывая по лицу кашу из комаров. — Леший нас, что ли, водит?

Прав был старик Емельяныч: в таком лесу — не хочешь, а поверишь в леших.

Был двенадцатый час ночи. Еще довольно светло. Стволы деревьев снизу подернуты лиловым туманом. Красиво. Но нам было не до красот. Очень хотелось есть. Дураки, не догадались взять с собой хоть по куску хлеба.

В довершение, мы забрели в болото. Не то, чтобы нас стало засасывать в трясины, но все же не очень-то приятно брести по колено в травянистой густой жиже, руки и лица распухли от комариных укусов, комары визжат в волосах...

...И вдруг мы услышали где-то слева от нас явственный звон колокольчика. Такие колокольчики вешают на шею коровам, чтобы не потерялись. Значит, где-то вблизи жильё!

Мы бросились на звон. Ветки хватили нас за одежду, хлестали по лицам. Сами не заметили, как вылезли из болота. Бежали, перелезали через стволы, перепрыгивая через ручьи, путаясь в ветвях... Только бы не умолкал колокольчик!

И вот чаща расступилась. Мы вышли на пригорок. Прямые сосны стояли не часто, на их тонких, розовых стволах бликами играли пятна остановившегося на горизонте солнца — последней улыбки уходящей белой ночи. Столбы света, как прозрачные колонны, пронзали пространство между деревьями. Пахло хвоей, чистой, сухой землей, земляникой.

Метрах в десяти от нас стояла белая лошадь с колокольчиком на красной ленте через шею. Не затасканная крестьянская кляча, а сказочная, тонконогая, с длинной гривой, стройная кобылица. Чутко подняв красивую голову, она смотрела на нас человеческими глазами. А мы, остолбенев, смотрели на нее.

Она звонко заржала и промчалась мимо нас. Мы — за ней. Она вскоре скрылась за деревьями, но колокольчик звенел, и мы бежали за его звоном. И вот уже мы бежали по тропинке, которую так долго искали. Она привела нас к обрыву. Под обрывом плескалось озеро. На противоположном его берегу стояла деревня. И, темным силуэтом, высокая церковь с тремя куполами.

Мы сели у обрыва на белый сухой мох. Нас окружали заросли лилового вереска. От усталости дрожали ноги.

Белая лошадь исчезла, как и полагается в сказках.

Надо было перебираться на тот берег. Озеро в этом месте сужалось как горловина цифры восемь. Тропинка спускалась прямо к берегу.

Подняв повыше авоськи с тетрадами и фотоаппаратом, мы поплелись через озеро. Оказалось мелко, чуть выше колен.

Был первый час ночи, когда мы, усталые, искусанные комарами, явились в спящую деревню. Сейчас сенокос — «пожня». Ложатся рано, а встают в четыре часа утра.

Можно было переночевать в «байне» на берегу, но очень хотелось есть.

Постучались в первый же дом. Долго не открывали. Наконец открыл бородатый дед в ватнике и кальсонах.

— Здравствуйте, дедушка, извините, мы из московской экспедиции, можно у вас переночевать? — жалобно попросила Лена.

— А ночуйте. Места много, мы со старухой одни живем.

Он проводил нас в большую комнату с двумя деревянными кроватями под пологам.

— Дедушка, а вы нам хлеба не дадите и молока? Мы вам заплатим.

— Каки деньги, берите так. Посмотрите в кладовке. Что найдете, то и берите.

И дед ушел к своей старухе.

В кладовке нашлись крынка молока, латки с простоквашей, круглый домашний хлеб, чугунок с холодной отварной картошкой. Поев, мы едва добрались до кроватей и рухнули, Женя на одну, мы с Леной — валетом — на другую.

Проснулась я от шепота. Лены рядом со мной не было, а с Жениной кровати из-под полога доносилось:

— Леночка, у тебя совершенно очаровательные глазки.

Пауза. Возня.

— ...Ну почему, Лена?

— Нет — и всё.

— А помнишь, ты мне на Салм-озере сказала: да!

— Не помню.

— А вот я — всё, всё помню!

Снова пауза. Вздохи. Возня.

– Ну, почему, Лена?..

– Потому что – нет!

– А помнишь, ты мне на Салм-озере сказала: да?

Под эти нудные любовные уговоры я заснула, а когда проснулась, Лена, печальная, но явно устоявшая, снова лежала на моей постели, валетом. Мрачный Женя у окна записывал что-то в свою толстую тетрадь.

В доме никого не было, видно, дед со своей старухой ушли на пожню. Мы оставили на столе три рубля и вышли на улицу. Надо было узнать, как называется деревня, куда мы попали, и где находится таинственное Потеряево.

В деревне оказалось всего пять жилых домов. Во всех пяти двери были замкнуты на батожок. Остальные стояли с забитыми окнами и дверями. Церковь вблизи оказалась тоже с забитыми окнами. Рядом с церковью – невысокий деревянный монумент на фундаменте из навороченных серых камней. По бокам – две березы. Выцветшая, но еще различимая надпись на монументе гласила:

САМООТВЕРЖЕННОМУ ЗАЩИТНИКУ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

ТОВАРИЩУ МИЛИЦИОНЕРУ

ПЕТРУ АФАНАСЬЕВИЧУ УШАКОВУ

ЗВЕРСКИ РАССТРЕЛЯННОМУ БЕЛЫМИ БАНДАМИ

28 ДЕКАБРЯ 1919 ГОДА.

**ИСТЕРЗАННОЕ, ОГРАБЛЕННОЕ ТЕЛО БЫЛО БРОШЕНО НА
СЪЕДЕНИЕ ДИКИМ ЗВЕРЯМ.**

ВЕЧНОЕ ПРОКЛЯТИЕ ПАЛАЧАМ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КРАСНОМУ ГЕРОЮ МИЛИЦИОНЕРУ!

Вот какие страсти бушевали когда-то в этой тихой, безлюдной деревне. Даже не верилось.

Наконец мы увидели живую душу – парнишку лет пятнадцати. Он гнал корову. Увидев нас, остановился и поздоровался. Рука у него была замотана и висела на платке. Остановилась и корова. Газа у нее были печальные и потусторонние, как у Аэлиты. На наш вопрос парнишка ответил, что мы попали в деревню Будылгино, а Потеряево – прямо по дороге, тут и двух километров не будет.

– А ты колдунью знаешь? – спросил Женя.

– Тетю Пашу-то? Кто же ее не знает дак, – ответил парнишка. – Вот, спасибо, руку мне вылечила.

– А что с рукой?

– На вилы напоролся. Думал, ницяго, так пройдет. А рука-то болит, распухла, думал, всё, огневица началась, отрежут руку, дак. А тетя Паша, спасибо, заговорила рану. Теперь ницяго. И он погнал дальше свою Аэлиту.

Мы поднялись по высоким ступеням крыльца и постучались.

– Входите, открыто!

Не знаю, что представляли себе Женя и Лена под словом «колдунья». Я почему-то была уверена, что нас встретит костлявая баба Яга с седыми космами, крючковатым носом и руками граблями, с сопровождающими ее колдовскими предметами быта – черепами, сушеными лягушками и прочим в том же духе.

Ничего подобного! Нас встретила статная, лет шестидесяти, женщина в цветастой кофте навывпуск, а обстановка была самая обычная: большая русская печь, лавки по стенам, в красном углу – киот. Стены, как и в большинстве домов, оклеены плакатами с изображением жизнерадостных трактористов и доярок. Одна из стен увешана связками сушеных трав, и среди них – колокольчик на красной ленте. Мне показалось, что где-то я видела этот колокольчик, но не могла вспомнить, где.

– Что, Аннушка, высматриваешь? – спросила женщина. – Ступу с помелом? У меня ее нету, не смотри, дак.

– Откуда вы узнали, как меня зовут? – вытаращила я глаза.

– А я, подружка божона, вельми много чего знаю, чего другой не знат. Проходите в комнату. Садись, Женюшка, и ты, Лена, садись. Самовар сейчас вскипит, вы, небось, с утра-от не поевши.

Лена открыла было рот, но Женя ее опередил:

– Пелагея Максимовна, а правду нам сказали, что вы от болезни заговорами лечите?

– Может, каки болезни и заговариваю.

– Кровь, например, можете?

– Бывает, и кровь заговариваю, и зубную боль, и много чего.

– И привороты знаете?

– Знаю. Я это всё от бабки своей знаю, а она – от своей.

– А можете нам продиктовать эти заговоры?

— Всеу нельзя, — строго сказала Пелагея.

Она принесла самовар, чашки с блюдцами, вазочку с кусковым сахаром. На столе появились круглый домашний хлеб, крутые яйца, творог, топленое молоко под толстой коричневой пенкой.

— Ешьте на здоровье!

Женя пытался гнуть свое — объяснял, что заговоры нужны нам «для науки», но Пелагея упёрлась:

— Всеу нельзя. Грех.

— А вот вы парню из Будылгина, который на вилы напорлся, каким заговором руку вылечили?

— Это особый заговор. У парня-то гангрена начиналась, огневица.

Никакие наши уговоры не действовали.

— Бочка пустая, надо бы воды натаскать, — намекнула она.

Женька тотчас схватил ведра и отправился на озеро за водой. Через полчаса бочка наполнилась, но Пелагея податливей не стала. Так-то она была разговорчива. Рассказала, что муж у нее в войну погиб, осталась она с пятью детьми, всех вырастила. Сын военный, служит в Восточной Германии, старшая дочка — врач в Петрозаводске, младшая — в Пудоже учительница, двое сыновей в Салм-озерском совхозе, трактористы.

Женя куда-то исчез.

Лена спросила:

— Тетя Паша, а что вы про людей знаете такое, чего другие не знают?

— Про тебя, подружка, так скажу: одну любовь потеряешь, другую встретишь, но не скоро: через десять лет.

Лена захлопала глазами.

— А у тебя, Аннушка, — посмотрела на меня Пелагея, — всё-то баско будет. Мужик тебе попадетсЯ порато хороший. Двух сыновей родишь.

Не успела я переварить эти приятные предсказания, как дверь открылась и вошел Женя. Лицо его было белее известковой стены, к которой он прислонился. По левой руке от локтевого сгиба до запястья тянулась кровавая полоса. Кровь стекала струйками на шейный клетчатый платок, который Женя подложил под рану.

Лена вскрикнула.

— Заговаривайте, тетя Паша, — сказал Женя. — Теперь — не грех.

— Вот это додумался! — не очень удивилась Пелагея. — Вот ты как для науки-от для своей стараешься! Молодец! Быть тебе профессором! Обо что же ты ободрался-то, паря?

— Там гвоздь в заборе, — объяснил Женя.

Пелагея посадила Женю на лавку, села рядом, одной рукой сжала его руку у локтя, другой — у кисти, наклонилась очень близко к ране и зашептала. Я запомнила (а потом записала), потому что Пелагея повторила заговор трижды. Вот эти слова:

«Встану благословясь, пойду перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота. Выйду я в чистое поле, погляжу на восточную сторону. На восточной стороне стоит смоляной дуб. На этом смоляном дубу сидит черный ворон. Вынимает из золотого гребешка шелкову нитку, булатну иголку. Зашивает у раба Божия Евгения щипоту, ломоту, рану. Чтобы не было у раба Божия Евгения ни щипоты, ни ломоты, ни раны, ни крови, ни опухоли. Ни днем по солнцу, ни ночью по месяцу, ни по утренней заре, ни по вечерней заре. Ни в какую пору, ни в какой день, ни в какой час, ни в какую минуту.

Отныне до веку, вовеки по веку.

Кровь, стань, боль уймись!»

Кровь остановилась. Пелагея протерла Женину руку чистым полотенцем, смоченным в чае. На месте пореза осталась едва заметная розовая полоска.

Мы — в Рыжково. Сейчас половина первого ночи. Я сижу на порожке высокого сеновала, свесив ноги, словно из двери теплушки, и мне кажется, что мы едем куда-то, очень быстро. Всё меняется, озера, деревни, люди... Кажется, что Рыжково — это короткая остановка. Соскочишь сейчас на землю, и товарный вагон, то есть сеновал, промчится мимо.

Наше жилье и впрямь похоже на товарный вагон, в котором мы ехали на целину. Только там было много народу, а сейчас нас всего трое. Из них — двое влюбленных. Пока я сижу тут, свесив ноги, они там, в глубине, зарылись в сено и шепчутся.

Я слезла по приставной лестнице и подошла к берегу.

Вот и кончились белые ночи. Луна встала над озером и отразилась в рябоватой воде десятками маленьких лун. Словно кто-то невидимый стоял на берегу и бросал в воду золотые мо-

неты. Они погружались медленно и нехотя, а тот, невидимый, все бросал и бросал в озеро монеты.

Когда я вернулась, Женя с Леной все еще шептались. Я растелила одеяло и легла подальше от них. Мне показалось, что Лена всхлипывает.

Лена вышла-таки замуж за своего Димку и жила с ним без любви и радости, пока через десять лет не ушла от него, забрав дочку, к очкастому ученому-лингвисту, преподавателю Университета, очень похожему на Женьку, и с ним обрела семейное счастье.

Женя после защиты диплома уехал в Алма-Ату, закончил там аспирантуру, защитил кандидатскую, потом докторскую, стал профессором, автором учебника по русскому фольклору.

...Не успела я проспать и полчаса, вдруг — шум, жизнерадостный хохот, комсомольский задор — и я попадаю в объятия Тани Макашиной, а вслед за ней — Наташи, Майечки, Марины...

Воссоединились!

Юра Новиков, обросший бородой, красивый как лорд Гленорван, предложил всем идти в избу, где жила Екатерина Александровна и где уже расположилась Эрна Васильевна. В честь воссоединения выпили две бутылки портвейна. Хозяевам мы не мешали, они ночевали на поже. Мы рассказывали, перебивая друг друга, о своих приключениях, хвастались приобретениями, пели под Юрину гитару «Синие сугробы», «Тихо по веткам шуршит листопад...», «Дым костра создает уют...»

Хотелось, чтобы эта ночь никогда не кончалась.

Уральская экспедиция

Эта полнота жизни, которую я испытывала в поездках, почему-то пропадала по возвращении в Москву. Снова меня уводило куда-то в сторону, втягивало в чужое русло. Родители все больше времени проводили на даче, я могла делать, что хочу, и к молодой свободной женщине в свободную квартиру хлынул народ. Знакомые приводили своих знакомых, а те — своих. Кто-то из них мне нравился, с кем-то завязывались короткие романы. Все это было не то, не то. Это была свобода

вседозволенности, а я уже хлебнула другой свободы и поняла разницу. Но как снова найти эту другую свободу, вот вопрос.

В Библиотеке иностранной литературы я уже не работала, но частенько заходила в свой справочный отдел – пообщаться. Притягивала домашняя, теплая атмосфера, а главное, то, что встречали меня там каждый раз с неподдельным радушием. Почему-то меня там любили, хоть и относились с изрядной долей иронии. А я, чувствуя их доброе к себе отношение, не стеснялась быть с ними откровенной, а на иронию не обижалась, поскольку сама к себе относилась, мягко говоря, без восторга.

Этих женщин из справочного отдела я всегда вспоминаю с благодарностью. Жаль, что я недостаточно близко их узнала. Они мне казались слишком взрослыми. Я считала, что у них уже всё в жизни сложилось, их быт устоялся. А я все еще баландировала на перепутье.

Вот им, своим мудрым библиотекарям, я косноязычно вываливала свои мысли по поводу собственной жизни. Они выслушивали мои исповеди с какой-то даже родственной заинтересованностью.

Советов они мне не давали, но однажды – а именно в тот день, когда я с трудом переползла на последний курс своего филологического и пришла в справочный отдел сообщить об этой героической победе, – одна из сотрудниц, Света Ворошилова, спросила:

– Хочешь поехать на Северный Урал с археологами? Им срочно требуются рабочие. Только ответ сразу надо дать, они через три дня едут.

– Хочу! – ответила я, не раздумывая.

– Тогда записывай телефон начальника. Скажешь, что от меня.

Так в середине июля 1960 года я оказалась в Западно-Сибирской археологической экспедиции, в группе из десяти человек, возглавляемой известным ученым археологом и этнографом, профессором Валерием Николаевичем Чернецовым. Последние годы он занимался изучением наскальных изображений. Начал он их изучать еще в молодости, путешествуя по

рекам Северного Урала. Еще тогда он занес на карту места своих находок – рисунков, сделанных бурой охрой на скалах. Потом надолго оставил эту работу, увлекшись этнографией. И вот теперь вернулся к рисункам отчасти в связи с тем, что его аспирант Михаил Косарев, побывав в экспедиции на Северном Урале, обнаружил много новых изображений.

Рисунки были грубоватые, наносились, похоже, щепой или даже пальцем, но вполне узнаваемые. Изображали они людей, птиц, животных, геометрические фигуры, какие-то знаки, похожие на иероглифы.

Жителям окрестных деревень эти рисунки были издавна известны. Они называли их «крестами», потому что часто встречающаяся на скалах фигурка человека с палкообразным телом и раскинутыми руками действительно напоминала крест. Еще их называли «писаницами», «писаными камнями».

Предполагалось, что изображения относятся к эпохе, названной археологами периодом ранней бронзы. Предками художников были прафинно-угры, в VI–IV тысячелетии до нашей эры жившие на территории от Нижней Оби до верховьев Печоры. Эта территория была прародиной нескольких уральских народов, составляющих приуральскую этническую общность.

Чернецов считал, что рисунки имели для древних племен священное, сакральное значение, что сами скалы, на которые они наносились, становились священным местом – связующим звеном, соединяющим, по верованиям этих племен, три главных мира вселенной – нижний, средний и верхний. Так они воспринимали мир: вертикально, как некое вселенское дерево.

Задача нашей экспедиции была – подобраться к изображениям и свести их на кальку для дальнейшего изучения, анализа и расшифровки.

Подобраться к рисункам часто было нелегко: древние художники выбирали места высоко на скалах, порой отвесных, всегда обращенных к реке. Надо было уметь подводить мосты под изображения, пользоваться скальными крючьями, ледорубом, вязать морские узлы. А поднявшись, или наоборот спустившись сверху к рисункам, улучшить момент, когда солнце

падало на скалу под определенным углом — тогда рисунок на несколько минут становился более отчетливым.

В местах, защищенных от ветра и влаги, рисунки сохранились неплохо. На открытых местах время поработало против них — они порядком выцвели, стерлись, частично исчезли из-за сколов породы.

Валерию Николаевичу было в то лето чуть за пятьдесят. Вся его деятельность с ранней молодости была связана с изучением обычаев, образа жизни, культуры и истории народов Северного Урала. Он долго жил среди манси. Мансийский язык знал в совершенстве. В культуру этого уральского народа, в его среду он вписался так, что его приняли в члены одного из мансийских родов и дали ему имя — Лозум-Хум, Человек-Река. Об этом нам рассказывал Миша Косарев, его ближайший помощник. Миша всерьез утверждал, что наш начальник — настоящий шаман. В доказательство рассказывал о нем всякие чудеса. Например, как в прошлогодней экспедиции, в верховьях Тагила, им надо было на лодке переправиться к наскальным изображениям на другой берег реки.

— А там стремнины, острые камни торчат из воды, — рассказывал Миша. — Лодочка неустойчивая. Мы с напарником несколько раз пытались на ней переправиться — ничего не получалось. Сразу начинало бить о камни, крутить, нести вниз по течению, на перекаты. Лодку ловили, вытягивали, тащили назад, снова пытались. Ну, совершенно невозможно. И вдруг появляется Валерий Николаевич, забирается в лодку, усаживает нас, двоих, берет в руки шест и начинает петь что-то по-мансийски. И как гондольер, стоя вполоборота, перевозит нас на тот берег **ПО СПОКОЙНОЙ ВОДЕ!** Только настоящему шаману подчиняются силы природы.

Сам Валерий Николаевич о своем шаманизме помалкивал, но мелькало порой в нашем руководителе, несмотря на некоторую внешнюю простецкость, что-то загадочное. Особенно, когда он вспоминал всякие случаи, которые с ним происходили в разные годы в тайге. То, о чем он рассказывал, — никак не вписывалось в наше представление о реальности (довольно примитивное, надо признаться). Он словно погружал нас в другую реальность, и мы, веря и не веря, поневоле входили

вместе с ним в таинственный мир финно-угорских племен с их религиозными представлениями, обычаями, правилами и поверьями. Самым обыденным тоном он рассказывал, например, о своем общении с душами из другого мира или учил, как вести себя, если заблудишься в тайге и набредешь на пустое зимовье: непременно поздороваться (это с избушкой-то!), зайти, извиниться, спросить: можно я тут поживу? Иначе, — говорил он, — нарушится равновесие между живым и неживым миром, и неживой мир может наказать. Уходя, надо поблагодарить и непременно оставить в избушке спички, немного крупы, соль. Именно обыденность его тона завораживала.

Он и внешне был чем-то похож на манси — маленький, ладный, подвижный, из-под кустистых насупленных бровей — прозрачные, добрые, детские глаза. Латанные-перелатанные брюки, голова обвязана красной косынкой. За поясом топорик. Острый нож привязан к бедру, как это делают манси. Когда выпьет — поет надтреснутым голосом тюремные песни. Особенно любил про Ланцова:

...Пробил звонок в тюрьме тревожный,
Забил уныло барабан.
По всей тюрьме известно стало,
Что Ланцов — беглый каторжан!..

(Пили мы в этой экспедиции нельзя сказать что часто, но — частенько, отмечая завершение очередного этапа работы, а иногда просто так, под плохую погоду. Водкой и махорочными сигаретами разживались в деревнях и городах, в которые заезжали на своем грузовике-вездеходе ГАЗ-63. Если не было сигарет, покупали махорку и скручивали «козьи ножки».)

Валерия Николаевича в этой поездке сопровождала жена, Ванда Иосифовна, научный сотрудник института Археологии Академии Наук СССР, где они вместе работали. Изящная, невысокая, под пятьдесят, поднятый воротничок курточки, яркая косыночка на шее, тонкие губы, длинный нос, маленькие быстрые глаза, темный пушок над верхней губой — выражение лица скептическое и слегка высокомерное.

Они были до смешного из разного теста. Он — что-то вроде русского Дерсу Узалы, она — светская дамочка с подчеркнuto изысканными манерами. Мужем своим Ванда Иосифовна

мягко повелевала, и он беспрекословно ей подчинялся. При всей своей непохожести супруги представляли собой очень обаятельное единство.

Их главным помощником был упомянутый уже аспирант Миша Косарев – массивный, шепелявый, меланхолический молодой человек большой физической силы, этакий таёжный Пьер Безухов.

Это было научное ядро отряда. Еще были шофер Коля Стратулат, лихач, рубаха-парень, рассказчик анекдотов; студент журфака рыжий крепыш Володя Лебедев, которого все называли просто Рыжик; двое шпанистых десятиклассников – Стасик и Сашка; студенты-молодожены Рита и Толя Новиковы, ну и, наконец, я. В мои обязанности входило готовить еду в очередь с Ритой и выполнять разные поручения – быть на подхвате. Я мало что умела, но старалась.

Может быть, от того, что народ подобрался разный по возрасту, по характеру, по воспитанию, атмосфера вначале была не очень дружная. В основном мучили воду пацаны – Сашка и Стасик. Стасик был племянником Ванды Иосифовны. Он спутался с плохой компанией, и родители попросили взять его в экспедицию, вроде как на перевоспитание. А заодно и его дворового приятеля Сашку. Оба нагловатые, циничные, любители покачать права. Мальчишек разбирала агрессивная энергия, хотелось себя показать, пострелять из ружья, продемонстрировать свою силу. Обоих будоражило мое, как им представлялось бесполезное, присутствие. Днем еще ничего – работа, маршруты, подходы к точкам. Мы с Ритой кашеварили. По вечерам собирались у костра, пели, пили чай, рассказывали истории.

А потом расходились по палаткам, и вот тут начиналось.

Моя отдельная палатка-маршрутка стала для Стасика, Сашки да и Рыжего как кусок сахара для муравьев. А зачем еще, по их мнению, нужна баба в экспедиции? Настырные ночные представления то одного, то другого, то третьего делали мою жизнь довольно-таки суровой. Мальчишки злились и не понимали, чего я «кобенюсь», «целку из себя строю». А мне вовсе не хотелось, чтобы нормальные, дружеские отношения переходили во что-то, уж конечно не любовное, поскольку, кроме грубых домогательств, ничего другого не было и в помине.

Заметив, что мальчишкам не обламывается, начал ко мне

подкатываться шофер Коля Стратулат, предлагая свои мужские услуги.

Я оказалась в весьма щекотливом положении. Жаловаться начальству было стыдно — не маленькая, сама должна уметь за себя постоять. Может, тут была и моя вина — повела себя с мальчишками с самого начала знакомства слишком запанибрата, как привыкла в студенческом коллективе. А тут была другая атмосфера, и мое запанибратство они восприняли как доступность.

И еще то было неприятно, что всё это бурление происходило на глазах Ванды Иосифовны, которая, оказывается, хорошо знала мою маму: они вместе посещали в Москве знаменитую косметичку Лидию Павловну, пользующую жен известных деятелей искусства и науки. Мне вовсе не хотелось, чтобы Ванда составила обо мне превратное представление.

До первой нашей стоянки от Свердловска на север — двести километров. Мы ехали целый день. Ванда Иосифовна — в кабине, остальные — в кузове, устроившись между ящиками с камеральными принадлежностями, всевозможным скарбом и обложившись для мягкости сложенными палатками и спальными мешками. Нас мотало из стороны в сторону, било о брезентовый потолок. Последнюю часть пути продирались вообще без дороги, лавируя между деревьями.

Остановились на поляне у неширокой, быстрой реки Режи. Поставили палатки, разожгли костер, повесили над огнем чайник и котелок для каши.

Поляна окружена кедрами, соснами, березами. Снизу стволы покрыты мохнатым лишайником, выше — розовеют на закате солнца. Над рекой — на том берегу — скала, а на ней слабо обозначены красноватые рисунки, те самые «писаницы», ради которых мы сюда приехали. Трудно поверить, что этим изображениям — несколько тысяч лет.

В километре от нас — деревня Гаево. Рита и Толя Новиковы отправились туда за хлебом.

Валерий Николаевич рассчитывает, что мы тут пробудем несколько дней.

На второй день нашего пребывания пришла из деревни женщина лет пятидесяти. Назвалась Антониной. Спросила, не

найдется ли среди нас охотника переночевать три ночи в ее избе. На вопрос, зачем, ответила, что у нее умерла мать, вчера похоронили, а по обряду на постели покойника должен три ночи переночевать посторонний человек, чтобы дух умершего ушел вместе с ним. Может, кто из девушек... — тетка посмотрела на меня и на Риту.

Рыжий сказал:

— Ага! А ночью дух старушки материализуется и скажет: «Согрей меня!»

Это накануне у костра Валерий Николаевич рассказал, как он однажды заблудился в тайге и набрел на зимовье. Затопил печку и лег на нары. Только начал засыпать, вдруг чувствует рядом чье-то присутствие. Открыл глаза и видит: перед ним стоит нагая женщина. (В этом месте Ванда Иосифовна улыбнулась скептически.) И говорит ему: «Согрей меня!» Он подвинулся к стене. Она легла рядом. Он протянул к ней руку.. И РУКА ПРОШЛА СКВОЗЬ НЕЕ! Он лежит, боится пошевелиться. Не помнит, сколько так пролежал. Вдруг чувствует, что его гладят теплые, живые женские руки. И слышит голос: «Спасибо...» И туг словно искрами озарило избушку, и женщина исчезла.

Подобных историй у Валерия Николаевича было множество. Миша Косарев утверждал, что все правда. Что и с ним подобное случалось. Что это с нашей, городской, точки зрения подобные истории выходят за рамки обычного, а у людей, живущих в лесах, — другое восприятие действительности, и если суметь настроиться на их систему воззрений и верований, то все это несомненная реальность. Только другая.

Я подумала и ответила Антонине, что пойду с ней.

Стасик покрутил пальцем у виска. Рита сказала:

— Я бы на твоём месте этого не делала. Не потому что... Но все-таки.

— Подумаешь, «Вий» Гоголя, — ответила я. — Зато три дня никто приставать не будет.

Рита с сочувствием на меня посмотрела.

Валерий Николаевич отпустил меня, посоветовав подробно выспросить и записать детали местного похоронного обряда.

Антонина привела меня в избу. Сама со старшей дочкой Манькой и младшей Маринкой улеглась на печь, а меня поло-

жили на постель покойницы. Не могу сказать, что этот факт так уж сильно подействовал на мое воображение. Если честно — никак не подействовал. Неприятно только, что постель была сильно пролѐжена, матрас в пятнах, а белья вообще не было. Зато спала я как убитая, и дух покойницы ничуть меня не тревожил.

Утром меня накормили жареной картошкой со свиной, дали мешочек с кедровыми шишками, и я вернулась в лагерь.

И вторую ночь я крепко проспала на постели покойницы. Антонина и Манька опять сытно меня накормили, и я спросила их про похоронный обряд.

ПОХОРОННЫЙ ОБРЯД:

Покойник, обмытый и одетый, должен лежать в избе двое суток. Над ним все это время читают Псалтырь.

Потом покойника хоронят, избу чистят, моют полы, меняют белье на постели. Собираются родственники, гости и происходят поминки. Читают молитву, пьют, едят, вспоминают покойника. Петь на поминках не принято.

На третий день после поминок в дом приглашают ночевать чужого человека. Он должен переночевать три ночи на постели покойника, чтобы дух его ушел вместе с ним.

На шестой день родственники пекут «колобушки» и обновят ими всех знакомых и родственников.

Через шесть недель после смерти устраивают вторые поминки.

На третий день Манька зашла за мной еще засветло, и я в последний раз пошла в деревню. Манька привела меня в клуб на посиделки. Электричества в тот вечер в деревне не было, и кино по этому поводу отменили. Девушки и ребята сидели на лавках, шелкали кедровые орешки. Кто-то играл на баяне. Ко мне подсел тракторист Петя и пригласил пойти пройтись. Он был красивый, со светлым чубом. Мы целомудренно гуляли, грызя кедровые орешки. Петя накинул мне на плечи свою куртку. Он рассказывал, как служил в пограничных войсках на севере. Родную деревню он не любил и жил тут только из-за больной матери и сестры. Народ квелый, неподвижный, говорил он. Молодежи много, а жизнь какая-то застывшая, тоскливая. Дети редко рождаются, а какие рождаются — все больные. Рыба в реке вся сдохла, куры не несутся, коровы болеют. Говорят, из-за радиации. Только свиньям ничего не делается.

И правда, странная деревня: по улицам бродят огромные жирные свиньи, а люди, наоборот, худые, бледные, многие покрыты сыпью и коростой. И грязь такая, словно людям всё безразлично. В доме, где я ночую, воняет мочой из ведра, стоящего под раковинкой. Какое там чистое белье после похорон. Кровать покойной старухи такая затхлая, что вряд ли тут вообще когда-нибудь стелили белье. Антонина с дочками ложатся спать, не помывшись, прямо в платках. Со стола не вытирают. Тучи мух и полчища клопов, сытых, гладких, с малиновым отливом. Меня они почему-то не кусают.

Зато чуть отойдешь от деревни — сразу красота, чистота. Не видно полуразвалившихся крыш, загаженных дворов и чесоточных детей. Заросли земляники, малины, а черники столько, что мы по ней ходим. Ванда Иосифовна не рекомендует есть ягоды, говорит, что они радиоактивные, но мы едим — трудно удержаться.

У дома Антонины я вернула Пете куртку. Он также целомудренно пожал мне руку и выразил надежду, что завтра мы с ним еще погуляем.

Увы! Назавтра мы были уже далеко от деревни Гаево. Опять начались пошлые мальчишеские «чё ломаисся?!» с похабными ухмылочками и поигрыванием ножом.

Душа умершей старушки во мне не задержалась. Должно быть, в жизни была деликатная, тихая, старалась никого собою не обременять. И после кончины незаметно прошла сквозь меня туда, где ей надлежало быть.

Спасение пришло от Толи и Риты Новиковых. Войдя в мое положение, они предложили мне перебраться в их палатку. Что я с благодарностью тут же и сделала — перетащила свой спальник и рюкзак в их маршрутку.

И словно по волшебству всё успокоилось. Домогательства прекратились, началась нормальная жизнь.

Конечно, я стеснила молодоженов, но они ни разу не дали мне этого почувствовать. Они были замечательные ребята. Рита — альпинистка, привычная к походной жизни. Метко стреляла из старого «дрободана». Была очень хороша собой неброской, не осознающей себя красотой: чуть скуластое, нежное,

юное лицо с большим выразительным ртом, родинкой над верхней губой, живыми карими глазами. Она перешла на третий курс МАИ. Толя — хрупкий, небольшого роста, волосы ёршиком. Физически не так тренирован, как Рита. Но старался от нее не отстать. Он был мягче Риты, лиричнее, образованнее. Учился в Педагогическом имени Ленина на истфаке.

Радиоактивная деревня, радиоактивные ягоды... Не купайтесь в реке, — говорили нам, — вода радиоактивна... Все время нас преследовало это слово — радиация. Мы не очень-то понимали, что это за такая невидимая опасность, чем она нам грозит и откуда она взялась тут, среди всей этой дикой таежной красоты и чистоты. Валерий Николаевич, Ванда и Миша Косарев что-то знали, но нас не посвящали. Да и они вряд ли знали всё. Ходили слухи о каком-то три года тому назад происшедшем взрыве, о каких-то девяти туристах, погибших в тайге при странных обстоятельствах: будто бы что-то разбудило их ночью в палатке, отчего они разбежались в разные стороны, изрезав палатку ножами. Когда их нашли, никаких следов насилия не было, однако их мертвые лица были искажены ужасом. Мы гадали, что бы это могло быть. Но мало ли какие мистические истории рассказывались у костров.

Однако, случай с погибшими туристами к этим историям не имел отношения. Он был проще и страшнее. Туристы оказались слишком близко от места взрыва ядерного реактора и погибли от удушья.

«КЫШТЫМСКАЯ АВАРИЯ»

Из рассекреченных документов (Интернет)

«29 сентября 1957 года в 16.20 недалеко от города Кыштыма на предприятии первого в стране плутониевого производства химкомбинате «Маяк» из-за выхода из строя системы охлаждения произошел взрыв емкости объемом 300 кубических метров, где содержалось около 80 куб.м. высокорadioактивных ядерных отходов. Взрывом, оцениваемым в десятки тонн в тротиловом эквиваленте, емкость была разрушена, бетонное перекрытие толщиной 1 метр весом 150 тонн отброшено в сторону, в атмосферу было выброшено около 20 млн кюри радиации. Часть радиоактивных веществ были подняты взрывом на

высоту 1-2 км и образовали облако, состоящее из жидких и твердых аэрозолей. В течение 10-11 часов радиоактивные вещества выпали на протяжении 300-350 км. В зоне радиационного загрязнения оказалась территория нескольких предприятий комбината «Маяк», военный городок, пожарная часть, колония заключенных и далее территория площадью 23000 кв.км. с населением 270000 человек в 217 населенных пунктах трех областей: Челябинской, Свердловской и Тюменской...»

Теперь, когда тайное стало явным, этот взрыв называют «Уральским Чернобылем».

Но взрыв реактора не был началом трагедии. Трагедия началась раньше, в 1947 году, когда в закрытом городе Озерске, которого до 1990 года не существовало на картах, был запущен химкомбинат «Маяк» с его ядерным реактором.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ:

«... Сбросы радиоактивных отходов в открытые водоемы, которые осуществлялись химкомбинатом «Маяк» с первых лет его деятельности (1948), привели к массовым заболеваниям местных жителей, к серьезной экологической катастрофе. Поступление радиоактивных веществ в реку Теча началось почти сразу после пуска первого ядерного реактора, так как менее чем через полгода после пуска были полностью заполнены хранилища жидких высокоактивных отходов первого промышленного реактора, а к концу 1949 года аналогичная ситуация сложилась на радиохимическом заводе. Сбросы именно этого производства явились главным источником загрязнения реки. В реку Теча также сбрасывались воды, использовавшиеся для охлаждения хранилищ радиоактивных отходов. Таким образом, в водную среду поступали все радионуклиды из отходов плутониевого комбината. Ситуация осложнялась тем, что река весьма активно использовалась местным населением для водоснабжения, содержания домашней птицы и рыболовства.

Население на радиоактивно загрязненных территориях, испытывая постоянную морально-психологическую напряженность, оказалось практически не защищенным со стороны государства, которое по сути дела является виновником многих бед и страданий этих людей. Более того, под покровом неразглашения государственной тайны центральные и местные органы власти на протяжении десятилетий искусственно сдерживали социально-экономическое развитие пострадавших от радиации районов, введя там особый режим секретности.

Радиоактивными отходами, опасными для жизни и здоровья населения, всей окружающей среды, оказалась загрязненной мощная, открытая в мировой океан система Теча – Исеть – Тобол – Иртыш – Обь – Карское море – Ледовитый океан».

Но ничего этого мы не знали.

Новая стоянка на берегу реки Тагил. Река тут мелкая, но очень быстрая. Дно – сплошь из крупных камней. На перекатах вода бурлит, купаться страшно, может потащить и ударить о камни. Начальство вообще не рекомендует купаться из-за радиации, но мы уходим подальше, где течение поспокойнее, и купаемся, а заодно стираем бельишко.

Вокруг – дремучий таежный лес. Завалы сухих деревьев. Без топора не продерешься. Сейчас снимаем изображения со скалы под названием «Змеев камень». Рисунки довольно низко, к тому же скала расположена террасами, так что работать не трудно. Этим занимаются Рыжий и Толя Новиков. Остальные – на подхвате. Валерий Николаевич, Ванда Иосифовна и Миша с утра сидят вокруг раскладного алюминиевого стола, обрабатывают полученные материалы, переводят их с кальки на ватман, что-то горячо обсуждают. Миша сказал нам, что сегодняшние рисунки – большая удача: на скале изображена вынырывающая из воды птица, а над ней видны два гребневидных знака, которые символизируют небесный свод. В прафинно-угорской мифологии водоплавающая птица играет роль создателя мира. В разных вариантах мифов одна из этих птиц – утка, гагара или кулик – ныряет на дно первичного океана и достает со дна кусочек ила, из которого впоследствии разрастается земля со всеми людьми и животными.

К вечеру начался ураган с градом. У Стасика и Сашки протекла плохо натянутая палатка. Стасик и Сашка тут же поругались. Один орал на другого, что тот не умеет выбирать палатки, другой – что тот не умеет их ставить. Ругались они грязно, по-блатному. Хватались за рукоятки ножей, сдавленным шепотом повторяли:

– Ну, пойдем один на один. Пойдем! Ну?

Остальные пытались разжечь костер. Все вокруг было мокрым. Старый пенёк лиственницы, обложенный мокрыми сучьями

и хворостом, шипел и не разгорался. Даже у Миши, опытного таежника, не получалось.

Из темноты возник Валерий Николаевич. Подошел к шипящему и дымящему кострищу и начал петь на мансийском языке что-то протяжное, совершая при этом какие-то странные движения.

И вдруг хворост вспыхнул, а из сердцевины пня, как из трубы, рвануло пламя.

Миша Косарев победоносно обвел нас взглядом. В этом взгляде было: «Ну?! Что я вам говорю?»

Тучи ушли, и на небо выплыли звезды.

Валерий Николаевич повернулся спиной к огню. Ветер шевелил венчик седых волос на его голове. Только этот благородный венчик вокруг лысины напоминал сейчас о принадлежности нашего начальника к научному миру. Искры оседали на его кожаной куртке в белых трещинах от старости. Ванда расположилась на лежащем стволе, подложив под себя подушечку.

Миша Косарев прочитал с выражением:

Папочка и мамочка под деревом сидят,
Папочка и мамочка детям говорят:
Африка ужасна,
Африка опасна...

– Не так! – торжествующе обернулся к нему Валерий Николаевич.

Африка ужасна, да-да-да!
Африка опасна, да-да-да! –

вы пропустили «Да-да-да», Миша! И если уж мы заговорили о поэзии, то я вам сейчас прочту нечто более высокое, вот послушайте:

Три дня купеческая дочь
Наташа пропадала.
Она во двор на третью ночь
Без памяти вбежала...

И до самого конца прочитал длинное мистическое стихотворение Жуковского.

– Здорово! – восхитился Стратулат. – Вот, Косарев, это тебе не папочка и мамочка!

– Я и всего «Евгения Онегина» знаю наизусть, – простодушно похвастался Валерий Николаевич.

Ванда Иосифовна произнесла с великолепным снисходительным снобизмом:

— И при этом ужасающе безграмотен! Когда он за мной ухаживал и писал мне письма, то в слове «еще» ухитрился сделать четыре ошибки.

Профессор на это ничего не возразил, только виновато улыбнулся.

Выпили чайник, вскипятили второй. Не хотелось расходиться. Пили чай и смотрели на звезды, которые то и дело падали, прочерчивая ночное небо короткими линиями. Рассказывали разные истории, на этот раз без всякой мистики. Миша Косарев рассказал, как он после института работал по распределению учителем и директором сельской школы в Казахстане и как насаждал там культуру. Прежде всего, он решил построить уборную, поскольку таковой в школе не было, и ученики, а также и учителя, бегали совершать отправления где придется, в результате чего всё вокруг школы было загажено. Уборную построили силами самого директора и трех старшеклассников. Место ей определили в углу школьного двора, каковое место она собой очень украсила. Это было почти произведение искусства. Поверху оно было украшено орнаментом, вырезанным лобзиком из фанеры. Внутри тоже всё было очень грамотно устроено. За смелый шаг по внедрению культуры в сельский быт Миша и его помощники получили грамоту от райкома комсомола. Но новаторское строение просуществовало недолго: школьный бык почему-то не принял культурного начинания и однажды, разбежавшись, поддал его рогами, отчего хрупкое строение развалилось, открыв взору директора и всех присутствующих сидящую орлом учительницу химии Марию Сократовну Бланк, которая, смутившись, встала и вежливо обратилась к директору: «Здравствуйте, Михаил Федорович!»

Миша рассказывает свои истории не улыбаясь, мрачным, глухим голосом, с назидательным видом, словно ведет урок в классе. Эта его обстоятельная, с подробными деталями манера в сочетании с диковатым, массивным обликом делают его истории особенно смешными.

Утром к начальнику подбежали, вытаращив глаза от возбуждения, Стасик и Сашка.

– Валерий Николаевич! Там дикие утки! – заорали они, указывая на Тагил, по которому действительно плавали две утки.

У ребят было умоляющее выражение лиц. Но было еще только одиннадцатое августа, а сезон охоты начинался пятнадцатого, и Валерий Николаевич не разрешил стрелять птиц.

Это не подействовало на мальчишек. Стасик схватил мелкашку, подкрался к берегу и прицелился.

– Не стреляй! – сказал Миша Косарев. – Кажется, это домашние утки!

Но Стасик выстрелил и попал.

Тут все увидели, что на том берегу стоят две деревенские бабки и на нас смотрят. А потом повернулись и, помахивая прутиками, отправились в деревню.

Чаепитие протекало при гробовом молчании.

После чая в лагерь пришел из деревни мужик, подошел к Стасику и укоризненно произнес:

– За что утку-то убил?

– Понимаете, – заюлил Стасик, – я не хотел ее убивать. Я целил в воздух. Но я промахнулся...

Владелец утки запросил 25 рублей. Ему дали.

Стасик взял ледоруб и полез на скалу.

– Валерий, нужно с ним очень строго поговорить, – решительно сказала Ванда Иосифовна. – Он распустился. Ты сможешь с ним строго поговорить?

– Постараюсь, – ответил Валерий Николаевич.

– Да? – сказала Ванда Иосифовна, и голос ее дрогнул. – Но слишком-то строго не надо, хорошо? А то мне уже его жалко.

Через час со скалы спустилась понурая фигура с ледорубом.

– А ты вообще-то сможешь строго? – спросила Ванда.

– Еще как! – не очень уверенно ответил Валерий Николаевич.

– Да? Ну, тогда я лучше уйду.

И Ванда Иосифовна ушла в свою палатку.

На ужин у нас была жареная утка.

Мы едем на север. Цель – Чертово городище, культовые пещеры на реке Сосьве.

Наш ГАЗ-63 едва ползет по дороге. Это старый Верхотурский тракт, настолько разбитый, что приходится то и дело ос-

танавливаться и подкладывать под колеса сучья и доски, оставшиеся от полусгнившей лежневки.

В городке Верхотурье запаслись продуктами, куревом и водкой. В этом городке Валерий Николаевич показал нам древний (конец XVI века) полуразрушенный кремль и того же времени монастырь, обнесенный колючей проволокой: в нем колония для малолетних преступников. На выезде Валерий Николаевич показал городище и сказал, что оно уже погибло для археологии: там сделали карьер.

Ночевали на поляне рядом с крохотной речушкой, на желтой воде которой сварили гречневую кашу и вскипятили чай. Утром подобрались к наскальным рисункам. Работа оказалась довольно сложной из-за многочисленных сколов породы. Работали целый день. Утром поехали дальше.

Мы на берегу реки Лобвы. Здесь писаницы оказались почти выветрившимися, но все же мы сделали, что могли. Вокруг — густая тайга, гигантские кедры. Миша рассказал у вечернего костра, как в прошлом году он шел, примерно в этих местах, один и вдруг почувствовал необъяснимый ужас. Такой, что не мог сделать ни шагу. Руки-ноги отнялись. Так и простоял всю ночь, прижавшись спиной вот к такому кедру. До сих пор не понимает, что это было.

Валерий Николаевич объяснил это тем, что Миша, по всей вероятности, встретился с жителем другого мира. Когда человек умирает, то шаман особыми ритуальными приемами отправляет душу умершего по особой тропе в посмертное обиталище — в верхний или нижний мир. Но иногда в умершем человеке остается частица жизни. И он бродит по «среднему», то есть нашему, миру. Это зимогоры, полумертвецы. Они во всем похожи на людей, кроме одного: они принадлежат к миру мертвых. Они бывают агрессивны, но боятся резкого звука. Если житель «среднего» и «мертвого» миров близко подойдут друг к другу, то пространство, где произошла такая встреча, наполняется субстанцией ужаса. Очевидно, Миша попал в такую субстанцию.

— А как узнать, что он мертвец, если встретишь? — спросил Сашка.

— Если встретишь — узнаешь, — мрачно сказал Стасик.

— Да, — согласился профессор. — Бывает, что на интуитивном уровне. Но чаще узнаёшь в нем человека, про которого знаешь, что он умер.

И он рассказал, как однажды встретил такого. Это было на берегу Тагила. Из-за сопки вышел рыбак, который год назад утонул в реке, ударившись головой о камень. Когда его нашли, у него был только один сапог. И вот он стоит на тропе в одном сапоге и не дает пройти. Прижимает к берегу, хочет загнать Валерия Николаевича в воду. Тогда Валерий сорвал с плеча ружье и выстрелил в воздух. И зимогор сразу исчез.

— Валерий, перестань про зимогоров, зачем ты их пугаешь? — попеняла Ванда Иосифовна.

— Ладно, не буду, — покладисто согласился Валерий Николаевич.

Больше в этот вечер о мертвецах не говорили.

Мы в Карпинске — маленьком промышленном городке. Типовые пятиэтажки, гастроном, очередь к кассе. Обычная городская жизнь, неторопливо ползущее время. И сумасшедшее чувство, как будто мы на минутку залетели сюда из другого времени, из другой жизни, где живой человек может встретить мертвеца, где можно попасть в субстанцию ужаса, где ученый-шаман у всех на глазах без единой спички заставляет вспыхнуть огонь. Вот сейчас мы снова погрузимся на свой потрепанный космический корабль — и вперед! Вернее — назад, в волшебное таинственное прошлое!

Машина буксует. Мы слезаем, подкладываем ветки под колеса, рубим хвою, наваливаемся сзади, ищем объезды.

Темнеет. Коля включает фары. Дорога вся в болотных кочках, по обе стороны — глухая молчаливая тайга. Машина крепится с боку на бок, мотор ревет.

Утром добрались до Североуральска, но заезжать в город не стали, хотя не мешало бы пообедать. Всем хотелось успеть еще сегодня доехать до места. День холодный, ветер с дождем. Но мы скинули ватники и засучили рукава. Мы почти не садились в машину, все равно каждую минуту надо было вылезать и гадать дорогу.

Ванда Иосифовна сидела в кабине и читала «Войну и мир».

Принципиально. Дело в том, что утром произошло совещание: Ванда Иосифовна настаивала, что нужно вернуться, так как дорога совершенно непроходима.

Решающий голос был у Коли Стратулата. Он имел право отказаться ехать по такой дороге. Все ждали, что он скажет. Коля оказался на высоте. Он заявил:

– Мне, вообще-то, до вашей археологии дела мало, но раз уж столько проехали – обидно возвращаться.

Ребята сияли, жали Коле руку. Вообще, Коля-шофер – это совсем не то, что Коля-человек. В жизни он пошловат, обидчив, разозлившись, впадает в агрессию. Но за баранкой он преображается. У него становится напряженное, мужественное лицо, и даже что-то в нем мелькает от Бимбы из фильма «Плата за страх».

Проблуждав некоторое время (в прошлом году Валерий Николаевич и Миша Косарев пробирались к пещерам пешком, а как подъехать на машине – не очень представляли), сделав крюк в двенадцать километров, добрались до Тенькина – крошечной деревеньки в несколько домов, где жители собирают живицу.

Голодны мы были, как звери. На последней струне доварили кашу, сунули туда тушенку и начали есть. А наевшись, поставили палатки и уселись у костра. Сушили носки, обувь. От них и от мокрой и грязной одежды валил пар.

Завтра – пещеры!

Мы шли через горелый лес, заросший высокими красными цветами иван-чая. Этот цветок любит расти на местах лесных пожаров. Из земли торчат только обгорелые пни и стволы.

Расколотые, в трещинах, заросшие кустарником скалы образуют гроты, цирки, колодцы.

И вот оно – Чертово городище. Еще это место называют Прорвой.

По религии манси души мертвых уходят в свои подземные миры через пещеры. Поэтому тут оставляли снаряжение, пищу, чтобы обеспечить покойника в его долгом путешествии. Археологи находят здесь и кости древних животных. В прошлом году Косарев нашел кость древнего носорога.

Душа покойника не сразу попадает в пещеру, а идет от места своей смерти по невидимой тропе мертвых. Плохо, если на такой тропе он случайно встретится с живым человеком: мертвец уведет живого с собой, в мертвый мир.

Подходим к отверстию, едва заметному сквозь кустарник. Привязываем к дереву капроновую веревку. Рыжий берет конец веревки и, взяв фонарь, первым лезет в отверстие. За ним, держась за веревку, Толя, Рита, Стасик, Сашка и я. Подбадривая себя песней: «Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был, в таинственной стране Мадагаскар...», — становимся на четвереньки и протискиваемся. Мокрая галька режет ладони и колени. Она быстро сменяется льдом. Вот уже можно идти согнувшись, потом встать во весь рост и, держась за узкие стены, осторожно продвигаться по коридору. Ноги по шиколотку в ледяной воде... Стены опять сжимаются, потолок опять низко нависает над головой. Почти ползем в липкой ледяной грязи.

Крик впереди:

— Осторожнее!

Веревка натягивается. Это Рыжий, ползущий впереди, прыгнул куда-то. Спускаемся и мы в колодец, примерно метр глубиной, от него снова — извилистый коридор. Жуткое чувство замкнутости пространства. Оно становится почти невыносимым, когда поперек узкого прохода возникла преграда в виде огромного камня. Не обойти, не перелезть. Можно только протиснуться в щель под ним.

Рыжий подкапывает, расширяет щель саперной лопатой. И медленно-медленно (вдруг заклинит) лезет в отверстие. Пролезли и остальные. Моя очередь. На животе, как червяк, извиваясь, лезу. Прижимаюсь к земле всем телом, чуть не лицом. Вжимаюсь и ползу. Это по таким вот тропам уходят в свои нижние миры души мертвых? Не позавидуешь.

Но мне еще больше не позавидуешь: душа-то бестелесна, а у меня вполне материальный и довольно толстый зад, который застревает в щели. Дергаюсь изо всех сил — камень сдирает кожу, но это ладно, главное — пролезла.

Представить себе, что ты осталась тут одна, вот так, ни туда ни сюда, зажата со всех сторон... Нет, лучше не представлять.

И вдруг стены исчезают и мы входим в громадный грот. От пола поднимаются прозрачные ледяные сталагмитовые колонны. При свете фонаря они блестят и мерцают. Потолка не видно – только сужающиеся черные своды. Стены покрыты крупными ледяными кристаллами, опущенными снегом. Дотронешься, они падают с музыкальным звоном.

Холодно и прекрасно, как во дворце у Снежной королевы.

...Ну и видик был у нас, когда мы вылезли из пещеры на свежий воздух! Сказать, что мы были мокрые и грязные, – значит, ничего не сказать. Мы были бледные, с расширенными глазами и ужасно возбужденные. Ненормально громко разговаривали и нервно хохотали.

Целый день мы провели на Чертовом городище. У нас были с собой чайник, хлеб, сахар.

Миша Косарев копал в том гроте, где в прошлом году выкопал кость носорога, увлекся и не захотел возвращаться в лагерь. С ним остались Толя и Сашка со Стасиком.

На следующее утро мы с Валерием Николаевичем и Стратулатом пошли к ним, отнести им поесть и узнать, как дела.

Миша был в упоении – находил все новые и новые кости.

Вначале, когда он сдавленным голосом произносил:

– Кажется, кость! – все кидались к нему, рассматривали, ахая и качая головами, гигантские позвонки этого самого носорога. Любовно заворачивали в бумагу, надписывали и клали в мешок. Но кости следовали одна за другой. Мослы, бабки, зубы, ребра так и летели из грота к выходу. Их уже не заворачивали, а прямо так кидали в мешок.

– Ну, хватит, Косарев! – кричал Рыжий. – Кончай! Ты что, всего носорога решил выкопать? Имей в виду, мешок с костями я не понесу!

Но Косарев никак не мог оторваться. Копал и копал. Наконец он взмолился:

– Вытащите меня отсюда!

Сам он вылезти не мог: душа сопротивлялась.

Вечером была баня. Горячий полок, березовые веники, которыми мы с Ритой и Вандой Иосифовной хлестали друг друга, раскаленные камни, шипящий пар... А после бани – миска дымящейся картошки, чай у костра, по полкружки водки,

махорочные сигареты (кроме Ванды Иосифовны — она курит «Фемину»), песни, анекдоты.

Валерий Николаевич рассказывал о том, как несколько тысяч лет назад одно из мансийских племен мигрировало в западном направлении и после многолетних странствий осело на территории будущей Венгрии, образовав ядро населения со своим языком. Когда Валерий Николаевич ездил в Венгрию на научную конференцию, то довольно свободно общался там по-венгерски, потому что этот язык до сих пор имеет много общего с языком манси.

Мы едем дальше, в сторону Нижнего Тагила. Погода меняется. Днем тепло, а ночью — мороз самый настоящий: вода в чайнике замерзает. Вечером в спальный мешок забираешься, а там — ледяной холод. А всего-то еще — конец августа.

Не доезжая до Нижней Туры, мы прочно застряли в болоте.

Попробовали вытащить машину лебедкой — оборвался трос. Подсунули под задний мост бревно, навалились на него все разом, пытаясь приподнять машину, чтобы подсунуть домкрат. Машина не приподнялась, а бревно переломилось, и все шлепнулись в грязь. Подсунули еще одно бревно. Раз-два, взяли! Еще взяли! Колесо чмокает, с трудом вылезает из грязи. Подсовываем под него сучья, дерн, стволики деревьев. Вагу вынимаем. Колесо, вроде, стоит. Но зато три других засосало еще глубже. Мошка ест зверски.

Вот тут мы были — единое целое. Каждый выжимал из себя все, что мог. Все грязные, руки в ссадинах, никто ничего не ел с утра, но когда мы с Ритой предложили перекусить, все отказались. Кончим, сказали, а уж потом. А то — никакого удовольствия.

Стемнело. Зажгли фонарь от аккумулятора

В ту ночь мы вытащили передние колеса, но задние совсем затонули.

Развели костер прямо на дороге. Воду взяли не то из болотца, не то прямо из колеи. Сварили лапшу с тушенкой, вскипятили чай. Открыли бутылку водки. Валерий Николаевич с Мишей и Стратулатом опрокинули свои полкружки и стряхнули в костер вспыхнувшие капли. Ванда Иосифовна от них не отстала. Приложились и остальные. Сашка и Стасик тут же сва-

лились и заснули. Так, сонных, Миша и Стратулат перенесли их в машину и укрыли спальными мешками.

А остальные, хоть и через силу, еще посидели у костра. Очень уж жаркий он был и красивый: горели доски, вывороченные из лежневки, и пень, большой и когтистый.

А небо было такое звездное, какого я и не видела никогда. Звезды были огромные, зеленоватые, холодные. От костра с треском отлетали искры.

Ставить палатки не было сил. Их просто расстелили на земле, на них, в ряд, — спальные мешки, забрались в них с головой, скорчились и отключились.

Утром все поднялись измученные, словно и не спали. Увидели: солнце прорывается сквозь деревья. Догорает костер. Спальные мешки покрыты густым инеем. Особенно толстый слой его лежит в изголовьях, от дыхания. От холода зубы сводит. Мышцы болят, ссадины и царапины на руках воспалились и саднят.

Ребята, небритые, опухшие от укусов мошки, не поев и не умывшись, снова взялись за работу. За ночь задний мост совсем утонул, колеса были еле видны из трясины. Но передние прочно стояли на досках.

Мы с Ритой сварили кашу и картошку, вскипятили чайник. И снова пошли помогать вытаскивать машину.

Наконец все четыре колеса твердо стояли на деревянных мостках. Коля сел в кабину. Мы навалились сзади. Мотор взревел, машина дернулась и — выехала на дорогу.

Надо было ликовать и кричать «Ура!», но все слишком устали и к тому же не сразу поверили в победу.

Все же «Ура!» прокричали, вернее, проблеяли хилыми головами.

Поели. Нагрузили многострадальную машину. На чем она только держится! На заднем мосту сломалась какая-то распорка, вместо нее вложили березовый чурбак. Острили:

— Медведь на липовой ноге, Стратулат — на березовом колесе.

Не верилось, что мы снова едем. Грузовик перед каждой лужей останавливался, Стратулат выходил из кабины и долго стоял, чесал затылок.

И вот мы выехали на грейдер и понеслись.

Как же это было здорово – нестись по ровному грейдеру и не бояться, что увязнешь! Все молчали, все думали. Очень хорошо думается при быстрой езде, и мысли все такие интересные. Жаль, что потом они забываются.

В Нижней Туре заправились бензином, накупили крупы, тушенки и пакет еще теплых пирожков с капустой. И поехали дальше, поглощая пирожки.

Машина неслась. Мы по горло закутались в спальные мешки. Только лицо оставалось открытым, его ломило от мороза и ветра.

В час ночи мы добрались до горы Медведь-камень и расположились лагерем на берегу Тагила.

Утром долго спали, потом мылись, стирали, просто валялись в палатках, читали, писали письма. Стратулат въехал на машине в реку и вместе с Сашкой долго и тщательно мыл, счищал с грузовика многодневную грязь. Но и после купания машина не стала выглядеть как новая. Очень потрепанный был у нее вид. Ей требовался ремонт.

Толя и Рита ушли в деревню Большая Лайя за хлебом и картошкой.

Скала Медведь-камень совсем рядом, но на том берегу реки, и подобраться к изображениям можно только на лодке. Рисунки в бинокль видны довольно четко. Просматривается фигура медведя, что, по словам Валерия Николаевича, большая редкость. За все время изучения писаниц он нашел всего несколько изображений медведя. Он считает, что это связано с табуированием этого зверя у манси. Медведь – существо особое, король леса и родоначальник видов. Медведь после смерти может вернуться из своего небесного дома и наказать виновного в его смерти.

К вечеру Косарев пригнал из деревни дряхлую лодку, из всех щелей которой сочилась вода. Миша как-то ухитрился добраться на ней до лагеря, одной рукой, с шестом, отталкиваясь от дна, а другой, с ведром, вычерпывая воду. На следующее утро, вооружившись скальными крючьями, рисовальными принадлежностями и прочим, Миша с Валерием Николаевичем

чем, Толей и Рыжим переправились на тот берег и работали до темноты.

Утром отправились дальше.

Путь лежал через Нижний Тагил, куда нам нужно было захватить — купить литров двести бензина, заправится и взять с собой впрок. Дорога — асфальтовое шоссе.

Еще не доезжая до города, мы увидели черное зарево от дыма его заводов.

На нефтебазе нам в бензине отказали, и мы поехали искать бензозаправочные колонки. В поисках объехали весь город.

Вне города был солнечный день, а в городе — пасмурные сумерки.

Трубы, трубы, трубы заводов, весь город в дыму и в красной рудничной пыли. Едкая пыль поднимается от колес машины, оседает на скамейках, на крышах, на плечах прохожих. Деревья не зеленые, а рыжие, полумертвые. У людей бледные, опечаленные лица, воспаленные глаза, надсадный кашель.

По улицам с ревом несутся зеленые приземистые военные машины вроде броневиков. Всюду полно солдат. Куда ни сунься — запретная зона. Странно, что нас вообще сюда пустили.

Заводов в городе, кажется, больше, чем жилых домов. Отходы спускают по трубам прямо в Тагил. Вдоль всего города, невысоко над головами людей, параллельно земле тянутся трубы. Доходя до реки, они обрываются, и из них в реку льется черная, жирная — нет, не вода, а ядовитая жижа, а над ней поднимаются густые едкие испарения. От огромного количества вливаемых отходов река широко разлилась. Она окружает город почти со всех сторон, и город — словно в ядовитом кольце.

Неудивительно, что в Тагиле сдохла рыба и почернели водоросли на много километров от города.

Мы, наконец, купили нужное нам количество бензина и отправились дальше, в Свердловск.

Над нами снова было синее небо и светило солнце.

Купили в каком-то поселке теплого хлеба, масла и копченой грудинки, съехали на симпатичную поляну, развели костер и вскипятили чайник.

Как описать наслаждение голодного человека, когда откусываешь первый кусок и запиваешь чаем. Всё плывет куда-то, ничего не видишь вокруг, впадаешь в какое-то желудочное чувственное одурение. Ничего не существует, кроме этого кусочка свежего, душистого хлеба с маслом и грудинкой. Кажется, разорвись рядом бомба — а тебе все равно. Хлеб с маслом и копченой грудинкой — вот главное, остального не существует.

Это забытье проходит после первого бутерброда. Как из тумана постепенно начинаешь различать и воспринимать окружающее. Всё яснее и, наконец, между двумя глотками ты уже в состоянии произнести какую-то фразу. Тебе кто-то отвечает. И начинаются обычные разговоры, шутки, смех.

Загасили костер, убрали оставшиеся продукты в хозяйственный ящик и поехали дальше.

Асфальт кончился, опять началась разбитая, вся в ямах, дорога. Грузовик старался из последних сил, но вдруг — крак!

Привычно выскакиваем из машины и видим: деревянная распорка выпала, и кардан волочится по земле.

Чинились мы часа три, и в Свердловск въехали уже в сумерках, еле живые от усталости.

Наш явочный пункт — краеведческий музей. Он разместился в помещении бывшей церкви. Рабочий день кончился, музей закрыт. Разгрузились во дворе, и Стратулат тут же уехал в авторемонтную мастерскую чиниться, а мы огляделись. Бывший церковный двор — заплеванной, пыльный, с кое-где сохранившейся фигурной оградой. Переполненные мусорные контейнеры. Куча щебня. Ладно, лишь бы где-нибудь приткнуться и заснуть. Не привыкать под открытым небом.

Вдруг...

— Ванда Иосифовна! Дорогая!

— Вера Федоровна! Милая!

Чмок-чмок.

Вера Федоровна — директор музея, приятельница Ванды Иосифовны, явилась нам как ангел-спаситель. Разрешила расположиться на ночь в музее и там же поужинать. Ура!

Мы с Ритой сразу побежали за продуктами, пока не закрылись магазины. Мы были в прожженных ватниках, в грязных штанах, с запыленными лицами — на нас оглядывались. В гастрономе мы купили молока, сдобных пирожков, пирожных,

рулетов, слоек, плюшек, сырков в шоколаде. Осточертели каши, захотелось изысканной пищи. С двумя тяжелыми сумками вернулись в музей.

Входим в кабинет директора — и чуть не падаем от восторга: мягкие диваны, электрические лампы, кресла, книжные полки, телефон!

На диване нога на ногу сидит Валерий Николаевич. А за письменным директорским столом Миша Косарев читает «Известия». Косарев, этот таежный медведь, которого мы привыкли видеть не иначе, как свисающим со скалы на веревке, или пробирающимся с топориком по тайге, или сидящим у костра — и вдруг — в домашней обстановке, с блаженством на лице, за чтением периодики. Вот это был контраст!

А какой утонченный ужин был у нас в этот вечер: на бумажных салфеточках были разложены кондитерские чудеса, и мы запивали их кофе с молоком, сидя в сухости и тепле под люстрой.

Валерий Николаевич и Миша устроились в кабинете директора. Ванду Иосифовну Вера Федоровна увела ночевать к себе домой. Остальные постелили спальные мешки в бывшем алтаре (там сейчас отдел Советского периода), где у входа стояли во весь рост белые статуи Ленина и Сталина. Так мы и спали под охраной двух каменных вождей.

Решено было оставить в музее на хранение основную часть материалов, чтобы не подвергать их дорожному риску, а потом переправить в Институт посылками. С утра Валерий Николаевич, Ванда Иосифовна и Миша занялись сортировкой и упаковкой, а мы с Ритой умылись и приоделись как могли: Рита надела сравнительно чистую ковбойку, я — сравнительно чистый свитер. Толя Новиков в водолазке и штормовке еще кое-как смотрелся, а остальные и не думали переодеваться.

Прежде всего, мы отправились на главпочтамт получать письма до востребования. В спину нам неслись разного рода замечания, смысл которых сводился к тому, что мы — стилиаги и не уважаем людей. Особенно досталось нам с Ритой за то, что мы в брюках. А мы шли по улице Либкнехта, гордые, свободные и богатые (Валерий Николаевич выдал каждому из нас по тридцать рублей из причитающейся нам зарплаты), и чувствовали

себя героями Джека Лондона: мы скитались, исследовали культовые пещеры, спали под звездами. Наша обувь стерлась на скалах, одежда прогорела у костров, лица закоптились, волосы выгорели. И вот мы вернулись в цивилизованный мир, еще очумелые от впечатлений, и завтра опять уйдем в тайгу, а они что?

На вопрос, где тут ресторан, проходящая тетка сказала:

— Тут, за углом, только вас не пустят.

Однако нас пустили. Поняли, наверно, что мы, хоть и оборванцы, но богатые оборванцы. Вежливо предложили сдать верхнюю одежду (драные ватники) в гардероб. Мы сдали и заняли большой стол в центре зала.

Господи, зеркала! Хрусталь! Белоснежная скатерть!

Посетители за соседними столиками — кто с любопытством, кто с неодобрением — поглядывали на нас из-за газет.

Мы заказали коньяк, вино, салаты, закуски и мясо.

Как же это было здорово — сидеть в ресторане первого класса, есть лангет с картофелем-фри, пить коньяк из пузатых рюмок и вино из высоких бокалов!

Присоединившийся к нам Миша Косарев показывал фотографию своей годовалой дочки.

Рыжий преподнес нам с Ритой букет астр. И все мы в эти минуты были счастливы и очень любили друг друга.

После ресторана Рыжий убежал на вокзал за билетом: он получил извещение из деканата, что ему нужно срочно ликвидировать два хвоста, иначе его отчислят.

Миша вернулся в музей разбираться в научных материалах. Сашку и Стасика потянуло в сон, и они ушли с Мишей. А мы с Толей и Ритой до вечера гуляли по Свердловску, заходили в книжные магазины и универмаги, ели мороженое, пили газировку и говорили о том, как это хорошо — вернуться после скитаний к цивилизации. Толя сказал, что в этом, в сущности, весь смысл и вся прелесть таких экспедиций.

А рано утром на починенной машине мы ехали к месту нашей последней стоянки, до которой было 140 километров, — на речку Серьгу. Днем мы пересекли границу Европы и Азии. До этого мы были в Азии, а теперь въехали в Европу.

Скала нависла над самой рекой. Она была не просто отвесная. Она стояла почти под острым углом к воде. О чем только думали эти древние художники, рисуя свои знаки на такой малодоступной скале, в двадцати метрах от земли, вернее от воды, потому что скала уходила основанием прямо в реку, узкую, светлую, прозрачную, с таким быстрым течением, что видно было, как на дне шевелится мелкая галька. Вокруг больших белых валунов вода пенится, бурлит, образует водовороты и перекаты. Похоже, что когда-то там, наверху, на скале, был уступ, но потом он рухнул в воду, чуть изменив течение.

А рисунки, как назло, четкие, как будто и не прошло нескольких тысяч лет с того времени, как их нарисовал древний художник. Два человечка, олень и еще какие-то изображения, плохо просматриваемые за острыми гранями выступающих камней.

Первая ночь на Серьге была пасмурная, с дождем, но утро наступило солнечное и жаркое. Мы с Ритой пошли к речке умыться. Сотни мальков крутятся у самого берега. Опустить руки в воду — они кидаются врассыпную, а через минуту снова подплывают, щекочат ладони.

Это первая река на нашем пути, где есть рыба.

Мы с Ритой сидели на корточках и любовались рыбками. Вода такая прозрачная, что у самых маленьких рыбешек виден каждый плавничок.

Я сбегала принесла хлеб. Мы кидали в воду куски и смотрели, как рыбки рвут их на части. Мне отчего-то жалко было этих мальков. Представилось, что их мамы-рыбы перед смертью эвакуировали своих детей по ручьям и протокам в эту чистую, не отравленную речку. А сами они плыть с ними не могли и умерли в Тагиле и в других реках, отравленных радиацией.

А в Серьге теперь детский дом, и рыбкам тут хорошо.

Срубили высокую сосну, обрубали ветки. Закрепили петлю и принялись медленно подводить верхушку ствола к изображениям. Комель опустили в воду и начали укреплять его между камнями. Это было непросто: камни скользкие, тяжелые. Мы несколько часов простояли в воде. От мошки не было спасения. Но вроде укрепили надежно. Миша Косарев обвязался страховочной веревкой и, цепляясь за сучки широкими

шароварами, неуклюже полез к рисункам. Сверху веревку держал Стратулат.

Момент был напряженный. Миша мог поскользнуться на мокром стволе, да и сама скала после дождя была скользкая.

Но напряжение было внутреннее, а внешне — играли в беззаботность, острили, смеялись над тем, что в этой научной экспедиции наука составляет ничтожный процент, а главную работу совершают циркачи-эквилибристы.

Миша Косарев добрался до изображений. Он и тут, на дереве, держался со свойственной ему важностью.

— Что вы там видите, Миша? — крикнула снизу Ванда.

— Я вижу восходящее солнце, оленя и двух человечков. Причем левый человечек значительно красивее правого. У правого исключительно гнусный вид. Он просто уродлив.

— На кого похож? — спросил Сашка.

— На Стратулата, — подумав, ответил Миша.

— Ах ты, негодяй! — закричал сверху Стратулат. — Я вот сейчас обрежу веревку!

— Ну что ты, я ведь пошутил, — заискивающе ответил Миша.

И тут — то ли он сделал резкое движение, то ли это произошло само собой — ствол под ним начал медленно сползать вбок вдоль скалы. Стратулат изо всех сил натянул страхующую веревку. Миша, полуповиснув, одной ногой держался за ствол, другой искал на скале точку опоры. Ствол, проехав немного, ненадежно удержался на каком-то выступе.

— Спускайся давай! — закричали Мише снизу.

— А вы все давайте быстро в сторону! — отвечал он.

Миша благополучно спустился в воду. Едва он успел выйти на берег, ствол дрогнул, начал все убыстряющееся движение и рухнул в реку с грохотом и брызгами.

Обошлось без жертв, если не считать разодранных Мишиных шаровар да стертых до крови веревкой ладоней Стратулата.

Пока начальство решало, что делать дальше, остальные занимались кто чем.

Из палатки Стасика и Сашки доносилось:

— Что козыри? Крести? Вот тебе шестерка!

— Так, да? А мы ее вольтом!

- Козырного вольта даешь? Ну и дубина!
- А ты чего в мои карты глядишь?
- Нужны мне твои карты!
- Не хепешишься, жлоб!
- От жлоба слышу!

Я ушла по берегу реки и села на ствол березы писать письмо. Так увлеклась, что чуть не проморгала грозовую тучу. Сунула блокнот за пазуху и – бегом в лагерь. Только успела влезть в палатку – начался дождь.

В палатке – Толя и Рита. У Толи голова забинтована. Оказывается, на него сверху, со скалы, упал камень. Если бы по макушке – мог бы убить. Но камень только скользнул по темени и отскочил в плечо.

Толя лежал в спальном мешке, бледный, кровь просочилась сквозь бинт. Его знобило. Рита читала ему вслух «Ирландские саги». Потом она размотала повязку, насыпала на открытую рану горсть размолотого стрептоцида и снова забинтовала. Укрыла Толю поверх мешка двумя байковыми одеялами.

Как ловко у нее получается всё, за что она ни возьмется. Вот и сейчас – без спешки, без истерики, и даже подсмеиваясь над Толей за то, что он так побледнел.

Наутро Толе стало лучше, но он ослабел от потери крови. Да и состояние у него было подавленное. Ему казалось, что он всех подвел, стал для всех обузой...

– Хватит тебе, – сказала Рита. – Ну что ты мелешь? И вообще, перестань киснуть.

Над костром варилась картошка. Рита сидела на камне, близко к костру, и пила из кружки горячий чай. От кружки поднимался пар и обволакивал ее лицо. Рита была в штормовке с поднятым капюшоном. Из-под капюшона блестели глаза. Рита грела руки о горячую кружку. Она ничего не делала, о чем-то думала, но и в этом было действие, чувствовалась энергия. Она была похожа на героиню из рассказов Джека Лондона, на маленькую хозяйку большого дома.

Подошла Ванда Иосифовна. Рита спросила:

– Ванда Иосифовна, когда мы отсюда снимемся? Я к тому, что продукты кончаются.

— Думаю, завтра начнем сворачиваться, — ответила Ванда, — завтра уже десятое сентября, а нам надо быть в Москве самое позднее четырнадцатого.

— А изображения? — спросила Рита.

— Что ж делать. Придется оставить. Обидно, конечно.

— Можно попробовать сверху спуститься, в беседочной петле, — сказала Рита. — Я посмотрела: сверху до самых рисунков спуск почти ровный.

— Валерий Николаевич тоже так считает, но проблема, кого спустить? Косарев слишком тяжелый, мальчишки только напортачат, у Ани нет практики, Рыжий — в Москве, Толя ранен. Валерию Николаевичу я запретила категорически, у него эти дни сердце побаливает. Если только вы, Рита?

— Мне эти дни нельзя, — сказала Рита. — Я думаю, Толя справится.

— Ну что вы! — Ванда даже возмутилась.

— Правда, он сможет! — Рита обернулась к палатке и окликнула: — Толя, пойдика сюда!

Толя подошел.

— Вот, смотри, — сказала Рита. — Ты садишься в беседочную петлю, а здесь, на груди, будет схватывающий узел. Таким образом, руки у тебя будут свободны, ты сможешь вбить скальные крючья и сделать помост. И снимешь изображения.

— Понимаешь, Рита, спуститься можно, — забормотал Толя. — Но...

— А что? Плохо себя чувствуешь? Голова болит?

— Нет, голова почти не болит, дело не в этом, а дело в том...

— Это совсем не страшно, — сказала Рита. — Вот смотри: вторая петля продернута под мышками. Ты как в люльке.

— Я не говорю, что страшно, Рит, но...

Ему было именно страшно. Это было написано у него на лице.

Как-то неловко было за Толю. И за Риту. Зачем она его унижает? Жестоко с ее стороны.

Должно быть, и Ванде стало неловко. Она пожала плечами и ушла. Толя сидел у костра, понурившись. Потом произнес:

— Рит, ну научи меня вязать этот самый схватывающий узел.

Когда Толя ушел, Рита мне сказала:

— Надо, чтобы Толька обязательно влез завтра на скалу.

— А голова? — спросила я.

— Клин клином вышибается. Если он завтра не влезет, у него навсегда останется чувство страха перед скалами. Это всегда так бывает при травмах. Надо, чтобы он сразу пересилил страх, а то потом уже не пересилит.

Трос обмотали вокруг ели, росшей наверху, у края скалы. Все мы собрались у края. Толю начали медленно спускать. Исчезли его плечи, забинтованная голова и, наконец, руки, крепко вцепившиеся в веревку.

... Теперь он не видел лиц. Он видел только серую стену, вдоль которой его медленно спускали. Он был один на один с этой стеной. Если обнаруживалась трещина или выступ — ставил ногу и тем облегал спуск. Скала крошилась или скользила под ногами. Тогда он повисал, веревка начинала раскачиваться, больно впиваясь в тело.

И вот, наконец, они — бурые рисунки на скале.

— Есть! — крикнул Толя.

... Он почти с ненавистью взглянул на рисунки. Вот из-за этих раскоряченных человечков, из-за этого схематического оленя и полукруга с лучами — рисковать жизнью?

Спустили кальку. Перед тем, как начать работать, он еще раз взглянул вверх, но ничего не увидел, кроме шершавой, в трещинах, стены и троса, показавшегося сейчас тонким и ненадежным. Взглянул вниз, увидел кипение воды вокруг камней — и к горлу подступила тошнота, голова закружилась. Захотелось закричать, чтобы его подняли. Он с трудом удержался. Сделал над собой усилие и перевел взгляд на рисунки, прямо перед собой.

Он больше не медлил. Работать! Поскорее закончить и подняться наверх, вздохнуть свободно, размяться, распустить веревки.

Он уперся коленом в стену и приложил кальку к рисунку. Ветер отгибал края кальки, приходилось придерживать ее свободной рукой. Ныло разбитое плечо.

Человечков он свел удачно, точно по контурам. Отметил штрихами сколы породы, обвел волнистой линией бесформенное

бурое пятно и написал: «Натёк охры». Свернул кальку, привязал ее к бичеве. Ее подняли, а вниз спустили чистую кальку. Можно было приступить к оленю и солнцу.

Ноги онемели. Он попытался переменить позу — чуть подвинулся вправо, к оленю и восходу. От этого движения веревочный мостик раскачался, пришлось обеими руками ухватиться за крюк.

Олень, нарисованный в профиль, смотрел на него точкой глаза.

Потом повернул к нему голову. Взгляд был спокойный и кроткий.

Это было похоже на то, как будто Толя на миг потерял сознание, а в следующий миг пришел в себя, но это было какое-то другое сознание. Голова не кружилась, плечо не болело, веревки не впивались. Он вообще не чувствовал своего тела, но видел всё очень четко.

Старый человек с узкими светлыми глазами, скуластый, рыжебородый, сидя на корточках на широком уступе, размешивал бурюю краску на куске коры, и тонкой лопаточкой наносил линии на белый камень стены.

Второй — юноша, не старше Толи, сидел, скрестив ноги, и острым камнем затачивал другую лопаточку. Одеты оба были в грубую кожаную одежду, руки обнажены, и Толя отчетливо видел шрамы на левом предплечье юноши, словно от когтей большого хищника.

Оба перебрасывались фразами на языке незнакомом, но каким-то образом Толе понятном. Речь шла о том, что надо торопиться, пока солнце не село. Молодой спросил: «Отец, ты успеешь до заката?» Старший ответил: «Не знаю» — и провел краской по камню яркую волнистую линию, под ней — еще одну. Вообще, все рисунки были очень яркие, их было много разных — какие-то рыбы, утки, иероглифы, треугольники. Надо их зарисовать, а то потом забудешь.

Олень сказал: «Не бойся, не забудешь».

То, что олень с ним разговаривает, — не казалось странным. Странным было то, что они друг друга видят и ничуть не боятся. Наоборот — Толя испытывает к ним дружелюбный интерес. И они спокойны. Никакой субстанции ужаса, о которой говорил профессор. Хотя он для них — дух из другого мира. Или, наоборот, они для него — духи из другого мира? Но если они духи, то

почему они так поразительно отчетливы, так грубо материальны? Он даже чувствует исходящие от них запахи — пота, шерсти, краски...

Толя вздрогнул от прикосновения к плечу какого-то легкого предмета. Это сверху спустили на бичеве еще один лист кальки, свернутой в рулон. Как в прерванный сон грубо ворвались голоса сверху: «Эй! Как ты там? Чего молчишь?»

Сразу заныло плечо и сдавило грудь от впившейся веревки.

Перед глазами на каменной стене — два нарисованных чловека, олень, полукружье солнца с лучами.

Толя поведал о том, что с ним случилось, с несколько даже шугливой интонацией, как о сне или галлюцинации. Он и сам не был уверен, что это с ним было. Но Валерий Николаевич увел Толю в свою палатку и выспросил всё, что тот видел, до мельчайших подробностей. Попросил воссоздать на бумаге все несохранившиеся рисунки. Он совершенно не сомневался в том, что Толя побывал в другой реальности.

Едва успели свернуть кальки — опять ливень, с молнией, с громом.

Ужинали в машине, под тентом, при свете лампочки от аккумулятора. Поставили посреди кузова хозяйственный ящик и сели вокруг. Разлили спирт по кружкам, выпили за окончание работы. Валерий Николаевич запел надтреснутым голосом своего любимого «Ланцова»:

...И повстречался он с девчонкой,
С которой три года гулял...

Мы с Толей и Ритой ушли в свою палатку. Зажгли свечку, забрались в спальные мешки и укрылись сверху байковыми одеялами. Дождь барабанит по брезенту, ветер воет. Рита читает «Магелланово облако». Мы с Толей курим, дым струится в огоньке свечи. И мне так хорошо, что кажется — не надо больше ничего — ни Москвы, ни какого-то там комфорта, ни каких-то там исканий. Всё найдено. Всё здесь, со мной, в этой палатке: люди, с которыми мне хотелось бы никогда не расставаться, так я их полюбила, так они нужны мне стали, весь этот таинственный окружающий мир...

...Когда девчонка та узнала,
Что Ланцов беглый каторжан,
Пошла, в сыскную заявила,
И он опять в тюрьму попал...

— Валерий Николаевич! — голос Ванды. — Не надо про Ланцова!

— Ладно, про Ланцова не будем, будем про что-нибудь другое!

Боже мой, будет ли мне еще когда-нибудь так хорошо, как бывало в эти вечера!

ЧАСТЬ III

Владимир Масс, мой отец: «Я всегда оставался самим собой...»

На очень четкой, наклеенной на картон фотографии конца девятнадцатого века — младенец в длинной рубашечке, из-под которой торчат пухлые ножки, сидит на руках у дородной молодой женщины, гладко причесанной на прямой пробор. «Это я со своей кормилицей». У него была кормилица?! Да он шутит, наверное. По моим представлениям, только богачи при капитализме нанимали кормилиц для своих младенцев.

Однажды — я училась классе в седьмом — мы с ним шли по улице, которая тогда называлась Проездом Художественного театра, а он упрямо называл по-старому: Камергерский переулок. Кивнув на большой двухэтажный особняк с мезонином, что напротив театра, отец сказал:

— Когда-то этот дом принадлежал твоему деду.

— Как это — принадлежал? — не поняла я.

— Так. Это был его собственный дом. Он перешел к нему по наследству от его отца, твоего прадеда.

— Они что были — б о г а т ы е?!

Для моего тогдашнего понимания «богатый» — было синонимом чего-то гнусного, презренного, с чем, слава богу, было покончено благодаря революции. Представить себе, что эти-ми буржуями, этими мистерами Твистерами были мои дед и прадед, — этого не могла принять моя пионерская душа.

— Да, довольно богатые. Дедушка не такой богатый, как прадедушка, но тоже вполне состоятельный. Купец первой гильдии. У него был еще один дом в Москве, в Сокольниках, он сдавал его в аренду, а в этом жил со своей семьей.

— И ты здесь жил?!

— Да, в детстве.

Дедушка — купец! Вот неприятность-то! Я готовилась к вступлению в комсомол — не хватало еще, чтобы на совете дружины возник вопрос о моем социальном происхождении. К счастью, обошлось. Никто не спросил. Да и спросили бы — я бы не сказала. Что я, дура, что ли?

Гоголевский бульвар, 21

Мой дед, купец первой гильдии, Захар Абрамович Масс, был женат дважды. От первого брака имел двоих детей, а после смерти жены женился на ее родной сестре, Марии Леонтьевне, и от нее родились еще трое — мой будущий отец, его брат Аркадий и сестра Соня. Мария Леонтьевна была из интеллигентной семьи, хорошо играла на фортепьяно, и после того как Великая Революция экспроприировала у них дом в Камергерском, дом в Сокольниках и все остальное, чем дед владел, дав взамен комнату в коммуналке на Гоголевском бульваре, 21, угол Сивцева Вражка, Мария Леонтьевна зарабатывала на жизнь частными уроками музыки. В этой коммуналке дедушка и умер в 1925 году. С бабушкой остались старшая дочь Катя от первого брака мужа и младшая дочь Соня. Катя работала врачом-стоматологом, Соня — машинисткой в редакции газеты «Правда». Аркадий окончил медицинский институт и стал впоследствии известным специалистом по лечению туберкулеза и астмы, профессором.

Первые, довоенные, встречи с бабушкой не помню — была слишком мала. А последняя запомнилась. Осенью 1943 года, вскоре после нашего с мамой возвращения из эвакуации, папа привел меня в тесную от мебели комнату с высоченным потолком, большим трехстворчатым окном с видом на Гоголевский бульвар. Бабушка сидела в кресле у окна, укрытая по пояс байковым одеялом. Она уже не могла ходить и почти не видела. Папа подтолкнул меня к ней. Не вставая, бабушка подалась ко мне, протянула руки, взяла мою голову дрожащими пальцами, притянула к своему лицу и поцеловала в лоб. Я испуганно отпрянула.

Представить себе эту дряхлую, беззубую, с жесткими колючими волосками на подбородке старуху в образе богатой купчихи, нанимающей своим детям кормилиц, — было невозможно.

Через несколько дней после нашего посещения бабушка умерла. Ей было 73 года.

Учитель рисования Марк Шагал

По скупым детским воспоминаниям отца учился он в гимназии очень плохо, и в шестом классе его исключили за неу-

певаемость. Огорченный папа-купец сказал сыну-двоечнику, что отдаст его в торговое училище, а потом пристроит к своему торговому делу.

Сын ответил, что не хочет заниматься торговлей.

— Чем же ты хочешь заниматься?

Сын сказал, что хочет стать художником.

— А ты уверен, — спросил папа-купец, — что будешь рисовать как Репин?

Сын ответил, что не уверен.

— Тогда какой же смысл?

Все же в торговое училище моего будущего отца не отдали. Может быть, благодаря настояниям интеллигентной мамы-пианистки.

Летом 1909 года моего тринадцатилетнего будущего отца отправили в Витебск к родственникам, Либаковым.

На фотографии 1909 года (удивительно хорошего качества были тогда фотографии) — большое семейство Либаковых на просторной веранде собственного деревянного дома, а может быть, дачи. Дети, молодежь, взрослые сидят и стоят дружной семейной компанией, а сбоку, на ступеньке, к ним неудобно пристроился сутулый, долговязый, грустный подросток — мой будущий папа. Рядом с ним стоит небольшого роста, складенькая круглолицая девушка с челкой до бровей, его семнадцатилетняя кузина, в которую он в то лето был влюблен. Странно, но моя мама очень на нее похожа. Может быть, витебская кузина определила для папы тот тип женской внешности, который всегда ему нравился.

Один из старших двоюродных братьев увлекался живописью и дружил с молодым художником по имени Марк Шагал. Они ходили на природу писать этюды и брали с собой моего будущего отца. И Марк Шагал показывал ему, как держать кисть, как смешивать краски, как добиваться глубины и воздушности на холсте и на бумаге.

Эту свою поездку в Витебск отец вспоминал часто и с удовольствием. Жизнь повела его по другому пути, сделала драматургом, сатириком-юмористом, но художник жил в нем всегда,

а в пожилом возрасте живопись стала для него в один ряд с литературной работой, а может быть даже на шаг впереди.

Мастерская Фореггера

У меня висит над столом карандашный портрет в тоненькой окантовке — это папа нарисовал маму в год их женитьбы, в 1922 году. Круглолицая девушка со вздернутым носиком, со светлой челкой до бровей, с наивными задумчивыми глазами. Она за год до этого приехала из Киева в Москву с мечтой об актерской карьере и играла в Театре современных масок при Московском Доме печати. Небольшой этот театр помещался тогда на Суворовском бульваре, 8, где сейчас Дом журналиста. Руководил коллективом Николай Михайлович Фореггер, режиссер, хореограф, художник, собравший под свое крыло столь же назаурядную, как и он, творческую молодежь, будущих знаменитых деятелей культуры. Музыка к спектаклям писал Матвей Блантер, оформляли спектакли Сергей Эйзенштейн и Сергей Юткевич, актерами театра были Борис Барнет, Тамара Макарова, Сергей Герасимов. Заведующим литературной частью был Осип Брик. Драматургом этого молодого коллектива стал Владимир Масс.

Попал он в этот коллектив так: перед самой революцией отец поступил на филологический факультет Московского университета, но после 1917 года оставил учебу, поскольку надо было на что-то жить. Он водил экскурсии по Третьяковской галерее, за что ему платили пайком, одновременно сотрудничал в театральных изданиях — писал рецензии на спектакли, заметки о разных культурных событиях, происходивших в Москве, посещал дискуссионные сборища, сам принимал в них участие, благоговел перед Маяковским, не пропускал его выступлений. Молодого критика заметили и взяли на службу в ТЕО (театрально-художественную коллегия), где его начальником стал Петр Семенович Коган, тот самый, о котором так пренебрежительно написал Маяковский («...Чтобы врассыпную разбежался Коган, встреченных увеча пиками усов»), несправедливо зарифмовав его фамилию со словом «погань». На самом деле, Петр Семенович был профессором МГУ, знатоком и переводчиком западно-европейской литературы, исто-

риком, критиком и вообще выдающимся деятелем советской культуры. Он обратил внимание на литературные способности молодого сотрудника и однажды сказал ему: «Массик! А почему бы вам не попробовать самому написать пьесу?»

«Массик» попробовал и написал пьесу «Народ Парижской коммуны». И отнес в театр Фореггера.

С этого началась его драматургическая деятельность. К Петру Семеновичу Когану он всегда сохранял благодарное чувство.

Театр назывался «Мастфор» – Мастерская Фореггера, но друзья переименовали его в «Массфор», справедливо соединив фамилии режиссера и драматурга в симбиоз.

Мастерская пользовалась большой популярностью в московских литературных и театральных кругах. Публику – в основном, это была голодная, неунывающая художественная московская богема – привлекали веселые злободневные обзоры, острые сатирические буффонады. Фореггер вводил в свои постановки клоунаду, акробатику, эксцентрику. Использовал старинный метод народного площадного театра масок, но в современной трансформации. Вместе с Массом они создали галерею карикатурных масок, типичных для эпохи НЭПа – «торговки», «коммунистки с портфелем», говорившей лозунгами, интеллигента-мистика (пародия на поэта Андрея Белого), поэта-имажиниста (некая помесь «крестьянского» поэта типа Сергея Есенина и «денди» типа Мариенгофа или Шершеневича). Да что там Есенин или Мариенгоф! Они пародировали самого наркома Луначарского, создав внешне похожий на него образ оратора-демагога. Сам нарком сидел в зале и смеялся! Такое еще тогда было время.

Маски помогали откликаться на все злободневные события тогдашней жизни. «Как они собирались», «Не пейте сырой воды», «Гарантии Гента», «На всякого мудреца довольно одной оперетты» – вот только несколько из многих обзоров-пародий, написанных отцом для «Мастфора».

Самым большим успехом пользовалось сатирическое обозрение Массы «Хорошее отношение к лошадям». Название подсказал Маяковский, который относился к молодому драматургу с симпатией. Премьера состоялась в помещении Дома печати в ночь с 1921 на 1922 год. Был огромный успех.

Мама рассказывала:

— Я играла кормилицу. Папе очень понравилось. Он после премьеры бегал по театру и кричал: «Где кормилица? Вы не видели кормилицу?» Я вышла — уже разгримированная, встала вот так перед ним, и сказала: «Во-первых, я не кормилица, а Наташа Львова. А во-вторых, — достаточно во-первых». Ужасно глупо.

Папа:

— Да, но я тут же в тебя влюбился.

(Львова — тогдашний мамин театральный псевдоним. Ее девичья фамилия — Фельдман.)

Они расписались в апреле 1922 года в ЗАГСе на Остоженке, и папа перебрался с Гоголевского бульвара в Кривоарбатский переулок, где мама снимала комнату в очень дружной, по ее воспоминаниям, коммунальной квартире.

Мама:

— Есть было нечего, одевались во что попало, но — ах, как было хорошо! Какое было время!

Она светло вздыхала, словно договаривая про себя: «Ах, как легко дышалось!»

И я представляла себе Москву маминой молодости — весеннюю, после дождя, когда особенно хорошо дышится, и маму, как на папином карандашном рисунке или на фотографии 1923 года, где она, коротко подстриженная, складненькая, небольшого роста, в платье с напуском и поясом ниже талии, по тогдашней моде, стоит рядом с молодым папой, длинным, длинноволосым, в свободной блузе с бантом.

С театром Фореггера у мамы связаны самые лучшие воспоминания. Она там была одной из ведущих актрис. Сергей Юткевич, тогда уже начинающий кинорежиссер, снял ее в своем фильме «Кружева». О ней, увидев ее игру в спектакле, сказал Маяковский: «Наташа Львова — лучшая актриса Москвы». Мама всю жизнь гордилась этим комплиментом, добавляя каждый раз со вздохом:

— Но ведь им же не докажешь!

Имея в виду тех режиссеров, которые так не думали.

В сентябре 1922 года «Мастфор» получил собственную сцену на Арбате, 7 (этого двухэтажного дома с аркой уже нет: его

снесли, когда переделывали Старый Арбат), а еще через два года студия прекратила свое существование: специальным декретом в стране была запрещена деятельность всех пластических и ритмопластических студий. Труппа театра была расформирована. Николай Фореггер уехал в Харьков, где стал работать главным режиссером театра оперетты. Умер он в 1939 году от туберкулеза.

Мама в 1924 году родила сына Витю, а в 1926-ом ее взяли в труппу театра имени Вахтангова.

Кабачок «Нерыдай»

Отцу очень нравилось стихотворение Леонида Мартынова:

Помню двадцатые годы –
Их телефонные ручки,
Их телеграфные коды,
Проволочные колючки.

Дальше там было про недвижимые лифты в неотапливаемых зданиях и бледноватые шрифты в огненно-пылких изданиях.

Я не понимала, что тут может нравиться. Какие-то коды, какие-то колючки, бледноватые шрифты – ни о чем мне не говорили. А отцу говорили. В них был воздух, которым он дышал в двадцатые годы. Он любил вспоминать Москву тех лет, театр Фореггера, кабачок «Нерыдай». Именно этот литературный кабачок пародировал он в своей пьесе-обзрении «Хорошее отношение к лошадям». Владельцем «Нерыдая» был бывший артист Кошевский. Возле эстрады стоял длинный стол «для богемы». За этот стол Кошевский сажал их – молодых, голодных артистов, драматургов, поэтов, бесплатно кормил, а за это они должны были развлекать богатых посетителей. А им что, они и развлекали – конферировали, пели, танцевали, читали свои стихи. Среди них были артисты мастерской Фореггера, начинающая поэтесса Вера Инбер, фельетонист Виктор Ардов, Борис Бабочкин, Рина Зеленая, Сергей Мартинсон, Николай Эрдман. У Эрдмана в театре Мейерхольда с огромным успехом шла комедия «Мандат». (Мартынов в том же стихотворении: «Помню китайскую стену и конструктивную сцену...»)

Да и многие из тех, кто собирался за «богемным» столом в «Нерыдае» к тому времени успели приобрести известность. Например, Борис Бабочкин, будущий исполнитель роли Чапаева в знаменитом фильме, блестяще пел куплеты и отбивал чечетку. Ему аккомпанировал юный композитор Матвей Блантер, автор шлягера на слова Масса — «Джон Грэй».

«Веселые ребята»

С 1923 года началось десятилетнее очень плодотворное соавторство Николая Эрдмана и Владимира Масса. Они писали музыкальные спектакли для мюзик-холлов, например, в Ленинградском Мюзик-холле с успехом шло злободневное обозрение — пародия на «Одиссею» Гомера, где Одиссея играл молодой Николай Черкасов; писали песенки, пародии, басни, сценки для эстрады, фельетоны. С их (в соавторстве с Виктором Типотом) спектакля «Москва с точки зрения» начался Московский театр Сатиры. Молодой Леонид Утесов со своим джаз-оркестром имел шумный успех благодаря их эстраднему обозрению «Музыкальный магазин», а кинорежиссер Григорий Александров, оценив успех этого представления у публики, предложил авторам написать на его основе сценарий кинокомедии. Так началась работа над фильмом «Пастух из Абрау-Дюрсо» — первоначальное название будущих знаменитых «Веселых ребят».

«Киногазета» от 22 июня 1933 г.

Беседа с режиссером Г.Александровым:

«В декабре советский экран получит комедийный фильм. В беседе с нашим сотрудником тов. Александров сообщил:

— Наша комедия является попыткой создания первого веселого советского фильма, вызывающего положительный смех. Для осуществления фильма мы внедряем новую форму сценария (*Н.Эрдман и Вл.Масс*), в которой обозрение переплетается с сюжетом и интригой».

Там же:

«Веселые ребята» (джаз-комедия) уже в производстве. Коллектив тов. Александрова вместе с Утесовым и катафалком

сейчас целые дни проводят на улицах Москвы. Съёмки идут полным ходом».

В конце августа 1933 года киногруппа вместе с авторами уехала на съёмки в Гагры. Работа почти заканчивалась, как вдруг жаркой ночью оба автора были арестованы и увезены в Москву на Лубянку.

«...Когда б не били нас, мы б не писали басен»

Считается, что причиной ареста были басни, которые прочитал на концерте в Кремле артист МХАТа Василий Иванович Качалов и которые вызвали гнев Ворошилова. Басни ходили в списках и отнюдь не были рассчитаны на публикацию.

Качалов до конца своих дней переживал эту историю, хотя ни мой отец, ни мать никогда его не винули. Откуда он мог знать, что так получится? Он в те годы много читал всякого, даже хулиганского — Баркова, например. Его попросили прочитать смешное — он и прочитал. Тут не было никакого умысла. Какие именно он прочитал басни — теперь уже никто не помнит. Может быть, среди прочитанных была чуть скабрёзная, но вполне невинная:

Однажды Бах спросил свою подругу:

— Скажите мне,

Вы любите ли фугу?

Смутясь и покраснев как рак,

Подруга отвечала так:

— Не ожидала я увидеть в вас нахала!

Прошу вас, не теряйте головы!

Я — девушка и в жизни не видала

Того, о чем спросили вы!..

Ну что ж, читатель-друг,

Действительно, подруга

Не знала, что такое фуга,

Но это не ее вина:

Другие были времена,

Она росла в провинции, у тётки...

Теперь таких девиц вы не найдете.

Или другая, поострее:

Однажды наклонилась близко
К младому евнуху
Младая одалиска,
А деспотичный шах меж тем
Уже успел войти в гарем.
— Ага!.. В гареме?..
Ночью?.. Вместе? —
Воскликнул шах. — Я жажду мести!
Какой позор! Какой скандал!..
Тут визирь шаху так сказал:
— Зачем же звать его к ответу,
Почто ему готовить месть?
О, шах! У евнуха ведь нету!..
— Но у нее, мерзавки, есть!
— Пойми, лишен он этой штуки!..
— А руки?..
Срубить!
Палач взмахнул мечом
И руки стали ни при чем.
Но оказался в дураках,
Представьте, все же старый шах.
Над шахом евнух долго издевался:
Язык-то у него остался!

Сколь наша участь более горька:
У нас есть то и сё,
И нету языка.

Или, может быть, вот эта:

Мы обновляем быт
И все его детали.

«Рояль был весь раскрыт
И струны в нем дрожали...»

— Чего дрожите вы?
Спросили у страдальцев
Игравшие сонату десять пальцев.

— Нам нестерпим такой режим,
Вы бьете нас —
И мы дрожим!..

Но им ответствовали руки,
Ударивши по клавишам опять:

– Когда вас бьют, вы издаете звуки,
А если вас не бить, вы будете молчать.

Смысл этой краткой басни ясен:
Когда б не били нас,
Мы б не писали басен.

Во всяком случае, любая из этих и других, что дошли до наших дней, вполне могли вызвать возмущенный возглас Ворошилова:

– Кто автор этих хулиганских стихов?!

История с «Самоубийцей»

Однако не исключено, что история с Качаловым была лишь поводом для ареста, а причина была в другом. Существует версия музыкального журналиста Анатолия Агамирова (он излагал ее моему другу, американскому исследователю жизни и творчества Эрдмана, автору книги «The life and drama of Nikolai Erdman SILENCE'S ROAR», театроведу Джону Фридману, с чьего разрешения я привожу эту историю). В двадцатые годы Николай Эрдман прятельствовал с семьей наркома просвещения Луначарского, бывал у него дома в Денежном переулке. Человек энциклопедически образованный, сам писавший пьесы, Луначарский высоко оценивал талант Эрдмана. И когда в 1929 году Эрдман принес ему рукопись второй своей пьесы – «Самоубийца», Луначарский предложил устроить общественную читку у него дома. В назначенный день Эрдман пришел домой к Луначарскому читать пьесу. Он ожидал, что будут театральные и литературные деятели. Однако Луначарский пригласил слушать пьесу не их, а тех, от кого гораздо больше зависела судьба пьесы и самого автора – членов правительства: Пятакова, Радека, Ворошилова – людей, которые, в числе прочего, занимались и проблемами культуры. И вот Эрдман читает пьесу «Самоубийца», полную остроумнейших реприз и ситуаций. Читает при полном и угрюмом молчании. Ни на одну репризу аудитория, собравшаяся за дубовым резным столом, не реагирует (все это рассказывала Агамирову его мать, родственница жены Луначарского, присутствовавшая при читке). Читка закончилась. Начался ужин. О пьесе – ни слова. После ужина гости

встали и, сославшись на то, что их внизу ждут машины, ушли. Эрдман, подавленный, огорченный, попрощался с хозяевами и пошел в переднюю одеваться. Луначарский подал ему пальто и сказал: «Коля! Вы написали гениальную пьесу. Но пока я — нарком просвещения, она не будет идти на советской сцене. Поверьте, так будет для вас лучше». Напрасно Эрдман пытался пристроить пьесу во МХАТ, в театр Революции. Все попытки оканчивались неудачей. Пьесу так и не разрешили. Возможно, Ворошилов еще с того вечера затаил недоверие к Эрдману. Он понял опасность его пера. Но поскольку Луначарский из желания оградить Эрдмана от неприятностей постановку пьесы не разрешил и она нигде не шла, то придраться было, вроде бы, не к чему. Тогда придрались к басням.

«А что я мог сделать?..»

Эту историю мне рассказала в девяностых годах теперь уже покойная Нина Борисовна Халатова, бывшая балерина Большого театра:

«В сентябре тридцать третьего приехала я отдыхать в Гагры. Поселилась в гостинице «Гульрипши» — там жили артисты и вся съемочная группа «Веселых ребят», и Эрдман, и Масс. Вечера обычно проводили в ресторане, и к нам присоединялось гагринское начальство, в том числе начальник местного ГПУ Геладзе. Он был такой... очень симпатичный... пока не арестовывал.

А в этой гостинице душа в номерах не было, а был один общий душ, на весь этаж. И вот поздно вечером я выхожу из номера принять душ и вижу: в коридоре у окна стоят двое в черных кожаных куртках. Спрашивают меня:

— Куда вы направляетесь?

— А вам какое дело? Куда надо, туда и направляюсь.

Было очень жарко. Влажная гагринская жара. А эти — в кожаных куртках. Я приняла душ, вернулась в свой номер. Через некоторое время стук в дверь. Голос Утесова:

— Нина, откройте!

Открываю. Он — страшно взволнованный:

— Только что арестовали Массу.

И — мимо меня к окну. Я тоже подбежала к окну. Там у подъезда стояла открытая машина, сидел Масс, а по бокам —

те двое «в коже». В ту же ночь приехали за Эрдманом и увезли на этой же машине.

На следующий день с гэпэушником никто не разговаривает, никто руки не подает. Он очень был огорчен, оправдывался:

– А что я мог сделать? Мне ночью пришла телеграмма из Москвы – арестовать. Я же не мог не подчиниться».

А вот как впоследствии рассказывал отец:

«Утесов крикнул мне из окна: “Владимир Захарович, куда же вы без плаща? В Москве холодно!” – и кинул свой плащ. Так меня и увезли в Москву в утесовском плаще. Везли под конвоем, в пассажирском поезде, в открытом купе. Пассажиры ходили мимо, смотрели на меня как на преступника... Это было так... стыдно...»

Был оперативно изъят из всех магазинов и библиотек (и стал библиографической редкостью) только что вышедший альманах «Год XVI», в котором был напечатан очень смешной и острый фельетон Масса и Эрдмана «Заседание о смехе», и выпущен другой вариант альманаха, уже без фельетона.

Ну, прямо Оруэлл, «1984» – «Министерство правды».

Дальше – допросы, которые вел следователь Шиваров. Этот следователь был «специалистом по писателям», со многими из них дружил, ходил к ним в гости. По воспоминаниям Василия Катаняна, в его книге «Лоскутное одеяло», Шиваров красиво ухаживал за дамами и сам был красивый, обходительный... Словом, как и тот, в Гаграх: симпатичный, пока не арестовывал.

Масс был отправлен в Тобольск, Эрдман – в Енисейск. Оба отделались сравнительно легко: всего лишь по три года ссылки и «минус десять», то есть без права проживания по отбытии ссылки в Москве и в других крупных городах Советского Союза. Из искусства «всего лишь» были вырваны два его ярких представителя в расцвете лет и творческих сил: Эрдману было тридцать три года, Массу – тридцать семь.

Съемки фильма тем временем продолжались. «Веселые ребята» вышли в январе 1934 года и начали свой триумфальный путь во времени и пространстве, только фамилий Эрдмана и Масса не было в титрах. Их восстановили в шестидесятых.

«Верю, все будет хорошо...»

Полоски текста, наклеенные на обрывки каких-то счетов, на страницы, вырванные из железнодорожного справочника – телеграммы тех лет. Из Москвы в Тобольск: «Родной верю все будет хорошо люблю – Наташа». Из Енисейска в Москву от Эрмана: «Сообщите где Володя простите если в чем-нибудь виноват поклон Вите – Николай». Из Енисейска в Тобольск: «Пиши Енисейск улица Сталина 23 Жму руку – Николай».

В Тобольске, крохотном в те годы городке, где не было театра, отец организовал театральную студию при клубе Профинтерна, поставил там «Чужого ребенка» Шкваркина, читал лекции об искусстве, писал бодрые, «идейные» стихи в «Тобольскую правду». И в особую тетрадь – для себя.

Наташе

Под жалобы осени вьюжной,
Гонимый ненастьем и тьмой,
Оставленный всеми, ненужный,
Устало бреду я домой.

Но знаю, дорогой ночью,
Идя под осенним дождем,
Как Сольвейг, ты всюду со мною,
Как Сольвейг, ты в сердце моем.

И знаю, напрасны тревоги,
Как Сольвейг, ты ждешь и не спишь,
Ты встретишь меня на пороге,
Утетишь меня и простишь.

Октябрь 33, г. Тобольск

Отцу пишут его многочисленные друзья, среди них – Уте-сов, Антокольский, Файко. Сейчас все эти письма хранятся в РГАЛИ. Пишет и он своим друзьям. По этим письмам можно судить о быте и душевном состоянии ссыльного писателя. Вот два его письма драматургу Алексею Михайловичу Файко (они тоже хранятся в РГАЛИ, в личном фонде А.М.Файко. Их копии мне передал Джон Фридман).

17/1-1934

Здорово, милый Алексей!
В моей теперешней неволе
Я от тебя не ждал вестей
И потому им рад тем боле
(Твой знак вниманья очень мил,
Но посланная мне сначала
Открытка, видимо, пропала,
А вот письмо я получил),
Благодарю и отвечаю:
(Прошу простить за скверный слог)
Тобольск, где я теперь скучаю,
Довольно жалкий уголок,
Пока не очень здесь культурно —
Ни одного из МХАТов нет,
Но я устроился недурно,
Имею комнату и свет
И хлеб, и заработок в клубе,
И, словом, всё, вплоть до пайка.
Хочу пытаться сесть за пьесу
Дней так, примерно, через пять
(Прошу тебя об этом прессу
Покуда не оповещать).
В весьма тяжелом положенье
Я был весь этот долгий срок,
Но существую тем не меньше
И от отчаянья далек
(Хотя, могу заметить к слову,
Желать попасть в такой скандал
Не стал бы даже Ромашову,
И даже Рабичу б не стал).
Не добиваясь громкой славы,
Я ставлю в клубе всякий вздор.
(В тех городах, где нет Захавы
И я, как видишь, режиссер.)
Дни коротаю одиноко
И с нетерпеньем жду весны,
Надеюсь, мне простят до срока
Мои «тяжелые» вины.
Но все же я в Тобольской яме
Засел надолго и всерьез.
Ты сообщаешь, что с друзьями
Решил отправиться в колхоз.

Ну что ж! Нельзя в хорошей драме
Брать матерьял из головы.
Я с удовольствием бы с вами
Туда поехал, но – увы!
Не быть мне даже и в деревне
В течении ближайших лет.
Прощай. А Лидье Алексевне
Сердечный передай привет

P.S.

В дальнейшем не молчи как рыба
И обо мне не позабудь.
Коли черкнешь когда-нибудь,
Скажу большущее спасибо.

Твой ВЗМ

14 октября 1934

Mon ange!

Только что получил твое письмо. Если бы ты знал, какое наслаждение испытывают изгнанники, получая письмо от московского приятеля, ты писал бы мне еще чаще.

...Всё, написанное тобой, оказалось мне близко и интересно. Я рад, что ты похудел и еще больше рад, что ты с увлечением работаешь. Хотелось бы более подробно узнать о пьесе Зархи. Это, наверно, «Москва – вторая». О чем же это? Что за сюжет? Хорошо ли? О твоей пьесе не спрашиваю – все равно не расскажешь!

*Вчера получил письмо от Коли. Пишет «работают много – написал мало». Ворчит, острит, жалуется, что постарел. Ну, дамы все тоже не Дорианы Грей! Ничего не поделаешь. Сам я живу прекрасно. Живу в спокойной, удобной и теплой комнате, у заботливой хозяйки. Режиссирую. Иногда сочиняю всякие лирико-эпические экзерсисы. Читаю. Но не скрою: *Cette vie commence à t'ennuier! Ma patience n'y tient plus.* Другими словами, скучаю здорово! Представь, однако, все еще не унываю. Продолжаю надеяться и верить, что увидимся в более или менее непродолжительном времени. Впрочем, об этом я тебе уже писал. Чтобы не повторяться, кончаю. Передай Лидии Алексеевне мою особую благодарность за приписку. Знайте, что я преисполнен к вам самых лучших и нежных чувств. *Portez-vous bien, amusez-vous, écrivez moi aussi souvent que possible, et n'oubliez point votre Фердоуси.**

Je vous embrasse bien fort.

В июле 1934 года к отцу приехала мама.

Фотография в семейном альбоме: мама и папа стоят у дощатой стены какого-то дома. Мама в летнем сером распахнутом пальто, белый шарфик, шляпка с загнутыми вверх полями. Мама маленькая, чуть повыше папиного плеча. Милое курносенькое лицо. Папа, худой и длинный, со своим носом — радостью карикатуристов, в большой кепке и коротковатом пиджаке, обнял маму за плечи. Они улыбаются в объектив, щурятся от яркого солнца. Им тут обоим под сорок. Время уже тронуло их лица, но каждая морщинка говорит о том, что они все еще молоды, и любят друг друга, и счастливы в эту минуту.

Через месяц отпуск у мамы кончился и она вернулась в Москву, где театр Вахтангова приступал к репетициям спектакля «Интервенция».

**«ТОБОЛЬСК ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ. СЫГРАЛА КСИДИАС
ВСЕ ХВАЛЯТ ЛЮБЛЮ ЦЕЛЮЮ – НАТАША».**

Мама сыграла в «Интервенции» одесскую бандершу мадам Ксидиас, одну из лучших своих ролей, ее гордость.

Моя няня Шура:

— Мама вернулась от отца из Тобольска беременная. «Ой, что делать! Он тама, я издеся! Ой, нет, нет, нет!» Плачь. Я ей говорю: «Наталья Ильвовна, не делайте глупостей, рожайтя. Помогут, не дадут пропасть. Рожайтя!» Пришло время — проводила ее в родильный дом, тут, на Большую Молчановку, в Граурмана. Врачиха меня спрашивает: «Кого заказываетя?» Я говорю: «Только девочку! Только девочку!»

Ну, и ты родилася.

Через три года моего отца перевели из Тобольска в Тюмень, город побольше, где был драматический театр. В этом театре он стал работать завлитом и режиссером.

***Выписка из приказа
По Тюменскому гортеатру за № 95
19 октября 1937 г.***

«Владимир Захарович Масс к возложенным на него обязанностям зав.лит. частью относится добросовестно, четко, аккуратно их выполняя.»

Помимо прямых обязанностей несет режиссерскую работу. Осуществил постановку четырех спектаклей: «Аристократы» Н.Погодина, «Бабы сплетни» Гольдони, «Дальняя дорога» А.Арбузова и «Родина» Б.Левина. Эти спектакли по праву должны быть зачислены в список лучших спектаклей театра.

Владимир Захарович Масс несет большую общественную и культурную работу вне театра, читая лекции, доклады, проводя беседы по вопросам литературы и искусства (газета, радио, пед-институт, Красная Армия, колхозы, рабочие клубы), чем в значительной степени способствует поднятию культурного значения театра в городе и районе.

Премиию Владимира Захаровича Массы месячным окладом и почетной грамотой.

*Директор театра:
Н. Гранатов».*

«Тюмень» — что-то темное, холодное, плохое, потому что, когда мама произносит слово «Тюмень» — у нее становится беспокойное, нервное выражение лица.

Почему мы живем в Москве, а папа — в Тюмени?

— Он там организует театр, — говорит мама.

Непонятно.

— Ну, он там работает... Ставит спектакль, — объясняет брат.

Непонятно.

Из всех ответов самый понятный и убедительный — нянин:

— Папу твоего волки съели!

Фраза звучит в том условном, игровом смысле, в каком звучали и другие Шурины фразы:

— Не лазай в лужу — утонешь! Не выходи за ворота — потерясси! Мужик унесёт!

И тут тоже мною угадывался не прямой, а переносный смысл ответа: папа жив, но очень далеко, там, где темный лес и волки.

Тюмень. Маленькие домики, занесенные снегом по самые окна. Белый пар, окутывающий мамино лицо и лицо какого-то длинного, худого дядьки («Ну что же ты? Пойди к нему! Это — папа!»), который как-то растерянно, неумело берет меня на руки. Мне не нравится у него на руках, непривычно, незнакомо, я вырываюсь, выгибаюсь, хнычу — и он опускает меня на снег. Пахнет паровозным дымом (железнодорожная станция?). Лошадь тоже укутана белым паром. Меня сажают в большие сани,

укутывают чем-то мохнатым, тяжелым и куда-то везут. Потом темная, жаркая прихожая, в которую кто-то из комнаты вносит керосиновую лампу. Высокие шевелящиеся тени. Я — одна, внизу, в темноте, среди ног, которые топчутся вокруг меня, сближаются, сплетаются... И нет Шуры, с которой ничего не страшно.

И вдруг ко мне подошел большой пушистый кот и стал тереться о мои ноги. Я села на корточки, обняла его, счастливо ощущая его мягкие лапки на своих плечах, все его большое, урчащее, теплое тело — и страх растаял, сменясь мгновенной благодарной любовью к доброму толстому зверю.

Вот этого кота я запомнила. А от первой встречи с отцом сохранились только морозный белый пар да резкие, ломкие тени при свете керосиновой лампы.

Горьковский театр им. Чкалова

В 1939 году, хлопотами руководства театра Вахтангова, отца перевели в Горький на должность художественного руководителя Областного колхозного театра имени Чкалова. Это был совсем еще молодой театр, возникший из студии, созданной на базе агитбригады. Артистам не хватало профессионализма, но его компенсировали энтузиазм и желание учиться. В лице нового художественного руководителя они обрели то, о чем можно было только мечтать: над ними взяли шефство вахтанговцы. Они охотно откликнулись на просьбу отца и начали посылать в Горький своих режиссеров и актеров для педагогической работы. Приезжали проводить занятия Б.Захава, И.Толчанов, О.Глазунов, П.Антокольский. Горьковчан приглашали в Москву на смотры и семинары.

Но и отцу здорово повезло с театром. В этом культурном, красивом, большом городе, областном центре, не столь далеко от Москвы, получив возможность встречаться с московскими друзьями, он почти не чувствовал себя изгоем. Здесь он поставил «На дне», «Хозяйку гостиницы», «Позднюю любовь», «Любовь Яровую». Но главное: с молодым артистом театра Николаем Куличенко они написали смешную, легкую, злободневную комедию-водевиль «Сады цветут», которая стала жемчужиной репертуара, гордостью театра. Жизнерадостная,

полная забавной путаницы, патриотичная без прописной морали, она еще и после войны много лет продолжала идти во многих периферийных театрах.

Война

Июнь 1941-го. Моему брату Вите шестнадцать лет, он перешел в десятый класс, его послали «на окопы» — рыть противотанковые рвы на подступах немцев к Москве. Мы с мамой и Шурой и с нами тетя Лена с двухлетней Маринкой, моей двоюродной сестрой, едем в Горький, к папе. Но папы уже нет в Горьком, он со своим театром организовал бригаду и уехал на фронт. Мы живем в его комнате, из окна которой видна Волга, такая широкая, что пароходы, медленно проплывающие вдоль того берега, кажутся игрушечными.

Новые слова: «затемнение», «налеты», «бомбоубежище», «воздушная тревога», «сирена». Воздушная тревога — это не страшно, если днём. Похоже на игру: вой сирены и — кто скорее в бомбоубежище, где после жары и солнца даже приятно побыть в сыроватой прохладе подвала.

Плохо ночью: голове так покойно на подушке, и вдруг резкое:

— Тревога! Вставай скорей! Тревога!

Шура, поддерживая меня одной рукой, чтобы не повалилась обратно на постель, другой натягивает на меня платье, застегивает пальто. Сонными руками я нащупываю на подушке целлулоидного Кольку — его одного из всей кучи своих игрушек я взяла из Москвы и не расстаюсь с ним даже ночью. Он немного побольше моей ладони, его можно носить в кармане. У него аккуратная головка в красной испанской шапочке с кисточкой, красный галстучек с зажимом, как носят пионеры, аккуратное тельце с прижатыми как по команде «смирно» ручками. Колька связывает меня с Москвой, с моими куклами, складным фанерным домиком, с белым мишкой-муфтой.

Но однажды, когда Шура тащит меня, сонную, в бомбоубежище, я теряю Кольку. Какое глубокое чувство невосполнимой утраты, особенно сильное оттого, что никто из взрослых не понимает его, не разделяет его со мной, даже Шура.

Так не состоялась моя вторая встреча с отцом. Из Горького мы уехали в Омск, куда был эвакуирован театр Вахтангова.

Отец возглавил театральную фронтовую бригаду. Ему в помощники назначили его старого друга Павла Антокольского, уже известного к тому времени поэта, тесно связанного с театром Вахтангова. Антокольский потом напишет, вспоминая то время:

Нам многое увидеть довелось —
Торчащие в снегу печные трубы,
Босые, в мерзлом инее волос
Солдатские глухонемые трупы...

В репертуаре, кроме большой концертной программы, была комедия «Сады цветут». Эта мирная, совсем не героическая комедия каждый раз восторженно воспринималась бойцами, может быть, именно потому, что напоминала о мирной жизни, которую оборвала война.

Отец подробно описал этот период своей жизни в дневнике. Вообще-то он не вел дневников, это — единственный. Отец рассказывает в нем, как выступали в госпиталях, в клубах, на платформах грузовиков или наскоро сколоченных сценах. Как артисты добирались из одного населенного пункта в другой, из одной военной части в другую — иногда на поезде, иногда в автобусе или на грузовике, а случалось — пешком. Давали по несколько концертов в день. Видели, как тянутся к искусству воюющие люди в минуты отдыха, и отдавали им все силы и все умение.

Вот кусочек из дневника от апреля 1942 года (полностью дневник хранится в РГАЛИ).

1 апреля 1942 г.

«...И вот мы в Туле. В течение двух месяцев немецкая армия стояла и вела бои у самых стен города. Тула была наполовину окружена. Теперь немцев отогнали километров на 100-120 от города. На вокзале нас никто не встретил. День был холодный и пасмурный. Не дождавшись автобуса, который нам обещали прислать из ДКА, поехали в ДКА на трамвае. Прифронтовая военная Тула была мрачна, но все же производила впечатление большого, многолюдного города.

...До поздней ночи обсуждали с Антокольским план дальнейшей работы. У нас в «портфеле» ничего нет, кроме пьесы Боброва «Чкалов» и «Ночи ошибок». Но та и другая пьеса по разным причинам нас мало устраивают. Так мы, по существу, ничего и не решили.

2 апреля 1942 г.

...В шесть часов вечера нам подали грузовик, и мы поехали в воинскую часть. Играли «Сады цветут». Спектакль прошел с большим успехом. Переполненный зрительный зал грохотал от хохота. Все остались очень довольны спектаклем.

5 апреля 1942 г.

Утром на собрании всего коллектива Антокольский заявил, что убедился в необходимости ставить пьесу Боброва о Чкалове и что он с сегодняшнего дня приступает к работе. Изложил нам экспозицию своей постановки. Но явная фальшивость самой пьесы, ложность, беспочвенность, нереальность и надуманность замысла не могли не стать очевидными для всех. За последние два года коллектив очень повзрослел, у него есть теперь свои довольно ясные художественные принципы и желания, есть свое ясное и верное ощущение современности и задач, стоящих перед театром. Замысел постановки никому не понравился. Павлику вежливо возражали. Все же после доклада начали переписывать роли. Что же остается делать? Ведь ни я, никто другой ничего не можем предложить взамен.

6 апреля 1942 г.

Утром, когда бригада уехала на концерт в госпиталь, я встретился с Антокольским по дороге в столовую и стал всячески убеждать его, во-первых, в неправильности его постановочного замысла и, во-вторых, в полной непригодности для постановки пьесы Боброва. Я убеждал его также в серьезности создавшегося нашего с ним положения в театре. Стали думать и судить, почему так получилось и что делать дальше. Я почувствовал, что и Павлик мучается создавшимся положением. Он тоже чувствует, что наша совместная работа не клеится и что поэтому мы раздражаемся друг против друга и не помогаем, а мешаем друг другу.

— Два худрука в одном маленьком театре — слишком большая

роскошь, и я прихожу к выводу, что, может быть, мне лучше уехать под предлогом, что меня отзывает ПУР, — сказал он.

Я предложил ему другой выход. А именно: я беру постановку пьесы о Чкалове на себя. Но я буду ставить не пьесу Боброва, а небольшую пьесу, вернее, небольшую драматическую поэму о Чкалове, которую он, Антокольский, должен написать.

Павлик с восторгом ухватился за эту идею. Вернувшись в гостиницу, он сел за стол, начал писать и очень быстро написал в стихах чудесную сцену прощания Чкалова с Ольгой Эразмовной перед полетом в Америку. Я выразил ему свое восхищение. Это его разогрело и увлекло. Он тут же предложил написать еще одну картину: Чкалов в Америке. Потом возникла мысль еще об одной картине: Чкалов — депутат у себя на родине, в Василеве. Антокольский сел писать задуманную картину, и очень скоро она была уже наполовину готова. Следовательно, у нас уже сейчас есть пролог, есть набросок новой картины, вторая и третья — в полете. Чувствуется, что если Антокольский с жаром поработает дня 3-4, пьеса будет готова. И это будет то, что нам нужно: своя собственная, рожденная подобно «Садам» в недрах самого театра поэтическая пьеса о Чкалове — нужная, яркая, оригинальная вещь. Пьеса с ограниченным количеством действующих лиц, с учетом технических возможностей театра. Что может быть лучше? А главное, ее можно начать репетировать хоть завтра.

7 апреля 1942 г.

...Павлик продолжает писать пьесу о Чкалове...

10 апреля 1942 г.

В одиннадцать часов я собрал весь коллектив и объявил ему о своем решении взять на себя постановку пьесы о Чкалове, но ставить не пьесу Боброва, а пьесу Антокольского. Павлик тут же прочел первую часть своей пьесы. Эта часть была встречена дружными аплодисментами. Решили, не откладывая, приступить к репетициям.

16 апреля 1942 г.

...Теперь я за первую картину совершенно спокоен. Она выразительна и сценична. Ее будут внимательно, с большим интересом смотреть и слушать. Она должна нравиться. Длительность

ее 8-10 минут. Как сцену из пьесы «Чкалов» ее можно будет в любом концерте играть отдельно: она представляет законченное целое и имеет самостоятельный интерес, независимо от остальных картин».

«Они осознали и исправились...»

В сентябре 43-го года театр Вахтангова вернулся из эвакуации. И в это же время у отца закончился десятилетний запрет на проживание в Москве. Это не значило, что запрет снят. На то, чтобы снова жить в Москве, требовалось особое разрешение. Без этого разрешения отца могли арестовать и заслать в новую ссылку. Вахтанговцы и на этот раз помогли: руководство театра написало письмо в правительство, где характеризовало отца и Эрдмана как людей, «полностью осознавших свою вину и исправившихся». К вахтанговцам присоединили свои подписи Леонид Утесов, Рина Зеленая и Николай Черкасов, прославившийся в кино героической ролью Александра Невского.

И — чудо! Отца «простили». Разрешили жить в Москве.

А Николаю Эрдману отказали.

Эрдман поселился в Калининe (Твери), и в Москве бывал наездами, тайком от милиции и дворников.

Родителям, наверно, было нелегко снова привыкать друг к другу после десятилетней жизни врозь. Восьмилетнюю дочь отец и вовсе почти не знает. Он смотрит на нее с любопытством, но и с отчуждением. Он стесняется ее, а она — его. Вернее, он не то чтобы ее стесняется, а просто не умеет найти общего языка с этой исподлобья глядящей девочкой, которая раньше существовала в его жизни заочно, а теперь материализовалась, ест, капризничает, болеет гриппом, читает книжки во время еды.

Он делает к ней шаг и натывается на ее испуганную замкнутость. Она делает шаг к нему и натывается на его рассеянное безразличие. Она видит — он добрый, но она не умеет приласкаться, а он — приласкать. Их обоих сковывает стеснительность, которую они оба принимают за неприветливость, не-

любовь, и через эту кажущуюся нелюбовь они никак не могут пробиться друг к другу и отступают.

От бессилия приручить дочь он раздражается. Пробует ее воспитывать, требует, например, чтобы она не читала во время еды, потому что, видите ли, это вредно. Или чтобы она по утрам говорила: «Доброе утро, папа». Услышав его приближающиеся к кухне шаги, она торопливо сует книгу за батарею. Он останавливается в дверях кухни и мрачно ждет. Она, тоже мрачно, выдавливает из себя:

— Доброе утро, папа.

Ей кажется глупым — здороваться со своими же у себя же дома. А его раздражает ее мрачность. Он говорит, что книжки, которые она читает, — чепуха, семечки, которые только засоряют мозги. Он сует руку за батарею, вытаскивает «Лорда Фаунтлероя» и пытается унести. Она ревет, бежит за ним, отнимает книгу и все равно читает — в уборной, в ванной. Какое он имеет право?! Ну и пусть засоряют мозги! Ему неинтересно, а ей интересно!

Он по-детски обижался, дулся.

В нем было столько юмора — его хватало на десятки реприз, фельетонов, сценок, от которых покатывался зрительный зал, а в наших отношениях тех лет юмора не хватало.

...Это уж потом, спустя годы, мне откроются в отце и бесконечная доброта, и глубина знаний, и уважительное внимание к чужому мнению, стремление понять и мягко не согласиться, внушить собеседнику свой взгляд, ненавязчиво и убедительно. Возможно, и он что-то найдет во мне...

Но в те годы он не снисходил до поисков, а я глядела на него исподлобья и загораживала обеими руками растрепанного «Лорда».

Но, в общем, столкновения редки. Он принадлежал к тому типу мужчин, которые с головой уходят в свое дело и познают вкус отцовства позже, когда у них появляются внуки.

В случае со мной отчуждение было естественным, ведь он получил меня уже «готовой», восьмилетней. Да и времени у него не было возиться со мной: он работал, работал с упоением. У него появился молодой талантливый соавтор, Михаил Червинский, вернувшийся с фронта после тяжелого ранения.

«Мы плывем из Сан-Франциско...»

Вместе они написали первую свою комедию-обозрение «Где-то в Москве» для театра Вахтангова, неприятную историю про то, как молодой лейтенант приезжает с фронта в отпуск всего на одни сутки, чтобы отыскать девушку, которая вынесла его, тяжело раненного, с поля боя. Имя девушки — Анна Петровна Смирнова, таких имен в Москве множество. После целого ряда забавных недоразумений, все заканчивается счастливой встречей и веселой песенкой про время, которое —

«...Не птица и не кот:
Оно за хвост не ловится,
Оно не остановится,
Оно
идет себе, идет!»

Получился веселый музыкальный спектакль в постановке Александры Ремизовой. Был большой успех. Пьеса разошлась по театрам многих городов, посыпались хвалебные рецензии, стало приобретать известность новое имя-содружество — Масс и Червинский.

Отец, что называется, дорвался до работы. С соавтором ему повезло: несмотря на разницу в возрасте (Червинский был лет на пятнадцать моложе), несхожесть характеров, они совпали в главном — в творческой ненасытности.

Сочинялись стихотворные фельетоны для «Крокодила», эпиграммы, капустники. В квартире стали появляться артисты эстрады — Аркадий Райкин, Миров и Дарский (а после смерти Дарского — Новицкий), Миронова и Менакер. Приезжали из Киева симпатичные, веселые «Тарапунька и Штепсель» — Тимошенко и Березин. Для всех писались смешные конференсы, сценки, интермедии. Конечно, это были уже не те сатира и юмор, что в двадцатые годы. Это были сатира и юмор с оглядкой на карающую десницу, которая один раз уже поднялась и слегка проучила непослушных, забывших свое место сатириков. Теперь отец стал осмотрительнее, не плевал против ветра. Своей «острой, язвительной сатирой» они с Червинским бичевали, в основном, язвы американского империализма, разоб-

лачали «Тито с Уолл-стрита», а также чинуш и бюрократов, мешающих нам идти в светлое будущее.

Но юмор, хотя бы такой, был нужен людям, и принимался публикой с благодарностью.

Мама гордилась своей ролью жены известного писателя.

Она отстранила мужа от всех хозяйственных дел, от всего, что могло бы отвлечь его от работы. Стала его секретарем, нянькой, доверенным лицом. Командовала домработницей, шофером, благо, денег стало хватать на всех и на всё, в том числе на дорогие кремы, на обувь от знаменитого Барковско-го, на массажисток и портних.

Папино дело было работать, а мамино — «создавать ему условия»: следить, чтобы он был сыт, ухожен, чтобы в кармане у него всегда был чистый носовой платок, чтобы он не забыл позвонить тому-то, зайти туда-то и вернуться домой во столько-то.

— Тише! Папа работает! — стало лейтмотивом моего детства, отрочества и юности.

— Нет, ты в этом пиджаке не пойдешь! — командовала мама. — Ты в нем выглядишь как шмендрик! Надень этот!

Если звонил телефон, а папа в это время работал, мама хватала трубку второго телефона у себя в комнате и отвечала скороговоркой:

— Владимзахарыча нет дома, кто его спрашивает?

Но если выяснялось, что звонит кто-то важный, ответ мгновенно переигрывался:

— Ой! Кто-то звонит! Кажется, он пришел! — и с актерской фальшивинкой: — Володинька-а-а! Это ты? Да, это он! Сейчас, Василий Павлович, миленький, одну минуточку! Володинька-а! Тебя!

И взволнованно дыша, подслушивала разговор по другому телефону, из своей комнаты. Иногда, не выдержав нейтралитета, бежала в кабинет с криком:

— Не говори ему об этом! Зачем ты это ему говоришь?!

Папа порой взрывался, орал на маму, а она — на него, доказывая свою правоту: она — жена! Ей нужно быть в курсе всех его дел!

Мама обладала характером, склонным к громкому гневу,

шумной обиде с последующим многодневным молчанием. У папы же характер был в семейной жизни отходчивый, миролюбивый, скорее, соглашательский. Махнув рукой, он успокаивался, и все продолжалось по маминому велению и хотению. Он маму понимал, любил и жалел. И уж точно знал, что при всех особенностях маминого характера, более верного, преданного, любящего друга и жены — ему не найти. Их очень сблизило общее горе — долгая болезнь, а потом смерть сына.

Стали приходиться композиторы — полный, румяный Юрий Милютин, лысый, тщедушный Дунаевский. Приезжал из Ленинграда и подолгу жил у нас простецкого вида, большой любитель выпить Василий Павлович Соловьев-Седой — писал музыку к либретто «Самое заветное». Работали порой до глубокой ночи.

Мой брат женился, и молодым отдали мою комнату, а меня переселили в кабинет. Отделенная шторой от той части кабинета, где стоял рояль, затаившись под одеялом, я слушала, как по ту сторону шторы в папиросном дыму, спорах, бесконечных музыкальных импровизациях рождаются песенки. Вот эта, из «Самого заветного», ее вскоре стали часто передавать по радио:

Закурю-ка, что ли, папиросу я,
Мне бы парню жить и не тужить...
Полюбил я девушку курносую,
И теперь не знаю, как мне быть.

И многие другие на слова Масса и Червинского вскоре зазвучат из всех репродукторов, их будут петь хором, собираясь компаниями. Некоторые песенки так и остались в той эпохе, забылись, но некоторые дошли до сегодня, став приметой того далекого времени. Например, вот эта, на музыку Дунаевского:

Затишает Москва. Стали синими дали.
Ярко блещут кремлевских рубинов лучи...
День прошел, скоро ночь. Вы, наверно, устали,
Дорогие мои москвичи...

В первый раз ее исполнили Леонид Утесов и его дочка Дита в 1947 году, и она до сих пор часто исполняется.

Из всех приходивших к нам композиторов больше других мне нравился Матвей Исаакович Блантер. Отец называл его

по старой памяти Мотькой. Губастый, небольшого роста, уныло почесывающий небритую щеку, чем-то всегда недовольный, он становился необыкновенно обаятельным, когда садился за рояль. У него был негромкий, но очень приятный голос, и он пел не на публику, а словно для себя и, как мне казалось, немножко для меня. Помудрив над новой мелодией, он возвращался к старым песням, которые они сочинили когда-то в эпоху «Нерыдая» с моим отцом: к знаменитому «Джону Грэю», к шутливой «Служил на заводе Сергей-пролетарий...»

Я ждала, когда он запоет мою любимую, про моряков:

Опустилось солнце низко,
Океан свиреп и хмур,
Мы плывем из Сан-Франциско
В Гавр, Сайгон и Сингапур...

Под эту песню я засыпала, и мне снилось, будто мы с Мотькой Блантером плывем под парусами... По синим волнам океана...

Жизнь матросская сурова.
Либо море, либо хмель,
Из Суэца в Гавр, и снова
В Сан-Франциско и в Марсель...

С Мотькой Блантером — в Сан-Франциско! С ума сойти!

Безопасная гавань

Вслед за первой пьесой появилась вторая — «О друзьях-товарищах», тоже легкая, неприхотливая музыкальная комедия про то, как после победы расстаются друзья-однополчане и как по-разному сложились их послевоенные судьбы. Спектакль начал было столь же триумфальный путь по театрам страны, пошел даже слух о том, что ему дадут Сталинскую премию. И вдруг в «Правде» появилась статья писателя Ильи Кремлева-Свена, в которой тот обвинял авторов пьесы в клевете на советскую действительность и в искажении образов советских людей. В «Правде» просто так разгромные статьи не появлялись. Ясно, что автору со столь претенциозной фамилией дана была санкция.

Обвинение было опасное. Это был 1948 год, начало кампании против «космополитов». Вслед за разгромной статьей могло последовать все что угодно, вплоть до ночного звонка в дверь. Тем более, что один такой «звонок» в жизни отца уже был.

Авторы притихли на некоторое время. А потом свернули в тихую и безопасную гавань — в оперетту.

И попали в точку: давно шли разговоры о кризисе опереточного жанра. Нам нужна советская оперетта! Почему у нас всё «Летучая мышь», да «Сильва», да «Фиалка Монмартра»? Где наша, советская?!

А вот она! Уже готова радостная и оптимистичная, смешная и настоящая советская — «Самое заветное» на музыку знаменитого русского композитора Соловьева-Седого — о счастливой жизни колхозной деревни! На премьере я услышала те самые мелодии, под которые засыпала за занавеской в прокуренном кабинете. А вскоре появилась еще более советская — «Трембита» на музыку Юрия Милютиня — о том, как советская власть осчастливила своим приходом Западную Украину. А потом — «Белая акация» на музыку Дунаевского о советских китобоях, а потом — «Москва, Черемушки» на музыку Шостаковича про советские новостройки.

И что удивительно: при всей «советскости» содержания оперетты эти пережили свою эпоху, стали классикой, некоторые идут до сих пор, по ним сняты фильмы. Конечно, прежде всего, тут играет роль музыка Шостаковича, Дунаевского, Соловьева-Седого, но и тексты остроумны и, как ни странно, во многом не устарели. «Советское» в них — антураж, временная необходимость, а по сути-то они рассказывают о любви, о победе добра над злом — о вечном, но только легко и весело, по опереточному.

...Папин соавтор приводит на премьеры своего сына Шурика, на два года младше меня, в пионерском галстуке, с благовоспитанным румяным лицом круглого отличника. Я кажусь себе рядом с ним угловатой, громоздкой, с какими-то тайными неудобствами в одежде: чулок при ходьбе уползает в туфлю, лямка от комбинации не держится на плече, и нужно

как-то исхитриться, поправить ее через платье. В слишком туго заплетенной косе больно тянет какой-то волосок.

— Не горбись! — не глядя, шепотом, со светской — на публику — улыбкой говорит мама. — Не будь такой мрачной! Посмотри, как Шурик себя держит!

От невозможности стать похожей на безукоризненно-го Шурика я еще больше мрачнею, мне обидно, но и понятно мамино огорчение, что у нее, такой миловидной, приветливой, и у папы, такого известного — к нему все подходят, поздравляют — такая мрачная, сутулая, *зажатая* дочь.

Наше сближение с отцом шло очень медленно, неровно. Ему помогало, может быть, то, что отец не «воспитывал» меня в том смысле, какой вкладывала в это слово мама, — не поучал, не давил, лишь пытался ненавязчиво передать мне свою заинтересованность чем-то, брал с собой посмотреть новую станцию метро, новый памятник, новую выставку. С восторгом или, наоборот, с возмущением выражал свое отношение к какому-нибудь жизненному явлению, книге, спектаклю.

Вдруг, после какой-нибудь моей к месту сказанной фразы, в его глазах зажигался огонек интереса ко мне. Он радовался любому моему увлечению, любой попытке творчества. А если мое увлечение гасло — гас и его интерес ко мне, мы опять отдалялись. Ему нравились люди с творческой жилкой, в его устах худшей характеристикой человека была: «Он ничем не увлечен».

Сам-то он постоянно пребывал в состоянии увлечения — чем-то, кем-то, просто самой жизнью. Внешне медлительный, даже флегматичный, он до преклонных лет, казалось, не знал усталости. Отдыхая от пьес, писал эпиграммы и пародии, мог работать при включенном телевизоре, при детской возне.

Он сказал мне однажды:

— Знаешь, что такое счастье? Это — найти для себя такое дело, в котором ты сможешь проявить главные свойства своей личности.

— А если мое главное свойство — стеснительность?

— Стеснительность — это не свойство, а признак того, что ты не нашла себя, не уверена в себе и пытаешься это скрыть. Как только ты сама поверишь в себя — стеснительность исчезнет.

Преклонные годы

В 1965 году умер Михаил Червинский. Больше у отца не было соавторов. Он работал один.

В свои семьдесят и семьдесят пять, да и в восемьдесят отец был еще полон энергии. Работал обычно с утра до обеда, любил посидеть за письменным столом поздними вечерами, после ухода гостей, в тишине. Он сотрудничал в качестве эксперта в РАО (Российском авторском обществе, тогда оно называлось ВУОАПП), выступал на вечерах сатиры и юмора, ездил руководить семинарами молодых драматургов в Дом творчества Дубулты, посещал премьеры и художественные выставки. В театрах шли его оперетты, принося стабильные авторские гонорары. У него вышло несколько книжек пародий и фельетонов в «Библиотеке Крокодила».

Но самым любимым делом стала для него живопись. Он отдавался ей всей душой. Писал гуашью, иногда маслом. В его портретах, натюрмортах, пейзажах столько свежести, музыкальности, света, словно он вложил в них всю свою нерастраченную молодость, всю свою доброту и юмор. Картины его выставлялись в Центральном доме литераторов, в Доме актера, даже ездили в Англию по обмену картинами с английскими художниками-любителями. Он работал легко и вдохновенно, словно вновь окунался в свою Витебскую юность, где был влюблен в семнадцатилетнюю кузину, похожую на мою молодую маму. Жизнь сделала круг.

Последнее десятилетие своей жизни родители круглый год жили на даче. Тут они обрели покой, свежий воздух, возможность приятного общения с друзьями-соседями, размеренный ритм жизни. Отец сильно погрузнел, отрастил седую бороду, которая делала его похожим на Тургенева.

В ноябре 1976 года умерла мама.

Вышла на крылечко, села в свое любимое кресло, стала читать Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Попросила домработницу дойти до калитки, посмотреть, не положили ли почту в почтовый ящик. Та пошла, а когда через три минуты вернулась, мама уже не дышала. Как будто задремала в своем кресле, уронив книгу.

Последовало несколько очень нервных дней – надо было перевезти тело в Москву, потом кремация, поминки, обилие народа. Все восхищались папиным спокойствием – какой молодец! Как держит себя в руках!

Это не было спокойствием. Более, чем полвека, прожитые вместе, сделали отца и маму почти единым организмом. Мама отмучилась, и это стало для него горьким, но облегчением. Тем более, такая легкая, «счастливая» кончина.

Но вскоре наступила реакция. Мама со своим нелегким характером, даже больная, страдающая – была для него гораздо большим, чем сам он думал. При ее жизни он в свои восемьдесят лет чувствовал себя ее опорой и потому держался молодцом, не поддавался старости.

А оказалось, что это мама была его опорой. После ее смерти ему словно не за что стало ухватиться. Еще недавно красивая, деятельная старость быстро начала уступать место дряхлости.

«...Спектакль идет к концу...»

Сентябрьское воскресенье 1979 года. Папе восемьдесят три. Слабость, задыхается, плохо слышит, все хуже видит. То и дело погружается в дрему. В глубину его сознания подчас не добраться, но там, в глубине, – все осталось на прежних местах, там и четкое сознание своего состояния, и ясный ум, и память.

...Серьезно организм подорван мой.
Спектакль идет к концу... Пора домой!
Спектакль!..

В нем было много всякой фальши,
В нем были свет и тень,

Полынь и мед...
Но хочется узнать, что будет дальше,
А занавес опустится вот-вот.

За папой ухаживает и ведет хозяйство милая, заботливая женщина, Нина Александровна. (Прежняя домработница Нюра теперь работает в доме отдыха.) Дважды в неделю к нему приходит доктор Виталий Григорьевич, мерит давление, делает уколы. Я приезжаю по вторникам и четвергам, а субботу и

воскресенье вся семья проводит с бабушкой на даче. Из соседей его часто навещает Орест Георгиевич Верейский.

В 1978 году умерли один за другим жители поселка — Роман Кармен, Константин Симонов, Алексей Каплер и Виль Липатов.

— Талантливые, красивые, молодые умирают, а я — старый подлец — все живу! — сетует папа. — Подождите, мои дорогие, золотые! Я уже скоро!

Утро. Он сидит за столом в гостиной и дремлет. Перед ним — тарелка с манной кашей.

Я окликнула его, он вздрогнул, открыл глаза. Съел несколько ложек каши и спросил:

— Ты не знаешь, как поживают мои подсолнухи?

Каждый год, когда мы засеиваем наш огорожок, он волнуется, не забыли ли мы посадить подсолнухи. Еще и этим летом просил помочь ему дойти до огорода, смотрел, как они растут, раскрываются. У многих наших знакомых, и у нас на Московской квартире, и тут, на даче, висят папины подсолнухи — 61-го, 65-го и так далее годов. Вот как раз напротив меня, на стене, висят последние: «Подсолнухи — 78».

— Хорошо поживают. Уже три расцвели. Хочешь, после обеда я их срежу и принесу?

— Очень хочу!

Он откинулся на стуле и, шурясь, стал смотреть сквозь широкий проем стены в смежную комнату, где на спинке бордового дивана, прислоненный к серой стене, сидел синий плюшевый медвежонок.

— Какое чудное сочетание красок, — сказал папа. — Сам по себе синий медведь чем-то раздражал меня. Но кто-то замечательно придумал посадить его на бордовый диван, и с тех пор я не устаю им любоваться.

Его начинает бить мучительный кашель. А когда приступ проходит, он долго со стоном дышит, не в силах поднять руку, чтобы вытереть выступившие от кашля слезы.

Со своей патриархальной бородой, со слабыми, слезящимися глазами на одутловатом лице, со всем своим грузным, малоподвижным телом, в этой своей заплатанной на локтях, желтой домашней куртке с кляксами манной каши, застрявшими в бороде, дышащий со стоном и хрипом — он даже в эту

минуту кажется мне не дряхлым и жалким стариком, а прекрасным старцем.

Он — как большая печь, в которой прогорели дрова, щедро отдает свое тепло окружающим. Он весь светится этим теплом, любовью ко всем, ко всему — к детям, к цветам, к игрушке. Он полон доброты! Как он любит смотреть на детей — не только на своих внуков, а вообще на всех детей — сколько радости, удовольствия, нежности в его взгляде! Зрелище играющих, смеющихся детей доставляет ему эстетическое наслаждение.

И никогда никаких капризов и жалоб, наоборот — только радость и благодарность навстречу всем и всему.

— Спасибо тебе за то, что ты такая замечательная дочь, за то, что ты вышла замуж за такого прекрасного человека, за то, что вы подарили мне таких чудесных внуков!

Он снова останавливает взгляд на синем медвежонке, склоняет голову набок и говорит с чувством:

— Прекрасно!

Это его любимые слова, почти кредо и чуть-чуть самовнушение:

— Всё хорошо! Всё прекрасно!

Мне хочется еще немного подержать его на поверхности, не дать погрузиться в дрему, и я говорю:

— Ну, папа, далеко не все прекрасно.

— В жизни как в проекционном фонаре, — отвечает он. — Нужно уметь навести на резкость, настроить себя, чтобы чётко видеть. И тогда оказывается, что в жизни очень много прекрасного: в природе, в выражении лиц, в сочетаниях красок. Не все умеют себя настроить, и многое теряют.

Помолчав, он продолжает:

— Конечно, в жизни далеко не все прекрасно. Но в ней есть триада, которая выражает лучшее в ней. Три слова, которые оканчиваются на «та»: доброта, красота и простота, как противоположность напыщенности, искусственности. Наивность! Вот почему так прекрасны дети. И поскольку существует эта триада — можно сказать, что жизнь хороша.

Он ждет смерти с каким-то светлым предвкушением, с любопытством — да-да, только не со страхом. Мечтает лишь, чтобы она наступила во сне.

Подкатила моя дорога
К неизбежному рубежу.
Я устал. Я едва дышу.
Подождите еще немного,
Я вас скоро освобожу.

...Вот они перед ним — последние его подсолнухи в высоком желтом кувшине, маленькие, с длинными, как опущенные ресницы, лепестками, с круто согнутыми шейками; тот, что повыше, капризно отвернулся от двух других.

— Какая прелесть, — сказал папа.

Он взял кисть в чуть дрожащую руку и долго вглядывался в букет.

— Нет, не могу, — сказал он. — Все сливается. Не вижу.

Уронил кисть и заплакал.

Папе осталось жизни — два месяца.

Он медленно угасал, плавно погружался в смерть. Все реже выплывал из своего сонного бытия, из глубин своего сознания. Казалось, что там, в глубинах, по-прежнему живет его молодая душа — мудреца, остроумца, рассказчика. Но телесная оболочка уже никуда не годилась. Вот если бы можно было пересаживать душу в другое тело! Мне казалось — душа его ждет, когда же перестанет цепляться за жизнь это вялое, бессильное, тучное тело, чтобы освободиться и вылететь из него. Но — продолжала жить в этих одряхлевших останках, как капитан, последним покидающий тонущее судно.

Пришел день и занавес опустился. Папа уснул — и не проснулся. Как и мечтал. Хочется думать, что у него был счастливый, спокойный закат. Насколько это возможно, конечно.

Эпилог

В мои стихи упрямо просятся,
Терзая грудь, сводя с ума,
Всех передряг разноголосица,
Вся мировая кутерьма.

И я почти безостановочно
То низвергаюсь в топь и гать,
То, как по лестнице веревочной,
Наверх карабкаюсь опять.

И связан страхом, как канатами,
Неисчерпаемо богат
Лишь неизбежными угратами
И ожиданием утрат.

Пересматриваю его архив, перечитываю записные книжки пятидесятых, шестидесятых, семидесятых — три толстые тетради в сером, черном, красном дерматиновых переплетах. Наброски стихов и рисунков, анекдоты, афоризмы, мысли, наблюдения, высказывания великих мыслителей, созвучные его мироощущению, забавные случаи, происходившие с ним и с его знакомыми. Тетради разбухли от вклеек, от вложенных в них фотографий, вырезок из газет, приглашений на авторские вечера... Все это глядит на меня добрыми, всепонимающими глазами моего отца, который давно уже телесно покинул этот мир, оставшись для меня ясным, живым образом, с которым у меня никогда не прерывается духовная связь.

Не повезло ему жить в эпоху, когда только в таких вот потайных тетрадях он мог себе позволить быть самим собой.

— Ну, почему. Я всегда оставался самим собой. А что до эпохи — она была — ох, какая интересная! Она еще дождетя своего историка, а еще лучше — художника, который создаст великолепную, многоцветную картину.

— В эту великолепную эпоху вас с Николаем Эрдманом арестовали и выслали на десять лет — ни за что.

— Во-первых, мы с Эрдманом легко отделались по сравнению с многими другими. Во-вторых, мы с ним позволили себе открыто издеваться над тем, о чем требовалось говорить с благоговением. Так что нельзя сказать, что нас арестовали ни за что. А в-третьих, эти десять лет ссылки я не считаю потерянными для себя временем, потому что у меня не отняли главного: возможности работать, писать.

...Тетрадка в сером хранит осколки веселых застолий, когда у нас за круглым столом собирались замечательные творцы юмора тех лет, пили водку, острились, рассказывали анекдоты. От этих анекдотов у мамы испуганно округлялись глаза, она произносила робкое «ш-ш-ш!», указывала на дверь, на потолок, на телефон. Но за круглым столом они плевали на осторожность. Они смеялись над своей «интересной» эпохой, над

собственным бессилием что-либо изменить, над необходимостью служить ненавистой власти, от которой зависела их жизнь. Смех помогал им сохранять чувство собственного достоинства.

Но в потайной нише, в своих тетрадах, отец писал горькие стихи о своем времени:

Нас растлили, опустошили!
Нам, блуждающим, как в бреду,
В черепную коробку влили
Мутной ереси ерунду.

Как мы бешено ликовали!
Как ломали постылый быт!
Пафос этой поры едва ли
Будет предан и позабыт.

Но увы, фейерверк веселья
Был недолгим — прошел как сон.
И тяжелый угар похмелья
Обступил нас со всех сторон.

Навсегда и во всем изверься,
Мы не видим вдали ни зги!
Нам бессмысленнейшая ересь
Одурманивает мозги.

В мире злобном и неуютном
Не смирившихся не щадят!
Как в консервные банки льют нам
В черепные коробки яд.

Нам ярмо большевистской догмы
Не дает распрямить спины.
И бредем без путей-дорог мы,
Виноватые без вины.

Это писалось задолго до «перестройки и гласности», а потому без надежды на публикацию. Какая там публикация! Но за своим письменным столом он был свободен и писал то, что хотел:

Каким проклятьем век клеймён?
Каким тавром судьбы отмечен?

И почему так жалок он,
Так низок,
Так бесчеловечен?

Почти что ненависть к уму,
К труду,
К возможностям познания,
И недоверье ко всему,
И ужас разочарованья.

Разочарованность в делах,
В великих истинах и в малых,
Во всех кумирах и богах,
Во всех недавних идеалах.

Всё, всё —
гремит ли барабан,
Труба ль зовет,
Поет ли скрипка —
Притворство.
Ханжество.
Обман.

Ловушка.
Каверза.
Ошибка.

— Ты все понимал еще тогда?

— Конечно. Это была драма. Но в жизни, как в театральном репертуаре, должно быть всё. И в моей были не только драма, но и комедия, и водевиль, и мелодрама, и трагедия. Горького и печального хватало. Но без горечи жизнь пресна, а печаль — естественное прибежище юмориста.

Всегда за далью есть другая даль,
Которая и манит и пугает.
Но, как сказал Спиноза: «Нас печаль
С вершины совершенства низвергает».

Мы часто с ней ведем неравный бой.
Когда в пути нас настигают беды,
В борьбе ль с судьбой,
В борьбе ль с самим собой
Мы редко добиваемся победы.

Печаль берет нас то и дело в плен.
Не суждено нам долгое блаженство.
Какая там «вершина совершенства»!
Не до неё.
Подняться бы с колен.

— Мы еще не поднялись с колен, папа, и до совершенства по-прежнему далеко.

— Всё будет хорошо. Всё будет прекрасно. В жизни добра больше, чем зла, и добро в конечном счете побеждает. Добро и талант. Я абсолютно убежден, что это так.

Илья Кремлев-Свен

Забавно распорядилась судьба: Илья Кремлев-Свен, автор разгромной статьи в «Правде», стал нашим соседом по дачно-му поселку. Он был приземистый, жирный, с густой седоватой всклокоченной шевелюрой, с несколько жабым лицом. Дачу он построил по самому большому архитектурному проекту, а времянку, не в пример другим, выстроил основательную, под двускатной крышей — не времянку, а целый домик с удобствами. Свой участок он окружил высоким дощатым сплошным забором и окрасил его в желтый цвет. В те «первобытные» поселковые времена заборы ставили низкие из редкого штакетника, а чаще из сетки рабицы. Поэтому кремлевский забор произвел на всех оскорбительное впечатление. Ворчали: только колючей проволоки не хватает. У Кремлева вообще была плохая репутация в поселке. Говорили, что он большая сволочь. Про него ходила эпиграмма:

Илья Кремлев, стукач-надомник,
Недавно выпустил трехтомник.

Такого отношения к себе он или не замечал, или игнорировал, ходил гордо, ловил встречных и прилипчиво хвастался своими писательскими успехами и боевой биографией. Говорил, что в гражданскую воевал с белыми в Закавказье, потом много лет работал по партийной линии, в отечественную добровольцем ушел в ополчение. Писал он толстые романы о революции, о выдающихся революционных деятелях. Послед-

ний его роман-трилогия «Большевики» многократно переиздавался.

Никто из гостей, собиравшихся за нашим столом, романа не читал да и не собирался. Об авторе, а заодно и о его жене Ефросинье Яковлевне, которую неуважительно называли Фроськой, отзывались с насмешкой. Говорили, что эта Фроська — бывшая продавщица газированной воды и что Кремлев ее «подобрал». Фроська была красивая, статная, яркая блондинка, лет на пятнадцать младше мужа и на полголовы выше его. Так что еще не известно, кто кого «подобрал»: он — молодую красавицу или она — богатого сморчка. Сама она утверждала, что сроду ничем не торговала, а работала в военном издательстве секретаршей. Детей у них не было. Сплетничали, будто Фроська мужа бьет. Однако, за глаза она отзывалась о нем всегда уважительно, называла «Илья Ильвович». Была Фрося горласта, вульгарна, зато прекрасно вела хозяйство. В то время, как ее соседки хвастали друг перед другом выращенными на своих участках бесполезными пионами и гладиолусами, она мариновала на зиму огурцы и помидоры со своего огорода, запасалась собственной картошкой, морковкой и прочими овощами, а кроме того, продавала соседям собственную черную смородину, крыжовник и малину, сбивая цену деревенским, чем гордилась. Писательские жены презирали ее за такую практичность, но ягоды покупали. Цветы она тоже выращивала. Однажды подарила мне несколько корней золотых шаров, и за много лет они у меня разрослись. Когда цветут в августе, то напоминают своей яркостью, пышностью, грубоватой красотой и цепкостью свою дарительницу.

Благоустроенный домик под двускатной крышей был Фросиной дальновидной идеей. Ни у кого из обитателей поселка тогда еще в мыслях не было, что дача может приносить какой-то денежный доход, а у нее было.

Трилогию «Большевики» я не осилила, а вот спектакль по пьесе Ильи КреMLEва «Крепость на Волге» — смотрела. Он шел после войны в театре Вахтангова. Про защитников Сталинграда. Главную роль маршала там играл Михаил Степанович Державин, папа нашего Мишки Державина, с которым мы каждое лето отдыхали в пионерском лагере «Плёсково». Несмотря на пафосность, спектакль мне понравился как нравилось в детстве

всё про войну и героизм. Хотя, по общему мнению, пьеса была слабая, шла при неполном зале. Кто-то в театре сострил: «Были сборы недолги там, где «Крепость на Волге».

Может, это свидетельствовало о том, что Кремлев плохой писатель, но еще не доказывало мне, что он сволочь. О статье в «Правде» я, конечно, знала, но, во-первых, когда это было! А во-вторых, я все еще наивно думала, что, может, ему и в самом деле не понравилась пьеса Масса и Червинского. Имеет право человек честно высказать свое мнение! Поэтому, когда однажды мы встретились с ним на Центральной аллее поселка, и он, взяв меня под руку, похвально отозвался о моей недавно вышедшей первой книжке «Жестокое солнце» — о нефтяниках Калмыкии, я растаяла и разулыбалась. В те годы я месяцами работала в экспедициях, на даче бывала нечасто и в тонкости местных отношений не вникала. А он принялся рассказывать, как он дрался с беляками в Калмыкии, как написал об этом книгу рассказов «Калмыцкая степь», и заявил, что мне непременно надо прочесть эту книгу и что он мне ее подарит.

Так мы гуляли, дружески беседуя, по аллее, как вдруг я увидела возле конторы Геннадия Семеновича Фиша, друга моих родителей и постоянного гостя за нашим столом. Он смотрел на меня, буквально вытаращив глаза. Потом окликнул:

— Можно вас на минуточку?

Я извинилась перед своим спутником и подошла к Фишу.

— Вы с ума сошли! — возмущенно сказал Геннадий Семенович. — Вы знаете, с кем общаетесь?! Это же негодяй, презренный тип! С ним порядочные люди не должны знаться! По его доносам арестовывали людей! А вы с ним гуляете под ручку! Как вам не стыдно!

Я сникла под этим потоком возмущения. Знала же прекрасно, что к Кремлеву отношение почему-то брезгливое, но не вдавалась в причину. Оглянулась беспомощно на оставленного мною посреди дороги спутника. Но его и след простыл.

Илья Кремлев-Свен (его настоящая фамилия оказалась Шехтман) умер в 1971 году. Вот тут дальновидности Фроси многие вдовы позавидовали: она тут же сдала благоустроенный домик-временку за хорошую цену. Кроме того, ее энергией еще много лет переиздавались мало кем читаемые, но иде-

ологически востребованные книги ее мужа, что тоже позволяло ей жить на широкую ногу. А когда книги мужа стали никому не нужны, Фрося решила продать дачу. Это было уже в девяностых. Ее уговаривали: зачем? Возраст у вас солидный, всех денег вам до конца жизни не израсходовать. Сдайте подороже домик и живите себе спокойно.

Но в ней еще бушевала жажда деятельности. Несколько лет она искала покупателя, многих отвергла, пока не нашла очень богатую даму. Каким способом эта дама наживала деньги — особо никто не вдавался. Наступили новые времена, землю можно стало продавать кому угодно. Вот эти «кто угодно» и начали скупать участки у обедневших писателей и их вдов. Про даму знали только, что она — бывшая свекровь Ирины Родниной. Поэтому купленная ею дача получила в народе название «Дача Родниной», хотя знаменитая фигуристка ни разу там, кажется, не бывала.

Продав за огромные деньги дом вместе с участком в полгектара, Фрося Кремлева купила норковую шубу, сменила старые жигули на новые, съездила во Францию и ФРГ, вернулась в Москву и через месяц умерла в больнице от инсульта. Кому достались не потраченные деньги — покрыто мраком. Родственников у нее не было, а с родственниками мужа она не зналась.

Бывшая же свекровь Родниной снесла старый, еще крепкий, дом вместе с двускатной временкой и выстроила на участке нечто в те годы невообразимое — громадный то ли дворец, то ли торт, то ли замок. А на месте временки — второй дом, похожий на старую временку как маршал на новобранца. Теперь этот помпезный архитектурный стиль стал привычным и получил название «коттеджного», но тогда это было первое такое гигантское сооружение в нашем поселке и казалось вопиюще безвкусным. Однако, с годами пригляделись, и теперь все это — и оба дома, и четко распланированный дизайнерами, ухоженный руками садовников участок с газонами, цветниками, декоративными деревьями, и фигурный забор красного кирпича, сменивший тот, желтый, деревянный, и маленький парк по эту сторону забора — елочки, плакучие серебристые ивы, цветочные клумбы, обрамленные булыжниками, — смотрится красиво.

Принадлежит это поместье уже не покойной даме, а какому-то новому владельцу из молодых миллионеров, но почему-то по-прежнему люди называют все это «дачей Родниной».

Николай Эрдман

Отбыв трехлетнюю ссылку в Енисейске, Николай Робертович Эрдман переехал в Томск, а перед войной — по иронии судьбы — был взят на должность литконсультанта в ансамбль песни и пляски НКВД. В этот ансамбль, созданный по инициативе самого Берия, приглашались известнейшие деятели искусства, такие, как композитор Шостакович, балетмейстер Касьян Голейзовский, руководитель театра Вахтангова Рубен Симонов. Эрдман впоследствии говорил со свойственным ему юмором: «Нет, это только в нашей стране могло быть: кому пришло бы в голову, даже в фашистской Германии, создать ансамбль песни и пляски гестапо? Да никому! А у нас — пожалуйста!»

Из ссыльных писателей, кроме Эрдмана, в ансамбле работал его старый друг еще по «Нерыдаю», писатель Михаил Давидович Вольпин. Вместе они написали сценарий знаменитой кинокомедии «Волга-Волга» и дальше начали работать в соавторстве. По их сценариям были сняты фильмы «Актриса», «Здравствуй, Москва» и — самый известный, получивший Сталинскую премию, советский вестерн — «Смелые люди».

После войны ансамбль расформировали. Но лишь в 1947 году Николаю Робертовичу и Михаилу Давидовичу было, наконец, разрешено жить в Москве.

Они стали частенько бывать у нас — Вольпин со своей женой, Эрдман со своей, красавицей балериной Наташей Чидсон. Приходили и другие старые друзья по «Нерыдаю»: Матвей Блантер, Виктор Ардов — человек библейской внешности и невероятного, как мне казалось, остроумия. Приходил Леонид Утесов с толстой, красивой дочкой Дитой. Приходил Эдди Рознер, недавно освобожденный из лагеря и снова блиставший на эстраде. В его ансамбле работала юная певица Нина Дорда, исполняла песенки на слова Масса и Червинского.

— Где вы откопали эту жемчужину? — восхищался папа.

— Я переманил ее из оркестра ресторана «Москва», — с мяг-

ким польским акцентом отвечал Рознер и улыбался своей обаятельнейшей улыбкой.

Тише и скромнее всех был Николай Робертович. Что-то непередаваемо привлекательное было в его облике, негромких репликах, меланхоличных, спокойных манерах, даже в легком заикании. В нем было то, что называют мужским обаянием.

Меня, донельзя стеснительную, «дикую», как говорила мама, звали к столу, но я предпочитала смотреть на застолье в дверную щелочку из коридора. За круглым столом было очень весело. Рассказывались смешные случаи, анекдоты, все хохотали...

И я хохотала под дверью, зажимая рот. Но как только кто-нибудь оборачивался в мою сторону — шмыгала на кухню, как мышь в нору. Там с удовольствием пересказывала домработнице Ксении только что услышанное и увиденное, и она протодушно восторгалась:

— Ну, артисты, одно слово!

В 1989 году, уже после смерти моего отца и Николая Эрдмана, пришла бумага об их реабилитации. Мне позвонили из Управления КГБ и предложили ознакомиться с «делом» отца. Я пришла на Кузнецкий. Читала «дело». Следователь, уже, конечно, не Шиваров, а другой, простоватый, вежливый чиновник в штатском, не запомнила его фамилии, сидел в кабинете, пока я читала. Мне очень хотелось, чтобы он ушел, я думала, он боится, что я сопру что-нибудь из папок на память. И правда, очень хотелось. Он же объяснил свое присутствие тем, что часто с родственниками во время этих чтений случаются истерики, даже обмороки.

«Ну, у вас-то нормально. Ваши хорошо держались. Каждый брал на себя. Многие старались спихнуть друг на друга — тоже можно понять людей. А ваши — нет...»

Конечно, можно понять. Но мне было приятно узнать, что «наши» хорошо держались.

О судьбе Шиварова я случайно узнала из книги-дневника Василия Катаняна «Лоскутное одеяло». Этого следователя, «специалиста по писателям», арестовали в тридцать восьмом году, а в сороковом он покончил с собой в лагере.

Эрдман и Вольпин много лет работали вместе. Писали интермедии к Шекспировским спектаклям для театра Вахтангова. В цирке шли клоунады и целые представления по их либретто. Их обожали на киностудии «Союз Мультфильм». Считали своими авторами. Они написали в числе прочих такие шедевры, как «Федя Зайцев», «Остров ошибок», «История одного преступления». Им нравилась эта работа: смешные человечки, лошадки, зайчики — и никакой политики! Их рисованные фильмы были о любви, о совести, о дружбе — в сущности, о самом главном. И написаны так мастерски, доходчиво, трогательно, увлекательно, смешно, что проникали детям прямо в душу. И взрослым тоже.

Талант оставался талантом. Но Эрдман был гений. И можно лишь отдаленно представить, какой творческий взлет был прерван арестом у создателя «Мандата» и «Самоубийцы», двух пьес, вошедших в золотой фонд мировой драматургии. Потому что все, что происходило с Эрдманом после ссылки, можно назвать затянувшейся трагедией сломленного человека. Скепсис, постоянное ожидание начала новых арестов, душевная горечь, заглушаемая алкоголем...

В 1962 году Николай Эрдман стал нашим соседом по дачному поселку на Красной Пахре.

Участок раньше принадлежал писателю Олегу Писаржевскому. На строительство дома у Писаржевского все никак не хватало денег, стоял только крохотный дощатый домик-временка, в котором постоянно жил дядя Олега, бывший художник. Семнадцать лет отбыл в Сталинских лагерях. Рассказывал нам с отцом: в лагерь пришла разнарядка: сократить количество заключенных наполовину. Зэков вывели на плац, выстроили в две колонны. И по одной из колонн проехали танком. Художник остался жив, но у него с тех пор тряслись руки, и он не мог держать кисть. Свой художнический дар он перенес на цветы — выращивал замечательные гладиолусы. Весь поселок приходил на них любоваться.

И вдруг Писаржевский умер, и участок купил Эрдман. Все переживали за старичка — куда же он теперь денется? Эрдман ответил: «Как куда? Никуда. Пусть живет в этой временке, всегда».

Строительством дома руководила жена Николая Робертовича, уже не Наташа Чидсон, а другая, тоже балерина, тоже красавица — Инна Кирпичникова. Кажется, к этому времени она уже не была балериной. Молодая, зеленоглазая, надменная, всегда роскошно одетая, она проносилась за рулем своей машины по узким аллеям поселка, распугивая собак и пешеходов. С ними жила ее мать, тихая женщина. Николай Робертович говорил: «Вот с тещей мне повезло».

Друг-архитектор предложил проект. И по этому проекту дом встал как раз на то место, где росли гладиолусы. И старичок-художник как-то очень быстро умер. И гладиолусов не стало.

Инна сама доставала материалы, договаривалась с рабочими, за всем следила, платила, торговалась — ее энергией дом был построен очень быстро. Он получился по общему мнению какой-то нелепый, не похожий на другие дачи поселка с их обычными для тогдашнего подмосковья двускатными крышами. Плоский, с высоченной трубой как у крематория.

Эрдман не любил шумное общество. Наши многолюдные застолья посещал редко. Чаще отец у него бывал. Иногда они с отцом гуляли по поселку в сопровождении большой эрдмановской дворняги с грустными, как у хозяина, глазами.

Николай Робертович в этот последний период своей жизни иссох, выглядел понурым, скорбным, каким-то погасшим. Тяжелая болезнь, казалось, проступала сквозь серую кожу его лица. Он очень много курил и быстро дряхлел. В его доме, рядом с его женой, прочно угнездился некий молодой человек, якобы дальний родственник жены.

Умирал Николай Робертович мучительно. Отец, навещавший его в больнице, возвращаясь, плакал.

В августе 1970-го Эрдман скончался.

Через полгода после его смерти умерла теща. Инна на глазах всего поселка спивалась. Этот ее возлюбленный, Аркадий, ее спаивал и обирал.

Как-то, холодным осенним днем, я увидела ее бредущей по аллее, исхудавшую, в летнем коротком, измазанном в глине платье. Я поздоровалась. «Кто это? — спросила она. — Я не вижу ничего (хотя было светло). Слушайте, возьмите меня за руку, отведите куда-нибудь, дайте мне поесть, я страшно голодная!»

Я привела ее к нам, мы ее накормили. Она жадно ела, и у нее дрожали руки.

Через месяц она умерла в больнице.

Дача осталась бесхозной. Ее опечатали.

Вскоре отцу позвонила женщина, назвалась племянницей Эрдмана, его единственной родственницей, сказала, что ни на что из имущества дяди не претендует, только хочет взять бумаги и два кресла, которые Николай Робертович обещал подарить Юрию Любимову для его кабинета в театре на Таганке. Отец обратился в правление кооператива, и племяннице разрешили забрать то, что она просила.

Племянница приехала на машине. За ней следовал мебельный фургон. В сопровождении коменданта поселка, слесаря и понятого (понятой взяли меня) пришли на участок. Было начало декабря, мела метель. Пломба оказалась сорвана, дом заперт изнутри. Племянница решительным ударом локтя высадила стекло веранды, всунула руку, отодвинула задвижку... Мимо нас с воем пронеслась собака, запертая в доме. Мы вошли. Внутри было удивительно красиво! Высокий — до крыши — холл-гостиная с камином, с громадным овальным столом, над которым низко висела люстра, вся из разноцветных подвесок. Вверх вела узкая ажурная лестница, вся оплетенная декоративной зеленью. На стенах — старинные бронзовые бра, картины. Наверху — балюстрада и жилые комнаты, обставленные легкой изящной мебелью.

Племянница обомлела. Но лишь на секунду.

— Это что же? — сказала она. — Всё — этому гаду Аркашке? Ну, уж нет!

И начался самозабвенный грабеж. Мебель, лампы, картины грузились в фургон, бронзовые бра племянница вырубил топориком вместе с кусками штукатурки. Где-то в набиваемом фургоне среди мебели затерялись и те два несчастных кресла, что были завещаны Любимовскому кабинету. «А вы что ж не берете?! — кричала в экстазе племянница. — Берите! Всё берите!»

Комендантша забрала посуду и комод вместе с постельным бельем. Что-то досталось слесарю. Признаюсь, и мною овладела жажда наживы, и я с помощью грузчиков приволокла на свою дачу двуспальную тахту, которая и по сей день у нас стоит.

Оставили только люстру с разноцветными подвесками, потому что устали и лень было ее откручивать, да и класть уже некуда. А бумаг никаких не оказалось, потому что архив Эрдмана хранился у моего отца в московском кабинете. В 1996 году я передала его в ЦГАЛИ.

Племянница в сопровождении фургона уехала, а на следующий день приехал на своей машине «гад Аркашка», увидел разбитое стекло веранды, произнес: «Эх, черт, не успел!» Погрузил в машину люстру и исчез навсегда.

Беспризорная собака несколько дней бегала по поселку, питаясь подачками, пока ее насмерть не сбила машина. Шофер клялся, что собака сама бросилась под колеса.

Дача два года пустовала. О ней ходили дурные толки. Но, в конце концов, ее купил писатель Холендро, поселился с семьей, и вроде ничего.

Бакуриани

С глубоким вздохом облегчения я закончила Университет. Как гора с плеч. Гора-то гора, но теперь надо было забыть про экспедиции и устраиваться на работу — учительницей русского языка и литературы, как значилось в моем дипломе, редактором или кем-то в этом роде. Нашлись знакомства, мне было туманно обещано место в детской редакции радио, но не в ближайшее время, а месяца через три-четыре, когда уйдет на пенсию прежний сотрудник. А пока я стала искать случая смотаться еще куда-нибудь, подальше от Москвы. Добрать последние крупы романтики.

Случай представился в образе красивого студента второго курса физфака МГУ Кости Маркаряна, явившегося к моему отцу в начале октября 1960-го просить об участии в вечере сатиры и юмора, который ему, Косте, поручили организовать на факультете.

Кажется, этот вечер так и не состоялся, но «случай» — состоялся и определил мою дальнейшую жизнь.

Через несколько дней Костя позвонил и сказал, что, к сожалению, проведение вечера поручено другому студенту, а сам он берет академический отпуск и уезжает работать на Северный Кавказ, на высокогорную сейсмологическую станцию,

лаборантом. Вскоре я получила от него письмо с восторженным описанием природы и с приглашением приехать покататься на лыжах. Костя писал, что сотрудники станции читали мой очерк в «Новом мире» и что им интересно познакомиться с «журналисткой». Подробно описал путь — поездом до Боржоми, там «кукушкой» до курортного городка Бакуриани, а оттуда — пять километров в горы, где расположена станция. Но это так, на всякий случай, потому что в Боржоми меня встретят на машине и привезут.

...Всё было удивительно — и мое мгновенное решение поехать, и то, что в Боржоми, куда поезд прибыл глубокой ночью, меня действительно ждал грузовик с Костей и шофером Иваном, и то, что с Костей, которого я видела второй раз в жизни, мы обнялись как близкие люди.

ГАЗ-63, ревя, ехал вверх и вверх по ночному серпантину, мы сидели в кабине, Костя сетовал, что ночью не видно красок, но и без красок, в свете фар, природа производила мощное впечатление — панорамой гор с их снежными вершинами, внезапными выступами скал, обрывами, водопадами. Два раза дорогу нам перебежали крупные лисицы.

Вот последний, крутой подъем, заглушенный мотор, внезапная тишина, три финских дома силуэтами на фоне звездного неба, фигурка женщины, сбежавшей с крыльца, добродушные лохматые собаки, мои лыжи и вещи, брошенные в тамбуре, жарко натопленная Костина половина дома и дверной крючок, торопливо накинутый на петлю.

Первые две недели впечатления от новой жизни были расплывчаты — всё затмил роман с Костей, если можно назвать романом то, в чем не было главного составляющего этого жанра — любви. Мне было двадцать четыре, Косте — девятнадцать, однако, в наших взаимодействиях Костя был как опытный хирург рядом с жалкой практиканткой.

Жители станции — тридцатилетний начальник Зиновий Шварц, шофер Иван с женой Мартой и девятилетним сыном Митей, вторая лаборантка Нина с мужем Федей Козловым — держались приветливо, но на отдалении. Чаще других в поле моего зрения попадал Зиновий: они с Костей вместе питались, и я взялась им готовить, довольно быстро приноровившись к

дровяной плите и другим непривычным для меня бытовым приборам, типа кочерги, чугунного горшка или ухвата.

По вечерам Зиновий приходил к нам в гости. Вначале он казался мне сухарем, но вскоре я оценила его тонкое чувство юмора, ум и эрудицию. Физик-ядерщик, выпускник Воронежского Университета, он шестой год работал на станции. Овладел за это время тремя языками. Публиковал научные статьи. Выписывал все толстые литературные журналы.

Я привезла проигрыватель и пластинки — любимых мною Сибелиуса, Моцарта, Дебюсси. Мы пили чай с московскими конфетами и бакурианскими пирожными, слушали музыку, философствовали. Не слишком образованный Костя, не в силах принять на равных участие в наших с Зиновием беседах, выходил из себя и кричал, что людей с такими взглядами, как у нас, надо расстреливать.

По прошествии двух недель наш с Костей пыл угас. Костя мне надоел заносчивостью, вспльчивостью и амбициозностью. Выдохся и он. Стал мрачен и раздражителен. Работал спустя рукава, а когда Зиновий сделал ему замечание — взбеленился и заявил, что тот нарочно к нему придирается, потому что имеет виды на меня. Мысль эта запала ему в голову, он начал приставать ко мне и Зиновию с хамскими намеками, а когда, обозлясь на его выкрутасы, я собрала свои вещи и перебралась жить в пустовавшую половину гостевого дома, начались пошлые выслеживания, еженощные шумные домогания с попытками взломать мою дверь, с угрозами типа: «пусть сяду, а зарежу!» и прочими восточными страстями. Работать он совсем перестал, заявив, что пусть такой примитивной ерундой занимаются плебеи вроде Нины Козловой, а он создан для великих дел, и нам всем еще это докажет.

Кончилось тем, что Зиновий его уволил, прямо ему объяснив:

— У меня всего четыре штатные единицы, и меня не устраивает, что двадцать пять процентов работы не выполняется. Поступай в большой коллектив, может, там тебя научат работать и жить с людьми.

Костя еще немного повыкобенивался и уехал в Ереван к родителям, а меня Зиновий оформил лаборанткой на его место.

Нина Козлова помогла мне освоить нехитрое лаборантское дело и теперь я, чередуясь с ней, трижды в день ходила к домику-лаборатории, отстоящему от жилых домов метров на пятьсот. Мне нравилось выходить в полседьмого утра из дома, идти в темноте через сосновый и пихтовый лес, освещая путь фонарем, протаптывая тропинку в пушистом снегу. Над головой сияли крупные звезды, их порой закрывали горы, и эта бесконечная панорама горных вершин на фоне звездсоздавала ощущение сказочного простора.

В лаборатории я записывала в журнал сигналы точного времени, показания термометра и барометра, меняла ленты в сейсмографах. Их было два, они стояли посреди комнаты, мигали зелеными и красными лампочками. У них были имена: Харин и Кирнос. Оба отмечали колебания земли, предсказывали землетрясения. Харин — слабые, местные, а Кирнос — сильные и дальние. На экранах тонкие самописцы чертили на лентах ломаные линии, иногда спокойные, невысокие, чаще — нервные, скачущие. Я вынимала кассеты, проявляла ленты, вставляла новые. Мне доставляли удовольствие эти простые действия и то, что я обслуживаю такие умные машины с человеческими именами.

И вообще, мне всё доставляло удовольствие. Всё здесь было мне по душе. Я попала под обаяние спокойно-деловой, ровной, слаженной жизни станции и ее обитателей. Почти каждый вечер мы собирались все вместе то у Марты с Иваном, то у меня, то у Нины с Федей, пили чай, вели разговоры. Никто не пил спиртного, не сквернословил и не курил, но никто и не доказывал мне, что курить вредно. Я сама бросила это дело, и без особого усилия: мне хотелось заслужить их одобрение. Я училась у них стилю поведения — тактичному, открытому, ненавязчивому, благожелательному. Может быть, это отчасти шло от характера Зиновия, от его разумной, дружески-спокойной манеры руководства.

Мы с ним продолжали вести общее хозяйство. Я готовила, он поставлял продукты, рубил дрова для плиты, приносил воду. Мы катались с гор на лыжах. Он учил меня поворачивать и тормозить на крутых спусках. Иногда все вместе, оставив на станции дежурного, спускались на грузовике в городок поразвлечься — в кино или на гору Кохту, посмотреть тренировки

спортсменов по слалому-гиганту. Несколько раз Зиновий брал меня за компанию в Боржоми, в паровозное депо, оформлять документы на закупку угля для станции. Нас возил Федя Козлов на мотоцикле. Я садилась в коляску, Зиновий — на заднее седло, и мы неслись на ночь глядя по горной дороге. Слева — скалы, справа — пропасть, в глаза — свет встречных фар, над головой — огромные звезды, внизу — крошечные огоньки селений, лицо ломит от ветра, а в душе — чувство полного доверия к людям рядом — вот счастье, думала я, вот жизнь, и другой мне не надо!

И продолжением этого счастья было — вернуться в протопленный дом, вымыться в ванне — у нас была дровяная колонка, мы по очереди ее топили — услышать деликатный стук в дверь и голос Марты: «Идите к нам чай пить, все уже собрались, вас ждут!» (Еще одна деталь к характеристике отношений: при всей дружбе Зиновий обращался к своим сотрудникам на «вы», и они переняли эту манеру).

В январе приезжали в отпуск молодые ученые из Москвы — станция была одним из филиалов института Физики Земли — днем, по пояс голые, катались на лыжах, возвращались обгоревшие, топили печи, устраивали танцы. Я надевала короткое по тогдашней моде платье в талию с широкой юбкой, бежевые туфли-лодочки, меня приглашали наперебой, и я чувствовала себя почти королевой бала.

Почти, потому что мой «король» не тяготел к иному сближению, кроме дружеского, и никаких «видов» на меня не имел. Он любил другую женщину, Аню Мюллер, — об этом мне сказала Нина Козлова. Но она замужем, у нее дочь. Уходила от мужа, год жила здесь, на станции, потом муж приехал, чуть не силой увез в Актану. Сейчас разошлись совсем, но что-то она не приезжает, а он ждет ее вот уже два года.

В «любит и ждет» я поверила, потому что это было в его характере. Хотя, может быть, Нина рассказала мне эту историю отчасти в утешение, а на самом деле я просто ему не нравилась. Или он не желал пользоваться мной по остаточному принципу. Что немножко обижало, но утешало то, что и он внешне был не в моем вкусе: тщедушный, сутуловатый, с шапкой черных, стоящих дыбом, курчавых волос, с глубоко посаженными небольшими темными глазами, тонкогубым ртом и

выступающим подбородком. Я тяготела к другому типу мужской внешности. Мне нравились крепкие парни, вроде тех, что, как в песне, «идут по свету, им, вроде, немного надо, была бы теплая палатка, и был бы не скучен путь...» И у которых в душах «страдают Бетховенские сонаты», а «самые лучшие книги они в рюкзаках хранят». Ну, в общем, по-прежнему что-то среднее между образованным геодезистом Арсеньевым, борздящим сопки Сихоте-Алиня, и летчиком Саней Григорьевым из «Двух капитанов».

Все же, если бы Зиновий сделал шаг мне навстречу, я бы, наверно, ломаться не стала, потому что как человек он мне нравился, очень. Но он шага не делал, а я не собиралась нарушать ту дивную гармонию отношений, которая установилась между нами всеми, несмотря на несхожесть характеров и судеб.

Судьбы у всех были по-своему трагические.

Нина Козлова выросла в детдоме для детей врагов народа. Ей было два года, когда она туда попала, и кто были ее родители, она не знает, потому что в детдоме ей дали другую фамилию. Предполагает, что не рядовые деятели, потому что в том же детдоме воспитывались дочери Тухачевского и Якира.

Родителей ее мужа, Феде Козлова, крестьян с Кубани, сначала раскулачили, а потом уморили голодом вместе с четырьмя детьми. В живых остался только Федя. Беспризорничал, воровал, попал в детскую колонию. Выучился на зоотехника и сейчас работал в местном зверосовхозе по выращиванию чернобурых лисиц. С Ниной они были женаты пять лет, переживали, что нет детей. Вскоре после моего отъезда они взяли из детдома и усыновили трехлетнего мальчика.

Ивану и Марте Мюллерам было под пятьдесят. Их старший сын и дочь Аня — та самая, которую любил и ждал Зиновий, — жили в Казахстане, куда всю семью депортировали с Поволжья, а они ради младшего Мити (Матиуса) на свой страх и риск оттуда уехали, чтобы хотя бы Митя не числился в документах ссыльным. Они мечтали дать ему высшее образование. Долго мыкались, их никуда не принимали на работу, пока Зиновий не взял Ивана на станцию шофером и механиком. Мальчика определили в Бакурианскую школу. Он свободно говорил по-немецки, по-русски и по-грузински. Зиновий с

ним занимался математикой, говорил, что у него гениальные способности.

И всех этих инвалидов пятого пункта и пятьдесят восьмой статьи уголовного кодекса вместе с недобитым крестьянским сыном объединил в одну семью беспартийный интеллигент, тоже не Бог весть какой полноправный член социалистического общества, физик и лирик в одном лице, и более дружной семьи мне ни прежде ни потом встречать не приходилось.

Чем дольше я здесь жила, тем больше не хотела уезжать. Я тут чувствовала себя на своем месте. И как-то сама собой возникла потребность писать. Чтобы растянуть день, я вставляла в пять утра. Зажигала керосиновую лампу (движок включали только по вечерам) и садилась к столу. Стол стоял у окна, и я видела, как в половине шестого зажигается свет в кабинете Зиновия, как в половине седьмого выходит с фонарем Нина (когда была ее очередь дежурить) и идет по тропинке в лабораторию. В половине восьмого рассветало. Я гасила лампу. Выбегал из своего дома Митя. Марта окликала его с крыльца, совала в карман рюкзачка сверток с завтраком. Федя в своем черном овчинном тулупе заводил мотоцикл, сажал Митю в коляску и уезжал в свой зверосовхоз, расположенный на въезде в Бакуриани. Иван шел в мастерскую или в гараж. В половине девятого я заканчивала и тоже принималась за хозяйство: выгребала из печи золу, растапливала плиту и печь, готовила завтрак на двоих. Выходил из своего дома Зиновий, рубил дрова вместо зарядки, а потом негромко стучал в мою дверь: «Какие виды на завтрак?»

А впереди ждал долгий день с его блистающими снегами, лыжами, обманчиво-нежарким горным солнцем, от которого покрылось загаром мое лицо, общение с полюбившимися мне людьми, за что-то и меня полюбившими, походы в лабораторию к умным Харину и Кириосу, которые нуждались в моем уходе. Пожалуй, это чувство — что я на своем месте, что я тут нужна — было самым главным из того, что составляло мое нынешнее счастье. Именно его мне раньше не хватало.

Однажды, уже в конце февраля, рано утром, Зиновий прервал мое писание окликом, что меня вызывает Москва. Телефон находился у него в кабинете. Я услышала мамин голос:

– Сколько ты еще намерена там торчать? Что это за фокусы? Срочно возвращайся! Место освободилось!

– Какое еще место?

– Как какое?! Ты что, забыла? Тебя ждут в редакции!

Мне показалось, что я проваливаюсь в колодец.

– Не хочу я ни в какую редакцию!

– Что значит – не хочешь?! Зачем же мы с папой унижались перед Юрием Сергеевичем? Ты ставишь нас в идиотское положение!

– Я же здесь работаю!

– Представляю себе эту работу! Для этого ты училась? Что это за место для тебя вообще?

Я уже отвыкла от такого, свойственного моей маме, безапелляционного, эмоционально вздернутого тона. Здесь так никто друг с другом не говорил. Я ответила в том же тоне:

– Мне лучше знать, где мое место! Оставь меня в покое! Не мешай жить своей жизнью! – и бросила трубку.

– Это что, вы так с матерью разговаривали? – осудил меня Зиновий.

Но мне показалось, он был доволен, что я отказалась уехать.

Еще через какое-то время, волнуясь и робея, я отдала ему свой законченный рассказ. Как ни странно, он отнесся к нему со сдержанным одобрением, что, учитывая его строгость и дошность, дорогого стоило.

– Все-таки я бы вам посоветовал, – сказал он, возвращая рассказ, – поездить, посмотреть мир. Здесь круг общения ограничен, вы скоро исчерпаете себя, а вам нужны впечатления, если вы, конечно, хотите всерьез писать. В этом смысле я могу вам помочь: у меня в Москве друг, геофизик. Я напишу ему рекомендательное письмо. В марте комплектуются отряды, он возьмет вас. Прошлым летом они работали тут, недалеко. Если и в этом году сюда поедут – мы с вами опять встретимся.

Весь путь от Боржоми до Москвы я прорыдала на верхней полке. Все же, наверно, Зиновий был прав. Полгода на станции исчерпали себя, надо было двигаться дальше.

Геофизик оказался симпатичным голубоглазым блондином по имени Толик. Прочитав рекомендательное письмо, он затуманился:

— Конечно, я бы вас взял, но я с этого года в экспедиции больше не езжу. Поступил на вечерний физмат. Но могу вас рекомендовать (давай лучше на «ты») в мою бывшую партию.

— На Кавказ?

— Нет, они в этом году в Прибалтику едут. Как раз сейчас мой бывший начальник набирает рабочих. А можно в Крым. У меня там тоже есть приятели. Еще вариант — Калмыкия, нефтеразведка. Начальник там — мой друг, вместе закончили Нефтяной институт, отличный парень. Он до института два года геодезистом работал на Сихоте-Алине. За ним ты была бы как за каменной стеной. Но там условия тяжелые: безводная степь, жара, полевой сезон восемь месяцев... Правда, зарплата высокая, надбавки за вредность. Но я бы тебе посоветовал в Прибалтику. Или в Крым.

Я подумала и выбрала Калмыкию.

Толик познакомил меня со своим другом, Виктором Горшковым, невысоким, крепким парнем, похожим на летчика Санию Григорьева. В апреле мы с ним уехали в Цимлянск, а оттуда — в Калмыкию, на Черные земли.

Черные земли

Он с первого взгляда мне понравился — естественностью, открытостью, дружелюбием.

А он потом признался, что когда Толик позвонил ему и начал в своей неторопливой манере: «Старик, тут одна хочет...» — Толик еще не закончил, а у него уже вздрогнуло в душе предчувствие: она! Прямо мистика.

Геофизическая экспедиция, куда я попала, занималась поисками так называемой «структуры» — вздутия глубинных земных слоёв, под которыми предположительно мог находиться нефтяной пласт. Партия была производственная, гнала план. Это была далеко не та геолого-разведка, о которой мы прочувствованно пели на целине: «Ты идешь по тайге опять молибдена руду искать...» — и прочее про всякие там искры костра. Какие там искры! Здесь этих песен даже не знали. Геологам задерживали зарплату, занижали расценки, не выдавали спальных мешков, плохо кормили. Геологи болели язвой желудка, напивались и устраивали драки. Беременные женщины

таскали тяжести и тряслись в бортовых машинах. Но платили, правда, хорошо: сто десять процентов надбавки к зарплате за безводность и прочие вредные условия.

В сейсмическом отряде, которым командовал Виктор, или, как его тут называли, «Матвейч», было много народу — буровики, взрывники, шоферы, сезонные рабочие, набранные в Цимлянске. В рабочие набирали в основном горластых, грубоватых деревенских девчат с неустроенной судьбой. В окрестностях Цимлянска и в самом городе у многих из них оставались дети и родители, ради которых они по восемь месяцев в году жили в скверных бытовых условиях и работали по двенадцать часов в сутки. Грубость и мат были их защитной броней. Так-то они были простодушные, любопытные и не злые. Многие сходились на сезон с кем-нибудь из буровиков или шоферов, чтобы хоть на какое-то время чувствовать себя под защитой, а кое-кому везло — выходили замуж.

Село Воробьевка, где стояла партия, было большое, домов двести.

Я поселилась в избе с Валеи и Любой, рабочими нашего отряда. Мы ладили, но очень мешала невозможность побыть в одиночестве. После работы хотелось сосредоточиться, написать письмо или кое-что в дневник, но соседки донимали настырным любопытством, к ним приходили ухажёры, садились на раскладушки так, чтобы сподручней было обниматься. Девчата с показным возмущением отбивались, кричали: «А ну, убери руки!»

Почти все свободное время я проводила с «Матвейчем». Он заходил за мной после работы, и мы шли гулять в степь, за село. После трудового дня с беготней, грохотом буровых агрегатов, вонь выхлопных газов и отработанной солярки, мы окунались в тишину и чистоту степного простора. Еще не наступила летняя жара, вечерами бывало даже прохладно. Светила луна, такая яркая, что степь становилась белой. Падали звезды. В отдалении стояли верблюды с пустыми, завалившимися на бок горбами и что-то жевали, повернув к нам надменные головы. Степь жила своей жизнью и была красива дикой, таинственной красотой. И мой спутник, который днем орал из своей сейсмостанции: «А ну, кому сказано, все замрите, черт вас всех возьми! Приготовиться к взрыву!» — превращался в

интеллигентного Витю и говорил, что степь, как настоящая поэзия, — таит в себе тайну. У него была поэтическая душа. Он тогда уже писал стихи. А я цинично думала, что будь тут хоть узкая лесополоса с мягкой травкой, дело с обсуждением поэтических тайн пошло бы в более желаемом нами обоими направлении. Вокруг — одни колючки да каменистая земля. Не то, что лечь, сесть некуда. Целовались стоя. Село лежало в отдалении ровным полукругом, наши четкие силуэты под луной хорошо были видны из всех окон.

Гораздо лучше было — после работы вымыться за занавеской под рукомойником в своей избе, а потом прийти в избу к «Матвейчу», лечь на его раскладушку, вытянуть ноги и почувствовать, как уходит, растворяется дневная усталость. Анна Константиновна, хозяйка, у которой он снимал комнатку за занавеской, худенькая, увядшая, а в лице что-то девичье, застенчивое, угощала нас варениками, яичницей, простоквашей. Ее муж и старший сын работали чабанами и дома почти не появлялись, а с ней жили сноха и три дочки-погодки.

Жужжат мухи, душно. «Матвейч» сидит у стола, обхватив колено, читает стихи Луговского, а я пишу или рассматриваю альбом репродукций литовских художников. Этот альбом, и сборник Луговского, и другие книги, стоящие на сколоченной «Матвейчем» полке, и трехлитровую банку абрикосового сока мы купили в поселке «Почтовое», мимо которого ездим на профиль. В поселке расположена воинская часть, охраняющая урановый рудник. Рудник — за колючей проволокой, а в поселок нас пускают. Там в продуктовом можно купить даже черную икру, а в книжном — такое, чего тогда в Москве днем с огнем нельзя было достать. Мы там купили сборник Кафки и роман Дудинцева «Не хлебом единым».

За полураздвинутой занавеской видна широкая кровать, застланная лоскутным одеялом. На одеяле сидят три девочки — хозяйкины дочки, белоголовые, глазастые, похожие на любопытных зверьков.

Хозяйкина сноха, беременная Маруся, часто и без видимой надобности заходит в комнату, укоризненно шепчет девочкам: — Чего уставились? Нечего вам тут смотреть!

Но и сама косит на нас светлым, прозрачным взглядом.

И только хозяйка, Анна Константиновна, словно невзначай, выманивает из комнаты дочек и сноху, каждой находя дело.

А мне все равно. Пусть смотрят. Мне здесь хорошо, рядом с «Матвейчем». И очень не хочется возвращаться в свою избу, к Вале и Любе и к их ухажёрам.

Приходят гости — шофер Володя с двумя бутылками пива и взрывник Толик. Сидят, вспоминают прошлогодний полевой сезон, разные смешные и драматические случаи. Они с «Матвейчем» второй год работают в этой партии и дружат.

Без пятнадцати одиннадцать мигает лампочка над столом. Сейчас в селе будут глушить движок. Свет меркнет медленно, как в кинозале, но луна светит в окно и заливает наш закуток голубоватым светом.

«Надо идти, — думаю я. — Завтра подъем в шесть».

И продолжаю лежать на раскладушке.

— Ну, мы пойдем, Матвейч, — говорит Володя. — Вставай, Толик.

И смотрит на меня:

— Идешь, Аннушка?

Вошла хозяйка и, смущенно улыбаясь, прикрывая беззубый рот кончиком платка, поставила на стол бутылку браги. И сама присела за стол.

— Это что же? — сказал Володя. — Свадьба?

— Да нет, какая свадьба, — ответил «Матвейч». — Не видишь, дождь переживаем.

Володя посмотрел на луну за окном и озадаченно сказал:

— Ага, понятно...

Гости запили брагу абрикосовым соком и ушли.

Анна Константиновна сказала:

— Аннушка! Виктор Матвейч! Ложитесь, я постелила вам в той комнате.

Все произошло так естественно, легко и бесхитростно, что я даже не успела осознать: любовь ли это? В грубой обстановке производственной партии, куда меня занесло по собственному судьбоносному выбору на долгих восемь месяцев, я нашла защитника и покровителя. Пусть на время. Ну и что? Тут не было никакого обмана. Мы были свободны и молоды, он мне нравился, я ему тоже. Мне было с ним легко, свободно,

меня волновала его близость. А любовь — возможно, любовь была рядом и только ждала своей минуты.

Два месяца партия работала без выходных, зато к концу мая скопилось восемь свободных дней, и все разъехались по домам, в основном в Цимлянск, к родным.

А мы решили ехать к морю.

Экспедиционный «козлик» довез нас до Элисты, оттуда на попутном грузовике мы поехали в Ставрополь. Дороги — вдрызг разбитые, пыль висит, не оседая. Машины со щебенкой, с урановой рудой едут, опасно кренясь то вправо, то влево. На обочинах плакаты с тревожной надписью: «КАРАНТИН! ЯЩУР!»

На полпути грузовик наш увяз в солончаке, пытаюсь объехать особенно раздолбанный участок дороги. Пока его выволакивал тросом проезжавший трактор, нас подхватил другой попутный грузовик — походная дезинфекционная камера. И мы поехали дальше, в кузове, придерживая наползающие на нас дребезжащие ящики с пробирками.

Это было настоящее свадебное пугешество!

Лысины солончаков перемежаются с цветущим татарником, с серебриющимися ковылями. Кое-где еще не отцвели маленькие, очень яркие красные и желтые степные тюльпаны. Большая овечья отара кажется крохотной на беспредельном массиве.

Стада сайгаков пасутся рядом с буровыми вышками, мирно пощипывая колючки. При звуке машины они пускаются наутек. Бегут, вытянувшись в линеечку, взмывают в легких длинных прыжках, стройные, горбоносые, тонконогие, стелятся по земле в стремительном беге.

Подскакивая на ухабах и глотая пыль, я думала, что эта дорога, даже такая, а, пожалуй, именно такая, куда интереснее, чем ровное асфальтовое шоссе, по которому я могла бы сейчас ехать в какой-нибудь скучный писательский дом творчества. И что судьба в образе этого дребезжащего грузовика с пробирками везет меня в верном направлении.

Мы тормозили возле бьющих из земли артезианских фонтанов с холодной пресной, а чаще горячей горько соленой водой, становились под сильно бьющие освежающие струи,

заезжали в села, где в столовках-самообслужках брали баранье рагу и пили солоноватый калмыцкий чай.

В гостиницах отдельного номера нам не давали, потому что у нас не было штампа о браке, но у гостиничных администраторш находились знакомые, которые охотно сдавали нам комнату на ночь.

Почему-то все каким-то непостижимым образом догадывались, что мы геологи. Когда мы шли по улице, за спиной раздавалось:

— Геологи, наверно...

И непременно кто-нибудь затягивал:

«Ты уехала в знойные степи,
Я ушел на разведку в тайгу...»

В ресторанах оркестранты, глядя на нас и улыбаясь, тут же начинали исполнять мелодию этой недавно появившейся и сразу ставшей популярной песни.

Мы заказывали цыпленка-табака в ткемалевом соусе, обильно посыпанного зеленью, и пили холодное, в запотевших бутылках, пиво. Это было чертовски вкусно, а мы были чертовски голодны.

Из Ставрополя — в Пятигорск, оттуда на самолете ИЛ-18 — до Адлера, оттуда на такси — до Сочи. В такси попутчица — интеллигентная дама из Ленинграда — поинтересовалась:

— Вы, наверно, геологи?

— Да, а как вы догадались? — спросила я.

Дама принялась объяснять, что геолога сразу можно отличить от человека обыденной профессии. В геологе, — говорила она, — физическая привлекательность сочетается с интеллигентностью, благородством, надежностью, и все это вместе создает чрезвычайно гармоничный симбиоз.

Меня распирало от гордости. Вот, значит, мы какие! Мой спутник иронически усмехался.

В Сочи мы сели на электричку и доехали до Лазаревской, дивного поселка на берегу моря.

Администраторша Лазаревской гостиницы спросила:

— Вам семейный?

— Видите ли, — начал мой спутник. — Мы муж и жена, но мы работаем в таких местах, где...

— Геологи? — догадалась дежурная. — Ну, так и быть, живите!

И, мурлыча себе под нос: «Ты уехала в знойные степи...», вручила нам ключ от номера-люкс.

Эти три дня и три ночи в Лазаревской слились в моей памяти в один бесконечный миг счастливого любовного обалдения.

А потом наступил июнь с его зноем, горячими ветрами, пыльными бурями и отупляющей работой.

15 июня 1961 г.

Коса размотана, приборы расставлены. Буровики добуривают очередную скважину. Отгребают в отстойник глинистую жижу, привинчивают к буру железные штанги. «Матвейч», ругаясь вполголоса, налаживает что-то в своей сейсмостанции. На взрывпункте Толик Белоконь готовится к взрыву. У нас, у рабочих, передышка.

Я лежу под машиной. Над головой у меня карданный вал, весь в сгустках засохшей глины.

Лежать под машиной запрещено по технике безопасности, но ни шоферы, ни сам «Матвейч» ничего нам не говорят: а куда еще деваться от солнца? Только и тени, что под машиной.

Солнце палит так, что удивляешься, не во сне ли это всё. И ни одного деревца, холмика, овражка. Скоро машина уедет на следующую стоянку и увезет с собой этот единственный кусочек тени.

Работа у нас, у рабочих, примитивная, если не сказать — тупая. Но попробуй пробеги семьсот метров под палящим солнцем, да еще с тяжелым ящиком. Через каждые три метра вынимай из ящика сейсмограф, втыкай его острым концом в закаменевшую земляную корку. Металлические головки приборов так накаляются, что обжигают ладони. Надо подсоединить проводки каждого прибора к растянутой вдоль профиля косе: короткий проводок к длинному, длинный — к короткому. А потом — с пустым ящиком — бегом обратно, успеть в тень до того, как раздастся сигнал: «Спокойно!» Тогда где стояла, там и садись, ибо малейшее твое движение отражается на осциллографе, и если шевельнешься, «Матвейч» будет, срывая голос, орать из своей сейсмостанции:

— Кто там шляется по косе? Ёлки зеленые! Сказано, спокойно!

Вот всё затихает.

— Толик, давай момент! — говорит по телефону «Матвейч».

— Даю! — отвечает взрывник.

— Даю команду! Приготовиться... Внимание... Едрит вашу!!! Сороковой канал исчез! Кто подключал сороковой?!

Слава богу, я только до тридцатого подключала. Это Клавка. Матерясь, она вылезает из-под машины и бежит на сороковой.

Через несколько минут:

— Есть сороковой! Приготовиться!.. Внимание... ОГОНЬ!

БАБАХ!!!

Из скважины взлетает столб грязи и медленно оседает.

— Взрыв принят!

Сейчас будет команда: «Собирать приборы!» И мы побежим по косе отключать сейсмографы, укладывать их в ящики, грузить эти ящики в кузов смоточной машины. Косу сматывают на катушку и отряд со всеми людьми и машинами переедет на следующую стоянку.

Эта — с утра только третья, а обычно мы делаем в день шесть, а то и восемь. Работа сдельная, чем больше стоянок, тем больше зарабатываешь.

20 июня 1961 г.

Третий день, не утихая, дует астраханец — горячий, сухой ветер. Не освежает, а наоборот, обжигает, последние силы вымывает. Дует все время в одну сторону. Идешь — словно плывешь против сильного течения, только вместо воды — горячий песок сечет лицо, набивается в рот, хрустит на зубах. Глаза у всех красные, слезятся. Девчата обвязывают головы платками так, чтобы закрыть лоб и щеки. Лица у них загорают некрасивым треугольником.

Воду из термоса выпили в первые два часа. Что там, двухведерный термос на двенадцать человек. Жажда такая, что язык распух и губы потрескались. Послали дядю Колю, шофера смотки, к колодецу. Колодец — в двадцати километрах. Пока он ездил — мы доходили. Доходили, но работали: решили во что бы то ни стало отбить восемь стоянок.

Я работала в паре с Машей Белоконь, женой взрывника. Она разносила приборы, я подключала.

Рельеф изменился — профиль сейчас идет через балки и ерики, тут и так еле ноги волочишь, а надо еще преодолевать подьемы и спуски.

Мы уже шли назад, уже видели возвратившуюся смотку — она ярко-красная, ее издалека видно...

Вдруг «Матвейч» закричал:

— Сорок девятого канала нет!

Я подключала, значит, мне и идти. Вернее, бежать. Полкилометра обратно.

Нашла сорок девятый канал. Потянула за концы — один оборвался. Хорошо еще, что обрыв так легко отыскался. Я содрала зубами изоляцию с провода и подсоединила прибор к косе. Вообще-то, полагается кусачками, но где они?

Тотчас с крыши сейсмостанции замахали: есть сорок девятый!

Пока добрела, воды осталось меньше половины термоса. Дядя Коля сказал, что в колодце, откуда он брал воду, плаваютдохлые мыши. Вода воняла тухлятиной, но была холодная.

Я выпила залпом литровую банку и тут же свалилась под машину, в тень.

От воды сразу слабеешь, пот течет ручьями, тело соленое. Пока пьешь, испытываешь невероятное наслаждение, а выпил — через минуту снова мучительная жажда.

Есть в такую жару не хочется. Я третий день ничего не ем, только пью.

Полчаса небытия. Лежишь под машиной, ни о чем не думаешь, ничего не ощущаешь, только глотаешь горячий сквознячок и ждешь сигнала: «Собирать прибор!»

29 июня 1961 г.

В двенадцать часов, в самую жару, кто-то вспомнил, что третьего дня проезжали мимо пруда, и начали просить: Матвейч, поехали купаться! Терпезу нет! Вернемся — отобьем эти проклятые стоянки!

«Матвейч», сам измочаленный, мокрый, в одних плавках, махнул рукой из своей станции: ладно, поехали!

Где он, тот пруд? Попробуй, найди — ориентиров никаких. А когда нашли — взвыли от разочарования, а беременная Лидка,

полевая жена нашего шофера Ермилова, даже расплакалась: пруд высох. Осталась только впадина и соль на дне.

Володя Головин, шофер сейсмостанции, сказал, что километрах в восьми есть другой пруд, побольше.

Снова блуждали.

Пруд оказался рядом с грейдером, ведущим в Элисту.

Это был даже не пруд, скорее — большая, глубокая лужа, впадина в солончаке, куда натекла дождевая вода и еще не успела испариться.

Низкий берег, поросший серой полынью. Следы шин — должно быть, проезжающие шоферы купались, а заодно мыли свои машины. Заметно, что овцы и коровы тоже не раз отдыхали у этого пруда. От воды пахло болотом. В воде у самого берега скопились ужи. Десятки треугольных головок, черных с желтыми пятнышками, торчат из воды и на нас глядят. Но не все ли равно.

Господи, что это было за блаженство — погрузиться в воду! Первые пятнадцать минут я просто лежала без движения. Отмокала. Хотелось опуститься на самое дно, туда, где вода похолоднее, и лежать там всю жизнь, тихонько пошевеливая жабрами.

Больше часа купались, а потом вернулись на профиль. Через десять минут уже не верилось, что было это счастье. Снова зной и горячий безвоздушный ветер взяли нас в оборот.

2 июля 1961 г.

Сегодня — день профилактики: на базе лудят и прозванивают косу, заряжают аккумуляторы, проверяют все приборы. Но это дело оператора и его помощников, а нас, рабочих, в десять утра отпустили домой. Я всё перестирала, сходила в баню, и вот лежу во дворе на раскладушке в тени от сарайчика и пишу.

Степь — грубошерстный ковер, из которого никогда не выбивают пыль. В этом ковре полно ящериц, ужей, змей, скорпионов, жуков-навозников и всякой другой живности. В том числе и симпатичной — например, сусликов, куропаток. Журавли откладывают яйца прямо на землю. У солончаковых болот стоят цапли. Белые, с серыми крыльями. Задумчивые.

В волнах ковылей движутся, будто проплывают, всадники. Это пастухи, они живут возле кошар. Иногда они заезжают на профиль и их прогоняют матом: могут задеть косу, а то и по-

пасть под взрыв. Они пускают коня вскачь, ковыль серебристыми волнами смыкается за ними — красиво!

К вечеру жара спадает, становится прохладнее. Солнце на закате скрыто в облаках пыли. На него можно смотреть, не щурясь, оно как полная луна, только красная.

...Смотрю на себя в зеркало и вижу опухшие глаза и сонное лицо. И понимаю, что бесполезно пытаться описывать красоты калмыцкой природы: засыпаю над тетрадью.

Как ни странно, ни усталость, ни зной не мешали нашему с Витей обоюдному влечению. Влюбленность не проходила, наоборот, становилась сильнее. Нас не только физически тянуло друг к другу, нам было друг с другом интересно. Чем больше я его узнавала, тем он мне больше нравился — органической неспособностью хитрить и обманывать, потребностью всем помочь, выручить из беды. Его любили в отряде за справедливость. «Справедливость» — это был у рабочих высокий знак качества.

Его беспокоило, что я, непривычная к физической работе, таскаю под солнцем тяжелые ящики. Он уговаривал меня перейти на работу в камералку, где мне было бы гораздо легче.

Но мне не хотелось — легче. Мне хотелось — вместе. И, кроме того, мне важно было самоутвердиться. Я выдавливала из себя «барышню из обеспеченной семьи». Наверно, это было глупо, но тогда мне так не казалось.

Мы с ним мечтали, как в конце июля снова махнем к морю.

26 июня 1961 г.

Застряли в солончаке по дороге на работу. Вот ведь почва: рядом земля потрескалась от сухости, а здесь — вязкое болото. И, разумеется, нашего идиота шофера Николая Ермилова понесло именно сюда. Теперь мы стоим тут неизвестно сколько, т.к. машины с базы уже разъехались и вытаскивать нас некому.

Ненавижу Николая Ермилова! Наглый, татуированный, вечно поддатый. Гонит на полной скорости через все колдобины. Мы орем, ругаемся, стучим по кабине — ему хоть бы что. У нас все бока в синяках.

Девки жалуются «Матвейчу», тот обещает при первой возможности дать нам другого шофера. Но где его взять? Шоферов

не хватает. Меня он уговаривает ездить с ним в сейсмостанции, но мне неловко перед девчатами. И так я в привилегированном положении — живу с начальником, в частном доме, а они — на базе, в палатках. Руководство экспедиции отказалось оплачивать рабочим жилье, а из своего кармана они не хотят платить.

Вчера ехали мимо кошары, и навстречу машине выбежали две большие собаки из тех, что пасут овец, — лохматые белые средне-русские овчарки. И Ермилов задавил собаку. Нарочно направил на нее машину. Мужчина и женщина, стоявшие возле вагончика, так и остолбенели.

Просто сволочь.

...Кто-то едет. Из-за пыли не видно, кто. А! Наша смотка. Сейчас будет нас вытаскивать.

10 июля 1961 г.

Конец рабочего дня. Восьмая стоянка. Я сижу на шестидесятом канале и жду сигнала: «Общая смотка!»

Наконец-то перестал дуть астраханец. Но солнце палит по-прежнему. Выжимаем по восемь-девять стоянок в день, хотя рабочих не хватает: по норме должно быть двенадцать, а у нас восемь, да и то беременная Лидка еле ходит. Девчата ее жалеют, орут на нее: «Ладно, сиди, квочка, разнесем за тебя приборы, а то родишь на косе — возись тогда с тобой!» Такой у них стиль.

Сегодня выбыла из строя Валя Румянцева. Залезла в кузов бортовой, где стоит термос, а этот гад Ермилов шутки ради дернул машину. Валя ухватилась за раскаленную крышу кабины и сожгла ладони. Измученным девкам было не до жалости. Раздражены, срывают злобу на ком угодно, их можно понять.

Валя ревела в кабине смотки и жаловалась дяде Коле: «Чего они на меня накинулись, как собаки? Что я, виновата? Спасибо, лицо не сожгла!»

А тут еще коса начинает приходить в негодность. Она старая, служит второй год, ее приходится часто тащить на себе через овраги, холмы, солончаковые впадины, чтобы лишний раз не сматывать и не разматывать. Профилактика помогает от силы на две недели, а потом снова начинается канитель: то и дело обрывы.

В общем, много мата и очень мало романтики.

Хотя — почему мало? Какая ерунда. Ее только нужно увидеть. Ковыльные степи. Верблюды. Сайгаки. Сейсморазведка.

Тринитротолуол. Торпедирование. «Матвейч», в котором, как правильно заметила наша попутчица из Ленинграда, физическая сила и сноровка сочетаются с интеллигентностью и с чем-то там еще... Не помню... Что-то там про какой-то симбиоз...

А работала бы я в детской редакции радио, куда родители пытались засунуть меня по знакомству. Канцелярские столы. Редактор вытирает платком потную лысину. Скука. Нет, пусть они там в своей редакции пьют хоть апельсиновый сок со льдом — я им все равно не завидую.

Степь снова изменилась. Появилось много грибов — белых и круглых как шары, их тут называют «печерица». А по-моему, типичные шампиньоны. Девки их собирают и жарят в сметане. Говорят, вкусно. На базе вырос целый городок из палаток. Там и кухня, и красный уголок. Народ по вечерам сидит, играют в шахматы, бренчат на гитаре. И мы туда заходим, если силы остаются, — почитать газеты и журналы.

14 июля 1961 г.

До часу сделали всего две стоянки.

Духота была! Мы истекали потом.

И вдруг в полчаса набежала туча. Задул прохладный ветер, запахло озоном, упали первые капли.

Трудно было поверить этому счастью.

Загремел гром, вихрь налетел, погнал пыль прямо на нас. Толлик Белоконь сказал, что надо кончать работу: в грозу нельзя взрывать.

Только успели смотать косу, усесться в машины — хлынул ливень. С ветром, с шумом! Такой восторг!

Я ехала в кабине сейсмостанции, а большинство девчонок набилось в смотку. На полдороге нашу сейсмостанцию начало заносить — пыль превратилась в грязь, дорога стала скользкой. Ветер такой, что чуть не опрокидывал машину. Дождь хлещет о стекла, а дворников нет, дорогу почти не видно, того гляди, провалимся в какую-нибудь яму. А мы с «Матвейчем» и Володей орем во все горло:

Хорошо в степи скакать!

Вольным воздухом дышать!

Все-таки я перетрусила.

Приехали на базу — а там потоп. Палатки снесло, кухня вдребезги, красный уголок — к чертовой матери. По воде плывут раскладушки, кастрюли, шахматы...

Витя тащил меня за руку к дому, изо всех сил стараясь поддержать во мне боевой дух. Какой там боевой дух. Ноги разбежались, холодные струи лупят по спине, по голове. Под конец силы мои окончательно иссякли, ноги не держали. Витя чуть ли не на руках дотащил меня до избы.

Дома я сорвала с себя все, забралась в спальный мешок, дрожу так, что зубы стучат на весь дом. Есть хочется нестерпимо: из-за жары последние дни в горло ничего не лезло. А больше всего хотелось горячего чая. У меня прямо истерика началась. Пока Витя с хозяйкой готовили еду, кипятили чайник — я вся изревелась. А потом пила чашку за чашкой солоноватый калмыцкий чай, хлебала горячие зеленые щи, заглатывала, почти не жуя, крутые яйца...

Наутро проснулась — дождя нет. Снова солнце, будь оно трижды проклято. «Матвейч» давно на базе — помогает восстанавливать разрушенный лагерь, а я не могу даже встать с постели. Тошнота и слабость.

24 июля 1961 г.

Позавчера, возвращаясь с работы, увидели сайгаков. Они паслись у буровой вышки. Ермилов тут же дунул за ними. Считается шиком — гоняться за сайгаками, хотя догнать их невозможно. Ермилов перемахнул через кювет и рванул по степи. Оглох и ослеп от азарта. Я увидела широкую трещину и поняла, что затормозить он не успеет. Еще подумала — хорошо, что Лидка сегодня осталась на базе. Грузовик на скорости ткнулся в трещину передними колесами. Не опрокинулся, но трянуло так, что нас раскидало по всему кузову. Я сильно ударилась животом о ручку двухведерного термоса.

В Элистинской больнице, куда меня с сильным кровотечением отвезли на смоточной машине, мне сказали, что у меня беременность около восьми недель.

Сохранить ее не удалось.

Ермилов с сотрясением мозга и сломанной рукой оказался в той же больнице.

Палата с плотно закрытыми от пыли окнами, радио с его раздражающе веселыми песнями. Особенно доводила одна, бодренько игривая:

Сына подарила мне жена-а!
Очень угодила мне она-а!

Песня эта очень веселила моих соседок по палате, которые лежали тут по причине как раз противоположной той, о которой говорилось в песне. А мне хотелось заткнуть уши и спрятать голову под подушку. Я боялась, что у меня никогда теперь не будет детей.

Витя приезжал поздно вечером на экспедиционном «козлике», небритый, виноватый, удрученный, несчастный. Привозил икру, гранаты, еще какие-то дефицитные продукты, которые покупал в поселке «Почтовое». Дважды с ним приезжала — проведать своего Ермилова — несчастная Лидка. То ли надеялась на замужество, то ли правда жалела непутевого.

Мы с Витей выходили в больничный двор с хилыми деревцами, садились на скамейку под серым от пыли тополком. Витя держал меня за руку, мы молчали.

Вот тогда, ко всему, что нас связало, к нам пришло и осталось на всю жизнь то трудно объяснимое, хотя и очень простое чувство, которое, пожалуй, и есть любовь.

В условиях нашей экспедиции то, что со мной случилось, было делом обидным. «Не переживай, Аннушка! — утешали меня девчата. — С кем не бывает! Не ты первая, не ты последняя! Ермилке хуже досталось!»

Через несколько дней после выхода из больницы, несмотря на протесты «Матвейча», я уже снова работала на косе. Правда, стало значительно легче. Во-первых, после череды дождей уже не было такой жары. Во-вторых, «Матвейч» добился, чтобы отряду выделили четырех дополнительных рабочих. Теперь мы заканчивали рано, да еще и с превышением нормы. Оставалось время почитать, сходить в кино и даже в клуб на танцы. А главное — вместо Ермилова нас теперь возил новый шофер, Степаныч, спокойный мужик лет сорока. Он отсидел за что-то пять лет, только что освобожден и нанялся в нашу экспедицию, чтобы, как он говорил, «осмотреться» и заработать на первое время.

В самом конце июля, по дороге в клуб, мы с Витей зашли в сельсовет. С нами были шофер Володя и взрывник Толик. И опять получилось легко, как-то даже не серьезно, и к тому же почти по-родственному, потому что регистраторша Таня оказалась племянницей нашей хозяйки Анны Константиновны.

— О! Явились! — встретила она нас. — А я думаю — долго они еще будут ходить неженатые? Давайте ваши паспорта! Сейчас я вас узаконю!

Так мы с Витей стали законными мужем и женой.

Знакомство с родителями

Как же здорово было вернуться в Москву — почерневшей от калмыцкого солнца, высушенной ветром, хлебнувшей «настоящей жизни», да еще с молодым мужем! Я слегка бравировала словечками из экспедиционного, далеко не рафинированного лексикона, нарочно эпатировала родителей и их друзей грубоватыми манерами. Мне надо было им показать, что я теперь не «барышня из обеспеченной семьи». Теперь я — жена геолога. Это звание мне гораздо больше импонировало.

Мне, но не моей маме. Оставшись со мной наедине, она сказала, что раз уж так получилось — ладно, ничего уже не поделаешь, но что вообще мое замужество — легкомыслие, что «так не делается», что сначала надо было познакомить его с нею и с папой, и вообще — что у него за семья? Дохнуло ветерком будущих семейных конфликтов.

Вита был то, что называется — «из простых». Его семья была — бабушка, тверская крестьянка, и тринадцатилетний брат, которых он материально поддерживал. Мать, ткачиха, умерла, когда младшему сыну было три года, а Вите — девятнадцать. Он к тому времени уже два года работал топографом на Дальнем Востоке. Вернувшись, закончил нефтяной институт имени Губкина. У отца — рабочего-каменщика — давно другая семья. Жили в Мытищах, недалеко от поселка Пирогово, в фабричном бараке. Бабушка подрабатывала починкой обуви. Покойный муж ее был сапожником и ее кое-чему научил.

Когда все это я сообщила маме, в воздухе повисло невысказанное, но будто засветившееся в воздухе словечко — «мезальянс». Однако, чтобы держать фасон перед своими знако-

мами, мама с воодушевлением всем сообщала: «Мой зять — душенька!» Вряд ли Витин характер соответствовал такому определению, но спасибо и за то, что реакция мамы на нового члена семьи внешне, по крайней мере, была положительная.

А вот папа с первого взгляда одобрил мой выбор. Витя ему понравился сразу и безоговорочно. Папа увидел в нем то, что всегда ценил в людях, — естественность, мужской характер, врожденную интеллигентность, тягу к книгам, увлеченность поэзией. Папа тогда уже разглядел в нем зерно поэтической одаренности.

Но тон в семье задавала мама.

— ...И где же вы собираетесь жить?

— Какая разница, — заявила я, — мы скоро снова уедем. Можно перекантоваться у бабушки в Мытищах.

Я, конечно, лукавила. Хотя в моем тогдашнем эйфорическом состоянии, после съемных комнат, раскладушек и спальных мешков, мне действительно было не важно, где жить. Лишь бы вместе. Москву я воспринимала как перевалочный пункт или как базу отдыха перед броском в новое экзотическое неизвестное, в «настоящую жизнь» из московской «не настоящей».

— Глупости! — сказала мама. — Не хватало, чтобы моя дочь жила в Мытищах!

В ее устах это прозвучало так, словно я намеревалась жить на помойке.

Конечно, мы были оставлены в нашей квартире.

Четыре месяца обработки полевых материалов (экспедиция снимала на зиму часть помещения Зеленого театра на территории Парка культуры имени Горького) промелькнули в общении с моими и Витиными друзьями, хождении в театры, на выставки и концерты. Самым частым и любимым нашим спутником стал Толик — тот симпатичный голубоглазый блондин, благодаря которому мы с Витей встретились. Он гордился своей ролью в нашей судьбе и, кажется, немножко жалел, что не оказался на Витином месте. Мы прекрасно дружили троим. Он приезжал к нам, и мы допоздна сидели, попивали коньяк и обсуждали животрепещущие проблемы. Или ездили к нему в Лосиноостровскую, где он жил вдвоем с мамой, такой

же симпатичной голубоглазой блондинкой, в однокомнатной квартирке. Приходили друзья Толика, ученые физики, мы снова обсуждали всякие проблемы, спорили о новом фильме Михаила Ромма «Девять дней одного года», о новой повести Василия Аксенова в «Юности», о новых стихах Евтушенко. Хотелось понять, разобраться — эти смелые стихи, эта сегодняшняя свобода молодой прозы и поэзии — насовсем или всего лишь форточка, которую хозяева приоткрыли для проветривания протухшего помещения и могут в любой момент захлопнуть? Восторженный Толик отстаивал мысль о свободе. Его скептический друг Сережа — сомневался. И у Толика, и у Сережи отцы были расстреляны в тридцать седьмом и по-смертно реабилитированы в пятьдесят седьмом.

Все приобретало особую остроту от мысли, что скоро мы со всем этим надолго расстанемся. И не оставляло чувство радости, что судьба подарила мне Витю, этого сильного, мужественного, доброго парня, как раз такого, о каком я мечтала. За эти месяцы он меня подготовил, и я сдала у не слишком строгих экзаменаторов — его же друзей инженеров — экзамен на право работать техником-вычислителем.

В апреле мы снова уехали до глубокой осени в калмыцкие степи. Снова горячий ветер дул в одном направлении, выматывал нервы. Кроме суховеев, бывали пыльные бури, и тогда день превращался в сумерки, смерчи шатались по степи как пьяные столбы, срывали железо с крыш, могли утащить курицу, а то и притащить какого-нибудь черного монаха. Но это не изнуряло, а только пугало, а вот ровный ветер мог довести до нервного срыва. Да еще жара сорок градусов.

Но при этом — молодость, любовь, люди с их судьбами, с их рассказами, и чувство, что я тут — своя. И жутко всё интересно.

В этом сезоне я уже не таскала ящики с приборами, а работала вычислительницей в камералке, что было несравнимо легче. Кроме того, рядом с поселком Черноземельский, где обосновалась наша партия, был громадный солонцовый пруд, там даже водилась рыба. Правда, в июне-июле он сильно обмелел, вода далеко отошла от берега, стала теплой и пузырчатой, рыба всплывала кверху брюхом, и купаться стало невозможно. Зато в сентябре, после дождей, вода поднялась, и для нас наступил короткий почти курортный бархатный сезон.

Вскоре он сменился пронзительными осенними ветрами, холодом и смерчевыми столбами, но уже маячил переезд в Цимлянск. Там находилась база нашей экспедиции, туда съезжались все наши партии по окончании полевого сезона.

Городок этот — небольшой, с белыми одно- и двухэтажными особняками, утонувшими в зелени, с аллеями, усыпанными осенними листьями — встает в моей памяти осенним, но не дождливым, не холодным, а сухим, солнечным, шелестящим, весь увитый красными плетью декоративного винограда. Со своим искусственным морем, по которому двигались гордые, медлительные волны с белыми пенистыми гребешками. С большим парком, выходящим к морю. В конце парка — каменная ротонда, возле которой обычно назначались свидания.

Какая осень была в том году в Цимлянске! Какое солнце! Как летали в голубом воздухе невесомые серебряные паутинки! Мы с Витей ходили, взявшись за руки как двое детей, попавших в волшебную сказку. Это был уже ноябрь. Самый теплый, самый нежный, самый счастливый ноябрь в нашей жизни. Он дал нам запас тепла на много лет вперед.

Витя потом напишет о той осени:

Заря, сужаясь, делалась багряней.
Огромный, проведенный второпях,
День угасал.
Цимла цвела огнями.
Речной затон тонул в полутонах.

И, словно своего дождавшись часа,
Таинственно совпали, наконец,
И этот миг сгущающихся красок,
И время гулко бьющихся сердец.

Мы сели на корявый ствол какой-то.
Росла вокруг какая-то трава.
Лишь ты и я.
И в этом было столько,
Что остальное виделось едва.

Размыты обозримого границы.
И годы, что уходят чередой,
И сферы, где материя клубится
И, вспыхнув, загорается звездой,

Всё то, что за чертою пониманья,
Игру непостижимую ведя,
Не слишком береди твое сознание,
Однажды опрокинется в тебя.

Вот тут-то от случившейся науки,
В условиях своих житейских троп,
Поймешь и полный вакуум разлуки,
И встреч почти космический озноб.

И, прикасаясь к пройденным просторам
Ретроспективным пристальным лучом,
Еще не раз оценишь мир, в котором
Светло, но нету ясности ни в чем.

А потом – снова Москва.

Дача была тогда для меня остановкой, тихой гаванью, починкой такелажа перед новым путешествием в открытую жизнь.

Жизнь была потрясающе насыщенной, разнообразной и обещала еще так много интересного!

Забайкалье

Следующий сезон мы провели в Забайкалье, в Иркутской области. Теперь нас окружали сопки, лиственницы, стелящийся кедровник и карликовые березы, а вместо свиста горячего ветра мы слушали журчание горных речек. А главное – экспедиция была не производственная, а научно-исследовательская. Витя руководил поисковым сейсморазведочным отрядом. Разрабатывал методику поисков золота с помощью сейсмических приборов. Мы искали тальвег – русло золотоносной реки, протекавшей где-то в этих местах, теперь уже в подземных безднах, в мезозойскую эру. Это была почти творческая работа. И атмосфера была теперь другая, вполне соответствующая поэтическому понятию «геолого-разведка».

Народ в отряде подобрался симпатичный: практиканты – три студента физтеха – умницы, интеллектуалы и красавцы, две студентки геологоразведочного – скромные уточки меж селезней, милые, компанейские и старательные. Двое школьников-старшекласников, шофер, повариха, конюх (у нас в

отряде было две лошади для перевозки техники), несколько рабочих, людей бывалых, которые, однако, очень тянулись к нашей культурной и почти не пьющей компании. По вечерам собирались у кого-нибудь в палатке, а чаще сидели у костра, пели Окуджаву и Визбора, вели смелые по тем временам разговоры, слушали по «Спидоле» голос Америки, который тут не заглушался.

Об этих наших вечерах, о той атмосфере Витя потом вспоминал:

Звучал ручей у переката,
И речь его была быстра,
И, отражая свет заката,
Казалась искренней костра.

А он, вписавшись между нами,
Уже обжившими привал,
Легко потрескивал дровами
И ничего не отражал.

Лишь искры в сторону летели
Иль уносились вверх в дыму,
И гнуса жгучие метели
Толклись на подступах к нему.

За прядью вьющегося дыма
Мерцала ранняя звезда,
И было это так значимо,
Как будто раз и навсегда.

В смеркающемся мире сияясь
Своей судьбы нащупать нить,
Я видел дальше всё и шире —
Глаза лишь стоило закрыть.

И мне казалось в те мгновенья,
Что день за днем, за часом час
Я выхожу из заблужденья...
И заблуждался каждый раз.

И лишь случайные детали,
Что в память врезались спроста,
Всю жизнь глаза мои читали,
Как будто музыку с листа.

Жили мы в большом таежном селе Богдарин, окруженном лесистыми сопками, а работали в десяти километрах от села. Поле, на котором мы проводили свои опыты, называлось Куликовым. Там, в зарослях голубики, паслось громадное количество длинноклювых жирненьких куликов, которые с тяжелым трепыханием крыльев поднимались в воздух при нашем появлении.

Предполагалось, что именно тут, на Куликовом поле, на сто пятидесятом профиле, находится тальвег.

Мы приезжали сюда на отрядном грузовике, очень рано, почти затемно, чтобы успеть поработать, пока спят комары и оводы. Но всходило солнце, и воздух начинал звенеть, сначала слабо, потом все сильнее, агрессивнее, звон концентрировался вокруг каждого из нас. Мы двигались в облаке из звона. Мы разводили дымокуры, надевали белые шлемы с черными марлевыми сетками — они спасали от комаров, но не от оводов, которые жалили сквозь сетку, ковбойку, джинсы, не в силах прокусить разве что резиновые сапоги, в которых мы работали даже в жару — поле было болотистое.

Вечером, оставив кого-нибудь из рабочих или студентов сторожить технику и лошадей, мы возвращались в Богдарин. По пути заезжали искупаться на речку Богдаринку — быструю, пенистую на перекатах, с нависающими над берегами серебристыми ивами, с густой и сочной прибрежной травой. Тут паслись коровы и стреноженные кони, пели птицы и в траве горели звездочки гвоздик.

В дождливые вечера шли в библиотеку. Там, в просторной комнате с длинными стеллажами и торчащими из рядов книг буквами алфавита, топилась круглая черная печь, потрескивали дрова. Молодая библиотекаряша разбирала книги и журналы. Библиотека получала все толстые журналы. Мы брали «Юность», «Новый мир» и погружались в интереснейшие прозу и поэзию тех лет.

Приходили летчики местного аэродрома, располагались поближе к печке, решали кроссворды в «Огоньке». Из соседней половины дома — там была расположена контора связи — доносилось:

— Бамбуйка! Алё, Бамбуйка! Будет самолет? Нет? А когда?

Поселок Бамбуйка — километрах в двухстах от Богдарина,

но на машине не добраться — нет дороги. Связь только воздушная. Вот летчики и сидели в библиотеке, ждали погоды.

В теплые и сухие вечера, когда Витя, собрав студентов, проводил с ними занятия — рассказывал про способы возбуждения сейсмических волн, отражения, преломления и прочие тайны сейсморазведки, я брала блокнот и карандаш, уходила за село, садилась на лежащий ствол лиственницы, обмазывалась рипудином от комаров и писала письма-дневники родителям. Знала, что, получив долгожданное письмо, они будут читать его вслух гостям, которые будут приходить уже не только «на орехи», но и на «Анины письма». Отец перепечатывал их на машинке.

Гладкий, сухой ствол, блокнот, карандаш, собственное колено вместо стола, мягкий густой ягель вместо ковра, цоканье бурундука, звон комаров и полное безлюдье — в жизни у меня не было лучшего кабинета! Здесь я написала первые рассказы о детстве. Словно отсюда, из тайги, чудесным образом перенеслась в него, погружалась в него как в теплую речку, видела, слышала, вдыхала забытый воздух — рассказы писались без усилия, как-то сами собой.

А потом мы с Витей возвращались в свою избушку.

Мы снимали летнюю кухню при усадьбе лесника, крохотный бревенчатый домик с печкой, сколоченными Витей деревянным столом и полками, с нашими раскладушками, втиснутыми в угол. Зажигали керосиновую лампу, освещавшую желтым, мерцающим светом низкий, темный потолок, книги, полевые журналы, рулоны миллиметровки, осциллографные ленты и куколку Андрюшку, наш талисман, который мы всюду возили с собой — смешного матросика из поролон.

Нам было хорошо в этом домике, в ожидании настоящего Андрюшки, который уже начал трепыхаться во мне. Мы любили друг друга. Это была нежная, спокойная любовь на третьем году семейной жизни, когда лихорадочный жар и пыл перешли в ровную, надежную тягу.

Витя растапливал печку, я жарила на сковородке яичницу с помидорами. Вот и сбылось то, о чем я когда-то мечтала: маленькая комната, настольная лампа, любимый человек и

яичница с помидорами. И откровенный мужской взгляд, от которого бросает в жар и сердце проваливается куда-то.

В декабре 1963-го я родила Андрюшу – в родильном доме имени Грауэрмана на Новом Арбате, где и сама родилась двадцать восемь лет тому назад. И засела безвылазно на даче на полтора года.

Поселок, 60-е годы

К этому времени в составе членов кооператива произошли изменения. Дачу покойного Владимира Дыховичного купил Александр Твардовский. Бывший соавтор Дыховичного, Морис Слободской, продал свою дачу Юрию Трифонову. Умер известный литературовед академик Виноградов, и его дачу купил тоже академик, директор института Государства и Права Чхиквадзе. Продали дачи дирижер Кирилл Кондрашин, переводчик-германист Вильям-Вильмонт, строитель поселка Долинский, вдовы профессора филолога Еголина и историка Авдиева. Их дачи приобрели Владимир Тендряков, Юрий Бондарев, Зиновий Гердт, министр энергетики Дмитрий Жимерин, журналист Эльрад Пархомовский.

Прозаик Сергей Антонов продал дачу композитору Александру Флярковскому.

Таким образом, в поселке продолжало сохраняться творческое равновесие.

Можно даже сказать, что к этому времени поселок достиг своего расцвета. Построены дома, проложены асфальтовые дороги, проведены газ, электричество, водопровод, установлены телефоны. Раз в две недели приезжала машина из московской прачечной – забирала со всего поселка грязное белье, привозила чистое. По понедельникам, по договору с гастрономом, что в высотном доме на площади Восстания, развозили по дачам продуктовые заказы, упакованные в большие картонные коробки, со всем необходимым на неделю. Деревни по-прежнему снабжали дачников молоком, сметаной, творогом, ягодами. Госстроевский автобус ежедневно в восемь утра отвозил желающих в Москву, к площади Маяковского, а в девять вечера от площади Маяковского привозил обратно на



Виктор Сергеевич Розов



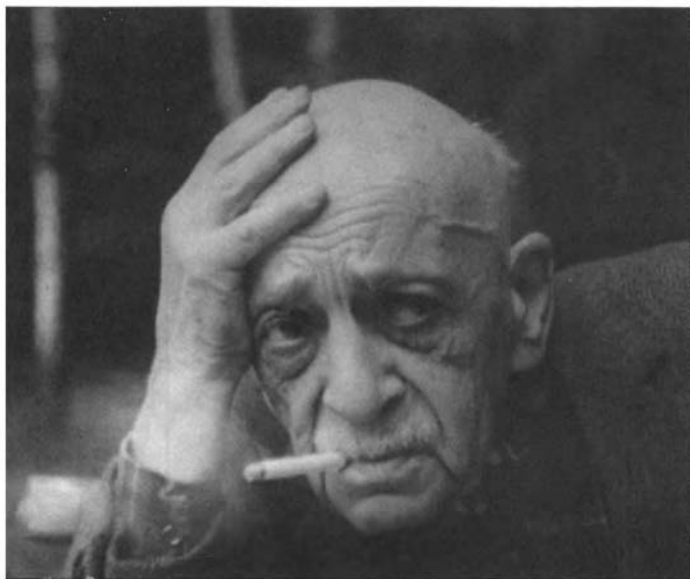
Владимир Масс с Беллой Ахмадулиной, 1967 год



Александр Семенович Менакер



Мария Владимировна Миронова



Павел Григорьевич Антокольский



Наталья Павловна Антокольская (Кипса)



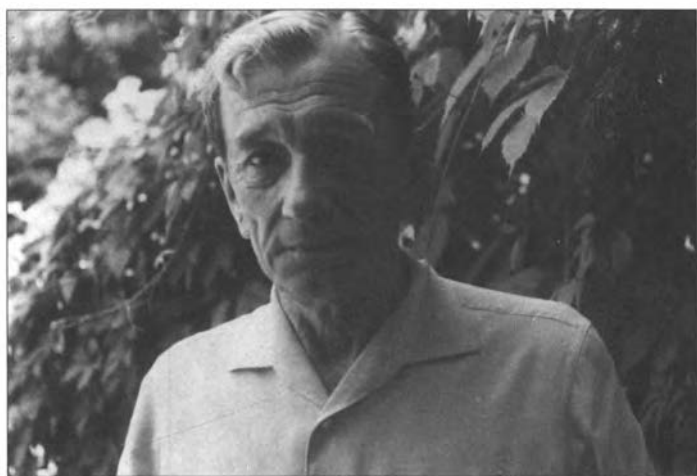
Арон Исаевич Эрлих



Зинаида Николаевна Александрова



Геннадий Семенович Фиш



Николай Робертович Эрдман



Виктор Юзефович Драгунский



Алла Драгунская



Михаил Львович Матусовский



Ирина Радунская



Модест Табачников, Павел Антокольский и Виктор Драгунский



Шура Червинский



Владимир Масс и Михаил Червинский



*Константин Михайлович Симонов
возле портретов работы Вл. Массы*



Мила Тоом, Алик Саядяңи, Катя Антокольская



Таня Липатова



Юлия Владимировна Друнина



Алексей Яковлевич Каплер



Лена Друнина-Липатникова



Орест Георгиевич Верейский



Хабаровский край, 1973 год



Анна Масс. Хабаровский край, 1977 год



*Анна Масс.
Аэрогеология, Якутия, 1977 год*



Калмыкия, 1961 год



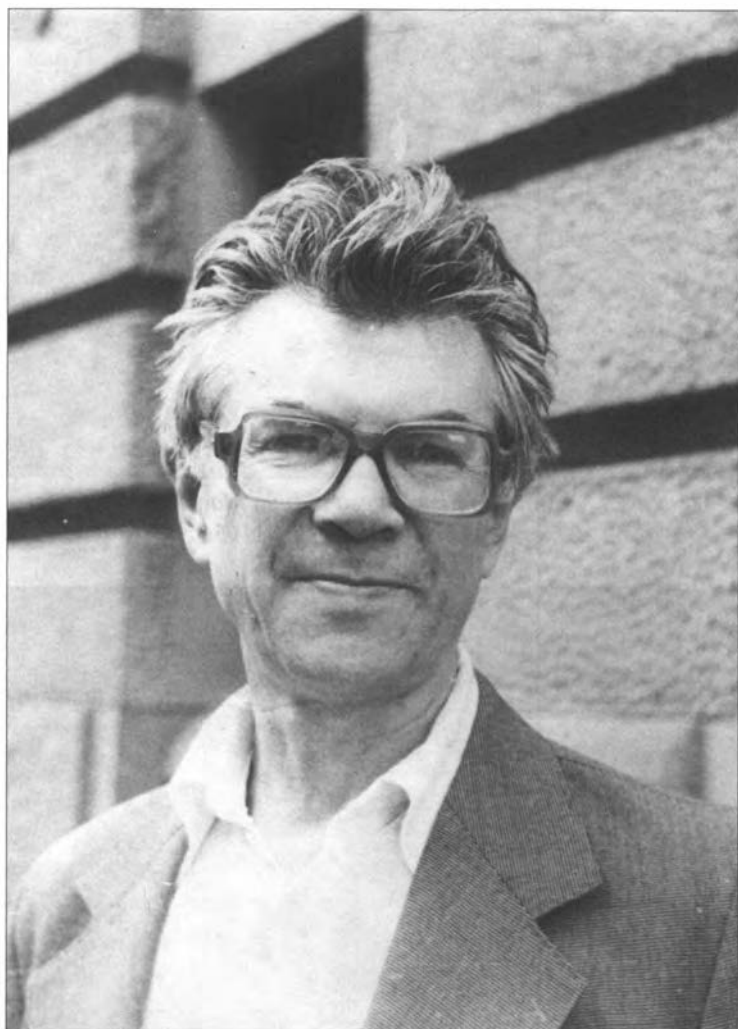
Мангышлак, 1966 год



*Марина Верховцева и Анна Масс.
Школьный выпускной вечер, 1956 год*



Марина Верховцева и Анна Масс, 2004 год



Виктор Горшков

Красную Пахру. Это было очень удобно, потому что еще далеко не у всех в поселке были машины. (У моих родителей была, и шофер Игорь Иннокентьевич раз или два в неделю возил отца в город по делам и привозил из города, груженного увесистыми сумками продуктов, которые отец покупал по маминому списку в дополнение к еженедельным коробкам.)

Был свой сантехник, он же электрик, симпатичный Павел Кобылин.

Был свой поселковый врач, Виталий Григорьевич Боглаенко из Троицкой поликлиники, — поселок платил ему зарплату, и он дважды в неделю обходил постоянных пациентов, в основном пожилых, а в экстренных случаях приходил, а потом приезжал на подержанных «жигулях», на вызов.

Где-то там, в городе, происходили совещания, партсобрания, худсоветы, редколлегии — а тут, на Пахре, преобладали творческая тишина и покой. Ну, не без скандальных случаев типа — кого-то обокрали, у кого-то с кем-то из соседей возник конфликт. Но это редко.

Почти рай в одном, отдельно взятом, поселке.

И вот, словно соскочив на ходу с поезда, я очутилась в этом раю, похожем на тихую заводь, где пахнет тиной и квакают лягушки. А поезд помчался дальше.

Вместо сейсмических станций, нефтяных скважин, ковыльных степей, костров и палаток — кормление, сцезивание, пеленание, укачивание — процессы долгожданного материнства, и они доставляли бы мне радость, если бы не точило чувство, что жизнь посмеялась надо мной: исполнив большое желание, — подарив ребенка, — отняла ту гармонию жизни, которую я обрела в последние годы. И если бы мама в силу своего властного характера не взяла на себя руководство каждым моим шагом. Она словно давала мне понять: поиграла в свою геологию — и хватит. Из «жены геолога» я снова превратилась в «дочку обеспеченных родителей». Все вернулось туда, откуда начиналось.

Мама обожала внука, но считала, что я сделала глупость, выйдя замуж за «какого-то геолога». Что такой «бриллиант», как я, достоин лучшей оправы. Ситуация банальная, но от этого не менее болезненная для каждой отдельной жертвы

этой ситуации. То и дело, как бы невзначай, выпускались тонкие отравленные стрелы в адрес Вити, уехавшего в очередную экспедицию, увы, теперь уже без меня: «Другие в его возрасте защищают диссертации...» «Муж Наташи, между прочим, уже кандидат наук!..» «Бросил ребенка на наше иждивение и уехал черте куда!»

Это было несправедливо: почему на иждивение? Конечно, Витина зарплата со всеми полевыми надбавками не шла в сравнение с папиными гонорарами, да к тому же он должен был помогать бабушке и брату, но он регулярно присылал деньги. Однако, для мамы, привыкшей к другим суммам, это были «не деньги».

Когда Витя осенью вернулся, вырваться к нему с дачи в Москву мне было очень трудно, потому что «ребенок должен жить на даче, а мы не обязаны с ним нянчиться в твоё отсутствие!» Но когда Витя приезжал на дачу, получалось так, что он тут инородное тело и только мешает. У зятя исчезло имя, осталось лишь местоимение — он:

— Свой грязный пиджак он повесил на детскую кроватку! Скажи ему!..

— Скажи ему, чтобы собрал сухие листья на участке. Хотя это он может сделать?

Конечно, Вите нетрудно было собрать листья, но он искренне не понимал, почему бы теще, вместо того чтобы сидеть на крыльце и отдавать всем приказания, самой не взять грабли и не выполнить эту легкую и полезную для ее здоровья работу. Капризам, даже моим, он не потакал. А маму глубоко задевало, что зять не шел у нее на поводу, как все остальные.

— Апельсины? — брезгливо говорила она. — Он думает, он нас осчастливил своими апельсинами! Я закажу — мне привезут сколько угодно!

— Что это? Деньги? Он думает, что его зарплата играет какую-то роль в нашем бюджете!

Материальный вопрос выполз, как гробовая змея из мертвой главы. До этого мы с Витей о деньгах особо не думали, оба зарабатывали, в экспедициях тратили мало, так что по возвращении мы были по общим тогдашним меркам вполне богаты и независимы. А тут оказалось, что зять «не обеспечивает». К тому же у Витиной бабушки обнаружили рак желудка. Нужно диетиче-

ское питание, в магазинах трудно что-либо купить, приходилось выстаивать очереди или доставать по блату, переплачивать. На дачу приезжал поздно и не каждый день, по воскресеньям ездил к бабушке и к брату, возил продукты и лекарства.

— Мало того, что он всю неделю ничем нам не помогает, так он еще в воскресенье уезжает на целый день! — возмущалась мама. — Он забывает, что у него семья!

Иногда в воскресенье Витя приезжал на дачу вместе с братом Юркой.

— С какой стати он еще этого мальчишку вешает нам на шею! Мало того, что он сам не внес в дом ни одной наволочки, теперь еще и э т о т спит на нашем белье!

Мама боялась, что после смерти бабушки Юра будет жить у нас, и заранее нагнетала неприязнь к непрошеному родственнику.

Я уходила с коляской куда-нибудь подальше от дома, на лесные просеки, и плакала. А что мне еще оставалось? Витя ничего не мог предложить взамен. В Мытищах умирала его бабушка, которую он обожал. Не вникал он в эти мамины фокусы, поглощенный своими горькими заботами. Жена и ребенок живут в роскошных условиях, ни в чем не нуждаются, чего еще?

Бабушка умерла, Юру забрала в свою семью мачеха, жена отца. Мама успокоилась, но осаду не сняла. Ее упорная мысль о том, что Витя мне не пара, невольно передавалась мне, яд действовал. Удивительно, как я, сама того не желая, поддавалась маминому внушению. Уже мне казалось, что Витя не так уж мне и нужен. Уже он чем-то меня раздражал. В моих разговорах с ним зазвучали мамины интонации, какие-то претензии. Понимала, что — глупо, несправедливо, но ничего не могла с собой поделать.

Витя чувствовал мое охлаждение. Мы оба страдали.

Поселок между тем жил своей жизнью, равнодушный к моим переживаниям.

Жаркими летними днями Александр Трифонович Твардовский, перекинув через плечо полотенце, заходил за своим другом, художником Орестом Георгиевичем Верейским, к ним присоединялся заместитель главного редактора «Нового мира» Александр Григорьевич Дементьев, и они шли купаться на

речку. Поэт Михаил Львович Матусовский, гуляя вдоль берега, любил постоять на высоком холме, с которого открывался чудесный вид на Десну, на зеленый островок, огибаемый с двух сторон чистыми широкими протоками, по которым скользили лодки с отдыхающими. Говорили, что именно этот пейзаж вдохновил поэта на слова знаменитой песни «Подмосковные вечера»: «Речка движется и не движется...»

Гуляя компаниями по дачным аллеям, маститые дачники обсуждали текущие события, политические и местные. Дружно ругали соседа по поселку Цезаря Самойловича Солодаря, который из когда-то неплохого драматурга вдруг сделался неутомимым борцом с сионистами и «литературными власовцами», выступал с омерзительными статьями, написал лживую книгу об Израиле, получил за нее премию Ленинского комсомола, и вообще, оказался редким мерзавцем и продажным типом, которому нельзя подавать руки. Из своей калитки выходил на прогулку Цезарь Солодарь, дружески приветствовал гуляющую компанию, и все в ответ как ни в чем не бывало приветствовали его, и он с ходу включался в разговор на другую, конечно, тему. Например, возмущался злостной неплательщицей Людмилой Зыкиной, которая задолжала за два квартала, и вообще, ведет себя безобразно – выбрасывает мусор и пищевые отходы в лес, за свой забор, отчего в поселке завелись крысы. Солодарь требовал поставить вопрос о Зыкиной на правлении, и все с ним дружно соглашались. Через какое-то время нарушительницу вызывали на правление, она гасила задолженность, а потом звонила в военный гарнизон в Ватутинках, и командование выделяло любимой певице роту солдат для уборки мусора. Солдаты выкапывали в лесу ямы, сваливали туда отходы и закапывали. В награду Зыкина сытно их кормила, давала на карманные расходы, и они возвращались в гарнизон очень довольные. Людмила Георгиевна была женщина широкая, добрая, без гонора, в отличие от многих других поселковых дам. Не гнушалась купаться в речке вместе с «простым народом». Если ехала в машине, всегда подсаживала попутных деревенских бабок с тяжелыми сумками. На даче у нее жили трое ее малолетних племянников под присмотром старой сердитой родственницы, похожей на бабу Ягу.

Кроме Зыкиной, из поселковых дам подобной простотой

отличались разве что Мария Илларионовна Твардовская, Любовь Владимировна Симукова да Надежда Варфоломеевна Розова, «Надюша», как называл ее Виктор Сергеевич. Он и сам был человек простой, без амбиций.

Возвращаясь из Москвы, папа должен был садиться напротив мамы и подробно отвечать на ее вопросы — как прошла важная встреча, кто что сказал и о чем договорились. Наглядная картинка: вот что такое настоящий муж, а не тот, который «не обеспечивает».

Домработница Нюра подавала обед: салат, селедочку с картошкой, вслед за ними вносился борщ с мясом, окрошка или рассольник, на второе — эскалопы, или котлеты величиной в полтарелки, или биточки в сметане. На десерт — в больших кружках — кисели или компоты из собственных ягод. Всё очень вкусно и в чрезмерных порциях. На папино: «Зачем так много?» — Нюра обычно со смехом отвечала:

— Ничего! Собака доест!

После обеда мама с папой отдыхали до пяти, а к семи Нюра снова накрывала на стол — теперь к чаю. Подавались сдобные пирожки, домашняя наливочка, варенье, закуска к водке и, конечно, традиционные грецкие орехи в черной керамической вазе. Приходили Антокольские, Фиши, Верейские, Розовы, Миронова с Менакером, Нагибин с Беллой Ахмадуллиной, и начиналось вечернее пиршество. Трещала скорлупа раскальваемых щипцами орехов, рассказывались разные истории под водку и закуску. Каждый стремился «занять площадку». Белла читала стихи — дамы в восторге закатывали глаза. Орест Георгиевич Верейский артистично рассказывал, как на недавней конференции молодых художников в Манеже выступал преподаватель художественного училища из Костромы:

— Для нас, товарищи, коммунизм — не мечта! — говорил этот симпатичный преподаватель. — Коммунизм для нас — почти реальность! Мы живем почти уже в коммунизме! И тем более обидно, товарищи, за некоторые недостатки. Вот, взять, например, наше художественное училище: холстов нет, красок нет, рисовать нечем. Кисточек — и тех нет. Кошку поймал, из хвоста у нее шерсти надергаешь, свяжешь ниткой кое-как — вот тебе и кисть!

Переждав взрыв хохота, вступал Александр Семенович Менакер, не менее артистично передавая услышанный им недавно рассказ Давида Ойстраха о том, как этого знаменитого скрипача послали с концертом в Японию, как в городе Нагасаки многотысячный зал слушал его в благоговейной тишине. А по возвращении его вызвал высокий чиновник по культуре и сказал:

– Ну, молодец, Ойстрах! Справился! Дал шороху японцам! А теперь бери под мышку свою флейту и езжай в Орехово-Зуево, носи культуру нашим, советским!

И как в Орехово-Зуевском Доме культуры, куда с трудом согнали публику, долго не устанавливалась тишина, а когда Ойстрах заиграл на скрипке, то сквозь мелодию услышал, как девушка из второго ряда громко обращается к подруге из первого:

– Ты, Зинка, дура! Хороший же парень! Ты ему дай. И закрепишь! Ведь хороший же парень!

Люся Верейская рассказывала, как на днях принимала душ, и вдруг в дверях ванной появляется Твардовский в сильном подпитии. Люся, испуганно: «Ах!» Твардовский, с успокаивающим жестом: «Ничего! Не обращай внимания! Ты мне – полстопочки! Полстопочки!»

К известной слабости Александра Трифоновича относились с сочувствием. Не язвили. Но как тут не посмеяться, представив себе обнаженную Люсю и страждущего «полстопочки» знаменитого поэта.

Наговорившись и наевшись, гости расходились. Нюра убирала со стола, мыла посуду. Мама включала телевизор. Папа поднимался к себе в кабинет и работал до часу, до двух ночи. Утром вставали поздно, к одиннадцати.

Конечно, я была не права, в сердцах сравнивая дачный поселок с тихой заводью, а его обитателей с лягушками. Здесь, «в тихой заводи», Орест Верейский работал над замечательными иллюстрациями к «Тихому Дону» и к «Анне Карениной»; Владимир Тендряков писал для публикации хорошие повести, а «в стол» пронзительные рассказы о голодоморе 30-х годов, об арестах сороковых и пятидесятых; Михаил Ромм разрабатывал сценарий фильма «Обыкновенный фашизм»; Дмитрий Кабалевский писал симфоническую поэму «Реквием» на слова Ро-

берта Рождественского, Виктор Розов — острые, злободневные пьесы; Твардовский писал стихи, а Антокольский — позднюю прозу. Константин Симонов готовил к печати свои фронтовые дневники. Каждый, в меру своего таланта и в меру возможностей своего времени, вносил свой вклад в советскую культуру.

Могла бы и их постигнуть судьба их современников — Мейерхольда, Бабеля, Пильняка, Шаламова и еще многих и многих. И они не творили бы спокойно на своих дачах, а остались бы в истории мучениками и жертвами режима. Но получилось так, как получилось, это не их заслуга, но и не их вина — снаряды просвистели мимо.

У Андрюши вдруг заболело ухо, опухли железки, поднялась температура. Привезли в Москву, вызвали врача, оказалось — свинка. На третий день температура упала, мальчик пошел на поправку, но мы остались в Москве до его окончательного выздоровления.

Очень хотелось после дачи хоть немного развеяться, вырваться хоть на часок из железного ритма домашних дел. Когда Витя приходил с работы, я оставляла на него ребенка и с облегчением удирала из квартиры, пропитанной обидами, раздражением и запахом кипятящихся в большом баке детских пеленок. Мы с Маринкой шли на Гоголевский бульвар, на Девичку, и я отводила душу в жалобах и откровениях. Маринке мои переживания были, в общем, до лампочки, разве что служили предупреждением на будущее. Она-то была свободна, крутила романы с кем хотела, работала над диссертацией.

Как-то вечером к нам пришел Толик с бутылкой коньяка и коробкой конфет — просто так, повидаться. Как раз в этот вечер родители ушли в Дом литераторов смотреть фильм «Ночи Кабирии», так что получилось очень удачно. Мы расположились за круглым столом в кабинете, пришла Маринка. Пили коньяк, слушали песни Галича, обсуждали мировые проблемы.

Вернулись родители. Папа, увидев гостей, обрадовался, стал рассказывать о фильме, они с мамой были в восторге, мама тоже включилась в разговор. Давно мы так дружно, так хорошо не сидели. Маринка ушла, а мы засиделись до начала первого.

Витя сказал:

— Ничего, Толик, у нас переночуешь.

Мама с каменным лицом повернулась к нему:

— Где он у нас переночует? У нас негде ночевать! Владимзахарычу нужно работать!

— Куда же он пойдет? — оторопел Витя. — Последняя электричка давно ушла!

Возникло чувство неловкости. Толик потоптался и ушел. Вслед за ним, хлопнув дверью, ушел Витя. Вернулся на следующий день к вечеру, мрачный, заявил, что он возмущен моим поведением, что у меня рабская психология, что осточертела ему эта жизнь, что мечтает скорее в поле, на свободу.

Я ответила, что не хочу вступать в конфликт с родителями, что их тоже можно понять...

Подобные разговоры были у нас теперь не редкостью.

Тут еще сказывались усталость, хроническое недосыпание. Андрюша был мальчиком беспокойным, ночью по нескольку раз просыпался, плакал. Может, интуитивно чувствовал наше взаимное охлаждение, и свой протест выражал как мог.

Было бы спасением — отделиться от родителей, зажечь своим хозяйством. Такая возможность в перспективе была: в Мытищах достраивался дом, куда должны были расселить жителей барака. Витя с братом были прописаны в бараке и имели право на жилплощадь.

Эта жилплощадь в Мытищенской девятиэтажке светила нам как меркнущий маяк надежды. Но все чаще звучали разговоры о том, что бессмысленно продолжать такие отношения.

Любовь все дальше уходила в те края, где Витя был моим защитником, спутником, возлюбленным, которым я гордилась. Чем гордиться-то, если муж не внес в дом ни одной ниточки?

Леночка Матусовская

С подобным столкнулась моя младшая подруга Лена Матусовская, дочь знаменитого поэта-песенника и его достойной жены, круглолицей, пышноволосяй и моложавой Евгении Акимовны. Лена влюбилась и вышла замуж за моло-

дого артиста, который — вот беда-то! — за два года работы в театре не получил ни одной главной роли, не читал «Волшебную гору» Томаса Манна и — о, ужас! — не умел за столом правильно пользоваться ножом и вилкой. Не исключено, что и свой пиджак он вешал не туда, куда следует. Молодой человек был осужден, осмеян и выдворен из высококультурного дома, хотя уже родился сын.

Лена тайком от родителей еще долго встречалась со своим Мишей. Приходила с сыном к нам на участок, где Миша, приехавший из Москвы, уже ждал ее. Он благоговейно брал из коляски годовалого сына, и они шли куда-то втроем, как пьяные.

— Я сама себя презираю, — жаловалась мне Лена. — но мама умеет так сделать, что я невольно начинаю смотреть на Мишу ее глазами. У нее особый талант — поддеть, унижить человека, выставить на посмешище, причем так тонко, что это понятно только своим, а сам он по наивности ничего не замечает, и от этого становится еще уязвимее. Я и сейчас люблю Мишу, но в то же время стесняюсь его. Мне уже кажется, что все наши знакомые его презирают. Сама себя за это ненавижу, но ничего не могу с собой поделать. Вероятно, у меня слишком слабая воля.

В конце концов они расстались. Лена — умница, красавица, поэтесса, талантливый искусствовед — спасовала перед маминым нетерпимым, ревнивым характером и язвительным язычком.

Единственное, что мою маму безусловно «устраивало» в зяте, это то, что внук ее будет писаться в паспорте русским. «По крайней мере, — любила повторять она, — хотя бы мои внуки покончат с проклятым еврейством!»

Интересно, что бы она сказала, если бы узнала, что трое ее правнуков родились и живут в Израиле?

«Глупости! — сказала бы она. — Не морочьте мне голову!»

Когда Андрюше исполнилось полгода, мама — и за это я ей благодарна — так организовала на даче мои дни, что три-четыре утренних часа я могла принадлежать самой себе. В эти часы домработница Нюра освобождалась от всех хозяйственных

обязанностей и нянчила малыша (няню в те годы найти было очень трудно), а я садилась за стол в своей комнатке «для прислуги» и плотно закрывала за собой дверь. В эти часы мне никто не мешал, не давал советов, а если и раздавался какой-нибудь шум, то его тут же гасил мамин окрик: «Тише! Аня работает!»

Эти часы стали моей отдушиной, моим крохотным, но глубоким пространством свободы, я блаженствовала в нем как в том солонцовом пруду с ужами.

Пригодились мои письма-дневники, которые папа дальновидно сохранил и перепечатал на машинке.

Часы проходили, мама стучала в дверь:

– Хватит! Пора заняться ребенком!

Теперь, гуляя с коляской по дачным окрестностям, я уже не плакала, а думала о той минуте, когда плотно закрою дверь и останусь наедине со своими героями, снова уйду с головой в пережитое.

Вечером, уложив Андрюшу, присоединялась к вечернему обильному столу. Снова рассказывались разные хохмы, обсуждалось происходящее в стране, читались запрещенные рукописи. Я внимала. Мама поглядывала на меня с выражением одержанной победы.

Так прошел еще год.

Но однажды — не знаю, что послужило толчком, а может, его и не было — в один из моментов, когда победа, казалось, была мамой одержана, я, что называется, «вздрогнула и проснулась». Вдруг совершенно ясно поняла, что если врасу в этот дачный, жирный, высокомерный, комфортабельный быт, то всё, что через испытания и трудности я приобрела за эти годы, превратится в воспоминания, а я превращусь в одну из этих праздно болтающих дамочек. И потеряю Витю. Не потому что врасу, а потому что он никогда не вырастет. И мы расстанемся. А я не хочу с ним расставаться. Хочу быть там, где он — личность, где мы сможем любить и ценить друг друга как раньше. Если еще не поздно. А писать я смогу где угодно.

Мама умела читать мои мысли. Мы с ней чувствовали друг

друга. Спасибо ей за то, что она оказалась мудрее собственных эмоций.

Этой же весной мы устроили Андрюшу в ясли неподалеку от дачи. И мама отпустила меня с Витей в экспедицию в Башкирию.

И там почти сломавшиеся отношения с трудом, со срывами, начали срастаться, налаживаться. Возвращалось то, что, казалось, уже не вернется: нежность, теплота, влечение. Стало почти как прежде.

Все дело в этом «почти».

Ушла какая-то сказка.

Башкирия, Оренбургская область

...**В**ылезать из спального мешка ужасно не хотелось. И сон оборвался на самом интересном месте, и лежать было так удобно, тепло, мягко, а на улице холодно и темно. Вити уже не было — ушел будить буровиков.

Вчера произошла неприятность: оборвался трос, опущенный в скважину, и пять приборов упали на дно, на глубину двух с половиной тысяч метров, в вязкую жижу. Витя поехал в Бугуруслан к знакомым геофизикам, надеясь одолжить у них приборы. Спустя час после его отъезда из Бугуруслана приехали эти самые геофизики в надежде одолжить приборы у нас. А еще через два часа вернулся Витя — ни с чем. Нужно было договариваться с буровиками, чтобы они достали упавшие приборы со дна скважины специальным шупом с магнитом на конце. Но была суббота, буровики накануне получили зарплату, выпили и теперь отдыхали. Все же Вите удалось уговорить их за два поллитра. Но на успех особо не надеялся: приборы, упавшие с такой большой высоты, могли выйти из строя, превратиться в железный лом.

Проблема была еще и в том, что скважина, пробуренная с неделю назад, уже начала осыпаться. Без обсадных труб она держится от силы три дня, а мы своим каратажом насилуем ее четвертые сутки.

Начальник соседней партии, рядом с которой мы временно расположились, Тимур Гайнутдинов, согласился принять нас на довольствие на те дни, что мы тут работаем, но попросил, чтобы кто-нибудь из наших помогал на кухне. Сегодня была моя очередь.

Еще не было пяти. Звезды побледнели, но рассвет еще не забрезжил.

От машин отделилась фигура дежурного, послышалась музыка. Это Саша Сидоров, чтобы не уснуть, развлекал себя Первым концертом Чайковского.

Фонарик мой светил слабо — батарейки сели. Я вступила в лесополосу, которая в темноте показалась мне густой и страшной, пересекла ее и очутилась на территории соседней партии. Так же, как и у нас, белеют палатки, только их гораздо больше, чем у нас. Вот и шатер-кухня. В одной половине — три длинных дощатых стола, накрытых чисто протертой клеенкой, лавки. Вторую половину занимает огромная, сложенная из известняковых кирпичей плита с железным верхом без конфорок. В дверцу из тонкой трубы льется на вогнутый лист металла струйка солярки, горит и с силой втягивается в жерло плиты. Огонь так и гудит, от раскаленной плиты пышет жаром. В двух баках греется вода, в третьем варится мясо. Накормить надо, вместе с нашими, сорок восемь человек. Повариха встает каждое утро в четыре часа, наполняет баки водой, зажигает плиту, ставит вариться мясо и снова ложится до половины шестого. В партии много семейных пар с детьми: в отличие от нашей, которая часто переезжает с места на место, партия Гайнутдинова — стационарная. Климат здесь благодатный, с питанием нет проблем — кругом богатые станицы, бахчи, огороды, рыбалка, овощи почти задаром. Вот сотрудники и привозят детей, и живут дружным табором.

Тускло светит лампочка от аккумулятора. Я принимаюсь чистить картошку. В половине шестого приходит беременная повариха Фая. Лицо у нее помятое, сонное, но все равно видно, что — красавица. Мы режем капусту и лук, сыплем в бак вместе с картошкой, вынимаем мясо, режем его на сорок восемь кусков.

Тем временем светает, приходят на кухню жены буровиков —

те, что питаются семьей, отдельно. Варят кашу, жарят рыбу и оживленно болтают по-татарски. Плита большая, всем хватает места.

К половине восьмого сходится народ, и у меня начинается горячая пора: разливаю, подаю, собираю миски, мою их в двух тазах с горячей водой, наливаю через воронку чай в бутылки — буровикам с собой на работу, слежу, как бы не плеснуть чаем на крутящихся здесь же детей — маленьких Закира, Салтана, Равиля и трехлетнюю поварихину дочку — красоточку Венеру (с ударением на последнем слог).

Поток завтракающих схлынул — народ торопится на работу. К половине десятого мы с Фаей перемыли посуду, выскребли бак из-под супа, снова наполнили водой баки, перетерли столы, и я пошла к себе.

Дома меня ожидало радостное известие: буровики вытащили приборы и — чудо: ни один прибор не сломался! Витя с заменившей меня на сегодня проявительницей Зиной уехал на скважину работать. В лагере остался отряд гравиметристов. Их начальник уехал в Оренбург добывать какие-то материалы, а рабочие, пользуясь выпавшей свободой, купались, ловили бреднем рыбу. Мальчишки-десятиклассники, нанятые на летний сезон, играли в «гибель Чапаева»: Вова прыгал с берега в воду, а Миша и Тимур азартно кидали в него комьями земли. На берегу полуобнаженный красавец Айрат, обвитый от талии до шеи прирученным громадным ужом, картинно позировал фотографирующей его инженерше Тане. Он был похож на отделившегося от скульптурной группы сына Лаокоона,

Я взяла купальник, полотенце и ушла подальше от лагеря, вдоль реки — отдохнуть до трех.

Солнце уже всю грело. Река Урал под невысоким лесистым обрывом текла спокойная, не широкая, но и не узкая, в зеленых, чуть желтеющих берегах. Две рыбачьих лодки отдыхали на берегу. Вода была прозрачная и теплая. Изредка всплескивала большая рыба. Как-то даже странно было думать, что эта красивая спокойная речка стала когда-то могилой знаменитого героя гражданской войны.

Я долго с наслаждением плавала. Усталость смылась, и я

отдыхала, плавая. Потом вышла на противоположный пологий берег, села верхом на ствол лежащего дерева, поставила ноги на сучки, как на педали. Руки сами удобно легли на раздвоенный сук, похожий на рычаг управления какой-то фантастической машины.

Вспомнила: сегодня десятое сентября, а я зачем-то взяла себе за правило каждый год подробно описывать этот день, каким бы он ни был, пусть даже самым заурядным.

И вдруг зажглось как фонарик:

— Десятое сентября лет семь тому назад: целина, идет снег, я стою на прицепе комбайна, воруя вилами, обед всё не везут, ноги в резиновых сапогах ломит от холода...

Так ярко и чувственно было это воспоминание, словно я и правда слетала в прошлое.

Фонарик погас, зажегся другой:

Лежу на раскладушке, читаю «Солярис» Станислава Лемма в журнале, кажется, «Знамя». Снаружи свистит и завывает пыльная буря, ветром едва не срывает крышу с нашего саманного домика, лампочка на шнуре мигает и раскачивается, а я не могу оторваться от чтения. Это десятое сентября в Калмыкии лет пять тому назад.

Снова погасло и зажглось:

Десятое сентября в Забайкалье, утренний иней на лиственницах, промерзшие насквозь красноголовые подосиновики. Отряд уехал на Куликово поле, а меня оставили обрабатывать материалы. Я воспользовалась бесконтрольностью и, перед тем как приступить за работу, ушла побродить по таежным сопкам с их карликовыми березами и кедровым стлаником. Сажусь на край заброшенного шурфа в мягкий сухой мох, предаюсь мечтам о нашем будущем ребенке — еще не знаю, мальчик это или девочка, но уже мысленно разговариваю с ним, даю потрогать мягкую ветку лиственницы. Все теплее становится, тает иней, оттаивают подосиновики, я иду вверх и вверх по сопке, собираю грибы, чтобы потом, нанизав на нитки, повесить сушиться над печкой в нашей избушке. А вечером в избушке горит керосиновая лампа, олени рога лежат в углу, гроздь грибов висают с потолка и чудесно пахнут...

Какое-то чудо! А может, этот ствол, на котором я сижу, и в самом деле фантастическая машина Времени, занесенная сюда из будущего и замаскированная под простое дерево?

А если попробовать слетать в будущее, увидеть себя лет так через... Через пятнадцать?! Например, слетать в десятое сентября восьмидесятого года?

...Сидеть на стволе удивительно удобно, а еще лучше — лечь, положив голову на теплый древесный нарост, заросший мягким лишайником и закрыть глаза...

Сегодня десятое сентября 1980 года.

Волны набегают на берег вкось. Солнце падает бликами сквозь ветки могучей сосны, под которой я стою. Вдалеке — пирс.

Что это?

Вспомнила! Это Пицунда, Дом творчества писателей.

Сосны огорожены сетчатым забором, а некоторые — по эту сторону забора — как будто вышли погулять на пляж. Стволы увиты плющом, ветки в длинных иглах. На фоне голубого неба видна каждая иголка. Под соснами — земля, усыпанная рыжими прошлогодними иглами и сухими коричневыми шишками.

...И сейчас же радостно отозвалось: Андрюша — студент! Сдал все экзамены на пятерки! И моя поездка сюда — награда за то, что он поступил в институт. Потому что это отчасти и моя заслуга. Хотя в основном я не помогала, а волновалась.

Первая ликующая радость от успеха сына уже прошла, а то, что я испытываю сейчас, — это покой. Покой — тоже счастье, причем, его лучшая разновидность, потому что это счастье, протяженное во времени.

Я надеваю маску для плавания и вхожу в воду.

Море тихое и теплое, вода ласкает и нежит, сквозь стекла маски видны зонтичные тела медуз, я их оплываю, разглядываю бирюзовую толщу воды, камни на дне. Медузы похожи на белые парашюты, на абажуры с бахромой и на шампиньоны. А одна маленькая девочка, когда я ее вчера спросила, на что похожи медузы, ответила, что на пластмассовые крышки от банок.

Если резко опустишь руку, то снизу поднимаются белые пузырьки, они щекочут живот, и кажется, будто тебя погрузили в газировку.

Хорошо бы уметь подолгу жить под водой. Опускаться на дно, отдыхать на подводных камнях, и чтобы волосы мотались сзади, как водоросли. Мысли, наверно, совсем другие. Интересно, какие мысли у дельфина?

Накупавшись, возвращаюсь в свою комнату с лоджией на четвертом этаже роскошного писательского корпуса. На письменном столе — портативная пишущая машинка, стопка бумаги и несколько экземпляров (для раздаривания) моей недавно изданной, пятой по счету, книжки. И первой, вышедшей после смерти отца. Как жаль, что они с мамой не могут поддержать ее в руках, порадоваться. А может, они и радуются. У меня часто возникает ощущение их незримого присутствия.

...Повесила мокрый купальник на веревочку в лоджии, приняла душ, надела белую широкую юбку, белую футболку в обтяжку, красные бусы. Оглядела себя в зеркале. Мне сорок пять. Вчера на улице незнакомый седоватый грузин долго уговаривал вместе поужинать. Я отказалась, однако, он здорово поднял мне настроение: еще, значит, не вечер, если пристают на улице.

Вхожу в мерно гудящую столовую. За моим столом уже сидит и ест яйцо всмятку моя соседка по даче на Пахре — писательница Ира Радунская, худенькая, изящная, рыжеволосая, немного чопорная. Она пишет книжки про науку и про ученых. На даче мы с ней мало общались, а тут сошлись поближе. У нее приятный тихий голос, говорит она мало и по существу, а если нечего сказать, то и вообще не говорит. В отличие от другой соседки по столу — редакторши из «Вопросов мировой литературы» Златы Михайловны, монументальной дамы лет шестидесяти. Эта, наоборот, исступленно болтлива, безапелляционна, а на попытку возразить отвечает крикливым неприятием. Повезет же какому-нибудь автору попасть в лапы к такому редактору.

После завтрака снова возвращаюсь в свои апартаменты. Дверь на ключ, сажусь за письменный стол, раскладываю свои записи, оттачиваю карандаш...

Я пишу историю жизни Наталии Николаевны Антокольской, с которой в последние годы ее жизни подружилась на даче. До этого я дружила с ее дочерью, а когда та неожиданно умерла, а Наталия Николаевна ослепла и у нее отнялись ноги, я стала на-

вещать ее. Сначала из жалости, в память о дружбе наших семейств. Читала ей вслух, мы разговаривали.

Ей было далеко за восемьдесят, но, вопреки слепоте и телесной немощи, она не потеряла интереса к жизни, память ее была удивительно ясной и отчетливой. Она была из интеллигентной дворянской семьи, с юности мечтала об актерской карьере, и мечта ее могла бы осуществиться — перед самой революцией ее приняли в студию Вахтангова, где она встретилась и подружилась с многими будущими известными деятелями культуры и где она вышла замуж за юного артиста и будущего поэта Павла Антокольского. Но Павлик через несколько лет оставил ее, женился на Зое, а ей пришлось воспитывать двоих детей, тут было не до актерской да и вообще не до какой карьеры.

Она воспитала детей, потом внуков, сохранила независимость, гордость, достоинство, светлый ум и любовь к жизни, далеко не всегда к ней справедливой, но так и не реализовала своих способностей. Писала повести и рассказы, однако ей не удалось ничего опубликовать. С детства у нее был математический талант, но и математиком она не стала. Так сложилось.

Не помню, с какого момента и с какого эпизода она начала рассказывать мне свою жизнь, а я слушать и записывать, все больше подпадая под обаяние ее неторопливой старомодной речи. Теперь уже не только она, но и я с нетерпением ждала каждой встречи. Я бродила вместе с ней по улицам и переулкам ее жизни, вглядываясь в молодые лица тех, кого застала уже старыми или знала только по рассказам, по литературным воспоминаниям, — и у меня было такое чувство, словно ее жизнь — продолжение моей, только не в будущее, а в прошлое.

И вот теперь я складывала эти рассказы в повесть, понимая, что надежды на публикацию почти нет — не та идеология. Но пусть, думала я, образ эпохи, запечатленный памятью этой женщины, сохранится в моих записках. Может быть, когда-нибудь...

Три часа прошли как одна минута.

Снова я иду к морю, погружаюсь в воду, и снова меня охватывает чувство глубокого, теплого внутреннего покоя и тишины.

Выхожу на берег и становлюсь у самой кромки, подняв лицо к солнцу.

Пляж во второй половине дня перенаселен. В набегающей на песок пене прыгают дети. Отдыхающие расположились кто под тентом на лежаках, кто прямо на песке, подставив солнцу спины и животы. Вон лежит на песочке Белла Ахмадулина, рядом с ней — Александр Кушнер, наискосок от них — слегка обрюзгий красавец Юрий Рытхэу растирает полотенцем спинку маленького внука, подальше белеет брюхо Юрия Яковлева. Словно московский Дом литераторов переместился сюда, на пляж, и жарит на солнце дряблые, запущенные тела. Есть, конечно, и стройные фигуры, но в большинстве своем писатели не слишком привлекательны в обнаженном виде.

Ко мне подходит мой сосед по этажу писатель Георгий Николаевич Мунблит. С ним и с его симпатичной женой Ниной Николаевной мы изредка проводим вечер в их или в моей комнате за бутылкой вина. Мунблиту восемьдесят пять, он глуховат, сух как кузнечик, жизнелюбив, остроумен, любит рассказывать о том, как в молодости дружил с Зоценко, с Олешей, с Ильфом и Петровым. После смерти Ильфа он некоторое время работал в соавторстве с Петровым, вместе они написали сценарий знаменитой в свое время кинокомедии «Антон Иванович сердится». Теперь он пишет книгу воспоминаний и подрабатывает к пенсии внутренними рецензиями для издательства «Советский писатель». Написал положительную рецензию на мою последнюю рукопись, а я только тут об этом узнала.

Мунблит уходит в тенек, под тент, а я вхожу в море и плыву в сторону от пляжа, к молчаливым соснам. Такое чувство, что я тут, в Пицунде, отмокаю от большой усталости. Хочется долго плыть, а потом стоять на теплом песке и смотреть на море, где блестит, уходя к горизонту, солнечная дорожка. Или гулять одной по узким аллеям парка. Здесь разрослись кактусы, ушастые как Микки-Маусы, в розовых бутонах, покрывающих их небритую мясистую плоть, как чирьи бандитскую рожу. Некорректное сравнение, но, правда, чем-то похоже. Раскрывшись бутоны, днем желтые, а вечером — розовые, напоминают то ли болотную купальницу, то ли садовую лилию (ну, это уж совсем убожество — сравнивать цветок с цветком. Все равно, что

рифмовать клозет с ватерклозетом. Да уж ладно, на отдыхе сойдет).

На пирсе продают горячие хачапури, сок и кофе по-восточному. Отдыхающие сидят в купальниках и плавках на серых круглых чурбаках, которые когда-то были стволом прекрасной сосны с длинными иглами. В желтом пластмассовом шифере, образующем над пирсом волнистую крышу, по углам лепятся ласточкины гнезда. Ласточки черными стрелами влетают и вылетают, а из гнезд доносится многоголосый писк.

Вечернее солнце не печет, только греет. Никто не купается. На берегу стоят две очень толстые писательницы в ярких купальниках и бросают вверх кусочки хлеба, подхватываемые на лету стайей чаек.

...Или чайкой, упруго опираясь о воздух.

Сон растаял как облачко, осталось только ощущение глубокого, теплого, уютного внутреннего покоя и тишины. Попыталась вспомнить, что же такое мне снилось, но так и не вспомнила.

Пора было возвращаться на кухню, помогать Фае готовить ужин.

Вечером был пир на берегу реки в честь благополучного завершения каротажа скважины. Расстелили на траве брезентовый навес. На нем — гора мелких полосатых арбузов, гора крупных желтых помидоров (местный сорт), миски с дымящейся картошкой, ведро густой, жирной ухи, малосольные огурцы, миски со сливочным маслом и пирамиды из орenburgского хлеба, невероятно душистого, вкусного и свежего. Ну и, конечно, водка. Пять бутылок орenburgской 50-градусной.

Витя произнес короткое напугствие:

— Ребята! Прошу вас не объедаться арбузами, они незрелые, и у вас заболят животы. Это во-первых. А во-вторых — поздравляю вас с окончанием сейсмо-каротажа и желаю хорошо отметить, только без хулиганства. Завтра с утра складываемся и часам к двенадцати выезжаем в Туймазу, а оттуда — в Шкапово, на новое место работы.

Все закричали «Ура!» и стали есть и пить.

Кроме Вити. Он ушел в палатку и лег. У него раскалывалась

голова и мучила изжога — постоянная злая спутница многих лет его жизни.

Он был отнюдь не таким крепким, каким казался.

Витя

Поэзия с юности бередила его душу, мучительно требовала выхода и с годами все больше затмевала геофизику. Он упрямо шел своей потаенной тропинкой в своем поэтическом мире.

Когда и шаги твои в мире глухи,
И видимость цели почти нулевая,
На почве чего возникают стихи,
Под солнцем идеи какой созревают?

Зачем за собою стараясь увлечь,
Сама для себя и любовь, и награда,
Умно, но надуманно движется речь,
Как будто и вовсе ей почвы не надо?

Чьей волей такая словесная вязь,
Правдивость которой берется на веру,
Приходит, опорой другим становясь,
Живет, создавая свою атмосферу?

Признаюсь, к его увлечению стихотворством я долгое время относилась не то, что с предвзятостью, но — без восторга. Муж-геолог — это звучало, а муж-поэт вызывало вполне понятные ассоциации. Был уже один, хватит. Лучше бы продолжал совершенствоваться в геофизике, шел бы вверх по служебной лестнице, защитил кандидатскую, докторскую.

Но не геофизика была его призванием, а поиск истины, спрятанной в слове, в чувстве, в увиденной детали.

Вдруг приходила мысль, и, пораженный ею,
Я брался за перо. Бывал момент иной,
Когда казалось мне, что я стихом владею,
Но в основном не я — они владели мной.

Все ж были у меня счастливые мгновенья,
Короткие часы в обычной судьбе,
Когда меня несли те крылья вдохновенья,
Которые ташил я на себе.

И хоть от тех часов навару было мало,
Не знаю, как бы я существовал,
Когда бы в трудный миг мне сил не придавало
Все то, чему я силы отдавал.

Он любил свой коллектив, и его любили и ценили. Он долго не решался порвать с геофизикой, его держал груз ответственности перед семьей. И решился лишь, когда в издательстве «Советский писатель» вышел его первый сборник стихов «Не свод небес». Но это случилось только в 1993 году и совпало с его выходом на пенсию.

Жизнь течет, простором вея,
И пока я, с простоты
Быть желая чуть над нею,
Наводил свои мосты,

Годы шли в свои пределы,
Как большие корабли...
И мосты как будто целы —
Только под воду ушли.

Он поэт по настрою души, по чувству языка. Ищет образ, мысль, рифму, и когда находит, и возникает стихотворение — испытывает счастье творца. Его можно назвать счастливым человеком, потому что любовь его к поэзии пожизненна и взаимна.

Когда-то он написал:

О, поэт, одинокий воитель.
Как ни мучай себя, ни травы,
Зачерпнешь из текущих событий
И разбавишь невзгоды свои.

Ты ничем никому не обязан.
Не ищи и от жизни щедрот.
Но в нее окунешься и сразу
Жизнь подхватит тебя, понесет.

И не важно, куда и откуда.
Суть не в том, и не в том интерес.
Мы живем ожиданием чуда
Посреди каждодневных чудес.

Такой он и есть до сих пор — одинокий воитель посреди каждодневных чудес — рассеянно-сосредоточенный, углубленный в свою поэзию Дон Кихот, наивный, открытый, прямой, упрямый, не способный ко лжи, равнодушный к наживе, всегда готовый прийти на помощь слабому, близко к сердцу принимающий всё доброе и дурное.

Теперь он автор трех поэтических сборников, член Союза писателей, печатается у нас и за рубежом в русскоязычных журналах. У него есть сайт в интернете, и на его стихи приходят хорошие отзывы. Поэзия наконец-то стала основным делом его жизни.

Павел Антокольский в кругу семьи

Квартира № 38

Наш московский пятиэтажный дом в Большом Лёвшинском, дом артистов театра имени Вахтангова, был построен в 1928 году. В четвертом подъезде, в квартире № 38, получила комнату молоденькая незамужняя артистка Зоя Бажанова, вторую комнату заняла, тоже незамужняя, Вера Головина, третью — неженатый молодой артист Владимир Балихин. На кухне поселилась их общая домработница Варя, деревенская девушка из-под Рязани.

Балихин вскоре привел в свою комнату жену, очаровательную балерину. Вера Головина вышла замуж и переехала к мужу, театральному художнику-декоратору, во второй подъезд нашего же дома. Ее освободившуюся комнату получил Зоин возлюбленный, Павел Григорьевич Антокольский, или, как звали его все, кто его близко знал, — Павлик. Он начинал как артист и режиссер вахтанговской студии, но к тому времени, как поселился в доме 8-А в Большом Лёвшинском, был уже известным поэтом. Ради Зои он оставил жену и двоих детей, сохранив с ними близкие отношения. Всю жизнь помогал первой семье, в чем его всегда поддерживала и поощряла Зоя, у которой своих детей не было.

Квартира номер 38 была пристанищем для многих друзей. Во время войны к Павлику и Зое приезжали с фронта поэты Евгений Долматовский, Михаил Матусовский, Николай Тихонов, Маргарита Алигер. Останавливался и подолгу жил у них Александр Фадеев. Для всех находились тарелка супа, кусок хлеба, кружка кофе, матрас, раскладушка. Молодых поэтов Павлик любил «открывать», помогал с выходом первой книжки, рекомендовал в Союз писателей. Он был «крестным отцом» Александра Межирова, Михаила Луконина, Семена Гудзенко, Евгения Винокурова.

В квартиру №38, зная доброту и безотказность Павлика и

Зои, приходили иногда малознакомые люди, просто нуждающиеся в деньгах. Некоторые даже стеснялись войти, стояли на лестничной площадке. Им деньги передавались через Варю. Но не отказывали никому.

В годы ссылки моего отца Антокольский был одним из тех, кто активно содействовал переводу его из Сибири в Горький, а в годы войны они некоторое время вместе руководили фронтовой театральной бригадой. Они всю жизнь были большими друзьями. Отцу нравились стихи Павлика, тяжеловатые, звонкие как металл. Он любил декламировать «Иеронима Босха»:

Я завещаю правнукам записки,
Где высказана будет без опаски
Вся правда об Иерониме Босхе.
Художник этот в давние года
Не бедствовал, был весел, благодушен,
Хотя и знал, что может быть повешен
На площади, перед любой из башен,
В знак приближенья Страшного суда...

Очаровательная балерина, недолго побыв женой Балихина, упорхнула, оставив ему свою дочку Наташу, которую Владимир Васильевич обожал как родную, так же, как и Наташа — своего «Вавочку».

Наташин «Вавочка», образованный, интеллигентный, очень тихий человек, прекрасный артист, еще до войны замечательно сыграл Карандышева в фильме «Бесприданница», а в театре был на второстепенных ролях, может быть, из-за скромности характера. Кипящая, дружелюбная энергия Павлика и тихая деликатность Балихина не мешали им быть в большой дружбе, а Наташа в этой квартире была вроде как общим любимым ребенком.

Наташа была нашей дворовой подружкой, и мы часто к ней забегали. Нас встречал веселым лаем и прыжками любимец семьи черный пудель Дымка. Домработница Варя, из робкой деревенской прислуги превратившаяся в строгую домохозяйку и чуть ли не главного члена семьи, кричала на нас грозно, но не сердито: «Галоши разувайте! По коридору не топайте! Не в трактир пришли!» Из кухни тянуло махоркой и раздавался хриплый кашель Варвариного возлюбленного шофера Сидорова. Слышно было, как Зоя Константиновна

разговаривает по телефону, а Павел Григорьевич с кем-то горячо спорит в своем кабинете или казалось, что спорит, а на самом деле это у него была такая энергичная манера беседовать. Нас ничуть не смущало, что мы своим приходом нарушаем покой известного поэта. Тем более, что Павел Григорьевич вел себя с нами не как известный поэт, а именно как «Павлик» — выходил из кабинета, шумно приветствовал, с любопытством расспрашивал о школьных делах.

К существованию в Вариной жизни шофера Сидорова в квартире относились с пониманием. Когда Сидоров, стуча сапогами, распространяя запах махорки и бензина, проходил в сопровождении Вари по коридору на кухню, где уже была растелена широкая постель, и Варя плотно закрывала дверь, квартира уважительно затихала. Все затаивались в своих комнатах, а если и ходили по коридору, то на цыпочках. И позволяли себе вновь расслабиться только с того момента, как дверь кухни распахивалась как театральная занавес и открывался вид на сидящего за столом, слегка взопревшего Сидорова, неторопливо пьющего с блюдца чай.

В деревне под Рязанью у Вари остались тетка и безмужняя сестра Акулина, у которой чуть ли не каждый год рождались дети от случайных сожителей. Варя осуждала свою «Кулину» за развратное поведение и ругательски ругала ее в письмах. Поскольку сама она была неграмотна, то письма под ее диктовку писала Наташа, выводя старательным школьным почерком слова и выражения, которые потом под большим секретом сообщала нам во дворе. Так что благодаря Варе мы довольно рано освоили русский мат, что, как мне кажется, не нанесло нам особого вреда в дальнейшей жизни.

Хотя Варя и осуждала непутевую Акулину, однако, каждый месяц отправляла ей и тетке в деревню продуктовые посылки, тратя на них свою зарплату. Время от времени ее деревенские родственники приезжали к ней, и им расстилались на полу матрасы. Уезжали они, груженные продуктами и ношеной одеждой из гардероба Зои, Павлика и их знакомых.

После войны, когда началась государственная антисемитская кампания, Антокольский оказался в числе тех, кого причислили к «безродным космополитам». Газеты, еще недавно с

восторгом писавшие о его удостоенной Сталинской премии трагической поэме «Сын», теперь глумились над его стихами. Его перестали печатать, уволили из Литературного института, где он преподавал. Писали, что его стихи и поэмы проникнуты эстетством, упадничеством и пессимистическими настроениями, далекими от борьбы и жизни советского народа. Самым же серьезным обвинением в этом наборе литературных пороков было то, что стихи его «обращены к западно-европейской тематике». Прямое указание на то, что автор поэмы «Франсуа Вийон», стихов об Иерониме Босхе, о французской революции и знаменитого «Санкюлота»:

Мать моя колдунья или шлюха,
А отец какой-то старый граф,
До его сиятельного слуха
Не дошло, как юбку разодрав
На пеленки, две осенних ночи
Выла мать, родив меня во рву.
Даже дождь был мало озабочен
И плевал на то, что я живу, —

автор этот — презренный антипатриот, и ему не место в нашем обществе.

Но даже и в то опасное и позорное время квартира № 38 оставалась местом, куда приходили артисты и поэты, звучали стихи, музыка, споры и — вопреки всему — смех.

Мы, дети, мало что понимали в происходящем, родители при нас о таких вещах не говорили. Знали, что Павлик — замечательный поэт, что его поэма «Сын», за которую он получил Сталинскую премию, — это про его сына Володю, убитого на войне. Поэму мы читали. Ничего эстетского, то есть по нашим представлениям неясного, в ней не было. Наоборот, всё было понятно и близко:

...Вова! Ты рукой не в силах двинуть,
Слез не в силах с личика смахнуть,
Голову не в силах запрокинуть,
Глубже всеми легкими вздохнуть.

Почему в глазах твоих навеки
Только синий, синий, синий цвет?
Или сквозь обугленные веки
Не пробьется никакой рассвет?..

Нас еще и потому так трогала эта поэма, что многие из нас, «вахтанговских детей», хорошо помнили Вову Антокольского. До войны он часто приходил к отцу. Играл во дворе в волейбол со старшими ребятами — с Вадиком Руслановым, Жекой Сибиновым, моим братом Витей. Говорили, что у него большие способности к математике, что он прекрасно рисует и играет на рояле. Еще говорили, что он влюблен в Катю Синельникову из второго подъезда.

Его фотография — красивого юноши с серьезными глазами — висела в квартире Синельниковых в застекленной рамке.

В пятьдесят первом году в писательском доме в Камергерском переулке (тогда — «Проезд МХАТа») освободилась небольшая отдельная квартира Веры Инбер (она переехала в писательский дом в Лаврушенском), и ее квартиру Союз писателей предложил Антокольскому. Причиной того, что опальному поэту разрешили поменять коммунальную на отдельную, послужило, возможно, то, что в Москву из Франции приехали «друзья Советского Союза» Луи Арагон и Эльза Триоле. И чтобы усыпить их недовольство — а они знали о нападках на поэта, хорошо известного во Франции, — Союз писателей решил показать свое благородство. В ответ Антокольский предложил свой вариант: они с Зоей остаются в вахтанговском доме, а в Камергерский переедут Балихин с Наташей. Руководство почесало в затылке и согласилось. Так, к обоюдной выгоде, две семьи получили по отдельной квартире.

Дачное соседство

С середины пятидесятых мы с Антокольскими стали жить в одном дачном поселке, забор в забор, и дружба между нашими семьями стала теснее не только в переносном, но и в буквальном смысле. Хилый забор между нами через какое-то время сгнил и повалился, и мы нарочно не стали его восстанавливать, жили словно на одном общем участке. Приезжала дочка Павлика, Кипса, с мужем, поэтом Леоном Тоомом, и детьми — подростком Андреем и маленькой Катей. Приезжали Зоины и мамыны подруги-актрисы — «Маша» Синельникова, «Вавочка» Вагрина. Общались то на нашей половине, то на половине

Антокольских. У них обедали, у нас пили чай. Или наоборот. С Кипсой мы подружились, хотя она была старше меня лет на пятнадцать. На самом деле ее звали Наташа, Наталия Павловна, а Кипса — было ее детское прозвище, но оно очень к ней подходило: она была толстая, пышная, веселая, непосредственная, по-девчоночьи озорная.

Несколько лет спустя в семье появилось новое действующее лицо — Милочка. На ней женился и привел в дом внук Павлика, Андрей Тоом, которому тогда едва исполнилось двадцать лет, а ей — едва восемнадцать. Миниатюрная, хорошенькая — глаз не оторвать. Сама естественность, тишина и поэзия. Она замечательно вписалась в многочисленную, шумную, дружелюбную, хлебосольную семью Антокольских, стала в ней любимым балуемым ребенком, даже когда родила своего — Дениса. Она, в сущности, и была ребенком: школьный аттестат зрелости и полная неопределенность дальнейшего. Андрей тогда учился в Университете и был подающим большие надежды математиком.

На семейном совете решено было Милу «определить». Эту задачу взял на себя Павел Григорьевич. Он решил показать Милу своему другу, главному режиссеру театра Вахтангова Рубену Николаевичу Симонову. Предполагалось, что тот прослушает Милу и, может быть, посодействует, чтобы ее приняли в театральное училище имени Щукина.

В тот день, когда Антокольский вез Милу с дачи в Москву «определяться», с ними в машине ехали поэт Семен Кирсанов, сосед по поселку, и я.

— Знаешь, кто это? — спросил у Кирсанова Антокольский, обернувшись с переднего сидения и кивая на Милу. — Это жена моего внука Андрея.

Кирсанов критически оглядел сжавшуюся в комочек Милу, похожую на испуганную птичку, и недоверчиво произнес:

— Иди ты!

Однако, Рубен Николаевич Симонов, прослушав Милу, сказал, что не только в знак дружбы, но и с искренней охотой и уверенностью рекомендует ее ректору училища, Борису Захаве, и уверен, что тот ее возьмет.

Так и вышло. Мила закончила театральное училище, и ее взяли в Театр Юного Зрителя. Там она прошла путь от бессло-

весных ролей до роли Наташи Ростовской и королевы из спектакля «Рюи Блаз». Играла всегда удивительно искренно. Юные зрители принимали ее за свою сверстницу. Она могла бы еще много играть, но когда в 1986 году главным режиссером ТЮЗА стала Генриетта Яновская и театр полностью изменил профиль и репертуар, Миле Тоом не нашлось там места. От ТЮЗа, то есть Театра Юного Зрителя, осталось одно название, он стал театром для взрослых. Мила оказалась отодвинутой на задний план. Помучившись, она ушла из театра.

Мила осталась другом семьи Антокольских, даже когда рассталась с Андреем и стала женой талантливого театрального художника Алика Саядянца. Она и Алика подружила с семьей, и с Андреем много лет сохраняла дружеские отношения. Она умела отвечать добром на сделанное ей добро. Никогда ни о ком плохо не говорила. Это была ее жизненная позиция.

Когда Кипса умирала в больнице от диабетической комы, не новая невестка, а Мила находилась рядом, делала всю черную работу – приподнимала, поворачивала, обрабатывала грузное, бессильное тело, перестилала простыни. (Больница была та еще, грязь, тараканы, одна нянька на отделение. Кипса лежала в коридоре.)

Мы с Милой не были «подружками», но за многие годы жизни в одном поселке (и даже на одном участке – Алик и Мила лет пять снимали у нас времянку) – не помню, чтобы пробежала между нами хоть тень недоброжелательства. Была обоюдная человеческая симпатия.

Дети наши – Максим и Денис Тоом-Антокольский – неразлучно дружили с самого детства. Дружат и теперь.

Милочка умерла от рака в 2006 году.

А тогда, в шестидесятых, достатком, уютом, ухоженностью веяло от дома Антокольских, от старинной мебели, редких гравюр, книг... Накрывался резной дубовый стол в гостиной, или располагались на просторной террасе, домработница Дуся (Варвара по-прежнему оставалась хозяйкой в московской квартире) расставляла угощения, приносила клубнику с огородов, ставился графинчик. Зоя Константиновна умела принять гостей.

Она до старости сохраняла угловатую, изящную фигурку

девочки. У нее было обаятельно-клоуновское большеротое лицо, прямые золотистые волосы крылом падали ей на щеку. Оставив службу в театре, она увлеклась садом, огородом, а в последнее десятилетие своей жизни – деревянной скульптурой. В переплетении корней, в сухом сучковатом обломке ее артистическая фантазия видела то голову мифической Горгоны, то сказочного лесного зверя.

Павлик позднее напишет:

Босиком, в истрепанном платье,
В прелых листьях, в ненастной мгле
Ты отыскивала распятыя
Или ведьму на помеле...

Появлялись в доме фигуры,
Как исчадия лесной весны.
Из древесной корявой шкуры
Ты выпрастывала их сны...

Она любила работать в саду перед домом. У нее были грубые, натруженные кисти рук, которые не вязались с миниатюрностью ее облика, но придавали ему обаяние естественности. Ей помогал Владимир Михайлович, медлительный симпатичный старик, их бывший шофер, а теперь «мужик в доме» и друг семьи. Он вооружался молотком и гвоздями и соединял части фигур в одно целое. Это у него называлось «вбивать в чертей гвозди». Когда гвозди в чертей были вбиты, созывались друзья – смотреть новое произведение искусства. Приходил Семен Кирсанов, сбитостью, энергичностью, малым ростом напоминавший внешне самого Павлика; приходил Нагибин со своей тогдашней женой Беллой Ахмадуллиной, Матусовские с дочками.

– Павлик! Павличек! – звала Зоя.

И сверху, со второго этажа, стучали по ступенькам шаги, и Павел Григорьевич, лысый, с трубкой из-под щеточки седых усов, но вечный Павлик, вечный ребенок, со своими сверкающими черными живыми глазами воцарялся за столом и перекрывал голоса гостей своим хриловатым, напористым голосом. Казалось, что темперамент, кипучесть, стремительность пенятся в нем и перехлестывают через край. Когда он, раскатывая голос на рококующих звуках, читал:

...Зеленый, и красный, и желтый, и синий,
Как будто возникший в глазах дикаря,
Корабль трехмачтовый в сырой парусине
Из памяти выкорчевал якоря.

За ним! За несбыточным! Но за семижды
Обещанным! Только взглядеться — и в путь!
Былая удача, меня осенишь ты
Когда бы там ни было, что там ни будь,

Пусть горе ударами медного гонга
Уже окровавило сердце мое,
Но дело художника — вечная гонка,
Чеканка и ковка, резьба и литье —

он словно рвался ввысь, как детский летучий воздушный шар, и невольно хотелось смотреть куда-то вверх, хотя он был маленького роста. В его стихах нет тяжелой приземленности быта, даже трагизм в них повернут своей яркой, романтической стороной.

На стихи Антокольского нередко писались дружеские пародии, в том числе и моим отцом. Павлик никогда не обижался. Его стихи со своим кипящим внутренним содержанием всегда оставались Поэзией Павла Антокольского.

Мария Синельникова рассказывает

К концу восьмидесятых, когда уже не было в живых ни Зои, ни Павлика, и в доме в Большом Левшинском почти уже не осталось никого из первого поколения вахтанговцев, последняя из его учениц, народная артистка РСФСР Мария Давыдовна Синельникова, звонила мне время от времени:

— Зайди ко мне! Я сегодня рылась в бумагах... Я нашла одну фотографию... Тебе будет интересно. Зайди! Я совсем одна!

Ей тогда было уже далеко за восемьдесят, но к ней до конца ее жизни — а умерла она в возрасте девяноста четырех лет, в девяноста третьем году — не подходило слово «старуха», а уж тем более «старушка». Яркие черные глаза, прямая осанка. Все еще играла в спектаклях, этим держалась. А чем еще? Единственная дочь Катя умерла, внук жил отдельно.

...Бюро и секретеры, инкрустированные бронзой, кресла с

изогнутыми в виде гусиных шей подлокотниками — мебель куплена в конце двадцатых годов по дешевке: бывшим владельцам негде было держать ее на «уплотненной» жилплощади, и они продавали ее за гроши. В нашем доме у многих — и у нас, и у Антокольских в том числе — квартиры обставлены подобной мебелью.

Но как печален дом со всей этой роскошью, если из него ушли молодые и осталась только она, эта величественная старая дама, хранящая драгоценные воспоминания, которые ей хочется передать хоть кому-нибудь!

Фотографии на стене — актриса в разных ролях в разные годы. Катины фотографии — на полках, на столике.

Старая, выцветшая, в тонкой металлической рамке — фотография Володи Антокольского.

— Садись. Вот, попробуй кулич. А яйца — это мне в театре подарили, правда, какой нежный цвет? Я люблю пасху, красивый праздник, правда?

... Она рассматривает через большую лупу фотографии, которые достает из разошедшейся, темного дерева шкатулки.

— А я тут сижу и... погружаюсь. Вот, посмотри, это я в роли Марион Делорм... А это я — в фильме «Поколение победителей» с Борисом Щукиным... А вот это... Вот она! Я как раз ее и хотела тебе показать. Такой ни у кого нет. Узнаешь? Павлик Антокольский, двадцатый год. Год моего поступления в студию Вахтангова. Я из Харькова тогда приехала. У нас там была своя театральная студия. И Вахтангова я в первый раз увидела в Харькове. Художественный театр приехал на гастроли, привез «Сверчок на печи». Евгений Багратионович изумительно играл Текльтона... На следующий день после спектакля я и еще два студийца пришли к Вахтангову в гостиницу и попросили, чтобы он провел у нас несколько занятий. И он согласился. А потом, когда театр уезжал, он мне сказал: приезжайте в Москву, к нам.

И вот я приехала держать экзамен. Волнуюсь — страшно. Всё как сквозь туман. И только одни глаза — черные, необыкновенные, горящие — были мне как спасительный маяк. Глаза Павлика Антокольского. Он сидел рядом с Евгением Багратионовичем. Я читала Ахматову — «Сжала руки под темной вуалью...», Северянина — «Я так тебя люблю...». Потом меня ок-

ружили Завадский, Захава, еще какие-то молодые люди, я была так счастлива...

А потом — занятия с Вахтанговым... Это было что-то колдовское, мы благоговели перед Евгением Багратионовичем. Это был чистейший, кристальный человек. Как он бережно растил индивидуальность каждого студийца — и актерскую и человеческую...

А Павлик... Он врвался в аскетическую атмосферу нашей студии, как... фейерверк! Фонтан фантазии бил и бил, как будто это не человек, а божество, которому дан такой дар волшебный. Я его первое время стеснялась, ну, во-первых, он был старше на несколько лет, а потом, он был уже в руководстве студии, Вахтангов относился к нему как к равному, советовался с ним.

А вот с Зоей Бажановой мы сразу подружились. Она была прелестная, тоненькая, светлая, как статуэтка, изящная. Уже все знали, что они влюблены друг в друга. Это была зима 21 года. Голод, холод, одевались кто во что, но ведь не этим жили! Нас это не волновало, кто во что одет, а нас волновало, как придумать этюд, чтобы он понравился Евгению Багратионовичу.

...Подожди, я тебе сейчас что-то покажу. Вот. Это — первая книжка стихов Павлика Антокольского. Всё, что у него выходило, он мне дарил. Он мне всю жизнь как брат. Добрый, заботливый брат. Он ведь, несмотря на его вечные устремления поэтические куда-то от мира сего, был добрейшим человеком. И Зоя. Мы во время войны почти одним хозяйством жили. То Варя прибежит одолжить что-нибудь из еды — вечно не хватало еды, то меня зовут к себе обедать. То у них испортились батареи — они ко мне переселяются. Павлик в Катюшиной комнате работал.

Вдруг осенью 42-го прибежал, взволнованный:

— Маша, Вова приехал!

Володя тогда с учений приехал из Алма-Аты и на следующий день уезжал на фронт. А у меня на балконе еще осталось несколько цветочков. Я их сорвала и поставила в рюмочку перед Вовиным прибором. Павлик потом вспоминал эти цветы, когда Вова погиб...

...А это — одна из самых дорогих моих реликвий, осторожно,

После Зои

В жизни, в быту он до семидесяти лет оставался единственным ребенком, Павликом, Павличком. Его миром были поэзия, книги, друзья, Зоя.

Нет, оказалось, сначала Зоя, а потом все остальное. Потому что когда в ночь под новый 1969 год неожиданно умерла Зоя — жена, муза, нянька, защитница, — тут же рухнул весь его привычный мир. Вместо Зои в его жизнь прочно вошла пятидесятилетняя Кипса. Добрая, жизнелюбивая и в своей доброте деспотичная, она по-своему любила отца, но если у Зои был только Павлик, то у дочери были свои дети, внуки, и отцу было решительно отказано в той первой, главной роли, к которой он привык за полвека. Она всё перекроила на свой лад.

Кипучая — отцовская — энергия дочери требовала действия. Красивый, ухоженный дом постепенно превращался в большой сарай, где ворохами лежала детская одежда вперемешку с игрушками, горшками и посудой, на спинках павловских стульев висели мокрые детские колготки, а по перекосившимся старинным гравюрам ползали рыжие тараканы. И, как пчелы по ячейкам, расселилась по комнатам многочисленная семья Кипсы — Андрей с новой женой и детьми, Катя с мужем, их дети, старая бабушка — мать Кипсы, всегда грустный мальчик Денис, сын Милочки, которого Кипса брала на все лето на дачу. Сама Кипса была как царица этого улья, одновременно сердечная и властная, безалаберная и открытая, обладающая вопреки тяжелому нездоровью — она была непомерно толста, слепа на один глаз, у нее был сахарный диабет, полиартрит — редкостным оптимизмом и удивительным, подчиняющим всех, кто ее близко знал, обаянием. Муж давно ее оставил ради другой женщины, а потом трагически погиб, упав или выбросившись в сильном опьянении из окна с высокого этажа.

Дряхлеющему поэту, которому стало трудно подниматься по лестнице в свой кабинет, досталась маленькая комнатка внизу. Там помещались узкая тахта, школьный письменный стол, стул и синяя табуретка. А его бывший, такой продуманно уютный кабинет превратился в склад, где копились разбитые старинные настольные лампы, спинки от резных кресел,

рукописи, трубки, редчайшие книги. Здесь же кучей лежали осиротевшие Зоины Горгоны и Демоны. На их деревянных лицах было написано трагическое предчувствие скорой гибели: семья разрасталась, ей требовалась жилплощадь. Предчувствие их не обманывало: вскоре после смерти Павлика все Зоины скульптуры были сожжены на костре. Остались только те, которые Зоя при жизни успела подарить друзьям. У нас хранятся две: «голова пана» и фигура сказочного лесного зверя.

10 сентября 1978 года

— Я вот зачем тебя позвала, — говорит Кипса. — Я решила сделать выставку своих картин. Здесь, на даче. А что? Будут проходить, приезжать... Пойдем, я тебе покажу!

С помощью двух палок-костылей она ковыляет в бывшую гостиную, где стоят две неубранные тахты и детская кроватка, а резной дубовый стол, за которым когда-то собирались поэты, звучали стихи, поднимались тосты за гостеприимных хозяев, запихнут в угол и завален каким-то бараклом вперемешку с рисунками и огрызками хлеба. Порывшись в этой свалке, Кипса достает альбом и радостно говорит, что задумала серию рисунков про Бабу Ягу. Кипса — детский художник-график. Она показывает мне эскизы — забавные, с юмором, какие-то праздничные, солнечные, — и я горячо их одобряю, не только потому, что они мне нравятся, но и потому, что работать в таком состоянии, да еще в этом бардаке, которым она сама себя окружила, — это в какой-то степени героизм.

— Да! Аня! У меня вчера возникла еще одна идея, я хочу с тобой посоветоваться. Я задумала поделить капитальной стенкой вот эту часть прихожей вместе с папиной комнатой, сделать отдельный вход с улицы, прорубить боковое окно фонариком и, таким образом, у Кати с Мишей и их малышей будет совершенно отдельное помещение. А? Как тебе? Главное, мне очень нравится идея прорубить окно сбоку фонариком.

— А папу куда?

— Ну, к тому времени, я надеюсь... — она выразительно вздыхает и говорит доверительно: — Когда-то же это должно кончиться?.. Я тебе честно скажу, Аня, я от него устала! Ничего не ест, дети его раздражают... Нет, я еще понимаю, когда

вкладываешь силы в молодое поколение. Это — правильно, в этом есть смысл. Но тратить силы на стариков — это все равно, что стараться сохранить прошлогодний снег.

Поэт медленно сникал, потрясенный, обиженный старый ребенок. За годы, что он прожил без Зои, у него еще выходили книжки, он написал поэму «Зоя» — гимн любви подруге своей жизни.

Он обращался к ней, ушедшей:

Прости за то, что я так стар,
Так нищ, и одичал, и сгорблен,
И все же выдержал удар
И не задохся в душной скорби.

Прости за тщетное «прости»,
Оставшееся без ответа
На том пределе, в том пути,
Где нет ни воздуха, ни света.

Он еще порой загорался прежним огнем в обществе друзей и молодых женщин, но после этих вспышек еще больше слабел, и больно было смотреть, как он, шаркая, опираясь на трость, путаясь в полах халата, волочился на кухню ужинать.

Вместе с ним за стол садилась его первая жена, Наталия Николаевна, поселившаяся в доме вместе с дочерью. Она вырастила его детей, воспитала его внуков, дождалась правнуков. Жизнь ее семьи была ее жизнью. Ей просто некуда было деваться, кроме как поселиться в доме бывшего мужа.

Она жалела его. Ей хотелось хоть как-то облегчить его быт. Но он ни о чем ее не просил, а она была горда и боялась показаться навязчивой. Так они и жили, старик и старуха, расставшиеся полвека тому назад и вновь соединившиеся по прихоти судьбы. Встречались за кухонным столом, ели кашу, пили чай из засаленных кружек, а потом молча расходились.

В последнее лето своей жизни, девять лет спустя после смерти Зои, поэт вспыхнул напоследок прежним пламенем в вечер своего восьмидесятилетнего юбилея в Центральном доме литераторов, а потом почти на глазах стал день ото дня тускнеть и гаснуть, как прогоревший уголек. Весь усохший, крохотный в огромном для него махровом халате, он сидел в своей

комнатушке внизу. Отвернувшись от всех, спиной к двери, он сидел целыми днями за столом, охватив пальцами голову и курил, курил, словно желая изолироваться дымом от домашнего хаоса. Тем, кто приоткрывал дверь и заглядывал в комнату, казалось, что он что-то пишет. Но он просто сидел, уставившись в окно пустыми глазами с огромными черными подглазьями. Может быть, он снова уходил в свои Версали, в свою поэзию, это было теперь единственное во всем доме, что принадлежало только ему и на что никто не претендовал.

А может, в мечтательном полубреду он прощался с теми, кого оставлял в земной жизни перед встречей с теми, кто ушел раньше него. Хотя вряд ли он верил во встречу где-то там. Слишком был земным для этого.

Прощай, моё солнце. Прощай, моя совесть.
Прощай, моя молодость, милый сыночек.
Пусть этим прощаньем окончится повесть
О самой глухой из глухих одиночек.

Ты в ней остаешься. Один. Отрешенный
От света и воздуха. В муке последней,
Никем не рассказанный. Не воскрешенный.
На веки веков восемнадцатилетний...

О, как далеки между нами дороги,
Идущие через столетья и через
Прибрежные те травяные отроги,
Где сломанный череп пылится, ощерясь.

Прощай. Поезда не приходят оттуда.
Прощай. Самолеты туда не летают.
Прощай. Никакого не сбудется чуда.
А сны только снятся нам. Снятся и тают...

Он умер в ноябре семьдесят восьмого года. Его похоронили на Востряковском кладбище, рядом с Зоей.

После Павлика

Кипса мечтала – вот он умрет, снимет с нее тяжелый груз своего присутствия, и ей станет легче. Он умер, но легче ей не стало. Недружная семья еще сильнее разъединилась, наступила бедность, потому что Кипса надеялась на какие-то скрытые

денежные запасы поэта, а их не оказалось. Крупные авторские превратились для семьи в двадцать пять процентов, а Кипса привыкла за последние десять лет, что жила с отцом, тратить, не считая. Началась распродажа старинной посуды, книг, севрских статуэток, мебели.

А через два года после его смерти Кипса неожиданно сама умерла от диабетической комы, успев осуществить свою идею с окном-фонариком, но не оставив завещания, что привело к многолетней жестокой тяжбе между ее наследниками за владение дачей и имуществом поэта.

Скорее всего, прямые наследники поэта — внук, внучка и их бабушка Наталия Николаевна — сами тихо-мирно договорились бы о разделе, но, как часто случается — и Чехов замечательно точно показал это в «Трех сестрах» на образе алчной Наташи, — так и тут роль отравленных дрожжей сыграла невестка Кипсы, красивая, хваткая дама, подчинившая своей воле доброго, немножко не от мира сего мужа Андрея.

В нашем поселке дележи наследства после смерти владельца далеко не всегда проходили гладко, но более безобразной тяжбы, чем у наследников Антокольского, — что-то не припомню. Воспаленные, доходящие до бешенства ссоры сотрясали дом, перехлестывали через дачную ограду как мутный поток, на несколько лет став притчей во языцех в поселке. Наталия Николаевна, уже очень старая, пережившая и Павла Григорьевича, и дочь, пыталась примирить стороны, но она и сама поневоле оказалась «стороной», втянутой в юридические дебри. Свою долю наследства она завещала своему старшему правнуку Денису, чем вызвала ярость его мачехи и недовольство родного отца. Они требовали, чтобы старуха переписала завещание в их пользу, а когда поняли, что та тверда в своем решении, — демонстративно перестали с ней общаться.

Хваткая дама приходила на заседания дачного правления и с пеной у рта доказывала, что хозяином дачи по справедливости должен стать ее муж, потому что он — единственный из семьи — старается сохранить достойную память о поэте, работает над литературным архивом деда, публикует о нем статьи, организует в Москве литературные вечера памяти, а недостойная внучка превратила дом поэта в притон, где пьют, колятся и спекулируют иконами. Третий наследник — несовершенно-

летний сын ее мужа от первого брака — вообще ни при чем, потому что всё достанется его матери и отчиму, а с какой это стати?

Напористое стремление энергичной дамы проглотить, ни с кем не делясь весь пирог ни в ком не вызывало симпатии. К тому же, правление такие тяжбы и не решало. Дело было передано в суд.

Внучка поэта Катя и ее муж Миша, оба талантливые художники, не раз пытались избавиться от страшной зависимости, но не смогли. Их содержал, высасывая из молодых художников их талант, предприимчивый торговец поддельными иконами, ставший впоследствии чуть ли не олигархом.

При всем этом Катя ухаживала, как могла и когда могла, за тремя своими детьми, за ослепшей бабушкой, да еще привезла на дачу свою бывшую няню, одинокую старуху, умирающую от рака, и за ней тоже ухаживала. И им всем негде было жить, кроме как на даче, потому что их содержатель отнял у них квартиру, ту самую, номер 38, где жили когда-то Павлик и Зоя.

В конце концов суд решил дело. Дачу поделили между всеми тремя законными наследниками.

Получив свою треть, энергичная дама тут же продала ее писательнице Виктории Токаревой и уехала в Америку с мужем, двумя детьми и литературным архивом поэта. Забавно, что в Америке она стала «специалистом» по творчеству Антокольского. Даже как-то приезжала в Москву с лекциями.

А Катя и Миша погибли, не дожив до тридцати пяти лет. Трех сирот взяла под свою опеку мать Миши, монахиня в миру. Старший теперь монах, средний оформляет церковные интересы, младший служит в приходе у старшего брата.

Наверно, Павлик Антокольский искренне удивился бы, если бы узнал о судьбе своих правнуков.

Виктория Токарева построила на доставшейся ей трети участка кирпичный двухэтажный дом. И Алик Саядянц на своей трети построил дом для своей семьи. Когда-то большой участок теперь перегорожен заборами, отношения между соседями оставляют желать лучшего.

Старый дом, несмотря на пристройки, перестройки и уменьшенный втрое участок, сохранил что-то от прежнего облика. Там теперь живет со своей семьей один из правнуков, Василий, тот, что оформляет церкви. Между нашими участками снова существует невысокий сетчатый забор, и нам по-прежнему видна жизнь соседей. По праздникам съезжаются родные и двоюродные братья со своими родственниками и детьми. К забору подходит симпатичный мальчишка, здороваётся со мной и спрашивает про мою внучку: «А когда ваша Аня придет?» Это — Тихон, один из праправнуков Павла Антокольского.

Господи, как же долго я живу.

Под конец — о судьбе домработницы Вари.

Когда после смерти Зои Константиновны в семье воцарилась Кипса, Варя почувствовала себя лишней и ушла. У нее была своя комната в Денежном переулке — театр ей выхлопотал еще при жизни Павлика. Была пенсия. Могла бы на старости лет наконец-то стать сама себе хозяйкой. Но ей это было не нужно. Она привыкла чувствовать свою необходимость, кого-то любить, к кому-то прислониться, кому-то служить верой и правдой. Нет, не кому-то: она тосковала именно по Зое и Павлику или по таким, как они.

И произошло странное, если не сказать чудесное, совпадение: она нашла таких людей. Это и была та самая ветка, отломившаяся от семьи Антокольских: Милочка Тоом, Алик Саядянц и Денис, правнук поэта, тогда еще школьник.

Удивительно: Алик и Мила не только гармонией своих отношений, многими чертами характера, принадлежностью к творческому слою интеллигенции — они даже внешне были похожи на молодых Зою и Павлика.

И Варя — теперь уже Варвара Васильевна — пришла к ним в коммуналку на Малую Бронную, где они занимали две комнаты, поставила в уголке свою «кочку» и без лишних слов взяла на себя все заботы по дому. Словно всё вернулось в прежние времена, разве что с небольшими поправками: вместо пуделя Дымки — столь же любимая черненькая такса Патти, а вместо Наташи Варя теперь строго воспитывала Дениса.

— Вот, Денис, учись, — наставляла она его уму-разуму. — Видишь, мужики на крыше снег сбрасывают? Это потому что — не ученые. А которые ученые — те на заводе работают!

И все были счастливы.

По-прежнему каждый месяц Варя отправляла в рязанскую деревню своей «Кулине» продукты — две коробки по пять килограммов каждая.

Ничем не хворала. Правда, к концу жизни у нее временами болела голова, но она была твердо уверена, что это от того, что в двадцать четвертом году ее по голове ударило крышкой от сундука.

Умерла она в возрасте девяноста двух лет, всего недельку пролежав на своей койке и оставив по себе самую светлую память у всех, кто ее знал.

«Пока горячо»

Пока мы с Витей работали в Башкирии, папа дал прочитать мои рассказы о Калмыкии нашему соседу по поселку писателю Геннадию Семеновичу Фишу. Человек доброжелательный, активный, дружески расположенный к нашей семье, Геннадий Семенович сам отнес мою рукопись в издательство «Молодая гвардия» со своей рекомендацией. Рукопись дали на рецензию Игорю Виноградову, работавшему тогда в отделе прозы «Нового мира» и подрабатывавшему внутренними рецензиями в книжных издательствах. Виноградов написал положительный отзыв, издательство одобрило рукопись и заключило со мной договор на книжку.

А вскоре Игорь Виноградов мне позвонил и сообщил, что журнал «Новый мир» намеревается опубликовать один из рассказов сборника, а именно — «Любкину свадьбу». Не возражаю ли я?

Еще бы я возражала!

Рассказ «Любкина свадьба» был об одной из самых жалких, забитых работниц нашего сейсмического отряда, о ее начавшейся и грубо оборванной дружбе со старым опустившимся интеллигентом, бывшим полковником. Этот человек, вынужденно принимавший участие в депортации калмыков, был сам

репрессирован и вернулся через много лет доживать в одиночестве в места своего невольного преступления.

С некоторыми сокращениями в целях «проходимости» рассказ опубликовали в двенадцатом номере «Нового мира» за 1965 год. Публикацию заметили, обсуждали. Упомянули о ней по радио «Свобода». Позвонил Григорий Бакланов и очень похвалил рассказ. Позвонили с киностудии, сказали, что хотят экранизировать (потом, правда, отказались).

Месяца через два журнал «Наш современник» напечатал еще один рассказ из Калмыцкой серии — «Костер рябины красной».

В «Московском комсомольце, очень популярной тогда газете, опубликовали детский рассказ «Арбатские переулки».

Позвонили из журнала «Пионер», спросили, нет ли у меня чего-нибудь для их журнала.

Всё это и радовало и пугало. Было чувство, что — вот оно, началось, а я не готова. Не была я создана для успеха, не хватало уверенности, смелости, хваткости. Когда хвалили, мне, как страусу, хотелось спрятать голову в песок. Все время казалось, что я хожу по коньку крыши, один маленький толчок — и покачусь вниз, шмякнусь о землю, и все поймут, что я не более, чем Шалтай-Болтай.

Возможно, главной причиной моей такой неуверенности продолжало оставаться то, что я по-прежнему чувствовала себя приложением к имени моего отца. Хотя ни по жанру, ни по манере мы с отцом не совпадали, но фамилия делала свое дело. При знакомстве с редактором обычным вопросом был: «Вы — дочка Масса?» или даже (с лукавым смехом): «Вы дочка Масса и Червинского?» Из чего следовало, что я въезжаю в литературу на плечах известного папы. И попробуй докажи, что это не так, если я и сама понимала, что это во многом так. Казалось бы — ну и что тут такого? Но меня это угнетало. Я даже думала, не сменить ли фамилию на фамилию мужа. Но мысль завяла, не созрев. Ничего бы я не скрыла, только вызвала бы презрение окружающих: «А-а, ну понятно! Сменила отцовскую еврейскую фамилию на русскую, думает, не догадаются!»

А папа твердил: «Пиши! Пиши! Надо ковать железо, пока горячо! Тогда у тебя будет собственное, независимое литературное имя, а всё остальное приложится!»

Время менялось буквально на глазах. То, что вчера было можно, сегодня стало нельзя. Рассказ «Любкина свадьба» проскочил каким-то чудом. Тучи надвигались на журнал «Новый мир». Уволили заместителей Твардовского – Дементьева и Заркса. Была редакционная статья в «Правде» о том, что «Новый мир» «отстает от жизни». Ждали, что вот-вот снимут Твардовского с поста главного редактора. Умерщвляли единственный левый журнал, источник правды. Снова начали арестовывать за анекдоты и чтение самиздата. Почти у всех, с кем мы общались, было подавленное настроение, ожидание надвигающейся беды, нового 37 года. Шел процесс Синявского и Даниэля, посмевших напечатать свои произведения за границей. Их клеймили в газетах и на собраниях, хотя самих произведений никто не читал. За то, что посмели шагать не в ногу со всеми, дали им лагерный срок – Синявскому семь, а Даниэлю пять лет.

Рассказы и повести, распиханные мною по редакциям, начали ко мне возвращаться с обтекаемыми объяснениями: «Не в профиле журнала», «В данный момент не имеем возможности...»

Почти всё вернулось ко мне обратно. Только книжка еще оставалась в плане, и была слабая надежда, что выйдет через год.

На зиму мы перебрались с дачи в Москву, Андрюшу устроили в районный детский сад.

18 марта 1966 г.

Вчера приходил к нам Толик, сидел весь вечер, много пил и разглагольствовал. Странная с Толиком произошла метаморфоза. Началось с того, что года два назад он вступил в партию. Перед этим долго мялся, оправдывался. Объяснял свое вступление тем, что в партии развелось много подонков и необходимо оздоровить ее ряды такими ребятами, как он. То есть честными, принципиальными, которые будут думать не о своей выгоде, а о справедливости.

Мы с Витей посмеивались. Пожимали плечами. Намерение благое, многие из ныне вступающих рассуждают так же. Это или самообман, или наивность, или просто ложь, за которой скрыт обыкновенный карьеризм. Но Толик – совестливый, честный, порядочный парень... Конечно, наивность. Ну что ж, вступаай, – говорили мы, – хотя вряд ли тут можно что-то оздоровить.

вить. Прогнившую систему не заткнешь такими, как ты, честными, принципиальными...

И вот теперь, два года спустя, Толик превратился в типичного партийного демагога, с апломбом проповедующего то, что велят. Недавно его избрали освобожденным секретарем партийной организации института, где он работает. В его глазах замелькал идейный фанатизм, абсолютная уверенность в непогрешимости своих взглядов, чувство превосходства над нами, беспартийными, да еще позволяющими себе с ним не соглашаться.

— Что ты думаешь о процессе над Синявским и Даниэлем? — спросили мы его.

— Да мало им еще дали! Я бы этих гадов своими руками пристрелил! — ответил он. — Как они смеют так отзываться о русском народе!

— Ишь ты, какой великодержавный шовинист, — сказал Вита. — А по какому праву ты стал бы расстреливать людей, откровенно высказывающих свое мнение?

Толик мутно посмотрел на него и налил себе еще коньяку.

Права у него действительно нет. А дай ему право? Ведь пойдет и расстреляет. Как кто-то, рассуждавший так же, как он, отдал приказ расстрелять его отца.

Раньше мы не замечали у Толика ничего подобного. Может, и раньше было, но не вылезало наружу. А теперь вылезло.

Мы решили не вступать с ним в полемику, а потихоньку отваживать, «спускать на тормозах». Жалко терять друга.

А папа говорил: «Пиши! Все равно пиши!»

Я пыталась, но какое там — пиши. Андрюша в детском саду тут же подхватил ветрянку, вслед за ней — скарлатину. Мама слегла с приступом стенокардии. Потом началась эпидемия гриппа, все по очереди переболели. Юлия Мироновна, соседка с пятого этажа, первое время помогала нам в Москве по хозяйству, но не поладила с мамой и отказалась помогать. Я готовила, стирала, ухаживала за больными. Когда писать? Писательство — это сосредоточенность, углубленность, отрешенность от мелочей быта — то, что создают писателям их писательские жены. А у меня муж уходит утром, приходит вечером, у него горячее время — защита проекта, подготовка к новому полевому сезону. К тому же он всю эту зиму мучился от радикулита, и я

каждый вечер втирала ему в поясницу пчелиный яд, адамов корень, еще какие-то целебные снадобья, следила, чтобы надевал теплое нижнее белье — за всем этим он стал как бы частью меня, такой, как рука или нога. Кажется, и я для него тоже. Я глажу мужу рубашку, пеняю ему, что надевает галстук через голову. Он раздраженно отвечает, что делает и будет делать так, как ему удобнее. Но были же, были те вечера, та незабываемая яичница с помидорами в таежной избушке! А теперь? Куда деваться от осточертевшего быта, от ночного ора телевизора из-за стены, от кухонных дискуссий родителей о преимуществах слабительного чая перед отваром из чернослива. От ежевечерней отупляющей усталости, когда к вечеру уже ничего не хочется, а только повернуться лицом к стене, натянуть на ухо одеяло и провалиться в сон.

Хотя, в сущности, это была нормальная жизнь нормальной советской семьи, и не мне бы жаловаться. По крайней мере, мне не приходилось считать копейки до зарплаты и каждый день давиться в метро и в троллейбусах на работу и с работы. Об этой жизни очень точно рассказала писательница Наталия Баранская в нашумевшей тогда повести «Неделя как неделя». Стой разницей, что героиня Баранской не зависела от настроения своей мамы.

Болезни нас с мамой на какое-то время сплывали, но когда все выздоравливали, то вдруг из-за какой-нибудь ерунды чуть окрепший ледок трескался, и я снова проваливалась в полынью маминого гнева. Трудно было предугадать причину, приходилось все время быть начеку, но всего не предусмотреть. Можно ли было, например, предположить, что громкий скандал разразится из-за двух сырников, недоеденных отцом? Эти бесхозные сырники два дня лежали в холодильнике, и Витя их доел, чтобы не испортились. Но в маминых глазах эти сырники превратились чуть ли не в символ нахлебничества зятя.

— Я специально хранила эти сырники для себя! Я мечтала съесть их сегодня на завтрак! С какой стати он сжирает то, что ему не принадлежит?! Почему мы должны о вас думать, а вы о нас — нет?!

В маме бушевали и просились наружу несыгранные роли властных трагических героинь. Хотя вряд ли Васса Железнова

или Мария Стюарт стали бы поднимать такой шум из-за двух зачерствелых изделий из творога и муки.

— Да приготовлю я тебе свежие, подумаешь!

— Ах, подумаешь! А творог? А сахар? А остальные продукты, которые покупаются между прочим на аш и деньги?!

— Почему только на ваши! Мы же вам даем каждый месяц!

— Эти его жалкие сто с чем-то рублей? Ты что думаешь, эти его деньги играют в нашем хозяйстве хоть какую-то роль? Можете нам ничего не давать! Обойдемся!

В довершение всего я «залетела». И как раз в этот период в журнале «Пионер» опубликовали мой детский рассказ, и еще один рассказ взяли в еженедельник «Литературная Россия». Мне бы радоваться, а меня тошнит, мутит, знобит, и надо срочно решать, что делать. Мы с Витей хотели второго ребенка, но дом в Мытищах все еще строился, а лезть в кабалу к родителям еще неизвестно на сколько...

И вот — сумрачный больничный коридор. Перед белой дверью сидят на клеенчатых кушетках женщины в домашних халатах поверх сорочек и со страхом ждут своей очереди.

Что-то это мне напоминает... Вспомнила: райком ВЛКСМ, прием в комсомол. Похожая белая дверь и мы, группа дрожащих девчонок-восьмиклассниц. Дикий страх, нервная дрожь, паническое ожидание своей очереди, горячая тайная молитва: Господи, хоть бы всё уже позади!

Вот дверь распахивается на обе створки, и санитарка вывозит на каталке ту, что десять-пятнадцать минут назад вошла в операционную, а теперь лежит обессиленная, бледная, с отрешенным взглядом.

— Следующая заходите!

— Ложитесь. Надевайте сами чулки. Марья Петровна, шприц, пожалуйста... Не напрягайтесь. Живот, живот мягче!.. Не больно, не больно, лежите спокойно... Опять живот напрягла. Ослабьте живот, я вам говорю! Ну что это, ведь не девочка уже. Не в первый раз. Что?.. В первый? Ну, все равно. Вот так, легонько... Во-от, молодец. Марья Петровна, расширители подавайте мне... Ну, ти-ихо, тихо, не надо так, вы же интеллигентная женщина. Еще капельку потерпите. Марья Петровна, резервуар чуть-чуть левее, под самый таз ей по-

двиньте, а то кровь мне на халат... Это... Вчера из булочной иду – у нас там по дороге пивной ларек, вечно возле него ханурики пьяные... Нет, не этот, вон тот, потоньше... Смотрю – мой сынуля в очереди стоит за пивом!.. Вы что, недавно рожали? Нет? А что же стенки матки такие тонюсенькие?.. Я его за ухо – и из очереди. А он – в слёзы! «Меня бабушка послала, велела бидон пива купить!» Вы представляете, Марья Петровна? Нет, я свою свекровь, ей-богу, придушу когда-нибудь. Я говорю – иди домой, и чтобы к пьяни этой близко не подходил! Бабушка послала!.. Тампон дайте, Марья Петровна... Пьянчуг развелось – это же кошмар! Ребенка страшно из дома выпускать. На работу иду – это девяти еще нет – они уже на всех углах. С утра пораньше... Иод, Марья Петровна... Ну, вот и всё. Помогите ей перейти на каталку. И нашатырь ей дайте понюхать, а то что-то уж очень поبلеднела.

... Следующая заходите!

Через два дня я вернулась из больницы. Мама встретила меня вопросом:

– Ну, что? Довольна?

Я заперлась в ванной и долго редела.

В этом сезоне Витина партия должна была проводить сейсмические работы в Южном Казахстане, на полуострове Мангышлак. Пугали сорокаградусной жарой, радиоактивностью, ядовитыми змеями, холерой и даже тем, что в районе предстоящих работ расположен лепрозорий.

Как же мне хотелось поехать с Витей к ядовитым змеям, к прокаженным, к черту в зубы, только бы избавиться от давящей зависимости, от постоянного контроля и обидных комментариев, почувствовать себя свободным человеком среди свободных людей!

И вдруг мама сказала:

– Мы с папой посоветовались и решили, что тебе нужно поехать.

– А как же Андрюша?

– А что Андрюша? Андрюша – золотой ребенок. Справимся как-нибудь. Мы с папой считаем, что тебе нужны новые впечатления. Пользуйся, пока мы можем.

Мама всё прекрасно организовала. Нашла подходящую прислугу, которая готовила и убирала. Домработница Нюра

стала няней. В конце апреля родители с Андрюшей переехали на дачу, где друзья-соседи всегда готовы были прийти на помощь. Машина с шофером, врач, свежий воздух...

В мае 1966 года мы с Витей уехали на Мангышлак.

Мангышлак

Шли бурстанки пустынной равниной.
А степь такой же, в сущности, была
И в дни, когда над ней полет орлиный
Вдруг обрывала скифская стрела.

Аланы этой степью шли и гунны.
Вскипали битвы грозные на ней.
Гудела степь под тяжестью чугунной
Разгоряченных, взмыленных коней.

Истлели седла, панцири из кожи,
И каганаты канули в веках,
Но на зубах песок скрипит все тот же
И та же соль на спекшихся губах.

И череда пологих буераков,
И те же, словно призраки, стада
В пространстве возникающих сайгаков
И в дымку утекавших, как вода.

И, полон веры в это постоянство,
Всю жизнь держа в неведомое путь,
Кочевник открывал земли пространства,
А ты явился в недра заглянуть.

На горизонт глядишь из-под руки,
Как будто затаили эти дали
Всё, что сырые те солончаки,
Седой ковыль и ветры навевали.

Виктор Горшков

За стеклами кабины тянется серая, в ромбах трещин, сухая степь. Пора цветения тюльпанов уже закончилась, земля

оголилась, только кое-где торчат остролистные кустарники чертополоха, татарника, полыни. Редкие встречные машины накрывают наш сейсмоавтобус бесшумной завесой жирной, долго не оседающей пыли. Секунду, две, три нечем дышать, ничего не видно, и можно представить себе, что мы не едем, а летим, пробиваясь сквозь облака. Попадаются ковыльные участки – серебристые метелки колышутся под ветром, машина вплывает в них как в волны, а когда выплывает – снова перед глазами извилистая, пробитая колесами дорога, покрытая толстой периной белой пыли, да ажурные пирамиды буровых вышек то близко, то маячат на горизонте.

Стоп, приехали. Автобус с сейсмоаппаратурой, смотка, взрывпункт, бортовая – наш сейсмоотряд. Перед нами – пятидесятиметровая вышка на четырех опорах, на растяжках из железных тросов, раскачивается в такт порывам ветра. Верблюды окружили трубу, из которой льется в железный желоб струя горячей горько-соленой артезианской воды. Вокруг помоста, ведущего к скважине, валяются железные штанги, цистерны, свернутые стальные тросы, ржавые долота – всё, что бросили буровики, закончив бурение. В воздухе стоит крутой запах солярки.

Жара – под сорок. Серое небо сливается с серой степью. Горячий ветер скручивает пыль в смерчевые столбы.

Скважину дали нам на двое суток, чтобы провести вертикально-сейсмическое торпедирование, так называемое ВСП: с помощью зонда определить местоположение залегания подземных пород. Глубина скважины – три с половиной тысячи метров. Стенки отверстия не обсажены трубами, земля вот-вот начнет осыпаться под собственной тяжестью. Надо успеть провести каротаж пока стенки еще крепкие.

Неподалеку – юрта сторожа и овечий загон. Рядом с юртой – неглубокий цементный колодец, плотно закрытый крышкой. Такие колодцы тут называют бассейнами, в них держат привозную пресную воду. Двое мальчишек лет пяти-восьми выскочили из юрты и с любопытством смотрят, как рабочие разгружают и складывают на помост спальники, раскладывают душки, катушки со связью, разматывают кабель, тянут телефонный провод от сейсмостанции к взрывпункту.

Повариха Люся, разбитная крепко сколоченная крашенная блондинка лет тридцати, обживает покинутый буровиками вагончик. Протирает стол и лавки, моет пол. Ей помогает лебедчик Андрей, приносит в ведре горячую соленую воду, прилаживает к плите газовые баллоны, подтаскивает ящики с продуктами и посудой. У Андрея продолговатое одухотворенное лицо ангела с иконы. Не скажешь, что отсидел три года в лагере и всего неделю как освободелся. Возле них крутится большая рыже-белая дворняжка Пальма. Ее с месяц назад подобрали рабочие нашего отряда на одной из брошенных буровых. Подкормили, дали кличку и забрали с собой. С тех пор Пальма всюду ездит с отрядом. Кормилицу свою, Люсю, обожает, а та — ее.

Люся волнуется — опаздывает водовозка, а воды в термосе на весь отряд — три ведра.

Из юрты вышла старая казашка с кувшином в руке. Платье — мешком на высохшей фигуре. Подошла к бассейну, отодвинула крышку, легла на землю перед квадратным отверстием, опустила туда руку с кувшином, зачерпнула. Встала, положила крышку на место и бережно понесла кувшин к юрте.

— Эй, апа! — окликнула ее Люся. — Много воды в бассейне?

Женщина остановилась, подняла к ней голову.

— Мало вода. Люди уехал — вода не завез.

Я поднялась в сейсмоавтобус. Здесь, за этой вот черной байковой шторой, теперь на двое суток — мое рабочее место. Всё в пыли — столы, осциллограф, крутящаяся табуретка, полки, кассеты в черных футлярах, журналы. Пока оператор Генка на помосте помогает рабочим подсоединять прибор, а «Матвейч» уехал на «бобике» в Ералиево, в геологоуправление, что-то там выяснять, я принялась наводить чистоту. С удовольствием погружала руки в ведро с горячей артезианской водой, шмякала тряпку на пол, терла, струйки воды приятно щекотали босые ноги. Аппаратуру протерла сухой тряпкой, а мокрую отжала и расстелила у входа. Скоро придет «Матвейч», придет оператор, наташат грязи, ну, хоть некоторое время пусть будет чисто.

Подошла к кухне:

— Люся, мне ведро воды надо для бачков.

- Из термоса не дам! Бери соленую!
- В соленой нельзя проявлять.
- Из бассейна возьми!

Я подошла к бассейну. Опустила ведро, зачерпнула – ведро скребнуло по дну. Из юрты выглянула давешняя казашка. Молча смотрела, как я достаю воду.

...Вскрываю скальпелем картонные трубочки с проявителем, сыплю серый порошок в бачок с водой. Погружаю руки в раствор фиксажа. Крупные кристаллы растворяются у меня в пальцах, вода становится блаженно холодной, почти ледяной.

В сейсмостанцию поднимается оператор Генка.

– Чего-то Матвейч задерживается. Будем без него начинать, – он поднимает телефонную трубку. – Саша, спусти кабель на сто шестьдесят! Володя, заряд на девяносто! Два детонатора.

В этот момент поднялся ветер, да такой, что кабина сейсмостанции вмиг наполнилась пылью, как дымом. На экране осциллографа заплясали «зайцы».

– Отставить, Володя!

Ветер стих так же внезапно, как начался.

– Володя, приготовится! Внимание! Огонь!

Взрыва почти не слышно, он глубоко в скважине. Только на экране осциллографа метнулись линии. Шуршит бумага, наматываясь на барабан кассеты. Генка дает мне кассету, и я проявляю ее в своем закутке за черной шторой. Протягиваю мокрую сейсмограмму.

И снова:

– Алло, Володя! Спуск на восемьдесят! Приготовится!

Работа идет медленно, очень мешает ветер, Генка по два раза проверяет действие каждого тумблера. После очередного взрыва проявляю ленту, передаю ее Генке и жадно хватаю ртом чуть менее душный, чем у меня за шторой, воздух станции.

Лент становится все больше, они висят на веревке, протянутой под потолком, как сохнувшие полотенца. Глухо бухают взрывы. Гудит мотор, опуская кабель все глубже и глубже в скважину. Тысяча метров... Тысяча восемьдесят... Тысяча сто шестьдесят...

Боялись одного опасного места — там была каверна, могло прихватить зонд, но — прошли благополучно.

— Кушать идите! — раздается от вагончика голос Люси.

Стол вынесли и поставили в тени вагончика. Но столе — толсто нарезанные ломти хлеба, начатая пачка соли, большая кастрюля с супом и полведра дымящегося чая. Вдоль стены на лавке уселись рабочие. Мисок только семь, поэтому едят семеро, а остальные дожидаются своей очереди. Люся самодельным половником — кружкой с привязанной к ней остроу-ганной палочкой — помешивает в кастрюле суп, чтобы гуща не оседала.

Суп идет плохо, зато чай пьем с наслаждением, потев и обжигаясь.

— Была бы у меня капуста свежая и мясо, какие бы я вам щи сварила! — говорит Люся.

— Ты чаю побольше кипяти, — говорит Ахмед, шофер бортовой машины.

— Ага, а вода где? В бассейне одна муть осталась.

Все, как один, посмотрели в ту сторону, откуда должна была появиться водовозка, и на всех лицах появилось выражение такого нетерпеливого ожидания, что невольно всплыли строчки: «...Они лежат и бредят: ну что же он не едет, ну что же он не едет, доктор Айболит?...»

В самом деле, куда девался Рифат со своей водовозкой? Заблудился? Отказал старый, изношенный мотор? Да что угодно может случиться в степи.

Тоненькая девушка в красной косынке вышла из юрты, подошла к овечьему загону, выпустила овец и погнала их к железному желобу с горькой артезианской водой.

Мужики все, как один, перестали пить чай и уставились на девушку. Ей на вид было лет семнадцать. Смугло румяная, с тонко вырезанными ноздрями и гордым выражением крупного рта, она была очень хороша. На ней было цветастое шелковое платье и плюшевая черная безрукавка. Из-под косынки спускались на спину две тугие черные косы.

— Эй, красавица! — окликнул Ахмед. — Иди к нам!

Она быстро взглянула на него и ничего не ответила.

— Чего молчишь? По-русски понимаешь?

Она снова промолчала. Гикнула на овец, хлопнула в ладоши и побежала вслед за ними, быстро перебирая босыми ногами.

— Ишь ты, босиком не боится! — сказал Андрей. — А если на скорпиона наступит или на фалангу?

— Скорпионы и фаланги овечьего духа не выносят, — объяснил Ахмед. — Там, где овцы, там их не бывает. Заметил, ка-захи всегда овец возле юрты держат?

— Нет, не обращал внимания.

Волоча за собой хвост пыли, подъехал «бобик». Озабоченный «Матвейч», не подходя к обедающим, окликнул Генку, и они вдвоем скрылись в сейсмостанции. Вслед за «Матвейчем» из машины неторопливо вылез пожилой кряжистый казах в ватной ушанке. Под блеклым шелковым халатом, перепоясанным веревкой, угадывалось плотное, крепкое тело. Вытащил из кабины набитый чем-то мешок, издали молча кивнул сидящим и скрылся в юрте.

— Хозяин приехал! — насмешливо бросила ему вслед Люся.

— Парни, кончайте отдыхать! — крикнул из сейсмостанции «Матвейч». — Давайте работать, а то не уложимся.

Снова я в своей темнице за байковой шторой проявляю одну за другой сейсмограммы, обливаюсь потом и стараюсь пореже прикладываться к пластмассовой фляжке с теплой как суп водой.

— Горохова в управлении встретил, — голос «Матвейча». — Злой как черт: в скважине полно газа оказалось, а у них кабель в резиновой изоляции. Прибор — к черту.

Голос Генки:

— Тут тоже загазовано. Хорошо, у нас в металлической изоляции, а то бы и наш накрылся. В шестьдесят четвертом в партии Крылова при мне было: резина как пошла набухать пузырями. Вытащили кабель, а он весь зеленый от газа, пузыри лопаются, звук — как из пистолета. Страшное дело!.. Погляди-ка, Матвейч, вроде увязывается нормально?

— Ну-ка, прибавь усиление. Подними еще на восемьдесят. ...Не замечаю, как летит время. Может быть, уже вечер?

— Отдохни, — говорит мне «Матвейч». — Мы сейчас будем поднимать зонд, присоединять новый — это часа полтора займет.

Спрыгиваю со ступеньки сейсмостанции и слепну от яркого солнца. Стою несколько минут, зажмурившись, потом иду к артезиану, мою руки, лицо, подставляю голову под горячую струю.

– Иди, чайку попей! – зовет меня Люся.

От горячего чая жажда на некоторое время отступает.

Двое шоферов неподалеку разожгли костерок из расколотого на дощечки ящика и варят чефир в котелке.

– Аннушка, я тебя чего попросить хочу.. – тихо, чтобы не услышали шоферы, говорит Люся. – Ты утром ребятам вместо меня завтрак приготовь, ладно? А то я сегодня ночью Андруше обещалася. Так жалко его! Три года без женщины. Только утром, тогда уж рано не поднимуся. Уважишь, а?

– Конечно, Люся! Что приготовить-то?

– Ты им рису отвари с тушенкой, ну, и чаю скипяти вот эти полведра. А вон те полведра, за плитой, – это НЗ, не трогай. Это последняя, еле наскребла в бассейне. Спасибо тебе! А уж я в долгу не остануся, случ-чего и я тебя прикрою.

– Эй, бабай! – окликают шоферы вышедшего из юрты казах. – Присоединяйся!

Казах подходит, садится на корточки возле костерка. Долговязый Федя, тоже из бывших зеков, разливает по кружкам черную жидкость, протягивает кружку старику. Тот с достоинством ее принимает.

– Красивая у тебя дочка, бабай! – говорит Ахмед.

– Это не дочка. Жена.

– Жена?! Врешь! Сколько же ей лет?

– Девятнадцать.

– А тебе?

– Пятьдесят шесть.

– А та, старая, кто же?

– Тоже жена. Она не старая. Двадцать восемь лет. Старая померла. Четверо детей родила. В Ералиево живут.

– Да зачем тебе столько жен? Ты ж старик! Небось, с одной-то не справишься.

– Хозяйство большое – большой семья надо. Две жены – не много. Мой отец пять жен имел. За хорошую жену большой калым платить надо.

– И сколько же ты, к примеру, за эту красивую заплатил?

— Шесть верблюдов, сорок овец отдал. Два ковра. Денег полторы тысячи.

— Ты бы в Россию ехал, — посоветовала Люся. — Там бы женился бесплатно и сюда привез.

Бабай покачал головой.

— Русская так жить не будет. Русская — свободная, подчиняться не будет. Нашу женщину с детства воспитывают, чтобы слушалась отца, а потом мужа.

— Чудно! — удивился Федя. — А как закон на это дело смотрит?

— Какой закон?

— Ну, жен покупать.

Старик помолчал, оглаживая редкую рыжеватую бороду.

— У нас свой закон, — сказал он, кинув на Федю недобрый взгляд. — Эта земля до вашей власти русских не знала. У моего отца двести верблюдов было. Если бы не ваша власть, у меня бы четыреста было.

— Ну, ты и тип! — возмутилась Люся. — Да что бы ты делал без советской власти!..

— Э! — обернулся к ней Ахмед. — Ты откуда взялась, такая советская?

— Оттуда! Я комсомольским секретарем на рыбкомбинате два года работала!

— Иди ты! А я думал, ты больше по этой части.

— По какой?

— По этой самой.

— Я вот тебя половником по этой самой части! — обиделась Люся.

Стемнело. На сегодня мои обязанности закончились. Генка ушел спать к рабочим на помост, а у меня хватило сил навести порядок в сейсмостанции, еще раз вымыть пол, расстелить спальники — один на полу, другой — на узкой откидной лавке. Потом мы с Люсей, загораживая друг друга, по очереди долго мылись с головы до ног под горячей струей артезиана.

— Прямо на десять лет помолодела! — сказала Люся, натягивая сарафан на голое тело. — Ну, теперь держися, Андрюша!

Перед тем как лечь, я поставила будильник на пять утра. Этот круглый маленький будильник с зелеными стрелками и

летающим голубем на циферблате мы с Витей купили на Арбате перед отъездом, и он ездит с нами от скважины к скважине. Под его деликатное тиканье я заснула. Сквозь сон слышала, как Витя осторожно, чтобы не разбудить, укладывается на пол поверх своего спальника. Я опустила вниз руку и погладила его по небритой щеке, а он поцеловал мою руку.

Закончили работу на следующий день к обеду. Сияющая Люся с победоносным видом водрузила на стол свой НЗ – последние полведра горячего чая. Потаенно счастливый Андрей разливал чай по кружкам.

Поднимали из скважины приборы, сматывали кабель, грузили на машины оборудование, спальники, раскладушки. Я тоже уложила свое немудреное хозяйство, вымыла бачки и ушла в степь поразмяться.

... Как хорошо, никуда не торопясь, идти по твердой, в трещинах, серой земляной корке, поросшей седыми колючками, поглядывая под ноги, чтобы не наступить на скорпиона, фалангу или притаившегося в паутине каракурта. Усталость растворяется, дыхание становится легким и глубоким. Уже человеческие суетливые фигурки у буровой кажутся маленькими, и только сама буровая возвышается над степью спокойным гигантом.

Ах, вот почему так хорошо дышится: ветер стих. Вечереющее небо все так же безоблачно, но солнце уже не давит зноем. Полосатая ящерица-хамелеон выскакивает из-под ног и скрывается в трещине. Навозный жук-скарабей катит шар так целеустремленно, что я невольно уступаю ему дорогу. Он кажется мне крохотным человечком, одним из семи гномов, возвращающимся после работы в свой домик, где Белоснежка уже перемыла посуду, сварила кашу и ждет всех к ужину.

В колеях, пробитых колесами машин, лежит пыль, белая, как пудра, и в этой пыли четко отпечатываются следы сусличьих лапок, совсем крохотных лапок ящериц и больших двухпалых верблюжьих копыт. А сами верблюды – медлительные, тяжеловесно грациозные, с надменными мордами на гордых шеях – пасутся неподалеку, и им нет до нас, пришельцев, никакого дела.

Пока я гуляла, у скважины разразился скандал. Я подоспела к тому моменту, когда рабочие и разъяренная Люся окружили бабая и угрожающе махали перед ним кулаками.

Причиной оказалась Пальма. Собака забежала в овечий загон и принялась хватать за ноги овец. Бабай огрел ее арапником, да так, что собака, визжа, кубарем выкатилась из загона. На визг собаки примчалась Люся, за ней Андрей, за ними другие рабочие. Сквозь густой трехэтажный мат можно было вычленить отдельные фразы, выражающие смысл происшедшего.

– Ты какое имеешь право нашу собаку бить?! – разорялась Люся.

– Собака должна сторожить овец! – отвечал бабай. – Если собака овцу грызет – она все равно что бешеная. Такой собака пристрелить надо!

– Это тебя надо пристрелить, басмач недорезанный! – орала Люся. – Небось, за колхозную овцу не стал бы собаку бить, а за свою человека удавишь! Частник!

В ответ бабай обозвал Люсю «бияльдю». Андрей, обидевшись за любимую, схватил старика за грудки, но тот умелым приемом легко заломил руку Андрея за спину, так, что тот согнулся от боли. У бабая только лицо было старое, а телом он был гладок и мускулист, и слово «старик» никак ему не подходило.

– наших бьют! – заорал Федя и бросился на защиту Андрея. Кто-то оттаскивает в сторону разъяренную Люсю, Пальма с лаем бросается в кучу-малу.

За спинами дерущихся собралось всё бабаево семейство. Мальчишки швыряют комья земли в обидчиков отца.

Бабай вырвался, запахнул разорванный халат, отступил на шаг и смачно плюнул в сторону обидчиков.

– Ах, ты так!..

На него снова набросились.

– Парни! Да вы что? Прекратите! – кинулся в гущу драки «Матвейч».

С него тут же сшибли очки.

– Сто-ой! – закричал он. – Очки свалились.

Почему-то от этих слов все разом отрезвели и зашарили глазами по земле.

Федя наклонился, поднял очки и подал «Матвейчу», держа

их двумя пальцами как пойманную лягушку за лапку. Кто-то заржал, за ним остальные. На этом драка закончилась.

Бабай полыхнул в нашу сторону презрительным взглядом, взял на руки младшего сына, и всё семейство скрылось в юрте.

Все молчали.

В наступившей тишине слышался только слабый гудящий звук, похожий на жужжание большого летящего жука.

— Никак, машина, — произнес кто-то.

Звук приближался, и уже стало видно, как светит фарами и пылит водовозка.

... Рифат спрыгнул с подножки.

— Позже не мог приехать?

— Скажите спасибо, что вообще приехал! Фахрутдинов заболел, мне вместо него велели на Жетыбайскую скважину возить воду.

— Ага! А мы тут хоть издохни!

— Так я ж и так почти сутки сэкономил! А что, закончили уже? Чего ж я зря пятьдесят километров пёр?

— Не зря, — сказал Федя.

— ... Еще чуток! Стоп!

Володя, взрывник, сел верхом на бойлер и передал шланг Андрею. Тот опустил конец шланга в бассейн. Толстая струя с плеском ударила в дно.

Звук льющейся струи становится гуще, плотнее. Квадрат воды все выше, белая от напора струя с рокотом врзается в темную расступающуюся поверхность, пенится, пузырится, вздымает над бассейном холодные брызги.

Из юрты вышел бабай. Темное лицо его оставалось непроницаемым. Постоял и снова ушел в юрту.

Андрей поднял шланг и передал его на водовозку. И плотно прикрыл крышкой доверху наполненный бассейн.

Ночная прохладная степь хороша. Мерцают огоньки ближних и дальних буровых. Газовые факелы, днем невидимые из-за ослепительного солнца, сейчас полыхают и полощутся алыми языками. Впереди темнеет корпус водовозки. Под фарами сейсмоавтобуса волшебным клубится пыль. Я вижу спокойные, твердо сжатые губы сидящего рядом Вити.

Поворот, крутой спуск, и вот уже под звездами возникают контуры машин и строений. База. Там, в пяти минутах ходьбы от моря, в длинном, низком, неказистом строении, поделенном на тесные комнатки-кельи, среди других — наш с ним незатейливый, счастливый семейный кров.

Поселок, 1967 год, зима

Вернувшись в октябре с Мангышлака, я поселилась с Андрюшей на даче. Нюра уехала к сестре в Калугу, родители решили пожить эту зиму в Москве. Витя приехал с Мангышлака только в середине декабря и часто навещать нас не мог — был завален работой. Родители приезжали на дачу в пятницу, оставались до понедельника и иногда отпускали меня в Москву с ночевкой.

Зима была ранняя, снежная. После белизны, тишины и безлюдья так здорово было очутиться в озаренном огнями городе, в предвкушении беззаботного вечера, пойти с мужем в театр, побродить в толпе прохожих по вечернему Арбату, а потом вернуться в квартиру, принять ванну с бадусаном и отключить телефон.

А на следующий день вернуться в свое Берендеево царство.

Утро. Дача. Звенит будильник, и сейчас же, как распрямившаяся пружинка, вскакивает в своей кровати Андрюша. Ему три года. Он в синей с красными маленькими «буратинами» пижамке, рукава и штанишки подвернуты. Он готов начать день. Перекидывает ногу через деревянную решетку кровати, лезет в мою постель. Начинается сложный процесс одевания с криками: «Я сам!», с воплями: «Никак! Помоги мне!»

В восемь часов мы выходим из дому. Мороз — градусов двадцать. Усаживаю Андрюшу на санки, на свою расстеленную старую меховую шубу, укутываю, подтыкаю со всех сторон и везу в детский сад.

Вдоль Центральной аллеи тускло светят фонари на деревянных столбах. После ночного снегопада дорога — сплошной девственный сугроб. С трудом тащу санки. За спиной едва видны зигзагообразные следы полозьев и глубокие следы моих валенок, а впереди — нетронутая белизна. Согнутые дугой

березы, могучие прямые ели, белые двускатные крыши за деревянными низкими заборами — всё в рябой дымке падающего снега. Ушанка сползает на лоб, жарко. Часто останавливаюсь, чтобы ответить на бесчисленные Андрюшины: почему падает снег? Что означает «кар» на вороньем языке? Почему согнулась береза?

Мы пересекаем липовый парк, где дорожки радиусами сходятся к центральному кругу с пустым постаментом посредине, спускаемся к мосту через замерзшую Десну, затем пологий подъем — и вот он, деревянный финский дом в глубине большого участка. Среди сосен — покрытые снегом качели, лавочки, домики, деревянный корабль и даже космическая ракета. Стайка санок у крыльца. Мы поднимаемся по обледенелым ступенькам на веранду, отряхиваемся от снега, открываем плотную дверь и попадаем в теплое, светлое помещение раздевалки. На каждом шкафчике для одежды своя картинка. На Андрюшином — мячик. В большой игровой комнате на заваленном игрушками ковре возятся, ползают, скачут дети. Топится, потрескивая, печь. Пахнет свежей сдобой. Молодая воспитательница Зинаида Никитична и пожилая няня Тамара накрывают столики к завтраку.

Андрюша, едва махнув мне рукой, тут же растворяется в детской компании — здесь он свой, ему тут хорошо.

А я медленно возвращаюсь на дачу.

Подбрасываю в котел уголь. С чашкой кофе поднимаюсь на второй этаж, в отцовский кабинет. Тут — наискось от окна — большой письменный стол, тахта в неглубокой нише, стеллаж с книгами и папины картины на стене. За окном, наполовину покрытом узорной наледью, уже рассвело, снег продолжает падать на неподвижные ветки деревьев.

Сажусь за стол, зажигаю лампу, открываю папку со своей рукописью, кладу перед собой чистые листки бумаги, оттачиваю карандаш...

Эти минуты перед началом работы — самые наполненные, самые главные минуты дня. Я волнуюсь, предвкушаю, отодвигаю посторонние мысли, сосредотачиваюсь.

И на несколько часов для меня не существует ничего, кроме листа бумаги, на котором — откуда они берутся? — возникают слова, которых как будто и не было во мне.

За ту зиму я написала шесть рассказов о Мангышлаке, которые через год (срок для тех времен недолгий) были напечатаны в Ленинградском журнале «Звезда», а еще через несколько лет вышли отдельной книжкой под названием «Деревянный тюлень».

После работы я иду на лыжах по любимому маршруту — по лесной просеке — к просторному полю, окаймленному лесом. Какая красота и какое безлюдье! Не нужны никакие спутники, потому что я не одна, а со своими литературными персонажами. Вдруг завяжется диалог, мелькнет поворот сюжета, фраза, вырисуется ситуация...

Возвращаюсь в дом, подкидываю еще полведра угля в котел, готовлю какую-то еду и иду за Андрюшей. Половина пятого. Уже на аллее снова горят фонари, и на снегу чернеют тени от еловых лап.

Вечером мы с Андрюшей строим дворец из кубиков, ловим картонных рыбок на магнитный крючок, а чаще — забираемся в кресло, и я читаю ему книжки — он внимательно слушает, комментирует, задает вопросы.

Я словно открываю для себя собственного сына — вдумчивого, рассудительного, доброго, медлительно и упорно постигающего сложные явления жизни. В свои три года он — интересная, глубокая личность, и это — надо честно признаться — заслуга бабушки и дедушки, это они вкладывают в него всю свою любовь, формируют характер, пока мы, родители, отсутствуем по полгода. Это благодаря им я могу сейчас спокойно работать на построенной ими даче.

Той зимой 67-го вышла моя первая книжка — «Жестокое солнце».

Смотрю на нее и не насмотрюсь: моя книжка! С картинками, с портретом автора! Валяюсь на диване, щупаю, листаю, глажу страницы.

Друзья поздравляют. В «Новом мире» — хвалебный отзыв Игоря Виноградова. Письма от читателей. Звонки от друзей. Но самая большая радость — письмо от Зиновия Шварца. Его мнения я очень ждала и боялась. Среди моих знакомых, пожалуй, не было человека, чье мнение было бы для меня так важ-

но. Потому что это он, Зиновий, толкнул меня в свободное плавание, в ту увлекательную жизнь, которая и привела меня к этой книжке. Прошло уже шесть лет с тех пор как я уехала из Бакуриани и, кажется, многое случилось в моей жизни, но Зиновий — не побоюсь высоких слов — остался для меня идеалом, примером настоящего интеллигента.

«Прочитал вашу книгу и получил большое удовольствие, — писал Зиновий. — Атмосфера экспедиции передана точно, герои симпатичны, и чувство у меня к ним очень теплое. Не рассматривайте это как комплимент — книга мне действительно нравится...»

Зиновий сообщал, что теперь он женат (на той самой Ане, которую ждал столько лет), воспитывает дочь. Приглашал в гости, в городок Обнинск, куда он переехал из Бакуриани.

«Городок симпатичный, окрестности чудесные. От Москвы сто километров, с Киевского вокзала, полтора-два часа на электричке. И я, и жена будем всерьез рады, если приедете. Не теряю надежды встретиться...»

Не поехала. Ни тогда, ни позже. Может быть, побоялась, что в кругу семьи, в обстановке обычной квартиры образ потускнеет, лишится созданного мною ореола. Глупо. Так больше и не встретились.

Берендеева зима на даче сменилась Московской суетной весной с беготней по редакциям: из одних мне возвращали мои рассказы, в другие я их относила. Отдала в подростковую редакцию издательства «Молодая гвардия» рукопись, куда вошли повесть о детстве «Разноцветные черепки» и с десяток детских рассказов. Вроде бы одобрили и даже поставили в план издания на 1969 год, но я уж знала, что если не тормозить редактора, периодически не звонить, не заходить, не напоминать о себе, рукопись запросто могла выпасть из плана. В общем, по выражению папы — я «ковала железо, пока горячо».

И вдруг Вите с еще несколькими специалистами из ВНИИ-Геофизики, где он теперь работал, предложили поехать по контракту в Восточную Германию на три года. Советским геофизикам доверили отыскать нефть и газ в этой небогатой ресурсами части Европы.

Жалко было прерывать начавшееся литературное барактанье. Но не расставаться же с мужем на три года. К тому же я ждала второго ребенка, так что литературные дела все равно пришлось бы на какое-то время отложить. А рожать — по слухам — в Германии лучше, чем у нас.

Поэтому, взяв четырехлетнего Андрюшу, летом 1968 года я отправилась в братскую демократическую границу, где уехавший раньше нас на три месяца Витя нас с нетерпением ждал.

Восточная Германия

Семьям советских геофизиков предоставили полностью обставленные просторные квартиры в двух подъездах новенького четырехэтажного дома в городке Хенниксдорфе, недалеко от Восточного Берлина.

Почти все жены специалистов у себя на родине обитали в коммуналках или тесных хрущевках, вместе со свекровями и прочими родственниками, и теперь просто балдели от неожиданно свалившегося на них западного комфорта, обилия продуктов и промтоваров, отсутствия очередей, от чистоты мостовых, отсутствия пьяных, вежливости окружающих, которую многие из нас простодушно принимали за дружелюбие. В этом спокойном, благоустроенном западном мире мы, советские жены, первое время выглядели испуганными и голодными туземками, перенесенными каким-то волшебством в цивилизованное общество. Ходили стадом с открытыми ртами. Привыкшие к пустым полкам наших магазинов, закупали колбасу килограммами, варили ведрами холодец из дешевых свиных ножек. Впадали в восторженный шок при виде на глазах нарезаемых розовых свиных отбивных, свежайшего говяжьего фарша, от кружевных бюстгалтеров, замшевых сапожек, элегантных спортивных курток разных фасонов, которые можно было купить без записи и без давки. Начальник нашей партии, Игорь Липовецкий, побывавший по особому разрешению в Западном Берлине, рассказывал, что там всё несравненно богаче и роскошнее, но мы не верили. Куда роскошнее? И зачем — роскошнее?!

Только здесь мы начали осознавать, в каком убожестве

пребывали у себя на родине и как трудно будет снова привыкать к убожеству.

Постепенно мы, однако, успокаивались, старались сдерживать эмоции при виде модных тряпок, не позорить родину, потому что больше всего боялись вызвать гнев тех, кто анонимно контролировал нас всех и, если что, доносил, куда следует. От них, высших начальников, зависело, продлить ли наше счастье или прервать его за какой-нибудь проступок и выслать всей семьей из этого рая, где можно обеспечить свою семью на несколько лет вперед.

В клинике городка Хенниксдорфа осенью 1968 года я родила Максима.

Оказалось, что ребенок в условиях, где есть всё, что нужно новорожденным детям — от удобных и красивых одежек до многообразных молочных, овощных и прочих смесей, — это сплошное удовольствие и радость. И вовсе не требуется ежедневно кипятить вороха пеленок, протирать овощи через ситечко, искать по всем магазинам марлю на подгузники, доставать по знакомству заграничную соску, потому что те, что продаются у нас, можно сразу же выбрасывать на помойку. А главное, никто не стоял над душой, не кричал: «Скорее! Он плачет!» Да он вообще не плакал — причин не было. Только спал или улыбался.

Мои новые подруги, глядя на моего спокойного, румяного бутуза и на молодежь многодетных немцев, тоже начали рожать одна за другой. Поскольку жили мы все в одном доме, получилась дружная, почти семейная колония. Все были молоды — чуть за тридцать. Многие женщины — бывшие геологи. Вместе работали в экспедициях. Было о чем вспомнить. Мы отлично ладили. Коляски и одёжки передавались «по наследству». При необходимости можно было оставить ребенка под присмотр подруги. Установили даже очередность для посещения городского Дома культуры, где раз в неделю нам показывали советские фильмы.

Два наших «русских» подъезда, конечно, сильно отличались от немецких, увы, не в нашу пользу: окна грязноваты, в подъездах сор, одно из стекол подъезда выбито футбольным мячом. Окна немецких квартир, напротив, всегда сияли чистотой, лестничные площадки вымыты с мылом и украшены

цветами. Нам до немецкого совершенства было далеко. Зато мы запросто ходили друг к другу, одалживали деньги, продукты, делились сигаретами — у немцев это было не принято.

Наши мужья работали по так называемой «хаймфартной системе»: восемь-девять дней в поле, три-четыре дня дома, с семьями. В эти дни можно было поехать — по согласованию с начальством — в Восточный Берлин, в Лейпциг на ярмарку, а то и в Дрезден — посетить знаменитую галерею. Но, признаться, не так уж и хотелось тащиться куда-то с маленькими детьми из нашей цитадели. Разве что в Берлинский зоопарк.

С детьми постарше тоже не было проблем: окна квартир смотрели на протянувшуюся вдоль всего дома детскую территорию за низенькой сетчатой оградой. Можно было, не выходя из дома, следить за своими старшими. Чистый песок, качели, горки, дорожки для велосипедов и роликов. Время от времени в наш городок приезжал цирк шапито, и мы дружно ходили с детьми на непритязательные представления. А рядом, почти сразу за домом — лес, где белки спускаются по стволам и берут прямо с ладони семечки. Можно увидеть маленькую лань, спокойно пересекающую тропинку. На берегу озера сидят законопослушные рыбаки с удочками и замеряют линейкой каждую пойманную рыбку. Если она оказывается меньше, чем тринадцать сантиметров, — отпускают обратно в озеро, как положено по инструкции. Представить наших рыбаков, отпускающих на волю некондиционных рыбок, — не хватало воображения.

И — ни соринки вокруг, ни сломанного дерева! Нас, привыкших к разбросанным повсюду пакетам, банкам, битой посуде, выжженным кострищам со следами варварского человеческого пребывания, — это поражало. Что не мешало некоторым «нашим» бросать по привычке фантики от конфет, а то и бутылку из-под пива.

В лесу росли белые и подосиновики. Немцы почему-то их не собирали, предпочитали покупные шампиньоны, а мы собирали корзинами и угощали друг друга грибными супами и пирожками с грибной начинкой. Но в основном — сушили. Это была разумная экономия. Экономия на еде, можно было приобрести еще одни сапоги, ковер, хрустальную вазу, вожделенный сервиз «Мадонна». Поэтому варили щи из крапивы,

консервировали компоты из дармовых яблок, которые хозяева особнячков, не в силах справиться с урожаем, выставляли для желающих в ящиках перед калитками, везли из отпусков гречку, пшенку, суповые пакетики — всё, что можно было достать непортящегося.

Некоторые откладывали на кооперативную квартиру, на машину, это требовало совсем уж жесткой экономии, тут уж было не до сервисов. Знали, что дома накопить на кооперативный взнос или на «жигуля» возможности не представится, а пошлют ли еще раз куда-нибудь за границу — большой вопрос.

Кто-то обнаружил, что в фермерских хозяйствах, расположенных рядом с нашим городком, дешево продается куриный и утиный пух, и у наших женщин началось азартное увлечение под названием — «стебать одеяла». Кто умел, научил других. Пух закупали мешками и шили роскошные стеганые пуховые одеяла и подушки из плотного сатина ярких расцветок. Кто для себя, а кто — для продажи на родине. Располагались прямо на улице перед домом, и проходящие немцы неодобрительно и удивленно косились и обходили стороной русских теток, у всех на виду запихивающих горстями пух в разноцветные мешки. Тетки были все в пуху, и над ними вздымались пуховые облачка.

Скупали недорогой в Германии хрусталь, а приехав домой в отпуск и продав набор хрустальных бокалов или вазу, — окупали поездку.

Мы с Витей одеялами и хрусталем не увлекались, но — что скрывать! — накупленной мною впрок для себя, мужа и детей «импортной» обуви и одежды нам хватило, по меньшей мере, на последующие лет пять жизни в Москве. Кроме того, на Витино имя в банке Зарубежгеологии копились так называемые «чеки», род валюты, по которым можно было дома отовариваться в валютной «Березке». Так что мама, не дающая ей покоя мысль о том, что «зять не обеспечивает», наконец-то потеряла под собой почву.

От свалившейся на нас безбедной жизни мы, женщины, слегка отупели. Русские газеты приходили с опозданием на неделю, радио и телевизор вещали по-немецки, а запас немецких слов почти у всех был разве что для посещения магазинов. Когда в августе 1968-го несколько ночей гремели по мостовым

немецкие танки, приближаясь к чешской границе, а в ночь с 21 на 22 августа советские танки вторглись в Чехословакию, мы, «жены специалистов», беспокоились лишь о том, как бы это событие не отозвалось отрицательно на нашем благополучии. Оно и не отозвалось. Мы успокоились и снова сосредоточились на семейных заботах.

Так, в гулянии с коляской по лесным дорожкам, в общении с Андрюшей, в ожидании мужа на очередной хаймфарт, в трепотне с подругами на тему о том, кто что купил и кто на чем сэкономил, проходили мои дни.

Единственное, что оправдывало это мое, отнюдь не скучное, но и не вполне интеллектуальное существование, давало ему смысл и цель, было вечернее уединение за письменным столом. Когда заканчивался «хаймфарт» и наши мужья отправлялись на свои многодневные поисковые работы, я, уложив пораньше детей, варила себе крепкий кофе, садилась за стол в одной из четырех комнат, приспособленной под кабинет, зажигала ночник, оттачивала карандаш и писала. И снова наступало прекрасное ощущение свободы перед листом бумаги, упругое чувство преодоления. Физическая моя оболочка словно исчезала, душа уносилась в воображаемый мир и там жила, пока не кончалось это чудо. Казалось, прошла минута, а часы показывали два или три ночи. Отсыпалась днем, когда укладывала младшего спать на балконе, а старшего отправляла гулять. И предвкушала, как вечером снова сяду за стол и погружусь в волшебство. Сюжеты окружали меня как первоклассники любимую учительницу, тянули ручки, галдели: меня! Меня! Сюжет зажигался от сюжета, как спичка от спички. Во мне оживало мое отрочество, в котором, оказывается, было много такого, что хотелось вывести из подсознания.

К моему ночному сочинительству подруги относились с уважением. Когда, закончив главку повести или рассказ, я общала им: «Сегодня отдыхаю!» — тут же затевались блины, покупалась вкладчину бутылка, и устраивались вечерние посиделки в честь этого, пусть незначительного, но все же события. И я отводила душу в смачной бабской трепотне.

Книжка «Разноцветные черепки», та, что была в плане на шестьдесят девятый год, вышла зимой семидесятого, и папа прислал мне ее в Германию.

Поселок, 1970 год, лето

Летом мы приезжали на дачу. Витя проводил с нами отпуск, а я с детьми оставалась до сентября.

Максим, спокойный, «образцово-показательный», приученный к налаженному немецкому режиму, приводил родителей в восторг. А уж как они были счастливы снова обрести Андрюшу! И как он был счастлив снова прильнуть к бабушке и дедушке.

Мои прежние дачные друзья пережились, повыходили замуж, обзавелись детьми. У Шуры Червинского — дочка Маша, у Наташи Фиш — Миша, у Инны Ермашовой — Сашка. Наш Андрюша подружился с сыном Севы Россельса.

Повырастали те, кто «в наше время» были мелюзгой, — Леша Кеменов, Митя Симуков, мой племянник Саша Масс. Саша стал красивым, симпатичным парнем, похожим на своего отца, которого не помнил. Закончил ВГИК, операторский. Увы, дальнейшая судьба его не была счастливой: фильмы, которые он снимал, проходили незамеченными, первую жену бросил, вторая сама его бросила и уехала с дочкой в Штаты, с третьей прожил недолго и в сорок семь лет внезапно умер от аневризмы сердца, оставив вдову с маленькой дочкой.

Но тогда, в семидесятом, он был полон юношеских сил и веры в свою счастливую звезду.

Родители потихоньку сдавали, особенно мама: болели ноги, почти не могла ходить, от всего утомлялась. Но старалась держаться, с гордостью показывала гостям наши подарки и приобретения. Отношение ее к зятю совершенно изменилось. Штормовые водовороты ушли в прошлое, сменившись тихим, ласковым шуршанием волн о прибрежные камешки. Больше не было безличных местоимений. Стало: «Витенька» и «мой золотой зять».

Пока я прозябала в своей провинциальной Германии, на родине сквозь застой бурно кипела, аж перехлестывала через край, интересная жизнь. Ходил по рукам журнал «Север», в котором каким-то чудом была напечатана статья Амальрика и опубликована «Улитка на склоне» Стругацких — вещь откровенно антисоветская. Разогнали редакцию, допустившую это безобразие, но только подлили масла в огонь идеологического

противостояния. Да и многое другое в литературе и общественной жизни волновало, пугало, радовало, горячо обсуждалось в узком дружеском кругу.

В атмосфере всеобщего благорасположения приятно было почувствовать себя взрослой дочкой. Хотелось запомнить, впитать эти наши ежевечерние чаепития, разговоры, наше общение с отцом, какое-то, при всей их родственности, сдержанное, даже застенчивое. И было все время немного больно от мысли, что скоро снова расставаться на целый год. Вдруг вернуться — и не застану?

В Москву из-за детей мне особенно было не вырваться, разве только по делу — показаться в редакциях, подарить редакторшам заграничные сувениры, расписать рассказы, написанные в Хенниксдорфе. Меня встречали уже не с тем безразличием, что раньше, у меня вышло две книжки, что давало мне право вступить в Союз писателей.

Этим правом я воспользовалась. Написала заявление о приеме и летом семидесятого года отнесла его в правление Союза, приложив обе книжки и две полагающиеся рекомендации. Рекомендации мне написали Геннадий Семенович Фиш и Виктор Юзefович Драгунский.

Заявление вместе с книжками и рекомендациями приняли и сказали, чтобы я запаслась терпением. Что процесс приема может занять год, а то и два.

Семейный вечер перед отъездом

Десятого августа семидесятого года похоронили Николая Робертовича Эрдмана. Папа плакал на похоронах и всю дорогу до дома.

После поминок, очень немногочисленных, мы не поехали на дачу, а остались в московской квартире. Папа вынимал из письменного стола папки с архивом Эрдмана, разбирал листочки, исписанные четким, каллиграфическим почерком Николая Робертовича, искал вещи, написанные совместно с ним в конце двадцатых, в начале тридцатых годов. Пьески, интермедии, пародии, басни. Многие из них я с детства помнила наизусть.

Папа перечитывал вслух, я сидела, слушала. И мама слуша-

ла, лежа на диване. Андрюша был у Маринки, Максим играл в кубики, не мешал.

И у меня было чувство как в отрочестве, когда вот так же выкраивался час, и папа читал что-нибудь, хранимое в письменном столе, а мы с братом слушали. И мама вот так же лежала на диване в своей любимой позе, подложив ладошки под щеку.

В этот вечер папа читал «Одиссею», озорное пародийное обозрение, написанное для Ленинградского мюзик-холла. Спектакль предварялся вступительным словом помощника режиссера перед закрытым занавесом:

« — Дорогие товарищи! Сейчас вы увидите «Одиссею», популярное обозрение слепца Гомера, автора нашумевшей «Илиады»... Я не вправе скрывать от вас, что некоторые ученые утверждают, что Гомера вообще не было. Нужно сознаться, что Гомера действительно не было. Спрашивается, почему? Потому что в жутких условиях капитализма никакого Гомера, само собой разумеется, быть не могло. Теперь же, товарищи, без сомнения, Гомер будет... Но так как того Гомера, который будет, нету, нам поневоле пришлось поставить того Гомера, которого не было...»

Дальше шли столь же раскованные рассуждения о том, что если бы Гомер был жив, он мог бы лучше других увидеть наши театральные достижения, потому что он был слепой.

« — Без сомнения, каждому из нас известно, что для того, чтобы дать широкому зрителю почувствовать всю гениальность данного произведения, данное произведение надо приблизить к современности, то есть выбросить из данного произведения всё, что в нем было, и привнести в данное произведение всё, чего в нем не было.»

Еще там была анкета, которую Телемак, сын Пенелопы, занудный бюрократ по роли, давал заполнять ее женихам. Там были такие вопросы:

«Здоровы ли вы, и если нет, то чем?»

«Как вы смотрите на женщину: как товарищ на товарища, как самец на самку, как товарищ на самку или как самец на товарища?»

Я всегда до слез хохотала, иногда не понимая смысла, — из благодарности, что меня позвали к взрослым.

И весь этот вечер прошел в двух измерениях. Пили чай за круглым столом — как много лет назад, когда еще ни детей не было, ни мужа. Был брат и сравнительно молодые родители.

Пришел Андрюша. Я вымыла его и Максима в ванне, уложила их спать и себе напустила ванну.

Лежала в ванне и опять вспоминала. Почему-то в детстве вода в ванне была всегда слишком горячая, и я привыкала постепенно: сначала ноги до щиколоток, потом опускалась на колени, медленно погружалась... Было мучительно, до сердцебиения горячо, но я терпела, суеверно загадывая, что если выдержу, то завтра меня не вызовут по геометрии, по физике, по химии...

Часто перед отъездом лихорадочное состояние — не забыть бы чего, телеграмму дать и т.д. А у меня все собрано, и телеграмма Вите дана. Есть время погрузиться в собственные мысли, ощутить себя самой собою. Последние годы это редко со мной бывало. А в тот вечер было как в детстве. И ванна та же, и комната та же, и бронзовая люстра над круглым столом в кабинете. И родители. Но родители — увы! — сегодняшние. Спокойно говорят о скором конце.

«Вот бы увидеть тебя членом Союза, а там...» «Вот бы только успеть привести в порядок квартиру для вас, а там...»

Обсуждаются вопросы ремонта, но за всем этим — «будем ли мы живы к вашему приезду? И если будем, то станем еще немощнее. Еще на год ближе к кладбищу. Уж и так черпаем из директорского фонда...»

Через два дня я была в своей Хенниксдорфской квартире.

Андрюша. Первый класс

В сущности, осенью семидесятого я могла бы и не возвращаться с детьми в Германию, прожить год без мужа, продолжать «ковать железо пока горячо». Но Вите продлили контракт еще на год, и, взвесив все за и против, я решила ехать. Один из доводов — я хотела, чтобы Андрюша поступил в первый класс в Германии. Ему было всего шесть лет, и у нас его

не взяли бы, а в Германии — я узнавала — брали шестилетних. Правда, посмотрев на него, пожилая директорша русской школы городка Шеневальде, где обитал наш военный гарнизон, попыталась меня отговорить:

— Дайте ему еще годик погулять, он еще не созрел.

Но я горячо доказывала, что созрел — читает, считает, рассуждает как взрослый и вообще развит не по годам.

— Дело не в этом, — убеждала директорша. — Может, он и рассуждает, но психологически ему будет трудно в школе. Поверьте моему опыту. Конечно, если вы настаиваете, я его возьму, у нас нехватка детей, но по-дружески — не советую.

Но мне казалось, что я поступаю очень дальновидно: Андрюша закончит школу в шестнадцать лет, у него будет в запасе два года до армии на случай, если сразу не поступит в институт...

И еще была причина: Андрюша до обеда будет в школе, Максима постараюсь отдать в немецкие ясли. И смогу без помех работать всю первую половину дня. А где еще мне так спокойно, без помех будет работать, как не в тихом Хенниксдорфе?

А главное: еще целый год мы с Витей сможем жить отдельно от родителей, своей семьей.

Военный гарнизон городка Шеневальде был километрах в пяти от Хенниксдорфа. Детей с первого по четвертый классы отвозили и привозили на автобусе. Андрюше нравилось в школе — учительница добрая и красивая и зовут красиво — Лилия Александровна. Хвалит его. В классе всего одиннадцать человек. Сразу появились друзья — Сережа и Рафик.

Но через неделю наше руководство решило — всех детей начальных классов, чтобы специально из-за них не гонять лишний автобус, перевести в школу-десятилетку города Ораниенбурга, где живет большинство семей советских специалистов. До Ораниенбурга километров двадцать. Андрюшу укачивало. Он приезжал домой усталый и какой-то подавленный. Говорил, что учительница на них кричит и стучит указкой по столу. А ему сказала, чтобы он не приходил в школу.

— Как это — не приходил в школу?

— Не знаю.

- Ты что, плохо себя вел?
- Нет.
- Может, ты ее не так понял? Как именно она сказала?
- Она сказала: «А ты можешь вообще не приходить в школу!»
- Странно. Завтра с вами поеду и сама у нее спрошу.

Это десятое сентября семидесятого года осталось у меня в памяти как дурной сон.

Длинный, как пенал, душный класс. Первоклассники хлопают крышками парт, собирают учебники, и только Андрюша сидит на задней парте в боковом ряду у стены и, сгорбившись, что-то пишет.

- Иди, Андрюша, погуляй на улице.
- А учительница сказала, что пока я не закончу – не уйду. Хоть до утра буду сидеть.

Всего несколько дней он ездит в эту школу, а вид у него усталый и какой-то затравленный.

- Почему ты такой бледный?
- Я не знаю.
- Вас на переменках-то пускают побегать?
- Меня учительница не выпускает из класса за то, что я не успеваю списать с доски.

Учительница стоит спиной ко мне, роется в стенном шкафу. Делает вид, что меня не видит.

- Здравствуйте, – обращаюсь я к ней.

Она, не торопясь, закрывает шкаф и оборачивается. Ей лет сорок, у нее полное, чуть обрюзгшее лицо с выражением откровенного безразличия. Оторванная на жакете пуговица.

– Как там мой Андрей? – спрашиваю я виноватым почему-то голосом.

– Это какой Андрей? Мне их сорок пять штук навязали, фамилия как?

- Горшков.

И тут на его детскую голову был вылит первый ковш помоев.

– Да что Горшков? Вялый, на уроках не работает, витеет, к доске его вызовешь – это надо пол-урока на него одного потратить, пишет медленно, все уже закончили – этот еще толь-

ко раскачивается, задаю вопрос — он не слышит, в окно смотрит, он у меня в классе самый отсталый!

Я пытаюсь прервать ее, объяснить, что она ошибается, он ничуть не отсталый, а наоборот, развитой, вдумчивый, умный (именно умный, а не смышлёный), любознательный мальчик. К нему надо только найти подход, присмотреться. Он медлительный, это правда, но старается докапываться до сути сложных понятий, с увлечением лепит, рисует, сочиняет сказки. С пяти лет сам читает...

Но разговора не получается. Учительница говорит громко, словно специально адресуясь к сжавшемуся на парте ребенку, а у меня дрожит подбородок, я вот-вот разревусь.

Черт меня дернул отдать его в школу шестилетним! Зачем не послушала умную Шеневальдскую директоршу, не подождала годик! Эгоизм мною двигал — освободиться на полдня от сына, чтобы иметь возможность спокойно посидеть за письменным столом. Вот и сиди, а в это время злая, равнодушная тетка будет кричать, что он самый отсталый в классе. Нет, нельзя оставлять его на съедение этой лахудре с оторванной пуговицей.

Но на все мои доводы — оставить учебу, подождать до следующего года, Андрюша упрямо отвечал: «Нет, я буду учиться! Сережа учится! Рафик учится! И я буду!»

Что делать? Надо искать выход.

Мы с Витей поехали в Шеневальде и попросили, чтобы Андрюшу взяли обратно в их школу, к доброй Лилии Александровне. Директорша и учительница не возражали, готовы были принять его хоть завтра, но дело упиралось в транспорт: пять километров туда и пять обратно, а автобуса не дадут.

Я обратилась со слезной просьбой к нашему начальнику Игорю Липовецкому. Тот подумал и обещал попробовать выхлопотать такси. Но ради одного ребенка, сказал он, такси не дадут. Договорись с тремя мамашами, согласными перевести своих детей обратно в Шеневальдскую школу.

Пока я — с большим трудом — обрабатывала троих мамаш, а Липовецкий пытался договориться насчет такси, мы с Андрюшей каждый день ездили в Шеневальде и обратно на велосипедах. Я на взрослом, он — на подростковом. Чтобы сократить

путь, сворачивали с шоссе и ехали наискосок через поле, потом через лес по тропинке до деревянного гарнизонного забора, где были выломаны доски. Доски выламывали солдаты, которые бегали в самоволку. Начальство об этом знало, но смотрело сквозь пальцы. Мы протаскивали велосипеды через пролом и оказывались на территории военного городка. Мимо марширующих солдат, казармы, столовой и магазина подъезжали к школе. Андрюша заводил свой велосипед в вестибюль, прислонял к стене и бежал в класс, а я возвращалась домой, наспех что-то покупала, готовила — и уже надо было ехать обратно за Андрюшей.

С Максимом, которого мне не удалось устроить в немецкие ясли, оставалась соседка Тамара.

Отдышаться мне удавалось только во время хаймфартов, когда Андрюшу в школу сопровождал Витя.

В октябре похолодало, начались дожди с ветрами, мы надевали плащи с капюшонами, но все равно вымокали за дорогу. А Липовецкому все не удавалось выбить такси. Я падала с ног от усталости. Подруги, да и Витя, уговаривали меня перестать мучиться и мучить ребенка. Пойдет на год позже, без проблем. Подумаешь, год в запасе. Когда это еще будет!

Но меня обуяла решимость: а вот не отступлю! Если уж начала бороться, то до победы. К тому же и сам Андрюша хотел учиться. И мы продолжали ездить в школу на велосипедах в любую погоду.

Наконец, уже в начале ноября, Липовецкий добился — дали такси. Когда в первый раз к нашему дому подъехала легковая машина и Андрюша в компании с двумя мальчиками и одной девочкой занырнули в кабину и с комфортом отправились в школу, — я заплакала от счастья. Победа!

Тамара сама предложила за небольшую плату и дальше брать Максима на первую половину дня: ее сын пятиклассник учился в Ораниенбурге, и до обеда она была свободна. Теперь ничто не мешало мне каждое утро садиться за письменный стол и работать. Я гордилась собой: добилась! Наперекор обстоятельствам!

Никогда не прощу себе этой победы.

В первом классе Андрюшу выручала спокойная обстановка провинциальной школы, добрая учительница, малое количество детей в классе. Но дальше...

Дальше — была Москва, школа в Первом Неопалимовском переулке, двадцать восемь человек в классе, крикливая учительница, ежедневные унижения двойками и колами, угрожающие «Он не успевает», «Он не может» — сколько лет прошло, а до сих пор всё кипит во мне от обиды. Потому что это неправда! Он-то мог, это они, учителя, не могли и не хотели. «Он у вас очень медлительный! Он витает!» — упрекали меня и во втором, и в третьем, и в пятом, и в шестом классе, словно я наградила его дурной болезнью, от которой надо лечиться. Вот и лечили — двойками, колами, угрозами.

Почему я не перевела его в другую школу? Да в какую другую? Они тогда все были на один лад. Может, и существовала с более человечным отношением к детям, но я такой не знала. В этой, по крайней мере, у него были хорошие отношения с одноклассниками.

Я тоже в детстве «витала» и плохо училась, но одно дело — я, а другое — мой ребенок. Какая мука — видеть, что твоего ребенка унижают, что он страдает, а ты ничем не можешь ему помочь. В первых классах ему так хотелось получить пятерку, хоть одну! Ну и сжалились бы, доставили человеку радость! Нет. Даже рисование, даже чтение — всё было двойка. Хамская педагогика, рассчитанная на единственный тип детей — быстрых,мышленных, активных — и подавляющая детей впечатлительных, медлительных, эмоциональных. Потерявший веру в свои силы, сутулый, несчастный — с какой безнадежностью он каждый день шел в школу! А дома, вместо того чтобы готовить уроки, потому что — какой толк? готовь, не готовь — все равно хуже всех, — он изрисовывал клочки бумаги похождениями отважных землян на чужой планете, где властвует злая паучья цивилизация, зачитывался приключенческими книжками, мечтал, сочинял стихи...

К восьмому классу он повзрослел, обрел некоторую уверенность, отметки стали лучше, но все равно все десять лет учебы ему не хватало того самого года детства, который я отняла у него, отдав в школу шестилетним. Принесла его в жертву двум повестям, которые не стоили капли его мучений. И от

армии я его не спасла — отслужил своё после института, в котором не было военной кафедры.

Нет, не мой удел — сопротивляться судьбе. Жизнь сама «везет» меня куда надо. А я не послушалась, пошла наперекор и едва не сломала жизнь сыну.

На этом я хотела закончить главу об Андрюше. Но как тот поэт, что с детства не любил овал, так я с детства не люблю плохих концовок, ни в книжках, ни в жизни. Поэтому нарушу композицию, перепрыгну сразу через несколько десятилетий, в которых много чего было в жизни Андрея. Он врач-физиотерапевт. Давно живет в Польше. Работает в Варшавской клинике. Счастливо женат. У него семнадцатилетний сын, взрослая замужняя дочь, маленький внук. Вот три письма, полученных по электронной почте.

18 марта 2011 г.

...Интересный случай на работе: пришла молодая женщина с частыми мучительными головными болями. Врачи ничего толком в течение двух лет не обнаружили. Я спрашиваю: у вас давно эти боли? — Со времени рождения второго ребенка, то есть уже два года. Да еще осложнение — вылеченный рак шейки матки. Я решаю, что надо как-то связать голову и таз — причина явно там. Обращаю внимание, что грудной отдел позвоночника прямой как гвоздь, а это очень плохо — при ходьбе не происходит амортизации, и это может быть причиной мигрени. Вопрос: почему грудной отдел стал прямым как гвоздь, ведь он у нее сам по себе здоровый и свободно сгибается? Значит, причина ниже — неправильная позиция таза. Начинаю искать причину в мышцах, действующих на таз, и тут же нахожу ответ — напряжение в нижней части живота. Начал делать нейромобилизацию глубоких мышц и нервных центров живота. И помогло!

Такие вот головоломки попадают.

А у вас как дела?

23 май 2011 г.

...Привели тут ко мне 14-летнюю девочку-скрипачку. Поехала с отцом в Альпы на лыжах кататься, и хряп — перелом в районе локтя. А это очень нехорошее место, особенно для скрипачки. Неопытные терапевты часто совершают ошибку — начинают

растягивать, но сустав настолько нежный, что растягивать его ни в коем случае нельзя. Локоть может обездвижиться навсегда. Как в сказке про царевну-лягушку — сжег шкурку, и всё испортил. Вот и здесь: вроде всё нормально, а локоть не разгибается.

Ну, тут никаких чудес не было. Точнее, было обыкновенное чудо — очень кропотливая и долгая работа, миллиметр за миллиметром. Собственно говоря, девочка сама разогнула локоть, а я ей специально не давал, мешал, и она, борясь со мной, постепенно победила. А между делом оказалось, что ее прабабушка была знакома с моим дедушкой — вместе отбывали ссылку в Тобольске.

26 июля 2011 г.

...К каждому пациенту надо еще ключик подобрать. Со скрипачкой я особо не мучился. Она оказалась по натуре работящая и мечтательная. Пребывала в своем улыбающемся и герметичном внутреннем мире и при этом работала как лошадь.

С дедушкой Збышеком было сложнее. Ему восемьдесят пять лет, последние четыре года он мог передвигаться только в кресле на колесах, да и то с трудом. Он был физически и психически согнут болью и почти потерял надежду на достойное выпрямленное существование. Мне он сначала не верил, мнил, что мне на него наплевать, что он мне не нравится. Надо было его хвалить за малейший успех, как маленького ребенка. Когда наступило первое улучшение, с ним стало гораздо легче. Но главное — он ХОТЕЛ встать. У него жена с альцхаймером, и надо ее все время пасти — показывать дорогу в туалет, на кухню. Так-то крепенькая старушка, немногословная и даже не сразу поймешь, что в голове туман.

До нашей клиники дедушке было не добраться, и возил меня к нему его сын, пан Стефан, богатый фермер. Судя по тому, что говорил врач-ортопед, ни на какую особую поправку дедушке рассчитывать не приходилось. Худой, жилистый, хорошие физические данные. Но оказалось, что пучки нервов где-то в районе позвоночника крепко зажаты, как в тисках, и это не дает ему возможности выпрямиться, лишает мышцы энергии. Я начинал с того, что прикладывал к мышцам лёд — это хорошо обезболивало и уменьшало давление на нервы. И после этого мы потихонечку делали растягивающие упражнения. Это действует

на нервные каналы примерно, как щетка трубочиста на засорившуюся трубу. Обычно после упражнений он минут десять ходил прямой и счастливый, а потом его опять скручивало. Он очень переживал, терял надежду. Мрачный пан Стефан заглядывал в комнату, где мы работали, скептически кричал, хмыкал и издавал прочие неоптимистические звуки.

Позже мы начали укреплять мышцы. Выпрямленные периоды удлинялись. Апофеоз наступил месяца через три, когда к нему пришел ортопед и обалдел, когда дедушка Збышек встретил его как бравого солдатик и несколько раз присел на одной ноге.

Вот, на дедушке Збышке я и закончу главу об Андрюше.

Геннадий Фиш

2006-й год. Старая, но еще крепкая, теперь уже бывшая дача Фишей за редким штaketником доживающего свой век деревянного забора, стоит с обморочно пустыми окнами, с взрезанным, как на операционном столе, телом террасы, с полуобрушенной стеной фасада. Гремит бульдозер, грузят обломки на подъезжающие КАМАЗы. Рабочие сгружают доски, кирпич, мешки с цементом. Вокруг того, что еще недавно было крыльчком с тремя ступеньками и черепичной крышей, выкопан и уже залит бетоном фундамент, обозначены контуры громадной пристройки, чуть ли не втрое превышающей размеры старого писательского дома

Последние лет семь Наташа Фиш сдавала дачу каким-то малообщительным молодым супругам. Они поставили на участке навес для своего «джипа», уложили вдоль дорожки от калитки к дому большие декоративные камни на манер альпийских горок, которые не очень-то вязались со спокойным лесным пейзажем участка. Но сам дом сохранял прежний вид, что-то в нем еще оставалось от тех времен, когда там жили прежние владельцы.

Дача приняла хозяев в 1956 году. У Фишей был «малый» проект дома, но и семья небольшая – сам Геннадий Семенович, его жена Татьяна Аркадьевна и дочка Наташа, учившаяся в те годы в МГУ на биофаке. Вскоре Наташа вышла замуж за

физика Юру Гальперина, у них родился сын Миша, но места всем хватало, да еще принимали многочисленных гостей. Участок был, как и у всех первых поселенцев, большой — сорок с лишним соток. В дальнем углу, у забора стояла времянка — мы, молодежь, там иногда собирались, приезжавшие друзья хозяев могли переночевать, а то и пожить. Позже, когда уже не было в живых Геннадия Семеновича, времянку сдавали, чтобы окупить административные платежи. Но наступили новые времена, землю приватизировали, ее можно стало продавать частями. И времянка Фишей стала одной из первых жертв новых торговых отношений. Ее продали вместе с большим куском участка какому-то дельцу. Вернее, продали большой кусок участка, чуть ли не половину, соток двадцать, вместе с оставшейся на проданной земле времянкой. И она, оправдывая свое название, перестала существовать. Новый хозяин построил на ее месте коттедж, но скоро перепродал участок другим хозяевам, побогаче. Те коттедж снесли, и теперь возвышается над кирпичным забором тяжелый фундаментальный дом-дворец из двуцветного кирпича, с гаражом на две машины. Через изредка приоткрытые ворота можно увидеть цветники, туи, дорожки из плит. А был тут когда-то всего лишь кусочек леса с елями и березками, с тропинкой, ведущей от дома к дощатому односкатному домику.

Теперь вот пришла очередь самой дачи. И только сентиментальные старожилы вроде меня, проходя мимо развалин, с грустью вспомнят теплую атмосферу прежнего дома, приглашение куда было всегда маленьким праздником. Летом собирались на террасе, а в прохладные дни — в небольшой гостиной, где за низким продолговатым столиком пили чай из необычных чашек дымчатого стекла, привезенных хозяином то ли из Швеции, то ли из Норвегии, таких из другой жизни, что казалось, их и держать надо по-особому, и подносить к губам, и ставить на блюдце. Интересно, живы ли еще хоть эти чашки.

На стенах висели картины, подаренные Орестом Верейским и моим отцом, на серванте — сувениры из разных стран. А в центре серванта стоял макет плота «Кон-Тики» — подарок самого Тура Хейердала! На полках — книги от друзей с дарственными надписями. Когда у хозяина выходила новая книга, он ее надписывал и тоже дарил друзьям.

Не чай и не конфеты было главным. Угощение тут было особое: приезжал гость, чья крамольная рукопись ходила по рукам, передавали по кругу запрещенную книгу. Хозяева всегда были в курсе самых животрепещущих литературных и общественных событий. Всё активно обсуждалось – перепечатанные на машинке «Крохотки» Солженицына, повесть И. Грековой, первые стихи Бродского, а позже – стенограмма суда над Бродским, тайком записанная на процессе Фридой Вигдоровой, неподцензурные стихи Слуцкого. Передавались (на одну ночь или на несколько дней) роман Оруэлла «1984», изданный на русском языке за границей и тайком пронесенный через нашу таможеню, рукопись Евгении Гинзбург, а однажды за столом присутствовала сама Евгения Гинзбург – и ты испытывала гордость от сознания того, что посвящают тебя в свои дела, причащают к тайным событиям жизни – *такие люди*.

Геннадий Семенович Фиш, плотный, плечистый, ниже среднего роста, с короткой шеей, залысым лбом, большим, чуть приплюснутым носом на удлинённом лице, с яркими светлыми глазами за тяжелыми, усталыми веками, привлекал мужественностью, темпераментом и обаянием, которое стоило красивой внешности. Он умел заигрывать, подхватывать тему, глаза его радовались и удивлялись, и тот, кого он одаривал своим интересом, – невольно раскрывался ему навстречу.

К тому времени, как наши семьи благодаря тесному дачному соседству подружились, ему было немногим за пятьдесят.

Начинал он как поэт и переводчик задолго до войны. В литературу он вошел двумя романами, положительно отмеченными самим Горьким – «Падение Кимас-озера» и «Мы вернемся, Суоми!» о гражданской войне в Финляндии и Карелии, о ненавистных врагах революции, о счастливой колхозной жизни – колоритные, с острым сюжетом, со всеми деталями быта, заслуженно забытые книги в духе самого примитивного социалистического реализма.

Еще был знаменитый довоенный фильм «Девушка с характером» по его сценарию. С Валентиной Серовой в главной роли. Были очерки о Карелии, тоже проникнутые духом совет-

ской идеологии, но яркие, искренние. Он загорался темой, влюблялся в героев своих очерков — и влюблял в них читателя.

Долгое время он был поклонником и пропагандистом Лысенко. Со свойственным ему наивным энтузиазмом увлекся, поверил, писал восторженные очерки о Лысенко. Как та старушка, которая подбросила вязанку хвороста в костер, на котором сжигали Яна Гуса, так и он в 1947 году поучаствовал в казни лучших ученых генетиков. Его вязанкой стала разгромная статья в «Литературной газете» (написанная совместно с Твардовским и Алексеем Сурковым), и клеймо этого поступка наверняка жгло его всю жизнь. А еще в пятидесятые он написал книгу-сказку для подростков, называлась она что-то вроде «Вредная черепашка и теленомус», помню обложку — голубую, с пересекающим ее золотым ветвистым колосом и с портретом Лысенко в верхнем правом углу, в овале. Даже еще в начале шестидесятых он оставался его апологетом. С горящими глазами рассказывал моему отцу о чудо-пшенице по методу Лысенко, о выращивании морозоустойчивых телят в совхозе «Горки Ленинские»: о том, как этих телят сразу после рождения забирали у коровы и помещали в специальные стерильно-чистые холодные ясли, поили из соски, мыли с мылом, разве что колыбельные песни им не пели, а они — вот загадка! — почему-то болели и умирали. И тогда — Геннадий Семенович таинственно понижал голос и становился похож на сказителя народных легенд — *ученые начали наблюдать и сделали гениальное открытие: корова, родив теленка, первым делом облизывает его и незаметно, во время облизывания, вкладывает ему в рот кусочек своей жвачки, в которой — оказывается! — содержится то, что необходимо теленку для иммунитета. И как только ученые это заметили...*

Отец взрывался и кричал, что об этом «гениальном открытии» испокон века знает любой крестьянин, имевший дело с коровой, что Лысенко — мерзавец, что только наивный профан вроде Геннадия может защищать этого монстра. В ответ Геннадий Семенович возражал, что Трофим Денисович своими опытами сделал для науки больше, чем Иван Петрович Павлов, что его заслуги в агрономии и физиологии растений очень велики, что у него был гениальный вариант решения продовольственной проблемы...

— Какие заслуги?! — орал отец. — Это был дремучий невежа, убийца, фанатик! Из-за этого негодяя наша наука потеряла выдающихся ученых и на десятки лет отстала от мировой науки!

Фиш выскакивал из-за стола и уходил, обиженный, но не убежденный. Потом они мирились. Их тянуло друг к другу. Мой отец любил его за отзывчивость, доброту, восхищался его трудоспособностью. Должно быть, Фиш ценил в моем отце те же самые качества. Не исключено, что Геннадий Семенович сам уже сомневался в своей правоте, но как всякому порядочному человеку ему трудно было сжигать то, чему он так долго поклонялся.

До того как стать успешным, состоятельным, слегка расплывшим дачевладельцем, он прошел две войны — финскую и Отечественную. Работал военным корреспондентом на северном фронте. Его имя как фронтового журналиста и писателя приобрело известность. С женой своей, Таней Смоленской, он познакомился на финской — она тоже была журналисткой. Маленькую Танину дочку Наташу удочерил, любил ее как родную, а она — его. Когда родился внук Миша — радости Геннадия не было границ. Гордился им, восторженно пересказывал друзьям Мишины детские афоризмы. Очень любил своего зятя, Юру Гальперина, дружил с его родителями — известным лингвистом, профессором английского языка и литературы Ильей Романовичем и милой, интеллигентной Надеждой Михайловной, преподавательницей французского.

Вообще, это была на редкость интеллигентная, дружная, спаянная семья: спокойная, «правильная» Наташа, взрывная, экспансивная Татьяна Аркадьевна, чудесный Юра, очень уважаемый в научном мире, — он работал в области исследования космоса, а для нас — замечательный рассказчик, остроумный, ироничный, всегда желанный гость. Душой семейства был, конечно, Геннадий Семенович, а настоящей хозяйкой в доме — Татьяна Аркадьевна, эффектная дама, с горделивым апломбом несущая звание жены известного писателя. В любое застолье она вносила пряную остроту своей личности как крупинка черного перца в праздничное блюдо.

С конца пятидесятих Геннадия Семеновича мобилизовали на новый идеологический фронт — разоблачать загнивающий капитализм в Скандинавских странах. Север — Карелия, Финляндия — издавна были его темой в литературе, вот его и сделали «специалистом по Скандинавским странам». Вероятно, по своим анкетным, идеологическим и биографическим данным он подошел тем партийным начальникам, которые осуществляли международные писательские связи. Он стал одним из немногих в те годы «выездных» писателей. И со свойственной ему увлеченностью и трудолюбием взялся за работу.

Из литераторов тогда могли выехать за рубеж ну разве что особо рьяные журналисты-международники или те, кто занимал в Союзе писателей начальственные должности. Простому писателю не часто удавалось съездить даже в туристическую поездку в какую-нибудь социалистическую Болгарию. Так что Фишу, можно сказать, здорово повезло: не занимая никаких начальственных должностей, он свободно разъезжал по Дании, по Норвегии, по Финляндии, по Исландии. Он шуточно называл себя «выездным евреем». Эта его столь «невыгодная» национальная принадлежность в данном случае оказалась козырем в глазах партийных идеологов: она должна была служить для Запада наглядным примером того, что в нашей стране нет государственного антисемитизма.

Вернувшись из очередной заграничной поездки на любимую дачу, Геннадий Семенович непременно приходил к нам поделиться впечатлениями. За столом становилось тесно от гостей, жаждущих послушать про «тамошнюю жизнь». Дамы восхищались нарядными заграничными обновками Татьяны Аркадьевны и Наташи. Рассказывал Геннадий Семенович увлеченно, с горящими глазами, и у слушателей тоже горели глаза, они ахали, жадно впитывали колоритные подробности.

— Король Дании, — рассказывал Геннадий Семенович, — предложил мне встретиться, когда узнал, что я пишу книгу о его стране. И приехал к назначенному месту встречи — можете себе представить? — на велосипеде! Король!

— Король?! — изумленно вторил хор слушателей. — На велосипеде?!

— Да! Я спросил у него: «Почему вы не на машине?» — А он:

«Жена уехала на машине. У нас одна на двоих. Да вы не беспокойтесь, тут десять минут ходьбы до дома». Я спросил: «А почему вы без охраны?» — «А я сегодня не при исполнении королевских обязанностей». Оказывается, он ученый, химик, работает в одном из научных институтов, а королевские функции осуществляет два раза в неделю. Живет в обычной квартире.

— Король?! — хором изумлялись слушатели. — В обычной квартире?!

— Да, на втором этаже обычного дома. Правда, квартира очень просторная по нашим меркам. Ну, во дворце он тоже бывает, но дворец только для приемов. Очаровательный человек. Угощал омлетом.

— Король?! Омлетом?!

— Да! С ветчиной! Извинился, что в квартире не убрано — прислуга приходит только два раза в неделю, а жена на работе — она тоже ученый, биолог. Обычно она тоже ездит на велосипеде, там это принято, но сегодня у нее важный доклад, поэтому она взяла машину. Вообще машина там — не проблема, там даже у дворников есть машина, дело только в цене: у короля — подороже, у дворника — подешевле.

— У дворника?! Машина?!

— Да! Я сам видел: дворник приезжает на работу на своей машине!

Слушатели ахали, всплескивали руками и запивали свое удивление, восторг и зависть водкой и смородиновой наливкой.

А Геннадий Семенович продолжал: полицейский, к которому он подошел с вопросом, как пройти куда-то, оказался поэтом! Узнав, что обратившийся к нему русский пишет книги, — пригласил его к себе домой и подарил свою книжку.

... На конкурсе поэзии лучшей поэтессой года была признана сорокалетняя простая крестьянка, мать четверых детей.

Магазины полны, всё доступно, никаких спецпайков. Любой человек просто входит и покупает всё, что ему нужно.

— Любой?! Без очереди?! — не верили слушатели.

Медицина там бесплатная, образование бесплатное, рабочий или служащий на свою зарплату может спокойно содержать семью, в которой трое и даже четверо детей.

— Дело не в том, что они живут материально лучше, а мы

хуже, — говорил Геннадий Семенович. — Это соизмеримо. Несоизмеримо другое: отношение к человеку. У нас невероятно хамское отношение к человеку, к его личности, к его нуждам. Любой, облеченный хоть маленькой властью чиновник, продавец, работник ЖЭКа, может безнаказанно обляпать, унижить, и приходится терпеть, скрывать чувство собственного достоинства как какой-то атавизм. А там!..

... Датчане (шведы, норвежцы) удивительно приветливы, общительны, любят шутку, всегда готовы прийти на помощь.

В Исландии во время путины ВСЯ СТРАНА вплоть до министров выходит на морское побережье помогать рыбакам выгружать и обрабатывать рыбу.

— Вот где настоящий социализм, — говорил в упоении Геннадий Семенович. — Вот где не показное, а действительное внимание к человеку! Вот где создан общественный строй, до которого нам как до звезд! Вот у кого нам бы поучиться настоящей демократии!

Слушатели качали головами, вздыхали. О чем тут говорить? Человек побывал в сказке.

Через некоторое время в журнале, в газете появлялись очерки о поездке, а потом выходила книжка под названием «Здравствуй, Дания» с рисунками знаменитого Херлуфа Бидструпа, через год — другая: «У шведов», потом третья — «Мои друзья скандинавы», четвертая, пятая — рассказы о встречах с фермерами и рабочими, писателями и художниками, политическими деятелями и студентами, о быте, о природе, о революционных традициях, о борьбе за мир — обстоятельные, аргументированные, с подробными деталями...

Но странно: хотя в книжках сохранялось почти все то, о чем Геннадий Семенович рассказывал на дружеских застольях, и даже многое добавлялось, несмотря на живость языка и на замечательные шаржи-иллюстрации Бидструпа (с которым Фиш подружился и даже принимал его у себя на даче, когда тот приезжал в Советский Союз), — в книжках терялось что-то неуловимо живое. Как канарейка перестает щебетать, если клетку накрыть темной материей, так и скандинавские очерки Фиша, густо разбавленные рассуждениями о тамошних проблемах,

переставали «щебетать», тускнели, из них исчезала непосредственность, и всё перешибала идеологическая заданность. Вольнодумство Геннадия Семеновича оставалось в рамках разговоров с друзьями, а писал он — «как надо». Честно отрабатывал возложенную на него партийным руководством задачу — разоблачал загнивающий капитализм. Писал о происках чиновников, о прибылях капиталистов за счет эксплуатации рабочих, об увольнении, о забастовках. О том, как трудно жить в условиях «загнивающего капитализма», несмотря на некоторые положительные факты.

Не то чтобы он боялся. Острого страха, как при Сталине, не было, но оставались правила игры, которые требовалось соблюдать, как соблюдают правила грамматики: пишут «солнце», а произносят «сонце». Если напишешь «солнце», то в данном случае это будет не просто ошибка, а идеологическая ошибка, и тут грозит не двойка, а куда более кругое наказание.

Все же Геннадий Семенович старался писать так, чтобы можно было кое-что прочитать между строк, по принципу «умный поймет».

Эта игра с властью была в те годы самым обычным делом. Нельзя было только слишком далеко заходить, а тайком или полутайком, между строк, можно было многое. Умные и порядочные так и поступали: писали то, что требуется, а втихаря говорили всё, что хотели. Приходилось как-то подлаживаться к власти, хитрить, чтобы не расстаться с нажитым благополучием, не испортить карьеры детям. Бывшие фронтовики, мужественные люди, в войну от врага не бегавшие, от власти бегали, прятались, отключали телефон, иногда напивались до беспамятства — только чтобы не подписывать подлых писем, не поднимать руку, когда зал голосует «за», не выступать в защиту тех, чьи взгляды разделяли.

Сами над собой иронизировали, повторяя шутку Евгения Шварца: «Порядочный человек неохотно делает гадости».

Отступление.

Когда я прочитала этот очерк о Геннадии Фише в литературном клубе, членом которого состою уже много лет, один писатель сказал, что образ у меня получился весьма не полный и к тому же лакировочный.

— Вы знаете, например, о том, что у него был сын от первого брака?

Да, знаю: Радий Геннадиевич Фиш. Я не раз встречала его в Доме литераторов. Он был внешне похож на отца. И тоже был писателем. Родился он в 1924 году. Ушел добровольцем на фронт, сражался в морской пехоте. После войны закончил Институт востоковедения, темой многих его работ было исследование художественной литературы Турции. Дружил с Назымом Хикметом, написал книгу о нем. Автор нескольких романов. Думаю, что Геннадий Семенович гордился сыном, но об их личных отношениях я ничего не знаю, а врать не хочу. В Красной Пахре я Радия Фиша ни разу не встречала.

От второго вопроса меня передернуло:

— А почему вы ничего не написали о том, что Фиш был связан с «органами»?

— С чего вы это взяли?

— Да с того, что так беспрепятственно и безнаказанно мотаться по странам с представительской миссией и не писать отчеты в КГБ было в те годы невозможно. Разумеется, Фиш «стучал», это и ежу понятно.

Может, ежу и понятно, а я отвергаю это утверждение. Нынче стал модным жанр литературной сплетни. Иной автор запросто опорочит человека ради остренькой сенсации. Теперь про любого можно сказать, что «стучал», и читатель поверит, а невинно ошельмованный человек не сможет дать пощечину за оскорбление. Наверное, отчеты о заграничных встречах и разговорах Фиш как член партии обязан был давать в Иностранный отдел Союза писателей, или как он там назывался. Но никогда не поверю, что он «стучал» на своих. Если образ человека, о котором я вспоминаю с уважением и симпатией, покажется кому-то лакировочным — пусть. Геннадий Семенович был безупречно порядочный человек своего времени.

Да, он был конформист. Но — цитирую замечательного ученого биофизика Симона Шноля — «Жизнь была бы невыносима в обществе, состоящем только из героев и злодеев. Основную массу составляют конформисты. Они — хранители традиций и связи поколений. В их семьях рождаются и герои и злодеи. Чувство долга может быть сильнее стремления совершить героический поступок... Мы чрезвычайно обязаны таким «конформистам», обязаны сохранением нашей цивилизации «несмотря ни на

что» (Симон Шноль. «Герои, злодеи, конформисты отечественной науки»).

Как личность он был гораздо ярче и талантливее, чем как писатель. Доброта его проявлялась горячо, деятельно — я сама оказалась объектом его доброй активности — он по собственной инициативе отнес в издательство рукопись моей первой книжки и своим авторитетом содействовал ее публикации. Правда, я была дочерью его друзей, так что этот пример не очень корректен.

Но вот, рассказывал мне писатель Виктор Пулькин: в шестидесятые годы он работал экскурсоводом в музее-заповеднике «Кижжи», и однажды к нему на экскурсию попал Геннадий Семенович. Ему понравилась лекция молодого экскурсовода, он тут же зажегся к нему интересом, убедил молодого сотрудника попробовать себя в литературе, стал его советчиком, редактором, сам отнес его первый очерк в редакцию журнала «Север», добился публикации и радовался его успеху больше, чем мог бы радоваться собственному. Когда в восьмидесятых, в Пицунде, в Доме творчества, я познакомилась с Виктором Ивановичем Пулькиным, он был уже известным и уважаемым автором повестей и рассказов о севере, собирателем северного фольклора. С какой благодарностью он вспоминал Геннадия Семеновича! С какой признательностью говорил о его редчайшей, благороднейшей душе, о бесценном подарке судьбы, каким стала для него их встреча. Думаю, что и для многих других.

Летом 1971 года на даче Геннадию Семеновичу стало плохо с сердцем. Вызвали врача из дома отдыха, Екатерину Ивановну, всеобщую «палочку-выручалочку». Та сказала, что, по всей видимости, это инфаркт, велела ему лежать, осталась на ночь в доме, чтобы помочь, если ему станет хуже. Утром вызвали светило из Москвы, тот приехал и заявил, что никакой не инфаркт, а камни в желчном пузыре. Велел сесть, встать, пройти по комнате...

До Москвы Геннадия Семеновича живым не довезли. Оказалось — обширный инфаркт.

Татьяна Аркадьевна после смерти Геннадия Семеновича сменила амплуа жены писателя на должность редактора. Мно-

го лет активно работала в журнале «Дружба народов». Оставалась энергичной, жизнелюбивой, «вечнозеленой». Умерла в очень преклонном возрасте. Умерли Илья Романович и Надежда Михайловна. Неожиданно рано умер Юра Гальперин. С Наташей у нас связь в последние годы почему-то нарушилась, но от общих знакомых слышу, что по-прежнему живет интересно, деятельно, много времени посвящает воспитанию двух своих московских правнучек. Миша еще в конце восьмидесятых уехал со второй семьей в Штаты. Слышала, что он теперь там один из видных микробиологов.

А дачу Фишей купила Оля Аллилуева. Когда-то она была членом семьи Михаила Ильича Ромма – женой его рано умершего внука. Дачу Ромма его дочь Наташа после смерти своего единственного сына и своей матери артистки Елены Кузьминой, незадолго до собственной смерти продала Эльдару Александровичу Рязанову. А ее молодая невестка Оля в новую эпоху преуспела и вот стала собственницей дачного участка и огромного дома, который теперь стоит на том месте, где умерла дача Фишей.

...Жаль высокую лиственницу, которая росла на участке возле забора, в том углу, где пересекаются Восточная и Малая аллеи. Наверно, новая хозяйка решила, что лиственница будет мешать при строительстве второго, доходного, дома и велела ее спилить. А она была красивая. Каждую осень ярко желтела. Идешь по аллее – а она издали так и сияет золотой кроной тебе навстречу.

Виктор и Алла Драгунские

Он был не то, чтобы толстый, скорее – широкий, большой, с шапкой черных седеющих волос, праздничный, притягательно радушный, с улыбкой, открывавшей крупные, редкие, какие-то неорганизованные зубы, которые не только его не портили, а наоборот, придавали его лицу веселое своеобразие. Казалось, ему хочется всех обнять, такая волна доброжелательности от него шла. В эту волну так и хотелось окунуться. Когда-то он работал клоуном, и мне было легко представить

его на цирковой арене с этой широкой, располагающе доброй улыбкой во все лицо.

В своей жизни он перепробовал много профессий — в юности работал слесарем на заводе, был актером театра Сатиры. Когда началась война, ушел в ополчение (в армию его не взяли из-за астмы). Был контужен. Вернувшись в Москву, писал для цирка, для эстрады, сочинял вместе с Людмилой Давидович тексты песенок, некоторые из которых стали очень популярными, например «Три вальса» на музыку Цфасмана в исполнении Клавдии Шульженко. В конце сороковых создал маленький театр литературных и театральных пародий — «Синяя птичка». Сам был его режиссером и автором репертуара. Но театрик запретили на пике популярности — время было суровое, не склонное к шуткам.

Разносторонне одаренный, компанейский, Виктор Драгунский был своим человеком в кругу московской интеллигенции. Но настоящая известность пришла к нему довольно поздно, когда ему было далеко за сорок. Он нашел себя в детской литературе. К тому времени как он с семьей стали нашими соседями по дачному поселку — это было году в шестидесятом, — его рассказы про Дениску уже пользовались огромной любовью у детей и взрослых.

Сначала у Драгунских не было своей дачи, и они снимали комнату у писателя Волкова, а когда Волков продал дачу Генриху Боровику, переселились на дачу своего приятеля, сатирика Мориса Слободского. Когда же и Слободской после смерти своего соавтора Владимира Дыховичного продал дачу Юрию Трифонову, Драгунским, наконец, повезло — им сдал домик-временку литературовед Владимир Жданов, и они прожили там несколько счастливых лет. Домик они утеплили, пристроили летнюю комнатку-кабинет. Получилось скромное, очень уютное, а главное — отдельное жилье с частью такой же обособленной территории: временка стояла в дальнем углу участка, в окружении кустарника и деревьев, съемщики и хозяева не мешали друг другу, наоборот, были в приятельских отношениях. Иногда вместе чаевничали в саду. Хозяин дачи, Владимир Викторович Жданов, был атлетически сложен, спортивен, в свои пятьдесят семь лет крутил «солнце» на турнике.

— Виктор! — укорял он Драгунского. — Как вы можете так наплевательски относиться к своему здоровью! Вы носите на себе не меньше двадцати лишних килограммов и при этом на моих глазах съели чуть ли не всю коробку шоколадных конфет! Я старше вас на четыре года, а пощупайте мой брюшной пресс!

Виктор Юзефович соглашался, что носить на себе столько лишних килограммов — форменное безобразие, и приканчивал конфеты.

Грустно распорядилась судьба: здоровяк, не знавший, что такое простуда, Владимир Викторович Жданов умер от, казалось бы, пустякового кожного заболевания. При операции (которую, как многие говорили, нельзя было делать) были задеты лимфатические узлы, разбужен рак, и сильный, красивый, заряженный на многие годы творческой и жизненной энергией человек за год сгорел.

Это была на редкость счастливая, дружная, любящая семья — сам Виктор Юзефович Драгунский в позднем расцвете своей известности, его жена Алла Васильевна, или, как называли ее в поселке, Аллочка, и их умный кудрявый сын-подросток Денис. Алла была на одиннадцать лет моложе мужа. Она закончила ВГИК, но актерская карьера не сложилась, о чем она, кажется, не особенно жалела. Несколько лет подряд ездила с ансамблем «Березка» по всему миру — в качестве ведущей. Она была настоящая русская красавица — статная, высокая, гладкие на прямой пробор пшеничные волосы, высокая грудь, тонкая талия, круглолицая, голубоглазая, очень женственная — ну просто Василиса Прекрасная. Наверно, когда она выходила на сцену и объявляла на языке любой страны очередной номер, — это производило впечатление. Про свои гастроли она смешно и артистично рассказывала — она вообще была чудесной рассказчицей, живой и остроумной, умела «вкусно» посплетничать с подругами, создать в доме уют, принять гостей. Всегда просто, но с большим изяществом одевалась. Уже будучи женой Виктора, она окончила вечернее отделение инъяза, хорошо владела английским.

Он ее обожал.

Пили как-то чай за нашим столом, Виктор Юзефович рассказывал о чем-то, все хохотали. Алла на минуту вышла из комнаты. Он замолчал, проводил ее взглядом и произнес с детским наивным восхищением:

– Правда, Аллочка прелесть?

И все искренне согласились: правда, прелесть.

Алла рассказывала (а потом написала в своей маленькой книжке воспоминаний): познакомил их незадолго до конца войны Александр Галич, в то время еще мало кому известный Саша Гинзбург. Алла училась во ВГИКе вместе с его младшим братом, Валерой Гинзбургом, будущим кинооператором. У них была дружная студенческая компания. Собирались обычно у Валеры – у него была отдельная квартира. И как-то вечером Саша Гинзбург позвонил Вите Драгунскому (они дружили еще с довоенных времен, оба начинали как артисты) и сказал:

– Витька, давай к нам. Тут у Валерки потрясающие девушки!

Он пришел. И с того вечера они не расставались. Им повезло – у них на первое время оказалось отдельное пристанище – комната его родственника, который еще не вернулся с фронта. Но через какое-то время родственник вернулся, и начались мытарства с жильем. Года два молодая семья с уже родившимся Денисом как-то устраивалась, кочуя по комнатам уехавших знакомых, но потом все-таки пришлось поселиться с ребенком у Витиной мамы, по месту Витиной прописки, на Покровке, в небольшой комнате огромной коммунальной квартиры. Комнату перегородили шкафом. Ничего особенного, тогда многие так жили.

Витина мама была машинисткой. Для подработки печатала дома, по ночам.

Все равно было весело, интересно, шумно, Алла помогала мужу в работе, он ее познакомил со своими друзьями – артистами эстрады, писателями, циркачами, художниками. Они и оставались всю жизнь их друзьями.

И всё бы хорошо, но кто-то из жильцов «стукнул» в милицию, что Виктор в течение двух лет не проживал в квартире и по закону подлежит выписке. И его выписали! А без прописки нельзя было жить в Москве. Все попытки снова прописаться в

комнате, где он жил с раннего детства, наталкивались на грубый, издевательский отказ:

— А что вы так за Москву держитесь? Поезжайте в другой какой-нибудь город — в Бердичев, например, или в Гомель. Может, там вас пропишут.

Подлый намек на то, что ему, «безродному космополиту», не место в столице нашей родины.

Была и еще одна причина милицейского злорадства и подозрительности: в паспорте Виктора в графе «место рождения» было написано «Нью-Йорк». Эта нелепица произошла из-за того, что за несколько лет до революции молодые Витины родители, спасаясь от погромов, уехали из родного Гомеля в Америку. И там он родился. В Нью-Йорке. Родители в Америке не прижились и вернулись с грудным ребенком в свой Гомель. Было это в 1914 году, за месяц до начала Первой мировой войны. А запись в метрике осталась и доставила потом Виктору немало неприятностей. Спасибо еще, что не арестовали как американского шпиона.

О том, чем закончилась история с пропиской, Алла тоже любила рассказывать, а впоследствии включила и эту историю в книжку своих воспоминаний. История замечательная!

А что если, — подумала Алла, — написать письмо кому-нибудь из власть имущих? Например, Буденному?

Она выросла на улице Грановского, в знаменитом доме, где жили члены правительства. Отсюда по ночам увозили на «черном вороне» Бухарина, Пятакова, еще многих, но и теперь продолжали жить Хрущев, Маленков, Буденный. Отец Аллы работал в этом доме слесарем-водопроводчиком. Их семья — отец, мать и трое детей — обитала в «служебной квартире» — так называлась темная и сырая подвальная комната.

А во дворе она играла с дочками наркомов. Сам Буденный гладил ее по головке. Он казался ей добрым. Вдруг поможет! Ведь просьба-то пустяковая: прописать Витю туда, где он жил всю жизнь.

Алла написала письмо и передала через знакомую лифтершу. Стали ждать ответа.

А жизнь на Покровке тем временем превратилась в сплошную трепку нервов. Почти каждый вечер, вернее ночь, после

двенадцати, в коридоре раздавался громкий топот сапог и сильный стук в дверь. Это являлся участковый, пожилой человек, который Витю знал еще с довоенных времен.

– Проверка паспортов!

Зажигался свет, просыпался ребенок, мелко дрожала Витина мама, у Аллы колотилось сердце.

Участковый долго разглядывал Витин паспорт и говорил:

– А где прописочка? Прописочки нет – не имеешь права тут ночевать. Оформляй прописочку, а то выселять тебя, Виктор, будем из Москвы.

Он был не злой человек, этот участковый, и ходил не по своей воле. Видно, ему было дано задание – теребить, угрожать, терроризировать.

Буденный так и не ответил.

Виктор совсем упал духом. Куда идти? Где искать правду?

– И тогда, – рассказывала Алла, – я вспомнила о Васе, сыне Сталина. Он приходил в наш дом на Грановского. Там жил его старший брат Яков Джугашвили, там жили его товарищи, Володя и Фрунзик Ярославские. Когда он приходил, вся ребятня сбегалась на него посмотреть. Еще бы! Сын Сталина! Он был, в противоположность своему красивому старшему брату Якову, обычный паренек заурядной внешности, невысокий, рыжеватый, с крупными веснушками.

И вот Алла решила пойти к нему на прием, как к депутату Верховного Совета, и попросить его о помощи.

Приемная штаба ВВС была недалеко от метро Аэропорт.

– Ноги у меня подкашивались от страха. В проходной я сказала, что хочу записаться на прием к депутату генералу Сталину. Я готова была умолять на коленях, чтобы меня приняли, но, проверив паспорт, мне неожиданно сказали «проходите».

Ее приняли два вежливых офицера, внимательно прочитали по очереди ее отчаянное заявление.

– А теперь расскажите всё как есть.

И она, захлебываясь словами, боясь, что ее прервут, стала рассказывать о том, что давно знает Василия Сталина, жила в одном доме с его братом...

Ее выслушали и попросили принести справку о том, что она действительно прописана на улице Грановского, 3, и еще справку из домоуправления о прописке Драгунского в Москве с 1925 года.

— И перепишите ваше заявление, чтобы всё было официально, без эмоций.

Виктор уже ни во что не верил, настроение у него было подавленное, но за справкой пошел.

С этими справками и новым заявлением Алла снова поехала в штаб.

— И вот я в огромном кабинете Василия Сталина. Одна стена — сплошное стекло, за ним — летное поле, самолеты. В кабинет без конца входят и выходят военные, что-то докладывают. Генерал стоит у стола, где селектор, и с кем-то разговаривает. Он обернулся в мою сторону, и я увидела те же, что в детстве, крупные веснушки.

Он взял заявление и размашисто, наискосок написал: «ПРОПИСАТЬ! В.Сталин». Протянул мне заявление и пожал руку.

Не веря своему счастью, Алла вернулась на Покровку. Когда Виктор увидел бумагу с резолюцией «прописать» и подпись, он чуть не потерял дар речи. Он только повторял:

— Не может быть!.. Не может быть!..

Тут же поехал в Главное управление милиции. Тот самый полковник, который издевательски советовал ему уехать в Бердичев или Гомель, прочитав бумагу с резолюцией, вскочил с места и, пробормотав:

— Подождите минуточку, я сейчас! — выбежал из комнаты.

Минут через пять он вернулся и торжественно сказал:

— Поздравляю вас, товарищ Драгунский! Идите в свое отделение милиции. Мы дали команду. Всех благ вам!

Через час в паспорте Виктора стояла печать о постоянной прописке в доме 29 по улице Чернышевского.

К тому времени как Драгунские стали нашими соседями по дачному поселку, все эти квартирные мытарства остались далеко позади. Теперь они жили в отдельной трехкомнатной квартире в престижном доме на Каретном ряду. Две спальни, просторная кухня-столовая и большая светлая гостиная. Здесь у стены, между двумя книжными стеллажами стояло деревянное сооружение в виде подковообразных ворот с перемычками, и на них висело штук сорок разнообразных колокольчиков, каждый со своим звоном. Тут был и бронзовый валдайский колокольчик, и фигурный, медный, из Англии, в виде дамы в

широкой юбке-кринолине, и колокольчик в форме двух переплетенных цветков, и даже обыкновенное коровье ботало. Друзья знали об увлечении Виктора и привозили ему колокольчики из всех своих поездок.

— Вот этот мне привез из Голландии Олег Попов, — Виктор указывал на белый фарфоровый колокольчик с тонкой золотой гравировкой. — А этот — смотри, настоящий хрусталь! Мне его Боря Брунов привез из Японии. Нет, ты только послушай, как звенит!

Виктор Юзефович в этот период был в апогее своей популярности. О нем писали хвалебные рецензии и целые статьи. Рассказы его выходили во всех детских журналах и отдельными книжками, и каждый новый рассказ был настоящей жемчужиной. Благосостояние семьи росло. Купили машину — «волгу». Виктор сам садился за руль, но у них был и свой шофер — обслуживал Аллу, если Виктор был занят.

В 1965 году — Виктору Юзефовичу было пятьдесят два, Алла — сорок один — родилась долгожданная Ксюша. Второй ребенок, девочка — это была их мечта. Драгунские еще по-прежнему жили во времянке у Жданова. Я зашла их поведать. Дочка спала в коляске под березой. Алла с горделивой бережностью приподняла марлеву юбку, и я увидела спящее рыженькое чудо с длинными темными ресницами. Виктор Юзефович вышел из дома поприветствовать меня, а потом извинился и снова ушел в свой кабинет работать.

Работал он так, словно спешил наверстать упущенное в молодые годы. Дениска триумфально входил в детскую литературу, занимая место рядом с Томом Соьером, Гekom Финном или Незнайкой. Нашему тогда трехлетнему Андрюше Виктор Юзефович подарил свою книжку с такой надписью:

«Дорогому Андрею с просьбой-напутствием: прочитай эту книжку, когда тебе будет десять лет.

Твой Виктор Драгунский.

Дружба!

Верность!

Честь!»

Это был его девиз.

С тех пор прошло почти пятьдесят лет. Книжка жива. Ее теперь читают наши внучки в Израиле.

Дениска — он и в Израиле Дениска!

А тогда, наряду с детскими, он начал писать и взрослые вещи. И тоже замечательные! Он написал две большие повести — «Сегодня и ежедневно» и «Он упал на траву» — в чем-то автобиографические, выстраданные, грустные — о старом клоуне, о войне. У него была чудесная, доверительная интонация. Грустный оптимист, сам еще далеко не старый, он очень чувствовал природу старости, ее потаённую гордую беззащитность. Поразителен рассказ «Старухи» — о трех подругах, чья молодость прошла в сталинских лагерях — настоящий литературный шедевр. И таких шедевров у него немало.

Смешное и грустное у «взрослого» и у «детского» Драгунского переплетаются. В сущности, многие рассказы про Дениску — тоже грустные, хотя и смешные. «Он живой и светится», «Девочка на шаре» — не просто о светлячке и о девочке-циркачке. Они и о детском страдании, и о детском одиночестве, и о детской любви. Вообще, все, что выходило в те годы из-под его пера, было пронизано юмором, грустью, добротой и любовью. И огромным талантом.

Известность, достаток, долгожданная дочка, сын с медалью окончил школу и поступил в МГУ на классическую филологию — всё было хорошо, всё получалось. Виктора и Аллу сопровождала всеобщая любовь, всюду они были желанными гостями, незнакомые люди на аллеях поселка расцветали улыбками при встрече с автором любимых книжек и его красивой женой. Он с удовольствием выступал перед детьми близлежащего детского санатория: артист, он знал, как обаять публику, дети были в восторге от его выступлений.

Виктор и Алла любили бывать, кроме нашего, еще и в доме Россельсов, Владимира Михайловича и его жены Ляли, Елены Юрьевны, переводчиков. У них на даче собирались сливки пахринского общества, гораздо большей, если можно так выразиться, процентной жирности, чем у нас. К нам приходили независимо от степени знаменитости, а у Россельсов был строгий отбор, настоящий литературный салон для избранных, и Виктор Драгунский приглашался как лакомое угощение. Ему это льстило. А кому не понравится купаться во всеобщем восторге?

В шестьдесят седьмом году исполнилась еще одна мечта Драгунских — они купили дачу. Продала ее вдова Литвин-Седого — был такой старый большевик, участник революции

1905 года и обороны Царицына. Вдова его за революционные заслуги мужа и за книгу воспоминаний о нем получила участок и построила дом, но почти в нем не жила, а тут ей вдруг срочно понадобились деньги, и вот Драгунские наконец-то стали владельцами собственной дачи.

Это был сильно запущенный, но крепкий дом с мансардой, с большой застекленной террасой, крылечком, большим заросшим участком, с круглой беседкой возле дома.

Скосили лопухи и крапиву, заказали плотнику круглый садовый стол и скамейки, посадили сливы и яблони. Привели дом в порядок — отмыли, оклеили свежими обоями, купили недорогую, но удобную мебель. Наверху устроили для Виктора просторный кабинет с окном в сад. Внизу — большая гостиная, где можно наконец-то принимать сколько угодно гостей.

Жизнь была прекрасна и сулила одно сплошное счастье.

И вдруг..

Это случилось летом шестьдесят восьмого, ночью, на даче. Виктору Юзефовичу стало плохо. Невыносимая головная боль, рвота, головокружение. Приехала «скорая», врач сказал, что это по всем признакам острое отравление, велел промыть желудок, принять какие-то лекарства.

Ничего не помогало, Виктору Юзефовичу становилось все хуже. Алла в отчаянье примчалась к нам. Утром на нашей машине его перевезли на их московскую квартиру, вызвали врача из литфондовской поликлиники. Тот поставил диагноз: спазм головного мозга. Велел лежать, соблюдать полный покой, ни с кем не общаться даже по телефону. Лекарства, уколы, неподвижность.

Алла от него не отходила. С дочкой на даче оставалась няня. Весь поселок всполошился, все старались чем-нибудь помочь.

Через неделю-другую Виктору Юзефовичу стало лучше, он поднялся с постели. Немножко нарушилась координация движений, но врачи сказали, что это пройдет и что он еще легко отделался. Посоветовали отказаться от алкоголя и кофе, не напрягаться, не наклоняться, не утомлять себя работой, помнить про первый «звоночек».

Это он-то, с его энергией и жизнелюбием, станет беречься!

Снова общение с друзьями, застолья, рюмка-другая водки и работа, работа. У него было столько замыслов!

Увы, болезнь отпустила его не надолго. Вскоре случился микроинсульт. И началась совсем другая жизнь: больница, санаторий, лечебные процедуры, надежды на какое-то чудодейственное японское лекарство, которое достать было почти нереально, но стараниями друзей все же удалось достать. На какое-то время лекарство помогло — снова наступил период относительного выздоровления, и снова не долгий. И опять по кругу: профессора, консилиумы, больницы, процедуры, сильнодействующие препараты, постепенно менявшие его характер.

Замыслы так и остались неосуществленными, из-под пера еще выходили какие-то рассказы, но далеко не в прежнюю силу. Он это чувствовал, мучился, впадал в угрюмость. Ушли праздничность, радушие, заразительная веселость. Изменился он и внешне: погрузнел, стал одышлив, малоподвижен. Подволакивал левую ногу при ходьбе. Ему поставили искусственные зубы, ровные, правильные, но лишившие его улыбку прежней притягательности.

А тут еще история со злосчастным тибетским травником.

Сначала прошел слух, что на Тибете (потом оказалось — всего лишь в Алма-Ате) живет старичок-знахарь, который лечит от неизлечимых болезней заговорами и травами. Старичка тайно привезли в Москву, нелегально поселили у кого-то в квартире, и среди московской интеллигенции начался невероятный ажиотаж. К целителю толпами устремились жаждущие исцеления. Друзья Виктора и Аллы решили: надо непременно устроить к нему Виктора.

Сам Драгунский в чудеса не верил и к старичку ехать не хотел. Его долго уговаривали. Особенно старались Россельсы. Владимир Михайлович был заикой, брызгал слюной, шипел, тарачил глаза — от этого его рассказы о волшебнике-целителе звучали особенно убедительно.

А главное, Аллочка уговаривала: вдруг целитель поможет? Чем ты рискуешь?

Не так еще и легко было попасть к старичку на прием, но Россельсы через своих многочисленных знакомых устроили, был назначен день и час.

Целитель встретил Виктора, сидя на полу, на коврике, скрестив ноги. Старательно шаманил, жег сухие травы, что-то приговаривал по-казахски, делал руками какие-то пассы.

На Виктора Юзефовича все это произвело комическое впечатление.

А через некоторое время в журнале «Крокодил» был напечатан рассказ Драгунского, в котором писатель выставил знахаря в издевательском свете, назвал его шарлатаном и охмури-телем наивных идиотов. Было впечатление, словно рукой писателя водил какой-то другой человек, злой, язвительный и явно несправедливый — кому-то старик, возможно, помог. Кроме того, он «подставил» целителя и всех, кто ему содействовал, а это было, мягко говоря, неблагородно. Старика пришлось срочно отправлять по месту его постоянного жительства, от греха подальше, а Драгунского дружно осудили.

Особенно обиделись Россельсы, и отказали ему от дома. Многие в поселке перестали с ним здороваться. Но не наша семья. Родители мои не верили ни в каких знахарей, а Виктора и Аллу очень любили. Отца фельетон, правда, огорчил, но больше по причине литературной слабости.

Драгунский глубоко переживал охлаждение тех, кто еще недавно перед ним стелился. Алла Васильевна горячо сострадала мужу, пыталась всем объяснить, что он не хотел ничего дурного, умоляла быть к нему снисходительнее, потому что он очень, очень болен.

Никто еще тогда не понимал, до какой степени он болен. У него была злокачественная церебральная опухоль, постепенно сжиравшая его мозг.

В декабре 1971 года, вернувшись из Германии, я пришла на Каретный ряд навестить Драгунских. Привезла Виктору Юзефовичу в подарок немецкий колокольчик.

Отяжелевший, мрачный, с погасшими глазами Виктор Юзефович сидел за столом на кухне. Рядом — шестилетняя Ксюша. Перед обоими — тарелки с гречневой кашей, чашки с молоком. Его глаза на минуту вспыхнули чем-то прежним мне навстречу и тут же снова погасли. Он взял колокольчик плохо действующей левой рукой, какое-то время смотрел на него, словно припоминая, что это такое. И равнодушно отставил в сторону.

Алла пододвинула поближе к мужу чашку, нечаянно толкнула ее, несколько капель молока пролилось. И вдруг он злобно закричал на нее, швырнул на пол ложку. Ксюша заплакала. Алла начала успокаивать ее, его, было видно, что она на пределе усталости, но в ее взгляде на Виктора были только нежность и забота. Она очень плохо себя чувствовала — ей нужна была операция на щитовидной железе, но приходилось откладывать, потому что Виктор не мог ни дня без нее обходиться.

— Ты не представляешь, как это мучительно, — сказала она, когда мы ненадолго остались вдвоем, — видеть, как он превращается в собственную противоположность. Он раздражается по любому поводу, взрывается, кричит, потом плачет, умоляет простить его... Боже мой! Разве я могу на него сердиться! У меня сердце кровью обливается от жалости! Мне сказали: эта болезнь не поддается лечению, она может тянуться и год, и два. Организм у него крепкий, так что наберитесь сил и приготовьтесь к худшему.

Виктор Юзефович умер в мае 1972 года.

После его смерти семья осталась почти без средств, потому что всё скопленное за много лет было вложено в дачу, истрачено на лечение. Надо было как-то выкручиваться. Алла и выкручивалась как могла: продала машину, сдала на лето комнату на даче двум знакомым дамам, устроилась на работу преподавателем английского языка в медучилище. Зарплата мизерная, но ей нужен был стаж для пенсии.

А главное, Алла Васильевна начала борьбу за переиздание книг Драгунского. Борьба была нелегкая: книги его упорно оттеснялись, задвигались в тень менее талантливыми, но более приткими авторами, которые видели в нем, даже мертвом, своего конкурента. Издатели тоже не очень охотно шли ей навстречу: им нужна была высокая партийная идеология, революционная тематика, а смешной мальчик Дениска с его светлячком, манной кашей и безыдейной мечтой о слоненке в этом смысле не очень соответствовал.

Но Алла Васильевна упорно не давала его оттеснить. Она обивала пороги детских издательств, просила, доказывала, настаивала, тормозила. Конечно, в ее усилиях немалую роль играл материальный интерес, но что из этого? Надо было растить дочь, помогать сыну-студенту, дача требовала больших

расходов, а продавать ее она не хотела. Самой надо было выглядеть достойно, хорошо одеваться, это тоже требовало денег. В конце концов, она была вдовой известного писателя и имела право на авторские за переиздание книг мужа. Пусть небольшие — наследники получали всего двадцать процентов, остальное забирало государство — все же это давало бы какие-то дополнительные средства к существованию.

Но не только денежные интересы ею руководили. Она понимала значение Виктора как писателя и не хотела, чтобы его затерли. Для нее он оставался живым, и она ему помогала как при жизни. Служила ему как верная подруга может служить любимому человеку, когда он сам не в силах себе помочь. Сколько талантливых имен без такого вот упорства со стороны близких было забыто на десятилетия, а чаще — навсегда. Своей настойчивостью, пусть даже настырностью, Алла Васильевна сделала огромное дело: сохранила писателя Драгунского для нескольких поколений детей и взрослых до нынешних времен, когда его книги стали классикой. Теперь-то их издают большими тиражами, потому что это стало коммерчески выгодно — они приносят немалый доход издателям.

Когда Виктор Юзефович умер, Алле Васильевне было сорок восемь лет. Она все еще была молода и хороша собой. Подруги советовали ей выйти замуж и энергично действовали в этом направлении — подыскивали ей женихов. Находились вполне достойные. И не то чтобы она была против. Ей хотелось опереться на сильного мужчину.

Но нет, не смогла. Не захотела себя ломать, подлаживаться под чужой характер. Слишком любила Виктора. И понимала: никто ее уже так не будет любить, как он любил. Так и жила до конца памятью о нем.

Умерла Алла Васильевна в возрасте восьмидесяти трех лет в 2007 году.

Старость ее была омрачена душевным одиночеством. Нет, дети были в полном порядке, но не смогли или не захотели дать матери того тепла, любви и заботы, которых она заслуживала и в чем так нуждалась в последние годы. А друзей — их с Виктором друзей молодости и всей жизни — никого уже не было на свете.

ЧАСТЬ 5

Литературная жизнь

Рекомендации двух известных и уважаемых писателей — Виктора Драгунского и Геннадия Фиша, две скромные книжки, несколько публикаций в журналах — и вот, в апреле 1972 года, сам главный писательский начальник, бывший генерал КГБ, Виктор Николаевич Ильин, в торжественной обстановке вручает мне красную книжечку члена Союза Советских писателей.

Конечно, я была счастлива. Еще бы! Теперь я не сама по себе, меня впустили в круг, да еще в какой! Мне представлялся некий сплоченный Союз, где с этого момента я стану полноправным членом и собратъя по перу протянут мне руку дружбы, и я, как было принято говорить, — «войду в обойму».

Но никто не собирался протягивать мне руку дружбы.

Войти в избранный круг своих знаменитых сверстников, прозаиков и поэтов, с их уже мировой известностью, с их ярким талантом, прочертившим тусклое небо застойной эпохи, было мне не по способностям. Я осознавала себя слишком незначительным явлением в литературе, чтобы встать с ними вровень. Неумение вовремя и ярко сказать свое слово, отсутствие гражданской смелости — нет, я даже не делала попыток приблизиться к этим атлантам, лишь стояла на обочине и смотрела снизу вверх на их дружную когорту.

Не вошла я и в круг тех хватких, пробивных литераторов, держащих нос по ветру, пишущих по выверенным идеологическим схемам, умеющих услужить начальству и отпихнуть конкурента. От этих я сама держалась подальше.

Мне достался второй эшелон. Что-то вроде переполненного плацкартного вагона поезда дальнего следования, где собрались те, кому не по карману оказались места в купейном или международном. Кто-то старался получше обустроить собственную скромную полку, кто-то старался перейти в купейный и с опаской поглядывал на предполагаемых конкурентов.

Я чувствовала себя чужаком среди этих уже притершихся друг к другу пассажиров. Особенно сковывало то, что в глазах

нового коллектива я по-прежнему выглядела не более, чем «писательской дочкой». На меня поглядывали с выражением, которое легко расшифровывалось как: «ну, ясно, ясно». Как будто мне уготовано папой блатное место в вагоне СВ, а я зачем-то еще посягаю на их несчастную полку в плацкартном. Я то и дело натыкалась на чей-нибудь недоброжелательный прищур, и меня это каждый раз больно задевало. А навязываться, доказывать, что я «не такая», было унижительно.

До чего же эта среда контрастировала с моей любимой, геологической — открытой, товарищеской, дружелюбной, где я всегда чувствовала к себе искренне заинтересованное отношение и отвечала таким же дружелюбием и открытостью. Даже в физическом смысле писатели с их избыточным весом из-за малоподвижного образа жизни, нездоровым цветом лица не выдерживали сравнения с подтянутыми, ловкими, крепкими геологами.

Зачислили меня в секцию детских писателей, которой руководила Мария Павловна Прилежаева, дородная немолодая дама, лауреат Государственной премии, автор внушительной толщины книги для детей «Жизнь Ленина» и многих других книжек, написанных в духе партийных указаний. Вокруг Марии Павловны в секции клубился приторный дымок фальшивого подобострастия. Ей беспардонно льстили, угодничали, всячески подчеркивали свою преданность. Стиль этот имитировали те, кто хотел пролезть к ней в друзья и стать поближе к начальству.

Мария Павловна была симпатичная тетка и когда-то неплохая писательница. В детстве мне очень нравилась ее книжка «Юность Маши Строговой», судя по всему, автобиографическая и потому искренняя и живая. Мария Павловна сильно попивала и, когда под шафе председательствовала на наших заседаниях, то сквозь начальственную неприступность и партийную идейность в ней проглядывали простота, доброта и ум. Может, и пила, чтобы заглушить алкоголем душевные противоречия и крамольные мысли.

В секции детских писателей было несколько пожилых, уважаемых мною авторов, чьи книжки я знала и любила. Но они-то как раз редко приходили на наши говорливые и пошловатые сборища. А завсегдатаи представляли собой или самоуве-

ренных, хвастливых литературных дельцов, или затюканных, бедно одетых старичков и старушек, которые садились в уголок и молчали как мышки, или кокетливых литературных дамочек, до старости играющих в девушек-очаровушек, плетущих розовые литературные кружева и злословящих с обворожительными улыбками.

Себя я причисляла к категории ломовых кляч, кряхтящих, замороженных, пытающихся между магазином и стиркой что-нибудь сочинить, в редакциях делающих вид, что они еще огого, к вечеру валящихся с ног от усталости.

Конечно, я преувеличиваю. Бывали отдушины, когда собирались старые друзья, или, плюнув на все дела, мы с сестрой Маринкой отправлялись в будний день бродить по любимым арбатским переулкам или устраивали с ней посиделки за нашим круглым столом, пили вино и отводили душу в веселой трепотне — мы называли это «журфиксами». Бывали семейные летние поездки в Карелию, в Новый Свет, плавательные сеансы в бассейне «Москва», воскресенья на даче, лыжи, баня, построенная Витей. Но все это не было связано с моей новой писательской средой. Правда, бывали и поездки в Дома творчества, но и там я по-прежнему не чувствовала себя своей.

Постепенно, однако, я вживалась в эту среду. Взаимная настороженность потихоньку исчезала. Со многими сложились умеренно приятельские отношения. Потекла вполне заурядная литературная жизнь, без особых взлетов, но и без особых падений. С хождением по редакциям, тревогами — напечатают или вернут, поставят в план или выкинут из плана. Периодически, примерно раз в два-три года, выходили книжки. Было многолетнее приятное сотрудничество с детской редакцией радио, для которой я ежемесячно писала простенькую передачу для дошкольников. Были публикации в журналах, выступления в школах и интернатах от бюро пропаганды писателей, командировки от журнала «Пионер» или «Советская женщина» с заданием написать очерк о каких-нибудь положительных явлениях нашей жизни. Но это было, скорее, иллюзией творческой жизни, халтурой для заработка.

Вдруг возникали темы, которые жгли меня, просились на бумагу, и были они отнюдь не о положительных, а наоборот

о трагических явлениях нашей жизни. Но рукописи такого рода оседали в ящике моего письменного стола без всякой надежды на публикацию. По-прежнему существовал термин: «Не проходимо». Вроде Берлинской стены. Пытаться тайком перелезть через нее — смелости не хватало. Было лишь робкое: а вдруг когда-нибудь...

Наградой за робость и послушание мне как члену Союза полагались дешевые путевки в Дома творчества, еженедельные продуктовые заказы, высокооплачиваемые бюллетени, две пачки хорошей финской бумаги раз в году, что при тогдашнем бумажном дефиците было далеко не мелочью; доступ в Книжную лавку писателей на Кузнецком, где я могла приобрести книги, не доступные покупателям не членам Союза. Были и другие льготы, о которых сейчас смешно вспоминать. Например, я имела право на меховую шапку-ушанку, которую выдавали членам Союза в литфондовском ателье. Товарищам, занимающим какую-нибудь более или менее начальственную должность, полагалась ондатровая, а мне по моему скромному рядовому рангу — кроличья.

Со временем меня начали включать в группы положительно зарекомендовавших себя писателей и посылать в республики и области Советского Союза — то на «неделю детской книжки», то на литературные семинары и конференции, то на встречи по поводу каких-нибудь торжественных дат. Я любила такие поездки. Писатели в них раскрепощались, завязывались взаимные симпатии, порой даже легкий флирт, и я в какой-то степени удовлетворяла желание почувствовать себя наконец-то своей в писательском коллективе.

Группы иногда были небольшие, а иногда — многолюдные, из разных городов — если, например, проходила декада детской литературы в какой-нибудь из Союзных республик. В таких случаях нас делили по трое-четверо и рассылали по разным городкам и поселкам республики, где мы выступали в школах, детских домах, интернатах и даже детских колониях. Поэты читали стихи, прозаики — прозу или что-нибудь рассказывали. У каждого из нас был свой репертуар, выработанный прежними выступлениями. Владимир Разумневич, например, обычно рассказывал что-нибудь завиральное про Василия Ивановича Чапаева — он писал книжки об этом знаменитом герое граж-

данской войны. Борису Камову, автору книжек об Аркадии Гайдаре, не давала покоя якобы куда-то пропавшая во время войны сумка Гайдара, таинственная сумка, в которой, как предполагал рассказчик, хранилась главная, заветная рукопись писателя-героя. Когда рассказчик с неиссякаемым энтузиазмом в пятый, восьмой, десятый раз в тех же словах и с теми же интонациями принимался рассказывать историю поисков этой мифической сумки, нам, его спутникам, хотелось его слегка придушить.

Андрей Усачев пел под гитару свои песенки, а один писатель из Литвы ничего не читал и не рассказывал, а играл на дудочке. В целом мы были похожи на подхалтуривающую труппу провинциальных артистов.

Советская глубинка открывалась нам в этих поездках во всей своей нищете и убогости. Облезлые пятиэтажки, за которыми прятались старинные, когда-то богатые, а теперь жалкие, полуразрушенные купеческие особняки, угрюмые очереди за куриными головами и лапами, пьянство, нищая интеллигенция, а над всем этим кумачовые лозунги: «Народ и партия едины!», «Слава КПСС!», «Претворим в жизнь решения XXIV съезда КПСС!»

В каждом городе для нас устраивались непереносимые приемы в райкоме или горкоме партии, где вышколенные секретарши приносили нам чай с пирожными, а величественный первый секретарь рапортовал про бесконечное улучшение жизни народонаселения.

В последние дни мероприятия нас всех собирали в столице республики, размещали в лучшей гостинице, и высокое руководство устраивало в нашу честь торжественное действо с обязательным возложением венка к памятнику Ленина, пышными застольями, славословиями в адрес родной коммунистической партии и лично Леонида Ильича Брежнева, с праздничным концертом в лучшем Дворце культуры города.

Почти всех нас тошнило от этой показухи, особенно, когда мы вспоминали голодные глаза сирот из детских домов и похмурые, бледные лица подростков из детских колоний. Но мы соблюдали правила игры и исправно нажирались на всех устраиваемых в нашу честь банкетах, а многие и напивались.

Обычно меня объединяли в одну группу с Леонидом Яхниным. Мы с ним раньше были знакомы через Шуру Червинского: они оба закончили архитектурный институт, оба вскоре оставили архитектуру ради высокой словесности. Шура ушел в кинодраматургию, а Лёня обрел себя в жанре дошкольной поэзии и прозы. Он был обаятелен, дружелюбен, покладист, обладал чувством юмора, умел смягчать возникавшие порой в наших выездных бригадах конфликты. За годы наших совместных поездок мы с ним хорошо сработались, стали чем-то вроде эстрадной пары. Он читал непритязательные стишки, рассказывал что-нибудь смешное, остроумно отвечал на вопросы. А я брала аудиторию байками на геологические темы. У меня было несколько таких дежурных баек, самая любимая — о ядовитой фаланге, обитающей на полуострове Мангышлак. В районах, где мы выступали, подобных насекомых не водилось, и я давала волю фантазии.

Вообще-то, фаланга — насекомое довольно безобидное, хотя запросто может сгрызть небольшую ящерицу. Но за годы моих выступлений она обросла такими развесистыми подробностями, что, в конце концов, превратилась во что-то вроде трехголового Змея Горыныча, пожирателя геологов.

Не знаю, как Лёня выдерживал эту мою чуть ли не на каждом выступлении повторяемую историю о кровожадном степном драконе. Возможно, ему хотелось меня придушить, как и автора притчи о мистической сумке Гайдара. Но он был добрый и терпел. Дети, однако, слушали, раскрыв рты.

В конце концов по сравнению с окружавшей нас идеологической брехней моя фаланга была невинным романтическим вымыслом, и я не слишком угрызалась совестью.

Эта фаланга кормила меня много лет (от бюро пропаганды мне платили 15 рублей за выступление), и я до сих пор вспоминаю о ней с благодарностью.

С незатейливыми Лёниными стишками и моей фалангой (конечно, я и тут преувеличиваю, у меня и кроме нее было много разных историй) мы с Лёней объездили множество городов, побывали даже на Таймыре. Часто после выступлений нам дарили что-нибудь из местных деликатесов: копченую рыбку где-нибудь в Норильске, по поллитровой банке красной икры в Гурьеве. Это были щедрые подарки, потому что в

местных магазинах, как и всюду в стране, с продуктами было очень плохо. Да и в Москве о подобном в те годы можно было только мечтать.

По возвращении мы разбредались по своим семьям. Я — к Вите и детям, Лёня — к своей очередной жене — он их в те годы менял довольно регулярно, ухитряясь при этом проводить вечера в ЦДЛ с друзьями. Наши дружеские отношения угасали — до следующей поездки. При встречах радовались, говорили общие слова — и расходились. Тяги не хватало, чувства необходимости. Снова ущемленно и неприкаянно чувствовала я себя в писательской среде, плотной и отталкивающей, как вода Мертвого моря. Хотя всегда можно было пойти в ЦДЛ на интересный концерт, выставку, хороший фильм. В уютном кафе со стенами, разрисованными дружескими шаржами, исписанными автографами знаменитостей, просиживали вечера завсегдатаи клуба, пили, шумели, ссорились, рассказывали анекдоты. Они тут были свои. А меня строгие церберши при входе в Дом литераторов демонстративно каждый раз не узнавали и требовали предъявить писательский билет. Нюхом чуяли, что я тут «не своя».

Чтобы стать «своей», мне элементарно не хватало времени. То и дело приходилось пропускать какие-то интересные или важные литературные мероприятия, где можно было бы при некотором старании обратить на себя внимание тех, от кого что-то зависело в моей литературной карьере. Из двух необходимостей — литературное вращение и семья — важнее, как правило, оказывалась семья со школьными родительскими собраниями, проверкой уроков, болезнями, стоянием в очередях, стиркой, готовкой и прочими домашними радостями. Итак я жертвовала семьей, разъезжая по выступлениям и командировкам.

Какие там посиделки в Доме литераторов. Посидеть бы спокойно над рукописью, пожить часа хоть три в день в свободном пространстве, чтобы никто не мешал. Эти утренние часы за письменным столом, когда дети в школе, родители на даче, муж на работе, были, пожалуй, единственными, только мне принадлежащими часами. Я садилась за письменный стол и благоговейно погружалась в свой мир. Но часто, в тот самый миг, когда хрупкая мысль только-только сформировалась в

нужную фразу и остается лишь записать ее, вдруг раздается телефонный звонок:

— Анна Владимировна? Это завуч! Ваш Андрей взорвал в туалете «дымовушку»! Нет, это не просто хулиганство! Это осознанное вредительство! Советую вам немедленно прийти в школу, иначе мы вызовем вас на педсовет и проведем показательный суд!

И не записанная мысль растворяется в воздухе, надо бежать в школу выручать сына.

Или подруга (хотя умоляю всех знакомых не звонить мне до двух):

— Ой, ты работаешь, прости, я забыла! Я только хочу спросить...

И прощай творческий настрой.

Но изредка случались периоды, когда никто не болел, ничто не мешало, и до прихода детей из школы оставалось время поплавать в бассейне «Москва», а на обратном пути обдумать завтрашний кусочек, и тогда мне казалось: вот оно — счастье. Не важно, опубликуют то, что я пишу, или нет. Опубликуют — радость. Но радость — категория куда меньшая, чем счастье. Радость, так же, как и смех — по Шопенгауэру, — всего лишь разменная монета счастья. Поэтому, если не опубликуют — меня лишат только радости, а счастье творчества останется.

Не исключено, что эта сомнительная философия возникла еще и потому, что я имела возможность работать не ради куска хлеба. Мы с Витей не бедствовали, а главное, знали, что в случае нужды — родители с радостью помогут. Так уж сложились обстоятельства, мне просто повезло. Но и лишило меня инициативы, выработало жизненный принцип — плыть по течению, жить так, как жизнь «везет», всё и так исполнится. А не исполнится — значит, к лучшему.

Как ни удивительно, многое исполнялось, хотя всегда позже, чем этого хотелось бы. Так, в конце концов, было опубликовано всё, что много лет пролежало в моем письменном столе. Но это случилось уже в девяностые, в эпоху «гласности», когда Берлинская стена пала, когда на страницы журналов хлынул поток ранее «не проходимой» литературы. И в этом потоке мои повести мелькнули, мало кем замеченные.

Но иногда быт заедал до такой степени, что я впадала в не-
свойственное мне болезненно-мрачное состояние. Так было
вскоре после Германии, в 73-м и, особенно, после смерти ма-
мы, в 77-м. И оба раза Витя брал на себя ответственность за
моего отца и детей и отправлял — нет, не в Дом творчества, где
я двадцать четыре дня была бы окружена все теми же отчуж-
денными писательскими физиономиями, а к своим ребятам, в
геологическую партию на полевой сезон, месяца на три, а то и
больше, в тайгу.

И тайга меня вылечивала.

Тайга, 1977 год

«Надо всячески избегать непрерывного
давления на психику, необходимо
«отпускать» человека, как отпускают
сталь, чтобы не сделать ее слишком
хрупкой. Так, надо «отпускать» женщин,
постоянное психическое давление забот
на которых ведет к истеричности и
поступкам низкого морального уровня».

Иван Ефремов. «Лезвие бритвы».

В горах иное понятие о расстоянии. Какие-нибудь
сорок метров подъема даются тяжелее нескольких километров
ровной дороги. О, этот микромир напряженных шагов вверх по
крутому склону, когда ты уже совершаешь труд, но это еще не
работа, а только «подход» к ней. Сейчас еще я могу обойти наи-
более крутой участок зигзагами, облегчив себе путь, а когда
начнется работа, надо будет идти так, как диктует профиль.
Сейчас еще магнитометр у Сашки, моего напарника, и я могу
позволить себе поскользнуться на осыпи и съехать вниз на жи-
воте, а потом, цепляясь обеими руками за корни, всползти об-
ратно. Но вот идущий впереди Сашка останавливается у начала
профиля и передает мне магнитометр. Я устанавливаю треногу
над первым пикетом и беру первый отчет.

Профиль тянется на километр. Когда я ставлю, вернее ввин-
чиваю, ногу в мелкую сыпучую гальку, подтягиваю другую (а в
руках дорогостоящий прибор, который должен постоянно быть

в вертикальном положении), когда, едва сохраняя равновесие и стараясь не смотреть вниз, чтобы не закружилась голова, и вверх, чтобы не пасть духом при виде крутизны, на которую мне еще лезть и лезть, балансирую на каком-нибудь выступе, в голове моей возникает трезвая мысль: на кой мне всё это надо? Мать двоих детей, член Союза писателей карабкается куда-то вверх с тихим матом сквозь зубы, останавливается через каждые несколько шагов, прикидывает глазом к объективу, крутит какие-то винты, диктует студенту какие-то цифры, которые ни на чёрта ей не нужны. Солнце палит ее тронутую сединой (крашеную) голову, комары вьются над ней тучей и кусают во что ни попадя... Ну, ладно бы, сопки не такие крутые, или там бурный роман на склоне лет. А то ведь нет! Так ради чего же?!

Это из меня выплавляются городской жирок, физическая растренированность, тяготение к телесной праздности как к отдыху от городской нервотрепки. Сойдет сто потов, тело станет сухим, легким и послушным, дыхание глубоким и спокойным, и я уже не стану задавать себе этого вопроса.

Напарнику моему, или, как здесь принято говорить, «маршрутной паре», Сашке, двадцать пять лет. Он отслужил в армии, сейчас учится в МГРИ. Это его студенческая практика. Когда каждый день с утра до вечера ходишь вдвоем по тайге, важно, как минимум, чтобы партнер был не тупой, не угрюмый, хорошо ориентировался (я ориентируюсь плохо), брал на себя физически тяжелую часть работы. Всем этим качествам Сашка отвечает. Плюс к этому — он хорош собой, у него иронически-философский склад ума и интерес к поэзии. Отношения у нас подчеркнута дружеские, даже доверительные. Да и как иначе, если ему приходится порой за руку втаскивать меня в гору и приносить из ручья воду в консервной банке, когда я валяюсь на вершине с высунутым языком. И благородно никому об этом не рассказывать в отряде.

Конечно, флюиды так и рвутся с поводков, несмотря на разницу в возрасте. Она тут не очень и чувствуется. Сашка — не мальчик, а ко мне как-то вдруг вернулись ощущения молодости. Ничто не помешало бы нам (кроме, разве что, комаров) отбросить условности и предаться тому, что с некоторых пор упрямо входит в язык под пошлым названием «заниматься любовью». Но это только нравственно осложнило бы гармо-

нию наших отношений. Сашка влюблен в свою девушку, которая ждет его в Москве, а я люблю своего мужа, который, заметив, что я впала в хандру от кромешных домашних забот, не просто отпустил, но настоял на этой поездке. С моей стороны было бы просто свинством отблагодарить его подобным образом.

...Устанавливаю уровень – воздушный пузырек, плавающий в капсуле с водой, открываю рычажок прибора, заглядываю в окуляр. Там шкала с делениями, и по этой шкале нужно взять отсчет с точностью до одной десятой. Диктую: «двадцать три и пять»... Закрываю рычажок, поднимаю на плечо прибор и – вверх, до следующего пикета. Двадцать три и один... Двадцать один и девять... Потом, на графике, этот наш путь будет нами же изображен в виде плавно-угловой кривой, похожей на электрокардиограмму, и только я буду знать, какой пот пролит за каждую точку.

Наконец-то вершина. Несколько метров по плоской поверхности, а потом начинается спуск, не легче, чем подъём. Тут приходится продирааться через проволочные заросли карликовой березы, через сырые, скользкие стволы лиственниц, лежащих вкривь и вкось друг на друге. Ботинки хлюпают в болотистом рыжем лишайнике. Комары зверствуют. Мучит жажда, но фляжки давно пусты. Иногда идущему впереди Сашке приходится подолгу искать пикет, ушедший чуть ли не целиком в болото или спрятавшийся в кустарнике.

Но вот мы в самом низу, в распадке. Здесь еще лежит снег. Поразительно – снег в тридцатиградусную жару! Где-то звенит ручей. Мы еще издали, на спуске, слышим его прохладное журчание, похожее на мелодию неприхотливой песенки. Мы ищем его по звуку и не сразу находим – он прячется под толстыми стланиковыми ветками. Сашка откладывает журнал, я отставляю в сторону прибор. Мы идем, проваливаясь ботинками в снежный наст, раздвигаем ветки.

Вот он, бежит по камешкам с уступчика на уступчик, сверкая веселыми брызгами. Мы ложимся на пружинистые ветки, и он принимает нас в свой дивный, тенистый прохладный мирок. Мы погружаем лица в ледяную воду и долго пьем, не в силах оторваться, умываемся, смачиваем волосы, шеи, руки, наполняем фляжки... Через два года в издательстве «Советский

писатель» будет опубликована моя повесть «Лотос-4». Там будет описан и этот ручей, и наши с Сашкой маршруты, и какой-то придуманный таежный роман, но в жизни без всякого романа все было куда колоритнее и острее по ощущениям.

...Новый подъем по узенькой вырубке-профилю. Рыжий лишайник и проволочные переплетения березы сменяются галькой, потом курумником — плоскими, как тарелки, крупными слоистыми камнями. Тренога на них скользит или застревает в щелях. Снова пот льет ручьями, комары липнут, и нет возможности согнать их — руки заняты. Накомарник мой у Сашки, потому что, когда работаешь с магнитометром, нельзя иметь при себе ничего металлического, а у накомарника полы шляпы надеты на металлический обод. Еще шаг вверх, еще шаг...

Впереди маячит обтесанная на конце вешка — конец профиля. Последний замер на последнем пикете — и мы садимся на горячие камни. Медленно выравнивается дыхание. Сердце перестает стучать в горле и возвращается на свое место. Ветер отгоняет кровососов. И я вижу: горячий воздух струится над камнями. Нежным фосфорическим светом голубеет сухой ягель. Нет, он, скорее, зеленовато-бирюзовый, хрупкий. Сожмешь в ладони или наступишь — рассыпается в труху. На этом нежном курчавом ковре контрастной сочной зеленью выделяются мохнатые лапы кедрового стланика с бархатными бордовыми шишками, глянцево темнеют кустики брусники с ярко-красными, еще незрелыми ягодами. Вокруг разбросаны остовы древесных стволов и вывороченные, высохшие добела корни, словно изваяния скульптора-абстракциониста. Сопки переходят одна в другую, становясь чем дальше, тем прозрачнее, нежнее, воздушнее, пока не исчезают в бесконечной дымке. И я уже не задаю себе вопрос — на кой мне это надо. Пусть мне завидуют те, кто не видит этого совершенства таежной, не изувеченной людьми, дикой библейской природы.

Отдохнув, мы переходим на следующий профиль, и все повторяется сначала, только в обратном направлении — от последнего пикета к первому.

В середине дня — обеденный отдых у ручья, возле маленькой палатки-маршрутки. В ней рабочие оставляют на ночь свой инвентарь — топоры, катушки с проводами, теодолит, ко-

лышки для пикетов. Перед палаткой — кострище с воткнутой вкось палкой, закопченный чайник, кружки. Сашка разжигает костер. Ягель вспыхивает как бумага, сухие до звонкости сушня и корни тут же занимают и начинают бездымно потрескивать. Огня почти не видно на ярком солнце. Сашка набирает воды из ручья и вешает чайник на палку. Вынимает из рюкзака буханку хлеба, банку тушенки и банку сгущенки. Через пять минут вода закипает, мы сыплем в нее чай из пачки, кладем тушенку на хлеб, а сгущенку в кружки. Хлеб ноздреватый, с кислинкой, вчера испеченный нашим отрядным пекарем. Мы мажем руки и шею рипудином от комаров. В маршруте эта жидкость бесполезна — смывается первым же потом, а на стоянках помогает. Мы неторопливо едим, удобно расположившись, я — на белом, гладком стволе, Сашка — на земле, подстелив свою зеленую куртку с буквами МИНГЕО, пьем чай и разговариваем. Нам интересно друг с другом. У нас разный жизненный опыт, но взгляды на многое совпадают. Иногда не совпадают, и мы пускаемся на поиск истины, как лорд Гленарван на поиск капитана Гранта. Магнитометр стоит в сторонке, уставив в небо объектив. Тоже отдыхает.

Третий профиль дается мне обычно легче первых двух, потому что последний и потому что солнце уже не печет.

Обратный путь занимает примерно час. Мне почти доставляет удовольствие идти, болтая, налегке (магнитометр у Сашки), перешагивать через валежник, перепрыгивать через ручейки. Словно тайга, забрав у меня мои жалкие силы, влила взамен новые, более качественные.

Сквозь деревья белеют палатки лагеря. Дым от кухонного костра стелется понизу, окутывает подножия стволов белым туманом. Повар, он же и пекарь, Николай, складный, чернобородый, в косынке, повязанной на голове по-пиратски, встречает нас широкой улыбкой и говорит:

— Давайте, садитесь! Борщ сегодня отменный получился! А тебе, Аннушка, я специально пончиков напёк. Знаю, ты любишь!

В отряде девять мужчин и три женщины. Кроме меня — Лена, жена начальника отряда, и двадцатипятилетняя Светка, всё свободное время строчащая письма своему мужу-археологу в Монголию. Тут принято шутиливо считать, что женщины в

тайге — не столько для работы, сколько для облагораживания, чтобы мужчины не дичали. Мы здесь — «слабый пол», это подчеркивается и ничуть не обижает. Нам отдают лучшее, не позволяют носить тяжести, берут на себя всю мужскую работу, дарят разные таежные находки или, вот как сегодня, — пекут пончики специально для меня!

— Банька сегодня отменная! — говорит Николай. — Горячей воды навалом. Иди, Аннушка, мужики уже напарились, а Лена со Светой еще до них помылись.

Лагерь напоминает деревеньку. На веревках, протянутых между деревьями, сушатся рубахи, портянки, вкладыши от спальных мешков. Возле каждой из пяти палаток сложены аккуратные поленницы. Из тонких коленчатых труб, выведенных наружу через брезентовые крыши, тянутся дымки от топящихся печек. Бродят животные: рыжая лайка Найда, взятая из Охотска, и серо-полосатый старый кот Мюллер, которого наш начальник и его жена каждый год берут с собой в поле. Громко вещают по приемнику ничем не заглушаемые «вражеские голоса». Рабочие играют в домино и комментируют услышанное. Вокруг, как в песне поётся, тайга, одна тайга, и мы посередине. Раз в две-три недели прилетает вертолет, привозит почту, горючее, продукты, забирает почту, а по всем остальным дням утром и вечером из палатки радиста раздаётся по рации:

— «Ликёр-21», я «Лотос-4», как слышите меня, приём! — единственная связь с тем миром, по которому мы отнюдь не скучаем.

Баня — четырехместная палатка с навесом и бревенчатым настилом — на берегу ручья, метрах в двухстах от лагеря. Перед ней в железной, укрепленной на камнях бочке кипит над костром вода. Бочка с холодной водой стоит внутри. Тут жарко трещит дровами железная печка, засыпанная раскаленными камнями. У стены — лавка, на ней тазы, ведра, березовые веники. Раздеваюсь под навесом, плещу водой на камни, они шипят, горячий пар блаженно охватывает тело...

Завернувшись в полотенце, выхожу под навес, сажусь на бревнышко. Горбатая сопка на том берегу напоминает громадного медведя. Громко кукует кукушка. Я будто возвращаюсь к самой себе от недавнего задержанного, замотанного существа с

оттянутыми хозяйственными сумками руками, с тупым чувством хождения по кругу..

Насмотревшись, наслушавшись, надышавшись, выстирав бельишко, иду к своей палатке. Рабочие провожают меня глазами. Ветерок чувственности струится вокруг меня, как воздух над нагретыми солнцем камнями, накрывает тайной грешной волной. Мне нравятся эти мужики. Мы понимаем друг друга, и это делает наши отношения открытыми и доброжелательными, что отнюдь не отвергает обжигающих эмоций, которые чувствуются даже на расстоянии и говорят о том, что огни ничуть не погасли, им только не хватало тяги. Эти мужики тоже оставили в городе свои заботы и неурядицы, а здесь отмякли, оттаяли, успокоились, поздоровели, отрастили бороды и вписались в окружающее.

В палатке Светка пишет за столом очередной отчет-исповедь мужу. На ее самодельной полочке — стопка писем, блокнот, ветка кедра в высокой жестяной банке. Мы делимся впечатлениями дня, после чего Светка возвращается к письму, а я ложусь на свои нары поверх спального мешка, беру толстую затрепанную книгу, которую мне дал Сашка, — фантастический роман Ефремова «Лезвие бритвы», раскрываю на заложенной странице и натываюсь на фразу, которую вынесла в эпиграф. И думаю о том, что эти слова Ивана Гирина, героя романа, я выбила бы золотыми буквами на мраморе. И учредила бы медаль для тех мужчин, которые «отпускают» своих женщин, предохраняя их от истеричности и низких моральных поступков. И в первую очередь я наградила бы этой медалью своего мужа. За то, что «отпустил» меня, и таежный ветер развеял мою депрессию и вдохнул в меня дыхание второй молодости.

10 сентября, 1981 г.

Удивительное, счастливое ощущение присутствия отца и мамы. При каждой своей радости или благовидном поступке я вспоминаю их, и они мне словно улыбаются о т т у д а, радуются вместе со мной. И тому, что Андрюша с увлечением учится в институте, и тому, что Максим процветает в своей театральной студии, и тому, что у Вити напечатали стихи в «Литературной газете» — всему, всему, даже новой одежке какой-нибудь.

И такое ощущение, что жизнь под незримым их наблюдением «везет» меня бережно, лишь изредка ударяя о камни. А я сижу на корме своей лодочки и отдаю ее неспешному ходу.

Вот мне уже и сорок шесть лет.

Нет, не буду жаловаться на то, что судьба произвела меня на свет женщиной. Столько грубости и грязи вокруг, а придешь домой, снимешь туфли, наденешь шлепанцы — и погружаешься в теплый, домашний мир. Мне стали нравиться ритуалы: ритуал заваривания чая и разливания его по чашкам; ритуал приветствий и прощаний. В бесконечной суете — островки спокойствия. Тихие причалы. И вот мы сидим за столом на кухне, болтаем, смеемся. И душа моя радуется, хотя всего час назад меня турнули из подростковой редакции «Молодой Гвардии», причем в весьма хамской форме. Я принесла рукопись, Адель Алексеева, заведующая, заставила меня долго ждать в коридоре, а когда, прождав полчаса, я вошла без зова, она спокойно пила чай, а протянутую рукопись даже не взяла: «Что вы, Аня! У вас же только год назад вышла книга! Обратитесь в другое издательство, а к нам раньше чем через два года и не приходите!»

Я брела к метро, и вся моя философия рушилась от обиды, как поросычий домик из соломы. Исчезла перспектива увидеть новую книжку, которую я уже себе представляла: толстенькую, с картинками и, главное, неплохую книжку, интересную.

А дома — дружно, тепло, я оттаиваю и думаю: что такое не-принятая рукопись по сравнению с семейным счастьем?

Оглядываюсь на своих знакомых, и ни у кого не нахожу подобной гармонии отношений. Нет, есть, безусловно, но мало, и они не кричат о ней, потому что это было бы бестактно по отношению к большинству. И я не кричу. Но самой себе-то я могу это сказать.

Иногда я думаю: что, если бы мне достался другой вариант судьбы? Ради интереса я хотела бы испытать несколько несбывшихся.

Например, вариант знаменитой писательницы. А что? В конце концов, если чего-нибудь очень сильно хочешь и добиваешься, то добьешься. Это я знаю даже по собственному весьма небогатому опыту.

Хотела бы я, чтобы меня узнавали, показывали по телевизору, брали интервью и просили автограф? С некоторой долей сомне-

ния скажу — нет. Здесь, кроме всего прочего, нужны особые свойства характера, которые у меня отсутствуют: высокая самооценка, напористость, честолюбие, тщеславие, умение войти в контакт с нужными людьми. Мне больше по характеру жить тихо и в серединке, никого не напрягая и самой не напрягаясь. Гоняться за успехом — только себя унижать. Конечно, мне бы хотелось написать что-нибудь такое, что стало бы литературным событием, чтобы обо мне заговорили. Но не написала. Таланта не хватило.

Еще один несбывшийся вариант судьбы — остаться женой добившегося известности и достатка нелюбимого мужа-поэта.

Скорее всего, я постепенно прогнулась бы под него, приняла правила его игры и со временем вполне могла бы превратиться в самодовольную, высокомерную светскую хамку, которых насмотрелась во множестве и про которых знаю точно: они ничуть не счастливее и не свободнее «простых», не высокопоставленных жен, только злее и трусливее, потому что боятся потерять то, что имеют.

Третий вариант — большой старинный дом с колоннами на Зубовской, рядом с книжным магазином «Прогресс». Году в 1958-м меня привел в этот дом студент-биолог, кажется, его звали Саша. Или Юра. У него были относительно меня серьезные намерения, и он решил познакомить меня со своей мамой, профессором энтомологом. (Одна стена большой комнаты была увешана застекленными коробками с мертвыми бабочками сказочной красоты.) Я не знала, что пришла на смотрины, вела себя, может быть, слишком развязно, и маме не понравилась. Это еще не решило бы дела, но сам юноша мне не очень нравился — худосочностью, застенчивой настырностью. И дело рассосалось.

А если бы... Кто знает. Говорили, у него выдающиеся способности. Может, он стал знаменитым ученым, и жила бы я теперь где-нибудь в Нью-Йорке или Бостоне.

Но была бы уже не я.

Из всех вариантов (думаю я теперь) я бы выбрала свой, состоявшийся.

Ни знаменитость, ни богатство сами по себе не делают человека счастливым, а у меня с годами все чаще возникает сознание того, что я счастлива. Может быть, дело в мироощущении. В годы отрочества и юности я была так закомплексована,

так убеждена в том, что некрасива, никогда никому не смогу понравиться, не достигну ничего в жизни, что теперь, обретя хорошую, полноценную семью и достигнув — не Бог весть чего, но все-таки чего-то, — я благодарна судьбе и даже удивляюсь, что она оказалась так щедра ко мне. Другие многого ждут, а осуществляется не многое, и они не удовлетворены, разочарованны, несчастны. А я вообще ничего не ждала, и вдруг мне такое. Ну как не благодарить судьбу за то, что я встретила Витю, с которым мне всю жизнь легко, свободно и надежно, за то, что он подарил мне интересную жизнь, за то, что у нас хорошие дети.

Перед этой, не знаю за что дарованной мне удачей, меркнет то, что я не стала «явлением в литературе».

Поселок, 70-е годы. Закат

Семидесятые годы прошли по поселку «Советский писатель» смертельной косой.

Открыл этот грустный счет в августе семидесятого Николай Робертович Эрдман.

В июле семьдесят первого умер Геннадий Семенович Фиш.

В ноябре скончался кинорежиссер Михаил Ильич Ромм.

В мае семьдесят второго умер Виктор Юзефович Драгунский.

Прощание

В декабре семьдесят первого не стало Александра Трифоновича Твардовского.

В июне семьдесят первого ему исполнилось шестьдесят. После разгрома «Нового мира» он перенес инсульт, речь не восстановилась, правая часть тела не действовала. Последнее свое лето он жил на даче. За ним ухаживали жена Мария Илларионовна и дочери, Оля и Валя. В день его юбилея к ним на дачу не иссякал ручеек желающих поздравить поэта и, может быть, в последний раз увидеть его живого. Потому что уже прошел слух, что его доканывает рак.

Мы с отцом тоже пошли его навестить. Я нарвала букет пионов. Мы подошли к дому пять по Средней аллее. Дом стоял в глубине участка, к нему вела дорожка из плиток. Было часов одиннадцать утра. Мария Илларионовна пригласила нас в большую комнату. Александр Трифонович сидел в кресле у окна. Редкие седые волосы аккуратно зачесаны, клетчатая летняя рубашка застегнута на все пуговицы до самого горла. Голубые глаза смотрели приветливо. Уголок рта на мучнисто-бледном, одутловатом лице чуть-чуть дрогнул, то ли в улыбке, то ли в попытке что-то сказать. Он протянул нам левую руку, и мы с отцом ее пожали. Мария Илларионовна, небольшого роста, подвижная, с узлом густых седеющих волос на затылке, несуетливо хлопотала: поставила цветы в кувшин, пододвинула нам стулья, поправила мужу свисшую правую руку, принесла нам с отцом по стакану холодного компота и поставила на столик у кресла, заговорила с нами просто и о простом – спросила о моих детях, о том, хорошо ли у нас цвели этой весной яблони. Она адресовалась и к нам, и одновременно к Александру Трифоновичу, как бы включая его в этот легкий, незначительный разговор. Я что-то отвечала. Не о том же нам было говорить при больном человеке, как партийная власть расправилась с ним, довела до нынешнего состояния. Все это уже свершилось и не требовало комментариев.

Александр Трифонович благожелательно слушал и, казалось, глазами принимал участие в разговоре.

Было тягостно видеть этого еще недавно сильного, властного, полного жизни человека в нынешнем состоянии и поддерживать никому, в общем, не нужную беседу.

Просидев минут пятнадцать, мы встали. Он снова протянул нам по очереди левую руку, и я до сих пор помню слабое прощальное пожатие его мягкой, сухой ладони.

Мария Илларионовна проводила нас до калитки.

Вечером того же дня, гуляя с трехлетним Максимом, я увидела, как из калитки дачи Твардовских выходят те, кто много лет сотрудничали с ним в журнале и были выброшены из редакции все той же партийной властью.

Они остановились недалеко от калитки, три немолодых плачущих мужика – Борис Закс, Алексей Кондратович, Евгений Герасимов.

Я поскорее прошла мимо, отвернувшись.

«Эти летние дожди»

В декабре семьдесят второго умер поэт Семен Исаакович Кирсанов.

Маленького роста, пожилой, но еще крепкий, со щеточкой седых усов и ежиком седых волос Кирсанов любил одеваться ярко, пижонисто. В молодости он был футуристом, выступал с Маяковским и Хлебниковым. Может, от времен «желтой кофты» и «пощечин общественному вкусу», а может, комплексовал из-за своего роста, но в нем было это стремление выделиться, обратить на себя внимание и внешностью и стихами. В ранней поэзии он был трюкач, мастер поиграть словами, и это тоже у него осталось, но он знал, в каком государстве живет, и когда футуризм был осужден и идейно разгромлен, вписался в систему и поднял знамя верноподданного Советского поэта. Писал о пятилетках, о героях труда, воспевал советские стройки. Во время войны работал во фронтовой газете, писал о подвигах и о победе. Это принесло ему многие блага — Сталинскую премию, ордена, материальный достаток, многочисленные издания книг, разве что сделало его характер язвительным и циничным.

Все равно поэт он был замечательный, со своей изощренной манерой, узнаваемым голосом. Поразительна его поэма «Дельфиниада». Ассонансные рифмы, «трюкачество» и полиндромы, за которые ему всегда доставалось от критики, позже триумфально вошли в поэзию молодого Андрея Вознесенского, чьим предтечей он, возможно, был.

В шестьдесят лет он женился на молодой, очень красивой девушке. Никто не сомневался, что красотка вышла за этого траченного жизнью старого пижона из-за денег. Он, без сомнения, и сам знал, на что шел. Но это было в его характере — шокировать стихами и поступками. Она, однако, родила от него сына.

И вдруг он тяжело заболел. У него обнаружили рак гортани.

Оперировал его какой-то знаменитый онколог, и была надежда на то, что удастся избежать метастазов. Но уже редко можно было увидеть поэта на аллеях поселка, он сник, потерял кураж. Красавица-жена по три раза в году отдыхала в до-

мах творчества, предоставляя ребенка заботам своей матери, а мужа — заботам его шофера.

Летом семьдесят второго года мы с Ириной Радунской пришли к Кирсанову на дачу, расположенную в конце Южной аллеи. Нам с ней поручили собирать с пайщиков деньги на ремонт водокачки. Идти мне не хотелось, но как раз недавно меня избрали членом правления кооператива, и надо было доказать, что я достойна этой высокой чести.

Мрачноватый дом красного кирпича стоял в тени старых высоких елей и был похож на небольшой замок. Сходство с замком придавали и эта мрачноватость, и башенка на крыше, и узкое овальное окно на фронтоне. Над трубой силуэтом красовался жестяной корабль под треугольным парусом.

После теплого летнего дождя светило яркое солнце, но большое окно гостиной выходило в густые еловые заросли, и в комнате было сумрачно. Горел высокий торшер под картонным гофрированным аляповато раскрашенным абажуром.

И поэт был сумрачен, под стать своему жилищу, хотя одет ярко, в стиле своего торшера — клетчатая красно-зеленая куртка, зеленый платок вокруг шеи. А лицо больное, измученное. Ему было шестьдесят пять лет.

Ирина Радунская, рыжеволосая, эффектная, самоуверенная молодая писательница — у нее только что вышла книга про научные открытия в области физики, и она гордо вручила ее поэту с дарственной надписью — энергично заговорила о порученном деле, вкусно выговаривая слова «водонапорная башня», «утечка воды», «более мощный насос», «общая сумма»...

— Да вы садитесь, девочки, — сказал поэт, и стало видно, с каким трудом дается ему каждое слово, как больно ему сглатывать и произносить звуки. — Все это ерунда. Сколько нужно внести? Садитесь. Я хочу вам прочесть свое последнее стихотворение...

Он читал очень тихо, почти шепотом, в горле у него сипело при каждом вдохе, он касался бледной, в старческих пятнышках, рукой зеленого шейного платка, словно пытался облегчить боль, которую причинял ему каждый произносимый звук.

Стихотворению этому предстояла долгая жизнь, оно стало музыкальным хитом, а тогда оно прозвучало для нас как последнее «прости» умирающего поэта оставляемому миру:

Эти летние дожди,
эти радуги и тучи –
мне от них
 как будто лучше,
будто что-то впереди.

Будто будут острова,
необычные поездки,
на цветах –
 росы подвески,
вечно свежая трава.

Будто будет жизнь, как та,
Где давно уже я не был,
На душе,
 Как в синем небе
После ливня – чистота...

Но опомнись – рассуди,
Как непрочны,
 Как летучи
Эти радуги и тучи,
Эти летние дожди.

...Мы с Ирой шли по аллее и молчали. Солнце слепило, летний день после дождя был так хорош, словно сулил нам в будущем одну только хорошую погоду.

Неразлучно и навсегда

В сентябре семьдесят девятого умер Алексей Яковлевич Каплер.

Мужественный человек, он старался как можно дольше не показывать близким своих страданий. У него был рак поджелудочной железы.

Лена, его падчерица, вспоминает:

– Он держался до мая. В мае слёг. Положили его в больницу в Филях. Плохонькая была больница, но врачи хорошие.

Мать четыре месяца не отходила от него. Вся в комок собралась. Она, когда случалось несчастье, становилась жесткая, даже злая — не подходи. Может, чтобы не вызывать жалости к себе. Одиннадцатого сентября по дороге из школы я заехала в больницу. Он лежал под капельницей. От него мало что осталось. Он ведь полненький был, а тут — истощенный, в чем душа держалась. Но все равно улыбался. Не хотел огорчать мать.

Он уже не мог ничего есть. А я говорю — давайте я домой смотаюсь, блинчиков вам напеку!

— Да, — Алексей Яковлевич говорит, чтобы мать порадовать, — я бы блинчик съел.

И чего я сразу не догадалась привезти? Пока до Аэропортовской от Филей доехала, напекла, потом обратно... Вхожу в палату, а кровать уже пустая, матрас унесли, и запах хлорки...

В жизни поэтессы Юлии Друниной Алексей Яковлевич появился в пятьдесят четвертом году, вскоре после того, как его выпустили из лагеря. Лене было двенадцать лет. Мать до поры до времени скрывала от дочери свой роман, они с ней продолжали жить в одной квартире с отцом Лены, поэтом Николаем Старшиновым — больше некуда было деваться. Муж знал о романе жены, страдал, пил... Обстановка в семье была та еще. Но наконец-то Каплер и Друнина приобрели кооперативную квартиру на Аэропортовской, а Алексей Яковлевич получил еще и участок на Красной Пахре, где наспех построил что-то вроде большой временки — одноэтажный шитовой домик с тремя комнатками и верандой. Так до конца в нем и прожили, не захотели строить большой дом.

— Мать мне твердила: «Веди себя так, чтобы Алексей Яковлевич тебя не видел и не слышал! Он детей не любит!»

Я его заранее боялась. А на мое двенадцатилетие мать мне говорит:

— Посмотри в окно.

Я выглянула — и обомлела: там стоял новенький взрослый велосипед, моя мечта! С ручным тормозом, с фарой, шитками на колесах — ну, сказка!

(Вот он, до сих пор живой, чудо мое ободранное. Ему уже больше пятидесяти лет, а я до сих пор на нем по лесным тропинкам через корни — хоть бы что ему! Во, делали велосипеды!)

...Конечно, велосипед сыграл свою роль. Можно сказать, купил он меня этим велосипедом. Но и так я сразу поняла, что

мне его нечего бояться. И мы с ним подружились. Он был добрый. И детей любил.

Мне в детстве не хватало доброты. У матери характер был суровый. Можно понять: вернулась с фронта – ни кола, ни двора, у мужа туберкулез, оба студенты, денег – жалкая стипендия. А тут еще я родилась. И помощи ждать неоткуда. Им нужно было как-то пробиваться, они всю душу в стихи вкладывали, на меня не оставалось.

Вот за что я матери благодарна – за то, что привела меня девочкой в конно-спортивный манеж и посадила на лошадь. В сущности, подарила мне любимую профессию.

(Лена закончила ветеринарную академию. Работала зоотехником, спортивным тренером, была мастером спорта по коню.)

...А так я от матери ласки не видела. К тому же, она в свои тридцать пять выглядела на двадцать, а я к двенадцати годам длинная вымахала, нескладная... Она меня стеснялась. Пока не появился Алексей Яковлевич.

Каплер к моменту встречи с Юлией Друниной был вполне успешен: за ним стояла слава автора эпохальных фильмов о Ленине, он преподавал во ВГИКе, по его сценариям снимались фильмы, в том числе нашумевший «Человек-амфибия» и забавная комедия «Полосатый рейс», он был душой популярной телевизионной программы «Кинопанорама».

Умнейший, ироничный, добрый и светлый человек, который, по его же словам, «изучил любовную тему со всеми тонкостями», имевший когда-то несчастье влюбить в себя юную дочку Сталина, отсидевший за это много лет в Воркутинском лагере, он влюбился в резкую, диковатую красавицу-поэтессу в буквальном смысле слова по гроб жизни.

Он был старше Юлии на двадцать лет. У него было сумасшедшее мужское обаяние, не подвластное возрасту. Под жаром его любви она раскрылась и как поэтесса и как женщина.

Каждое лето они ездили в Коктебель, оттуда пешком ходили в Старый Крым и брали с собой Лену. Втроем они совершали многокилометровые пешие походы. Юлия впереди, они – за ней. Лена, худая, длинноногая, едва поспевала за матерью, а каково было полноватому, пожилому Алексею Яковлевичу! Но Юлия шла и шла крутыми горными тропами, и он послушно

карабкался за ней, задыхаясь и обливаясь потом. Она не позволяла ему почувствовать себя стариком. Да он никогда и не был стариком. Она продлила ему молодость.

С его уходом Юлия Друнина лишилась стержня, смысла, основы, света своей жизни. Каждый год бывала на его могиле. Двенадцать лет боролась с тоской. Однажды ей показалось — нашла человека, чем-то похожего на него. Сошлась с ним, а он оказался ничтожеством. Старые друзья умирали. Новую эпоху встретила с надеждой, даже попыталась включиться в какую-то общественную деятельность, но вскоре поняла, что ни она сама, ни ее поэзия этой эпохе не нужны. (И ошибалась: сейчас ее книги востребованы и переиздаются.)

Осенью 1991 года, не в силах больше жить, она покончила с собой.

Они похоронены в одной могиле на Старокрымском кладбище.

Памяти Леонида Михайловича Царева

В семьдесят восьмом году умер наш сосед, Всеволод Игоревич Авдиев, профессор, востоковед, археолог, толкователь библейских текстов. Был он человеком необщительным и не оставил о себе особых воспоминаний. Так, семенил по аллеям небольшого роста чопорный господин с тросточкой, вежливо раскланивался со встречными, а потом незаметно исчез, умер.

Дачу вдова продала журналисту-«известинцу» Эльраду Пархомовскому, писавшему острые по тем временам фельетоны, подписывая их «Пантелеймон Корягин». С новыми соседями отношения установились у нас вежливые — и только. Хотя с сыном Эльрада Сережей — вполне дружеские. После смерти родителей в конце восьмидесятых Сережа уже не в юном возрасте женился, и на даче поселились родители его жены Оли. Вот с отцом Оли, Леонидом Михайловичем, мы подружились как мало с кем из соседей.

К писательству он никакого отношения не имел, был инженером, заведовал лабораторией МАДИ, теперь на пенсии. В свои семьдесят с лишним молодец, подтянут, мужественно красив, интеллигентен, образован, мастер на все руки.

Между нашими участками мы сделали калитку в заборе и ходили — то Леонид Михайлович к Вите за нужным инструментом, то Витя к нему за техническим советом, то они к нам в гости, то мы к ним. Оля накрывала большой овальный стол под желтым абажуром, подавала чай с домашним пирогом, а после чая сидели у камина, предавались беседе. Леонид Михайлович и рассказчик был великолепный.

В сарайчике, в углу участка, он оборудовал мастерскую и там делал компрессоры высокого давления для накачивания аквалангов. Эти его компрессоры позволяли любителям подводного плавания находиться под водой вдвое дольше обычного. У него образовалась своя клиентура, и он неплохо зарабатывал. Собственно, он-то в основном и содержал семью: Оля не работала, а Сережа, хоть и закончил факультет журналистики, но как-то в этой профессии не состоялся. Занимался фотографией, и его художественные снимки изредка публиковались в иллюстрированных журналах.

Был Леонид Михайлович сыном когда-то известного чекиста Меера Трилессера, друга Дзержинского. В двадцатые годы этот несгибаемый борец с контрреволюцией организовывал шпионскую резидентуру в Японии и в Европе. В тридцать восьмом был обвинен в шпионаже и расстрелян в подмосковной Коммунарке. Теперь сын его по пути с дачи и на дачу по Калужскому шоссе мог бы свернуть на своем «жигуле» по указателю и через два-три километра увидеть место расстрела своего отца и еще тысяч чьих-то отцов и сыновей. Там теперь мемориал.

Став в семнадцать лет сыном «врага народа», Леонид Михайлович добровольцем ушел на фронт, провоял всю войну танкистом, после войны женился и взял фамилию жены, чтобы не вызывать у окружающих лишних вопросов. Теперь его жена, Олина мама, тихая, симпатичная старушка, пребывала в глубоком Альцгеймере, в замкнутом мире грез. Леонид Михайлович ухаживал за ней как за малым ребенком.

Мечтал о внуках. Мысль о том, что продолжения не будет, род угаснет, тяготила его, годы шли, Сереже и Оле было уже за сорок, и надежда угасала.

Но зато с Леонидом Михайловичем однажды произошло то, о чем мечтал поэт:

«...И может быть, на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной».

Он называл ее Нефертити.

Она была красива осенней зрелостью своих пятидесяти лет — высокая, стройная, грубоватая амазонка, синие глаза на смуглом, обветренном лице, шапка черных волос. Когда она гарцевала на своей серой в яблоках лошади, вся как натянутая тетива — глаз от нее было не оторвать.

Был у нее когда-то муж-наездник, с которым давно разошлись, была дочка, внучка, но больше всего она ценила собственную независимость, а главную свою любовь отдавала красавице-кобыле, которую вырастила из подаренной ей, когда она еще работала на ипподроме, двухлетке, которая по причине крайней строптивости должна была бы пойти на колбасу, если бы не Лена.

Она сама не осознавала своей привлекательности.

Но под восхищенным взглядом Леонида Михайловича в амазонке проснулась женщина.

Она ответила на его чувство.

От них, казалось, свет исходил, когда они были рядом — сидели за общим столом или возились с ее старой «нивой», где вечно что-то барахлило. Ему было в радость что-то для нее сделать. А она, привыкшая к самостоятельности, решительно отвергающая все посягательства на ее свободу, вдруг почувствовала как это здорово, когда о тебе заботится настоящий мужик.

На его отношении к больной жене его влюбленность никак не сказалась. По-прежнему с отеческой заботой ухаживал за ней. Они оба за ней ухаживали.

Летним утром 1998 года Леонид Михайлович вышел на крыльцо — и упал. Мгновенная остановка сердца.

Ради него она готова была взять на себя заботу о бедной, ничего не соображавшей вдове, но Оля решительно определила мать в специнтернат, где та вскоре и умерла.

А через год после ее смерти случилось то, о чем мечтал Леонид Михайлович: у почти пятидесятилетних Сережи и Оли родилась двойня. Мальчиков назвали Лёня и Миша. Когда им было три года, Сережа и Оля продали дачу и уехали с детьми в Австрию на постоянное жительство.

А с его Нефертити эта яркая и так резко оборвавшаяся поздняя любовь сотворила чудо: дочь двух поэтов, она всю жизнь

стеснялась своего поэтического дара, душила его в себе, а тут он вдруг прорвался и вспыхнул.

Ее стихи, как сама она, свободны, прямодушны и неподдельны.

Сейчас она — автор двух талантливых стихотворных сборников.

«Всё пустей впереди...»

В августе семьдесят девятого умер Константин Михайлович Симонов.

Незадолго до своей кончины он написал:

Умирают друзья, умирают...
Из разжатых ладоней твоих
Как последний кусок забирают,
Что вчера еще был на двоих.

Все пустей впереди, все свободней,
Все слышнее, как мины там рвут,
То, что люди то волей господней,
То запущенным раком зовут...

Знал ли он, что пророчествовал о самом себе? Когда он умер, стали говорить, что не было никакого рака, что Симонова можно было бы спасти, что его неправильно лечили.

Ему было шестьдесят четыре года.

В последний год своей жизни он страшно исхудал, мучительно кашлял. С глубоко запавшими глазами, с обтянутым, почерневшим лицом, но все равно красивый, статный, он выходил на прогулку с женой, Ларисой, и они медленно шли по аллеям поселка, молчаливые, сосредоточенные, очень какие-то спаянные, и здоровались со встречными так, как будто прощались.

Через полгода после его смерти, неожиданно для всех, умерла Лариса, здоровая и крепкая на вид, молодая еще женщина. Что это было? Воля Господня или запущенный рак?

Мне очень нравилась их дочка Саша. Может быть, я еще и

потому испытывала к ней почти родственную симпатию, что ее детскую кроватку, из которой она выросла, Симоновы подарили нашему годовалому Андрюше. Эта детская кроватка объединила их в моем сознании.

Саша чувствовала мое расположение, любила, встретившись на аллее, остановиться и поболтать. Манеры у Саши были простецкие, и вся она — невысокая, крепенькая, миловидная — была естественна и непритязательна как девчонка-подросток. И одевалась на даче как придется — джинсы, футболка, разношенные кеды на босу ногу. На их лесистом участке не было ни цветов, ни грядок, зато обитало штук пять подобранных собак, да еще кто-то им подкинул щенка, зная их доброту.

Растила дочку, красавицу и умницу. Назвала ее в честь покойной бабушки Ларисой. Они были как две подруги. Жили постоянно на даче. На работу и с работы Саша гоняла на старой, дребезжащей «ниве». Отвозила и забирала Ларису из школы. Могла бы приобрести машину получше, все-таки дочка знаменитого писателя. Но ей было «по фигу» на чем ездить. Так же, как «по фигу» было наводить марафет, наряжаться, изображать из себя даму.

Этот Сашин «пофигизм» ее и погубил. Долго не обращала внимания на опасные нелады в организме, а когда однажды так, к слову, пожаловалась соседке, Татьяне Александровне Гердт, та ужаснулась и сама отвезла ее к специалисту.

Но время было упущено. Операция не помогла, начались метастазы.

Как же она боролась за жизнь! Как надеялась!

Когда уже и химия перестала помогать, бросилась искать спасения к народным целителям, потом кто-то ей посоветовал обратиться к китайцу-иглоукальвателю, а когда и он не помог, нашла какую-то лабораторию в Нижнем Новгороде, где проводили жуткие опыты — погружали больного в ледяную воду, чтобы раковые клетки погибали от холода. И Саша ездила в Нижний Новгород на эти пытки.

Последний раз я встретила ее в девяносто девятом, ранней осенью, возле калитки ее дачи. Она истончилась и стала еще больше похожа на девочку-подростка, почти сверстницу своей Ларисы. Ей оставалось меньше полугода жизни.

— Я ее потихоньку готовлю, — сказала Саша о дочери. — Я ей всё объяснила про себя, и мы вместе решаем, как ей жить, когда меня не будет.

Все тот же непритязательный, спокойный тон. Как будто о чем-то повседневном. Ей было едва за сорок.

Лариса после ее смерти уехала к своему отцу во Францию, но через несколько лет вернулась. Сейчас у нее свой бизнес — магазин кормов для животных.

Виль Липатов и Таня

В мае семьдесят девятого, умер Виль Владимирович Липатов.

Виль Липатов купил дачу Шнюкова. Кто такой этот Шнюков, какое отношение имел к писательскому поселку — никто теперь не помнит. Говорят, что вроде был не из КГБ, но откуда-то в этом роде. Из внешней разведки, что ли. Ну, в общем, «боец невидимого фронта».

Во всяком случае, все очень обрадовались, что теперь вместо него в поселке появился писатель, да еще молодой и талантливый.

Виль Липатов был тогда на пике известности. Его рассказы, повести, романы печатались в толстых журналах и выходили отдельными книгами. Каждая новая публикация была событием, жадно читалась и обсуждалась. По его сценариям ставились фильмы. «Сказание о директоре Прончатове», «И это всё о нем», «Лев на лужайке», «Деревенский детектив» — это только малый перечень того, что им было опубликовано в семидесятые годы. Было в его вполне обычных по темам «производственных романах» что-то, что удивляло смелостью почти на грани риска. Хотя героями его произведений были все те же партийные секретари, директора заводов, комсомольцы, милиционеры, шла борьба за производственный план, но то, как действовали, рассуждали и мыслили его герои, шло вразрез с привычными литературными фальшивками на эту тему, во всем присутствовал какой-то неожиданный ракурс, острый, критический взгляд. Живые люди, живая атмосфера. Да просто это было интересно, талантливо и с юмором.

Липатов был коренаст, густоволос, мужиковат. Приехал в Москву из Сибири. В широкоскулом лице проглядывали черты бабушки монголки. В узковатых светлых, немного исподлобья, глазах — умная насмешка и сдержанность. Трогательно обожал свою дочку Таню, чертовски хорошенькую, с точеной фигуркой и непредсказуемым характером. Всюду таскал ее с собой, гордился дочкой. А она обожала отца. Жена, Александра Владимировна, была хирургом. Скромная, миловидная, приветливая, простоватая. Переехав из Сибири в Москву, стала работать и тут хирургом, пока не вышла на пенсию и не стала вести хозяйство на даче, помогая всем, кто обращался к ней за медицинской помощью. Но это уже после смерти мужа.

А тогда, с появлением новой колоритной фигуры, дамы нашего поселка возбудились, попробовали писателя приручить, ввести в свой круг, приглашали в гости, желательно без жены, которая была для них слишком провинциальна. Писатель вел себя с ними без надлежащей галантности, чем приобрел репутацию «типичного мужлана». Хотя дамы и признавали, что есть в нем обаяние таланта.

Скорая его смерть была для всех совершенной неожиданностью. Ему было всего пятьдесят два года. Ну, излишне выпивал, но так быстро сгореть, на пике известности! Закупорка вен, отказали почки, сердце оказалось слабым...

Виля Липатова теперь мало читают. Книги его не переиздаются. Разве что фильм «Деревенский детектив» про милиционера Анискина время от времени показывают по телевизору.

Таня Липатова — художница. Главное дело ее жизни — куклы. Сделанные ее руками, эти куклы — настоящие шедевры. Таня могла бы создать себе громкое имя, стать богатой, если бы хотела. Но она человек верующий, алчность и тщеславие — не для нее.

Молодость провела бурно, много раз была замужем. Видно, искала человека, похожего на отца, да так и не нашла. И детей не родила. Ее дети — это ее куклы. На просьбы продать какую-нибудь за любые деньги очень редко соглашается, хотя ради благого дела бывает и продает. Например, продала за две тысячи долларов куклу богатому иностранцу и тут же отдала все деньги на восстановление церкви, где настоятелем тогда

работал ее духовник. Подарить друзьям, отдать безвозмездно — другое дело. Вот и у нас стоят три ее дивные куклы, тончайшей работы, совершенно живые, каждая со своим характером. Много Таниных «детей» хранятся в Московском музее Игрушки, организованном вдовой Булата Окуджавы Ольгой.

Последние годы у Тани очень ослабело зрение, и она уже не делает кукол. Почти не выходит за калитку дачи. Пишет стихи — странные, пророческие, на грани гениальности и безумия. Читает их друзьям. Публиковать ни за что не хочет.

Старенькая Александра Владимировна, пока могла, вела хозяйство, но теперь уже сама нуждается в заботе.

Так и живут вдвоем на старой даче, скромно, достойно, помогая ближним, чем могут. Ну, и им ближние помогают. Дом чудесный, просторный, со старой удобной мебелью, с мастерской, оставшейся еще от отца, с богатой библиотекой, картинами, с крыльцом, на котором сидит и оповещает лаем о пришедших ушастая черненькая Мотья. С большим заросшим участком, где осенью можно собирать белые и подосиновики.

А семидесятые годы продолжали свой жестокий покос.

В январе семьдесят седьмого, в возрасте шестидесяти четырех лет, умер композитор Модест Ефимович Табачников.

Его песни, популярнейшие в свое время, и теперь не забыты: «Ты одессит, Мишка», «Давай закурим», «У Черного моря». Услышу — и сразу нахлынут ностальгические воспоминания — пионерский лагерь, где мы пели их хором под аккордеон, ледяные дорожки Парка Культуры имени Горького, катание на коньках под голос Клавдии Шульженко из репродукторов: «Дядя Ваня, хороший и пригожий, дядя Ваня, всех юношей моложе!..» Эпоха!

А внешне — ничего особенного: среднего роста, живчик, любитель посплетничать и рассказать анекдот. Разве что особенное, одесское, обаяние.

После его смерти на даче много лет жила его вдова Риточка, Рита Борисовна, со своей сестрой Этточкой. Они были трогательно привязаны друг к другу, и когда умерла Риточка, то на следующий день умерла и Этточка.

Женя, сын Риты Борисовны, тот самый тощий подросток,

что когда-то в квартире на Гнездниковском давился макаронами, стал врачом, дачу продал и давно живет в Штатах.

В семьдесят восьмом умер Роман Лазаревич Кармен, знаменитый кинооператор-документалист.

Чеканное, как на медали, строгое аскетическое лицо, строен, всегда подтянут, одет с иголочки, седые короткие волосы — он был очень эффектен, особенно когда проезжал мимо восхищенных дачниц в своей стального цвета иномарке — тогда иномарки были редкостью и шиком. Удивительно, что от него, такого успешного, знаменитого и красивого, ушла жена. Правда, ушла к более молодому, плейбоистому и знаменитому — писателю Василию Аксенову.

Это смачно обсуждалось в поселке.

Кармен умер внезапно, едва перевалив на седьмой десяток. Дачу унаследовала его бывшая жена. Вскоре она уехала в Америку вместе с Аксеновым. Дачу несколько лет сдавала Эльдару Рязанову, а потом продала кому-то.

В апреле семьдесят девятого не стало Лены Матусовской.

Она умерла от рака легких. Вижу ее очаровательное, нежное, одухотворенное лицо, слышу низковатый, медлительный голос... Она прожила всего тридцать четыре года. Стоя у ее гроба и глядя на молодое, изглоданное страданиями лицо, я думала, что она не так уж мало успела за свою жизнь. В сущности, она успела главное: родила сына и написала книгу.

Книгу ее стихов и статей об американских художниках (Лена была искусствоведом, какое-то время жила в Америке, изучая американскую реалистическую живопись) после ее смерти издал Михаил Львович Матусовский. После его смерти в 1990 году младшая его дочь Ирина с семьей уехала в Штаты, и туда же позже перебралась вдова поэта.

Сын Лены, Георгий, никуда не уехал и по-прежнему живет на старой даче со своей подругой Наташей. Ему уже за сорок. Пользователи интернета, пожилые и туповатые, вроде меня, души в нем не чают — он помогает нам освоить это чудо, мы без него как без рук.

В октябре семьдесят восьмого умер Павел Григорьевич Антокольский.

В ноябре семьдесят девятого умер мой отец.

Семидесятые перешли в восьмидесятые, и старожилы продолжали уходить с нарастающей скоростью, как падают камни с горы.

В восемьдесят первом умерли:

Юрий Валентинович Трифонов;

Александр Александрович Котов, гроссмейстер, автор книг об истории шахмат;

Владимир Викторович Жданов, литературовед, исследователь творчества русских писателей и поэтов девятнадцатого века;

Юрий Михайлович Корольков, журналист, фронтовик, писавший книги о войне, прочно сегодня забытые, но в свое время читаемые.

В марте восемьдесят второго умер Александр Семенович Менакер.

В восемьдесят четвертом — Владимир Федорович Тендряков.

В том же году — Владимир Михайлович Крепс, сценарист и автор любимой радиопередачи для детей моего поколения «Клуб знаменитых капитанов».

В восемьдесят пятом совсем молодым, двадцатипятилетним, умер от рака лимфатических желез Миша Ромм, красавец, спортсмен, внук Михаила Ильича Рома.

В восемьдесят шестом скончался Александр Григорьевич Деметьев, заместитель Твардовского в «Новом мире».

В восемьдесят седьмом не стало композитора Дмитрия Борисовича Кабалевского.

В расцвете таланта умер в том же году сорокашестилетний Андрей Миронов.

В девяностых продал дачу и уехал в Штаты Шура Червинский.

Продала дачу и переехала с мужем и сыном в ФРГ Инна Ермашова.

Вместо бывшей дачи Владимира Россельса стоит новый трех-

этажный дом, принадлежащий теперь какому-то крупному чиновнику.

Нет больше симпатичного домика Мироновой и Менакера — после смерти Марии Владимировны новый владелец увеличил маленький участок чуть ли не втрое за счет ничейного куска леса, окружил высоким железным забором, а на месте снесенного домика построил домище из бруса.

Дача Кирсанова принадлежит теперь человеку весьма далекому от поэзии. Он перестроил дом, увеличив и изменив его до неузнаваемости, обнес участок высоким забором, обложив кирпичную кладку плитами «под дикий камень». (Особая соревновательная эстетика новых заборов: чем глуше, толще и выше, тем престижнее.) Больше не реет над трубой треугольный парус жестяного кораблика, и башенка исчезла.

На месте прежней дачи Юрия Нагибина выросло — от забора до забора — нечто, напоминающее гигантский амбар. Нет больше дач Ореста Верейского, Юрия Трифонова.

Сколько было вложено души в эти старые дома. Сколько замечательных людей в них побывало, да и сами хозяева были замечательными людьми. Новым владельцам ценить бы такую преемственность, к тому же крепкие, кирпичные, дома эти могли бы служить еще нескольким поколениям. Что такое для хорошего дома пятьдесят-шестьдесят лет?

Обедневшие наследники, чтобы как-то продержаться, начали продавать свою землю по кускам. И на этих кусках воздвиглись новые дома, огромные, с колоннами, башнями, стрельчатыми окнами. Кое-кто из наследников наоборот преуспел и расширил свои владения за счет обедневших соседей. И тоже понастроил дворцов-монстров, окружив их каменными заборами.

С уходом старожиллов как будто подламывались опоры, на которых держалось старое здание поселка, и оно покосилось, почти рухнуло, но через какое-то время снова встало, уже в новом, неузнаваемом виде.

Мы с Витей давно уже постоянно живем на даче, сдав московскую квартиру. Но и наш участок необратимо изменился за эти годы: пришлось продать кусок земли, чтобы купить квартиру для Максима и Тани, вернувшихся в 2002 году из Израиля,

где они до этого прожили одиннадцать лет. Если учесть нашу с Витей деловую непрактичность, я даже слегка горжусь этой нашей сделкой: подарили молодым собственную жилплощадь, а сами лишились не очень нужного куска леса и старого сарая, заросшего дикой малиной и крапивой.

Однако, через пять лет московской жизни, бросив должность ответственного секретаря журнала «Вокруг света», Максим квартиру сдал и вернулся с женой и шестилетней Анечкой в Израиль, где Таня родила вторую дочку, Сашу, а потом и сына Давида. А на проданном куске земли вырос большой двухэтажный дом и глядит окнами второго этажа на наш уменьшившийся на треть участок. Хорошо, что соседи оказались симпатичные.

А человек, купивший участок Пархомовских, обладатель, по-видимому, несметных денег, затеял строительство двух огромных домов, один из которых, чуть ли не в пять этажей, встал вплотную к нашему забору. На лесах бригада таджиков который год что-то бесконечно достраивает, пристраивает, стучит, пилит. Мой прежде уединенный мирок открылся для обозрения как сцена с поднятым занавесом.

Кто он, этот сравнительно еще молодой человек? Может, тот самый бывший мальчик, который когда-то в конце пятидесятых по дороге к речке мечтал со своим папой об одной комнате, как о щедром царском подарке, и теперь, разбогатев, все наверстывает и наверстывает свою детскую ненасытную мечту.

— Не брюзжи, — говорю я себе. — Посмотри непредвзято: поселок за эти годы приобрел цивилизованный вид: чистые заасфальтированные аллеи, выезды со многих участков выложены плитками или цветными кирпичиками, обочины засеяны газонной травой, вдоль заборов — декоративные деревца, ёлочки, цветы. Дети играют на новой благоустроенной детской площадке. Построили собственную электростанцию, и теперь в поселке нет проблем с электричеством. Новенький поселковый трактор убирает зимой снег на аллеях, мусороуборочная машина регулярно очищает контейнеры. На будущий год, может быть, начнут прокладывать трубы общей канализации, и уйдут в прошлое отстойные ямы, из которых периоди-

чески нужно выкачивать нечистоты. Заборы постепенно зарастают густым виноградником и выглядят вполне пристойно. Новые дома, полускрытые елями, березами, орешником, через несколько лет, глядишь, обретут стиль и станут казаться красивыми. Да многие и сейчас красивы и уж, во всяком случае, куда более комфортны, чем старые. Вечером приятно пройти по аллеям, освещенным теплым желтым светом фонарей.

Это во мне брюзжит стариковское — «Вот в наше время!»

А что — в наше время? Только и хорошего, что были молодцы.

Теперь, когда я прохожу по аллеям, меня не оставляет чувство пугательства во времени. Не того стремительного, мелькающего, которое испытал Уэллсовский пугающий путешественник на своей фантастической машине, а медленного, подробного, неторопливым шагом, со всеми рождениями и смертями, детством, молодостью и старостью его жителей, судьбами домов, изменениями пейзажа и общественных отношений.

Я наблюдаю, как год от года меняются окрестности, исчезают когда-то просторные поля, вырубаются леса, а на их месте возникают коттеджные охраняемые поселки за высокими заборами. Вот и у нас над многими глухими калитками — аппараты видеонаблюдения, таблички, сообщающие о том, что данный участок находится под радио-охраной; по аллеям проносятся автомобили с затемненными стеклами, охранник в камуфляжной форме, бдительно озираясь, по звонку с мобильного нажимает автоматическую кнопку, ворота открываются, машина хозяина въезжает в гараж или на участок, охранник снова наглухо закрывает ворота; садовники стригут газоны, подстригают кустарники, всасывают ревущими садовыми пылесосами сухую листву с обочин, еще кто-нибудь из челяди выгуливает хозяйских овчарок; бывшие школьные учительницы, теперь гувернантки и няньки, выгуливают хозяйских детей; хозяйские шоферы мощной струей под большим напором моют до блеска машины; вкалывают на строительстве бригады таджиков, украинцев, белорусов.

Самых хозяев редко увидишь — они зарабатывают деньги на всю эту роскошь. Однако, именно они теперь диктуют свои

правила и законы в поселке, который, как и прежде, словно в насмешку, называется «Советский писатель».

Недавно на правлении обсуждали проект памятника знаменитым деятелям культуры, которые когда-то жили в нашем поселке (сидели за нашим столом, кололи щипцами грецкие орехи, спорили, шутили... Как же долго я, однако, живу!): постамент на фоне фигурной решетки, на нем – раскрытая книга с именами. Уже и место выбрали, где поставить, – угол Центральной и Восточной аллеи, напротив конторы. Думаю, что этот памятник станет символом окончательного заката поселка писателей. Его могильным камнем. Писателей-то здесь осталось – раз, два и обчелся. Они тут теперь вроде овце-быков – вымирающий вид.

Лето было счастливое, но утомительное

В июле 2011 года мы с Витей отпраздновали золотую свадьбу. Приехали из Израиля и Польши сыновья с женами и детьми – десятилетней прелестной Аней, умненькой, общительной пятилетней Сашей, годовалым Давидиком. Накрыли сдвинутые столы в саду, пригласили самых близких друзей, и было замечательно. Невестки помогали по хозяйству.

Целый месяц – обилие гостей, застолья, беспорядок – ритм жизни был сумасшедший, но радостный. Погостив, разъехались, оставив нам главную нашу радость – внучку Аню, которую мы растили тут на даче до шести лет. Она и теперь каждый год проводит у нас летние, а иногда и зимние каникулы. До конца августа звучала блаженная музыка детского общения – смех, беготня с соседскими мальчишками Ваней и Арсением, любимыми друзьями детства. Компьютерные игры, походы на речку, катание на велосипедах. Лепили драконов из пластилина, жгли костры... А поздно вечером, с трудом расставшись с друзьями, в постели, начиналось долгое счастливое засыпание с обязательным «бабушка, расскажи про свое детство!»

Я рассказывала ей, полусонной, по второму и третьему разу ее любимые истории про свой арбатский двор, войну, эвакуацию, Омск, пионерский лагерь Плёсково, про наши детские

игры и проделки. Пела ей песни своего детства. Она слушала, а у меня было такое чувство, будто я передаю внучке свою память, и она понесет ее в себе дальше по жизни, и, значит, «весь я не умру, душа в заветной лире...» Иногда мне представлялось, что Аня – это и есть я, все та же Анька Масс, в другом образе, в другом времени и – волей судьбы – живущая в другой стране.

Перед самым ее отъездом устроили традиционный прощальный костер с угощением, с торжественным сжиганием пластилиновых драконов, а после с горькими слезами – «Бабушка! Не хочу с тобой расставаться! Не хочу отсюда уезжать! Мне тут лучше!»

И я в своей постели тайком заливалась слезами.

Наугро проводили ее в Домодедово, сдали на руки стюардессе, и внучка улетела в свой городок под Тель-Авивом, к родителям, сестре, брату, школьной подруге и любимой собачке.

А мы с Витей погрустили и зажили в привычном ритме. Я вернулась к своей рукописи, Витя – к своей поэзии. Недавно большую подборку его стихов напечатали в австралийском русскоязычном альманахе. Витя мало меняется с годами – по крайней мере, в моих глазах. По-прежнему деятелен, всем готов помочь. Уходит ли в свой поэтический запой или стучит молотком под навесом, я думаю: какое счастье, он рядом.

Ездим на родник за водой, по вечерам читаем вслух.

Конечно, силы уже не те, а так мы особо и не замечаем наступившей старости.

Утро, день, вечер

С точки зрения молодости жизнь
есть бесконечно долгое будущее;
с точки зрения старости –
очень короткое прошлое.

Артур Шопенгауэр

10 сентября 2011 г.

Старый рыжий пес Мишка и дымчатая с пушистым хвостом молодая кошечка Бася уже сидят на кухне в ожидании

кормежки. Если к этим двум добавить двух канареек в клетке, рыбок в аквариуме, а на участке двух белок и дятла, которые приходят и прилетают подкормиться семечками в домик-кормушку, то мы с Витей живем, можно сказать, в маленьком домашнем сафари.

Витя с утра что-то чинит в своей мастерской.

Я кормлю животных, варю себе кофе и выхожу с кружкой в сад.

Солнце и чистое небо. Ярко доцветают флоксы, золотые шары и розы. Белые шапки гортензий опустились до земли под собственной тяжестью. Покрасневшие плети дикого винограда оплели стену дома до самой крыши, забрались на телевизионную антенну. С берез и кленов сыплются желтые листья на дорожки, на зеленую траву, на белые пластмассовые креслица. Ну и что же, — говорю я себе, — что над забором нависла каменная стена окнами на наш участок и что-то бесконечно долбят, пилят, приколачивают рабочие. Пора привыкать к новому аквариумному положению. Деваться-то все равно некуда. Пусть себе долбят. Они сами по себе, я со своей кружкой — сама по себе.

Погуляв по участку, поднимаюсь в свою комнату, сажусь к компьютеру. До сих пор, включая это чудо, волнуясь и удивляюсь, как это мне, при моей технической тупости, удалось, пусть на троечку с минусом, его освоить.

Открываю почту.

Андрюша пишет из Польши:

«Последнюю неделю было невпроворот работы. А сейчас мы на даче с внуком. Кормим, гуляем. Игрушки Томека не интересуют, поскольку у него в жизни появилась цель и перспектива — добраться до сахарницы на столе. И вот, покоря ущелья, карабкаясь по отвесным кручам, сдергивая скатерть («здесь вам не равнина, здесь климат иной...»), переворачивая по дороге бутылку с вином, он стремится к своей сахарной вершине, и это достойно уважения».

От Максима из Израиля:

«Грядет очередной праздник — еврейский Новый год, и мы всей семьей и еще две семьи с детьми отправляемся на три дня в запо-

ведник, где будем ходить по горам, спать в палатках и готовить еду на примусе».

Маринка из Англии:

«Потрясающая новость: кажется, я наконец-то стану бабушкой! Не скоро, месяцев через шесть, но!!!»

От студенческой подруги Тани из Сиднея...

От приятельницы из Сан-Франциско...

Вот я сетую, что мой дачный мирок уменьшился. А зато как раздвинулся мир! Сколько нашлось потерянных, казалось бы, навсегда друзей по всему свету! Могла ли я хотя бы лет десять тому назад представить себе такое!

...Мы с Витей сидим за столом на кухне, составляем список «что купить», после чего он везет меня к автобусу на новой, год назад приобретенной маленькой южно-корейской «хёндай гетц», наконец-то сменившей наш дряхлый «жигуль». Витя ставит машину возле рынка, в прогал между другими машинами, и идет за покупками, а я перехожу по недавно построенному круглому остеклённому пешеходному мосту на ту сторону шоссе и сажусь в подошедший автобус у окна. В последние годы движение на Калужском шоссе становится все плотнее, зато и пассажирских автобусов и маршрутных такси тоже стало гораздо больше, не приходится подолгу ждать на остановках. Так что не имеет смысла ездить в Москву на машине, напрягать Витю, мучиться в пробках. Проще пользоваться автобусом и метро.

Проезжаем Десну, Ракитки, Сосенки... Кое-где у калиток еще сохранившихся старых домов на складных стульчиках сидят деревенские старушки, перед ними на перевернутых ящиках – молодая картошка, пирамидки кабачков, яблок, огурцов, помидоров, в ведрах – георгины, астры, хризантемы. Но всё меньше таких старушек с их садиками и огородами. Деревни замещаются торговыми комплексами, складами стройматериалов, коттеджными поселками, придорожными ресторанами. На месте прежней деревни Дубровка воздвигнут целый городок с прямыми улицами и с одинаковыми трехэтажными

ТАУНХАУЗАМИ. Тут и японский ресторан, и Универсам «Перекресток», и большая автостоянка. От прежних садиков-огородиков следа не осталось.

Наплыли серые облака. Вот-вот пойдет дождь. Реклама предлагает: «Строим дома под ключ!», «Квартиры от инвестора», «Продаем участки у озера».

Метро Теплый Стан. Конечная.

Доезжаю с пересадкой до Кропоткинской и выхожу вместе с толпой на площадь. Тучи разогнало, и снова стало тепло и солнечно. От площади лучами расходятся улицы всей моей жизни: Волхонка, Остоженка, Пречистенка, Гоголевский бульвар. Мне кажется, будто я смотрю на них из собственного прошлого. Словно вернулась с какой-нибудь Кассиопеи, а на Земле прошли десятилетия. Прохожие, деловито разговаривающие по мобильникам, парни и девушки с ушными затычками, от которых тянутся проводки во внутренние карманы, — вот они из настоящего, а я нет. Даже пожилые — почти все моложе меня. Я помню то, чего многие из них не застали. Например, серый сплошной забор, окружавший огромный котлован за площадью. И нашу детскую терпеливую веру, что там, за забором, когда-нибудь вознесется прекрасный Дворец Советов. Детство перешло в юность, а прекрасный дворец так и не вознесся. Метро Дворец Советов переименовали в Кропоткинскую. На месте котлована построили бассейн «Москва». И о нем многие из идущих тоже уже не помнят. А он был, много лет, с зимними клубами белого колышущегося пара, и было здорово — из горячего душа пробежать по холодному коридору, поднырнуть под кусок резины, прикрывающий выход в огромное, круглое пространство под открытым небом, вплыть в зеленую гладь воды, перерезанную канатами, унизированными белыми пробковыми колесиками, увидеть вышку со светящимися глазами-циферблатами, с витыми лесенками, похожими на сложенные перепончатые крылья дракона, почувствовать, как бьют под водой упругие теплые фонтанчики, и раствориться под звуки музыки в движущемся тумане, пронизанном лучами прожекторов.

Теперь на этом месте восстановлен Храм. Три эпохи на од-

ном кусочке земли, а я все еще живу и даже не кажусь себе такой уж старой, не знаю, кого и благодарить за то, что в свои семьдесят шесть лет сохранила способность легко ходить, без одышки подниматься по лестницам, хорошо слышать и видеть.

Памятью детства вижу старую Кропоткинскую, по которой сейчас иду в сторону Зубовской, девочек-школьниц, выходящих шеренгой из Островского переулка, где расположена наша 43-я школа, вижу и себя в этой шеренге – коричневое платье с белым воротничком, черный фартук. Взявшись под руки, мы идем, перегородив тротуар, мимо киоска «Союзпечати», мимо Дома ученых с двумя вдумчивыми львами на воротах и поем хором: «Кто в дружбу верит горячо, кто рядом чувствует плечо!..»

И я мысленно уступаю дорогу самой себе, тринадцатилетней.

...Можно сесть на пятнадцатый или пятый троллейбус и доехать до Новодевичьего, но торопиться некуда, и я иду пешком по с в о и м улицам, где каждый метр асфальта и каждый дом связан с каким-нибудь воспоминанием.

На Зубовской пересекаю Садовое, захожу в книжный магазин «Прогресс». Там на втором этаже есть отдел видеофильмов. Копаюсь среди детских и покупаю в подарок внукам старые фильмы своего детства: «Пятнадцатилетний капитан», «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта», «Остров сокровищ». Как же нам в детстве хотелось быть похожими на их храбрых, благородных героев! Конечно, внуки, привыкшие ко всяким там «Властелинам колец» и «Аватарам», вряд ли воспримут эти черно-белые, технически несовершенные фильмы так, как мы их воспринимали, но, может, хоть что-то западет им в душу, и в этом тоже будет «Весь я не умру..»

Сворачиваю в Первый Неопалимовский, пересекаю Плющиху и выхожу на Девичку. В МОЕ ВРЕМЯ на этом бульваре кое-где стояли изувеченные скамейки, а на неухоженном пятачке земли, на горке, стоял памятник Льву Толстому, тот, что перенесен теперь во двор музея на Пречистенке. Теперь тут плещет фонтан, дети играют на хорошо оборудованной

площадке. Фигурные лавочки вдоль заасфальтированных аллей, урны, бордюры из низких кустиков. Но помнят меня только липы. Да и то самые старые. Может быть, вот эта, с темно-серым корявым стволом, видела, как моя няня Шура катала меня, пятилетнюю, тут зимой на санках.

...Перехожу улицу Десятилетия Октября, иду вдоль стены Новодевичьего монастыря до ворот кладбища. От ворот – направо, туда, где аллея высоких каштанов ведет в старую часть кладбища. Тут, в старой части, похоронено множество деятелей культуры, среди них и артисты-вахтанговцы, те, кто жил в нашем доме, знал меня с детства и называл «Анечкой». В последние годы рядом с их именами появляется все больше имен моих сверстников. А сверстники моего старшего брата, его друзья – Юра Щукин, Вадик Русланов, Кирилл Рапопорт, Сережа Лобашков, Катя Синельникова, Жека Симонов – давно уже один за другим упокоились рядом со своими родителями. Последним два года назад ушел восьмидесятитрехлетний Леша Толчан.

Узкая просека вправо от аллеи, и вот он – невысокий постамент, мраморная доска с высеченными именами моих родителей и брата. Береза наклонилась над постаментом.

По аллее ходят посетители, разглядывают могилы, ищут знаменитые имена, радостно окликают спутников, когда находят. Кладбище – открытый для всех бесплатный музей, тут всегда много посетителей, особенно в хорошую погоду. Но сюда, в мою просеку, заглянув, деликатно не сворачивают: хватает такта не мешать человеку, пришедшему проведать с в о и х.

Вынимаю из сумки садовый совок, ножницы, тряпку. Убираю сухие листья, пропальываю сорную траву, подстригаю пожелтевшие стрелки лилейника, выкапываю отцветшие однолетние георгины, протираю постамент, мраморную доску. Собираю мусор в полиэтиленовый мешок, выбрасываю в сетчатый сундук неподалеку, на аллее.

Возвращаюсь, сажусь на каменную плоскую оградку, закрываю глаза...

...И вижу знакомый заливной луг, пестрый от цветов. За ним – пшеничное поле с пересекающей его узкой тропинкой, а посреди поля, островком, раскидистый дуб.

Это — Плёсково, навсегда запечатленный памятью пейзаж моего детства, куда в такие вот минуты самоуглубления я часто возвращаюсь.

Вижу невысокий дугообразный берег реки в окружении ольховых кустов. Над водой низко навис ствол серебристой ивы. На берегу, на траве, сидит мой брат Витька, а рядом — все его друзья — Юрка, Вадик, Кирка, Катя, Жека, а вон и Леша Толчан. Молодые, веселые, валяются на траве, дурачатся, Юрка пытается сделать стойку на руках, Вадик толкает Кирку в речку, и он падает прямо в заросли желтых кувшинок, обдав всех брызгами.

Оборачиваюсь — и вижу на лугу маму, собирающую цветы. У нее целая охапка мелких полевых ромашек, колокольчиков, клевера, серебристого мятлика, зверобоя, кукушкиных слезок. Мама еще молодая и хорошенькая, с золотистыми волосами из-под косынки, в своем любимом платье-халатике с белым воротничком.

— Мама! — окликаю я и слышу:

— Моё солнышко, моя радость! Только об одном я мечтаю: чтобы ты была счастлива.

А на тропинке, пересекающей пшеничное поле, стоит долгозый, сутулый, большеносый юноша с давней витебской фотографии. У него в руках альбом, он зарисовывает дуб-шатер, тот самый, на стволе которого через много лет его сын вырежет ножиком: «Витя Масс. 1940» и в ветвях которого еще семь или восемь лет спустя мы с подругой Наташкой Абрамовой устроим шалаш, и будем убежать туда после полдника из пионерлагеря, и до ужина фантазировать, делиться переживаниями, такими жгучими в тринадцать лет.

Юный папа поднимает голову и оборачивается ко мне.

— Вот видишь? — говорит он. — Всё хорошо, всё прекрасно. На свете добра больше, чем зла, и добро в конечном счете побеждает. Добро и талант. Я всегда был абсолютно убежден, что это так.

И я всей душой верю, что это так.

Потому что очень хочется верить в сказку.

...Потом я навестила Маринкиных родителей, еще многих знакомых и пошла к воротам. Дорожка вдоль старой стены усыпана каштанами. Они то и дело падают с деревьев, стучаются об асфальт как тяжелые майские жуки, весело подпрыгивают, откатываются к обочинам и там затихают дружными

стайками, глянцеви́то-округлые, золотисто-коричневые, праздничные как орехи с новогодней елки. Поднимаю три каштана и кладу в карман.

Возле метро «Спортивная» полно стоячков-закусочных — с русскими блинами, французскими пирожными, хот-догами, горячими пирожками с разными начинками. Но я предпочитаю «картошку-крошку» — большую горячую картофелину, завернутую в фольгу и разрезанную вдоль. В ее белую, рассыпчатую, размятую и взбитую мякоть кладут сливочное масло, тертый сыр, добавляют по выбору покупателя что-нибудь из многочисленных «наполнителей». Я выбираю брынзу и мелко нарезанную семгу. Все это мне подают на желтом картонном подносике, с вилочкой и салфеткой, да еще с напутствием: «кушайте на здоровье». Устраиваюсь у круглого зеленого пластмассового столика. Обтекающие меня прохожие ничуть мне не мешают: они сами по себе, я сама по себе. И вообще, меня не раздражает московское многолюдье: я тут своя, это моя толпа.

От «Спортивной», купив в киоске пакет пастилы, еду с пересадкой на Академическую, в библиотеку, где сегодня, как всегда по понедельникам, собираются члены нашего литературного клуба.

В читальном зале столы уже сдвинуты в один длинный ряд, накрыты белыми клеенками. Народ потихоньку собирается. Приносят из подсобки самовар, чашки, тарелки. Прибывающие кладут возле самовара свои приношения — пряники, вафли, зефир, кладу и я свою пастилу, а кто-то из женщин даже принес домашний пирог — отметить публикацию своих стихов в журнале. Тут человек двадцать пять, среди них архитектор, учительница, бывший военный, ученый-физик, библиотекарьша, таксист.

Что за сила заставляет этих молодых и не молодых интеллигентов после рабочего дня, преодолевая усталость, лень, желание посидеть дома перед телевизором, тащиться на автобусе, на метро (многие живут в дальних концах Москвы, а машин почти ни у кого нет), идти от метро пешком по осенней

слякоти, по зимней темноте, по скользкому от мокрых листьев тротуару, через едва освещенную улицу и сквер, в эту районную библиотеку? Мы приветствуем друг друга, обсуждаем литературные новости, обмениваемся мнениями, садимся за сдвинутые столы, пьем чай с разложенными по блюдам скромными сладостями, читаем собственные сочинения, всегда в атмосфере терпимости и доброжелательства. Каждый, как может, ведет свою негромкую мелодию, и – возможно, именно в этом ответ на вопрос – эти мелодии, соединившись, хоть и слабо, но противостоят той пошлости, которую нам навязывает сегодняшняя, вывернутая наизнанку культура.

Компанией, поддерживая друг друга под руки на полутемных участках пути, добредаем до метро и там прощаемся.

Доезжаю до Теплого Стана и выхожу к остановке автобусов. Опять похолодало, накрапывает дождь, но автобус светлый, просторный, теплый и даже с бегущей строкой, сообщающей пассажирам, какая нынче погода и сколько сейчас времени. Сажусь в кресло, звоню Вите по мобильнику: «Я на Теплом. Сейчас отчаливаем». – «Еду», – отвечает Витя. Автобус мягко трогается, и через двадцать пять минут быстрой езды по свободному шоссе я выхожу на остановке «Школа». Вон стоит наш симпатичный «хёндай», а вон и Витя высматривает меня, стоя у стены магазина.

Дома на кухне я ем арбуз, а Витя сидит напротив и дотошно рассказывает о том, с какими трудностями он столкнулся в процессе починки чего-то там, и как ему удалось устранить поломку с помощью чего-то такого. Я ничего не понимаю, ем арбуз и думаю о том, что завтра посажу три подобранных каштана у того забора, за которым возвышается дом соседа. Там земля хорошая. Потом мы переходим в гостиную, за нами тянутся сонные Мишка с Басей. Мы устраиваемся поудобнее в старых креслах, и я читаю вслух очередную главу из повести Ивана Шмелева – «Лето Господне». И нам открывается мир его детства, полный звона колоколов, стука топоров, ржания лошадей, запахов, голосов, и во всем этом такая искренность, правда, свежесть, ясность – кажется, что эта проза излучает свет.

Человек, умирая, уносит с собой свой мир (рассуждаем мы с Витей), но если человек сумел выразить этот мир в творчестве — в прозе, в поэзии, в музыке, в картине, — он умирает только телесно, а его мир остается как дар новым поколениям. Иван Шмелев умер в эмиграции, более полувека его от нас скрывали, не печатали, и все же его мир оказался сильнее железной эпохи, пережил ее, и вот мы с благодарностью в него окунулись.

На этой минуте совместного вечернего чтения под мурлыканье кошки и сонное дыхание собаки я заканчиваю эту книгу.

Декабрь 2011 г.

Оглавление

Часть 1

| | |
|-------------------------------------|----|
| Поселок. Начало | 5 |
| В те дни | 13 |
| Поселок, 1953 год | 21 |
| Поселок, 1954 год | 27 |
| Ви́ра | 32 |
| Певец Парижа | 33 |
| О Болотине и Сикорской | 39 |
| Не по мне | 40 |
| Под парусом | 43 |
| «И чужая светится звезда!..» | 45 |
| Клоун в тельняшке | 48 |
| Лондон Зиновия Гердта | 49 |
| Ле́ка | 53 |
| Поселок, 1956 год | 62 |
| Ароша Эрлих и Зиночка | 66 |
| Модест и Риточка Табачниковы | 71 |
| Шурка Червинский и Андрюшка Менакер | 74 |
| Притча о растоптанной розе | 80 |
| Иосиф Дик | 85 |
| За что я его не любила | 99 |

Часть 2

| | |
|--------------------------------------|-----|
| На целине | 105 |
| Мы с Маринкой стрижем овец | 107 |
| Мы с Маринкой работаем сигнальщицами | 112 |
| Работа и быт | 119 |
| Нас расселили по хатам | 123 |
| На Централку за посылкой | 129 |
| Повесть молодого автора | 131 |
| Любовь Рафаиловна | 133 |
| «Горячо и холодно» | 139 |
| Фольклорные странички | 140 |
| На острове смерти «Каргопольлаг» | 144 |
| Уральская экспедиция | 173 |

Часть 3

Владимир Масс, мой отец:

| | |
|-------------------------------------|-----|
| «Я всегда оставался самим собой...» | 209 |
| Гоголевский бульвар, 21 | 210 |
| Учитель рисования Марк Шагал | 210 |
| Мастерская Фореггера | 212 |
| Кабачок «Нерыдай» | 215 |
| «Веселые ребята» | 216 |
| «...Когда б не били нас...» | 217 |
| История с «Самоубийцей» | 219 |
| «А что я мог сделать?..» | 220 |
| «Верю, всё будет хорошо...» | 222 |
| Горьковский театр им. Чкалова | 227 |
| Война | 228 |
| «Они осознали и исправились...» | 232 |
| «Мы плывем из Сан-Франциско...» | 234 |
| Безопасная гавань | 237 |
| Преклонные годы | 240 |
| «...Спектакль идет к концу...» | 241 |
| Эпилог | 244 |
| Илья Кремлев-Свен | 248 |
| Николай Эрдман | 252 |
| Бакуриани | 257 |
| Черные земли | 265 |
| Знакомство с родителями | 280 |
| Забайкалье | 284 |
| Поселок, 60-е годы | 288 |
| Леночка Матусовская | 296 |
| Башкирия, Оренбургская область | 299 |
| Витя | 308 |

Часть 4

Павел Антокольский в кругу семьи

| | |
|---------------------------------|-----|
| Квартира №38 | 311 |
| Дачное соседство | 315 |
| Мария Синельникова рассказывает | 319 |
| После Зои | 323 |
| 10 сентября 1978 года | 324 |
| После Павлика | 326 |
| «Пока горячо» | 330 |
| Мангышлак | 337 |
| Поселок, 1967 год, зима | 348 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Восточная Германия | 352 |
| Поселок, 1970 год, лето | 357 |
| Семейный вечер перед отъездом | 358 |
| Андрюша. Первый класс | 360 |
| Геннадий Фиш | 368 |
| Виктор и Алла Драгунские | 379 |

Часть 5

| | |
|---|-----|
| Литературная жизнь | 393 |
| Тайга, 1977 год | 401 |
| Поселок, 70-е годы. Закат | 410 |
| Прощание | 410 |
| «Эти летние дожди...» | 412 |
| Неразлучно и навсегда | 414 |
| Памяти Леонида Михайловича Царёва | 417 |
| «Всё пустей впереди...» | 420 |
| Виль Липатов и Таня | 422 |
| Лето было счастливое, но утомительное | 430 |
| Утро, день, вечер | 431 |

Серия «Символы времени»

Масс Анна Владимировна

ПИСАТЕЛЬСКИЕ ДАЧИ
Рисунки по памяти

Редактор *И. Парина*
Компьютерная верстка *Т. Носовой*

Подписано в печать 20.03.2012. Формат 84x108/32
Печать офсетная. Гарнитура «NewtonС»
Усл.-печ. л. 23,52. Тираж 1000 экз. Заказ № 2021

Издательство «АГРАФ»
e-mail: post@agrafbooks.ru
<http://www.website.ru/agraf>
т./ф. (495) 926-25-48
т. (495) 926-25-46
т. (495) 926-25-47



Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Дом печати — ВЯТКА» в полном соответствии
с качеством предоставленных материалов
610033, г. Киров, ул. Московская, 122
Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36
<http://www.gipp.kirov.ru>
e-mail: order@gipp.kirov.ru



АННА МАСС
ВОРОБЕЙ
НА СНЕГУ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СЛОВО»



Виктор Горшков

НЕ СВОД НЕБЕС

Стихи

Москва
1993





Андрей Масс (старший сын)



Максим Масс (младший сын)



*С невесткой Таней, сыном Максимом,
внуками Сашей, Аней и Давидиком.
Израиль, 2010 год*



С внучкой Сашей, 2007 год



Внук Якуб (Кубик), 1998 год



*С внучкой Аней Масс.
Эйлат, 2010 год*



Автор книги – дочь известного драматурга Владимира Масса, писательница, автор 17 книг и многих журнальных публикаций.

Ее новое произведение – о поселке писателей «Красная Пахра», его обитателях, среди которых много известных людей – писателей, поэтов, художников, актеров: Николай Эрдман, Павел Антокольский, Белла Ахмадулина, Мария Миронова и Александр Менакер, Андрей Миронов.